ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[10] 2007

"ЖИЗНЬ НЕ ЗДЕСЬ" МИЛАНА КУНДЕРЫ В РУБРИКЕ "СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" / ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ПАБЛО ПИКАССО / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: "КЛОНИРОВАТЬ ХРИСТА?" ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕРА / РАССКАЗЫ РАЙМОНДА КАРВЕРА / "РОССИЯ СЛЫШИТ, КАК ПОЕТ АМЕРИКА..." В РУБРИКЕ "ДИСКУССИЯ"

Основан в 1891 году

PR и Консалтинг *Простор*
выражает искреннюю благодарность журналу
Иностранная литература
и Союзу *Мастера литературного перевода*
за активное участие в организации и проведении
конференции *Слово живое и мертвое*,
посвященной вопросам перевода художественной
литературы и проблеме сохранения и развития
российской школы художественного перевода,
прошедшей в Москве 3 июля 2007 года при поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

[10]
2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Раймонд Карвер *Рассказы.* Переводы с английского Г. Дашевского, А. Нестерова

22 Пабло Пикассо *Поэтические тексты.* Перевод с французского и вступительная статья Михаила Яснова

31 Мордехай Рихлер *Версия Барни.* Роман. [Окончание.] Перевод с английского В. Бошняка

Сигнальный экземпляр

124 Милан Кундера *Жизнь не здесь.* Глава из романа. Вступление автора. Перевод с чешского и послесловие Нины Шульгиной

Документальная проза

141 Дидье ван Ковелер *Клонировать Христа?* Перевод с французского Дмитрия Баюка

Дискуссия

227 *"Россия слышит, как поет Америка..."* Конференция в Дартмуте

227 Лев Лосев *Вступительное слово*

231 Татьяна Венедиктова *Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию*

242 Барри Шерр *Языковые игры орлов: Уитмен в переводах Чуковского и Бальмонта.* Перевод с английского С. Нещеретова

252 Антон Нестеров *Одиссей и сирены: Американская поэзия в России второй половины XX века*

Статьи, эссе

268 Тони Перротет *Семя Геракла.* Перевод с английского В. Голышева

272 В. Хорев *Станислав Игнаций Виткевич на русском языке*

Среди книг

280 В. Скороденко *Исследователь, просветитель, наставник*

БиблиофИЛ

284 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

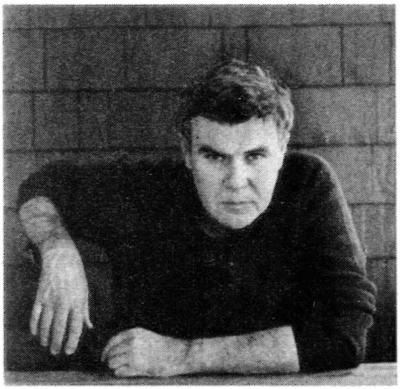
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
Е. Ю. Леонова
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Раймонд Карвер



Рассказы

Переводы с английского Г. Дашевского, А. Нестерова

Пылесос

Я сидел без работы. Но каждый день ждал новостей с севера. Я лежал на диване и слушал дождь. Иногда привставал и из-за шторы смотрел, не идет ли почтальон.

На улице никого не было, совсем никого.

Посмотрев в очередной раз, я не пролежал и пяти минут, как услышал, что кто-то поднимается на крыльцо и, помедлив, стучит. Я продолжал лежать. Я знал, что это не почтальон. Его шаги я выучил. Поневоле начнешь разбираться в шагах, когда работы нет и извещения о вакансиях тебе присылают по почте или суют под дверь. Бывает, приходят и поговорить на дом, особенно если у тебя нет телефона.

Стук раздался снова, более громкий: плохой знак. Я привстал и посмотрел в окно. Но тот, кто поднялся на крыльцо, стоял вплотную к двери — тоже плохой знак. Пол у меня скрипучий, так что незаметно проскользнуть в другую комнату и посмотреть из того окна у меня бы не вышло.

Снова постучали, и я спросил:

— Кто там?

— Это Обри Белл, — раздался ответ. — Вы мистер Слейтер?

© 1986, 1987, 1988 de Raymond Carver
© Г. Дашевский. Перевод, 2007
© А. Нестеров. Перевод, 2007
Рассказы будут опубликованы в конце года в издательстве "Б.С.Г.-Пресс".

— А что вам нужно? — отозвался я с дивана.

— Я тут кое-что принес для миссис Слейтер. Она кое-что выиграла. Миссис Слейтер дома?

— Миссис Слейтер здесь не живет, — ответил я.

— А вы, значит, мистер Слейтер? — спросил человек. — Мистер Слейтер? — и человек чихнул.

Я встал с дивана. Отпер и приоткрыл дверь. Передо мной стоял старик в плаще, тучный, грузный. Вода сбегала с плаща и капала на большой баул у него в руке.

Он улыбнулся и опустил баул. Протянул мне руку.

— Обри Белл, — сказал он.

— Я вас не знаю, — ответил я.

— Миссис Слейтер, — начал он, — миссис Слейтер заполнила наш бланк. — Из внутреннего кармана он вынул открытки и поперебирал их с минуту. — Вот, "миссис Слейтер", — прочел он. — Это же ваш адрес: двести пятьдесят пять, Шестая Южная? Миссис Слейтер выиграла.

Он снял шляпу, торжественно поклонился и прихлопнул шляпой о плащ, словно говоря: дело сделано, вот и все, приехали.

Он ждал.

— Миссис Слейтер здесь не живет, — сказал я. — Что она выиграла?

— Я должен вам показать. Могу я войти?

— Не знаю. Разве что ненадолго, — сказал я. — Я очень занят.

— Прекрасно, — сказал он. — Я вот только сниму сперва плащ. И боты. Не хотелось бы наследить на вашем ковре. А, так у вас есть ковер, мистер...

При виде ковра его глаза на миг загорелись. Он вздрогнул. Потом снял плащ. Отряхнул дождевые капли и повесил за воротник на дверную ручку.

— Вот тут ему и место, — сказал он. — Гадкая погода. — Он наклонился и расстегнул боты. Баул он поставил перед собой, в комнату. Он выступил из бот и в тапочках шагнул внутрь.

Я закрыл дверь. Он заметил, что я смотрю на тапочки, и сказал:

— У. Х. Оден все свое первое путешествие по Китаю проходил в тапочках. Ни разу их не снял. Мозоли.

Я пожал плечами. Я еще раз выглянул на улицу — почтальона не было — и снова захлопнул дверь.

Обри Белл смотрел на ковер. Надул губы. Потом рассмеялся. Он смеялся и качал головой.

— Что такого смешного? — спросил я.

— Ничего. Господи, — сказал он. И снова засмеялся. — Наверно, я схожу с ума. Наверно, у меня жар. — Он поднес руку ко лбу. Волосы были взъерошены, на лбу отпечаталась полоска от шляпы. — Вам не кажется, что у меня температура? — спросил он. — По-моему, у меня жар. — Он все еще смотрел на ковер. — У вас нет аспирина?

— Что с вами? — спросил я. — Надеюсь, вы не хотите здесь разболеться? У меня много дел.

Он покачал головой. Сел на диван. Повозил по ковру ногой в тапочке.

Я пошел на кухню, ополоснул чашку, вытряс из банки две таблетки аспирина.

— Вот, — сказал я. — А потом вам, видимо, придется уйти.

— Вас уполномочила миссис Слейтер? — прошипел он. — О, забудьте, забудьте, что я сказал, забудьте. — Он вытер лицо. Проглотил аспирин. Пробежался взглядом по пустой комнате. Затем с усилием нагнулся и расстегнул замки на бауле. Баул раскрылся — внутри были отделения с наборами шлангов, щеток, блестящих трубок и какая-то тяжелая на вид голубая штука на колесиках. Он уставился на эти вещи словно в изумлении. Тихим, торжественным голосом он спросил: — Вы знаете, что это такое?

Я подошел поближе.

— Я бы сказал, что это пылесос. Но на меня прошу не рассчитывать, — сказал я. — В смысле пылесоса на меня не рассчитывайте.

— Я вам кое-что покажу, — сказал он. Он вынул из пиджачного кармана открытку. — Взгляните, — сказал он. Он протянул мне открытку. — Никто на вас и не рассчитывает. Но вы взгляните на подпись. Это подпись миссис Слейтер?

Я посмотрел на открытку. Поднес ее к свету. Перевернул, но обратная сторона была пустая.

— И что? — спросил я.

— Открытку миссис Слейтер вытащили наугад из корзины с открытками. С сотнями точно таких же открыток. Она выиграла бесплатный пылесосный шампунь для ковров. Миссис Слейтер — победительница. Никаких дополнительных условий. Я пришел, чтобы вычистить ваш матрас, мистер... Вы не поверите, когда увидите, сколько всего скапливается у нас в матрасах за месяцы, за годы. Каждый день, каждую ночь нашей жизни мы теряем крошечные частицы самих себя, чешуйку того, чешуйку сего. Куда же они уходят, эти частицы нас самих? Сквозь простыни и внутрь матраса, вот куда! Ну и в подушки. Это то же самое.

Он вынул и сочленил куски блестящей трубки. Сочлененную трубку вставил в шланг. Бормоча, опустился на колени. Присоединил к шлангу что-то вроде скребка и наконец вытащил из чемодана голубую штуку на колесиках.

Он показал мне фильтр, который собирался использовать.

— У вас есть машина? — спросил он.

— Нету, — сказал я. — У меня нет машины. Если бы была, я бы вас куда-нибудь отвез.

— Жалко, — сказал он. — К этому маленькому пылесосу прилагается двадцатиметровый шнур. Вот была бы у вас машина, вы докатили бы пылесос прямо к ней и пропылесосили бы и коврики, и роскошные откидные сиденья. Не поверите, сколько мы теряем, сколько нашего скапливается в этих прекрасных сиденьях за долгие годы.

— Мистер Белл, — сказал я, — по-моему, вам лучше собрать ваши вещи и уйти. Говорю с самыми добрыми чувствами.

Но он уже оглядывал комнату в поисках розетки. Розетку он нашел рядом с диваном. Пылесос застучал, словно внутри запрыгало что-то вроде гальки, а потом перешел на ровный гул.

— Рильке всю жизнь переезжал из замка в замок. Меценатки! — прокричал он, перекрывая гул пылесоса. — Почти не ездил в автомобилях; предпочитал поезда. А возьмите Вольтера с мадам Шателе в Сирее. Его посмертную маску. Какая безмятежность. — Он поднял правую руку, словно предупреждая мои возражения. — Нет-нет, все не так, да? Разуме-

ется, я и сам знаю. Ну а вдруг? — На этих словах он повернулся и потащил пылесос в другую комнату.

Там были окно, кровать. Одеяла были свалены на пол. На матрасе — простыня, подушка. Он снял с подушки наволочку, сдернул с матраса простыню. Посмотрел на матрас, поглядывая на меня краем глаза. Я сходил в кухню и принес стул. Сел в дверном проеме и стал наблюдать. Сначала он проверил тягу, приставив скребок к ладони. Нагнулся и повернул диск на пылесосе.

— Для такой чистки надо ставить на полную мощность, — сказал он. Он снова проверил тягу, протянул шланг к изголовью и повел скребок вниз по матрасу. Скребок шел рывками. Пылесос гудел громче. Он трижды пропылесосил матрас, потом выключил аппарат. Нажал на рычажок, крышка откинулась. Он вынул фильтр. — Это особый демонстрационный фильтр. При нормальной эксплуатации все пошло бы в этот мешок, вот сюда, — сказал он. Он ухватил щепотку плотной пыли. — Да тут, наверно, с целую чашку наберется.

Он сделал красноречивую гримасу.

— Это не мой матрас, — сказал я. Сидя на стуле, я наклонился вперед, пытаясь изобразить интерес.

— А теперь подушку, — сказал он. Он положил использованный фильтр на подоконник и некоторое время смотрел в окно. Повернулся ко мне. — Я хочу, чтобы вы взялись за тот край подушки, — сказал он.

Я встал и взялся за два угла подушки. Я словно держал кого-то за уши.

— Вот так? — спросил я.

Он кивнул. Пошел в другую комнату и вернулся с новым фильтром.

— А сколько стоят эти мешки? — спросил я.

— Почти ничего, — ответил он. — Их делают из бумаги с добавкой пластика. Много стоить они не могут. — Он включил пылесос, я крепче ухватился за углы подушки, и скребок, уйдя в подушку, прошелся по ней — раз, второй, третий. Он выключил пылесос, вынул фильтр и молча показал мне. Положил его на подоконник рядом с первым. Затем открыл дверь чулана. Заглянул внутрь, но там не было ничего, кроме коробки порошка "Мыши, вон!"

Я услышал шаги на крыльце, почтовая щель приотворилась и, звякнув, закрылась. Мы посмотрели друг на друга.

Он потащил пылесос в другую комнату, я пошел следом. На коврике у входной двери лежало, вниз адресом, письмо.

Я направился было к письму, но обернулся и сказал:

— Что еще? Уже поздно. Не стоит возиться с этим ковром. Это самый обычный хлопковый ковер с резиновой основой, двенадцать на пятнадцать, из "Мира ковров". Не стоит с ним возиться.

— А не найдется ли у вас полной пепельницы? — спросил он. — Или цветка в горшке? Нужна пригоршня мусора или грязи.

Я нашел пепельницу. Он вывалил ее содержимое на ковер и растоптал пепел и окурки. Снова опустился на колени и вставил новый фильтр. Снял пиджак и бросил его на диван. Под мышками у него были пятна пота. Живот свешивался над поясом. Он открутил скребок и присоединил к шлангу другую насадку. Установил регулятор. Включил аппарат и начал водить щеткой вперед-назад, вперед-назад по истертому ковру. Дважды я пытался подойти к письму. Но он словно упреждал

меня, отрезая мне путь своим шлангом и трубками, — и все чистил и чистил...

Я унес стул обратно в кухню, уселся там и смотрел, как он работает. Через некоторое время он выключил машину, откинул крышку и молча принес фильтр, забитый пылью, волосами, еще чем-то мелкозернистым. Я посмотрел на фильтр, потом встал и выбросил его в мусорное ведро.

Теперь он работал безостановочно. Не прерываясь на объяснения. Он вошел в кухню с флаконом, в котором было несколько капель зеленой жидкости. Подставил флакон под кран и наполнил.

— Имейте в виду, я ничего не смогу заплатить. Я не смог бы заплатить и доллара, даже чтобы спасти собственную жизнь. Вам придется списать меня в графу убытков. Вы зря тратите на меня время.

Я хотел внести ясность, во избежание недоразумений.

Он продолжал свою работу. Присоединил к шлангу новую насадку, каким-то хитрым образом подвесил к ней флакон. Он медленно продвигался по ковру, время от времени выжимая тонкие изумрудные струйки, водя щеткой по ворсу, размазывая комки пены.

Я сказал все, что хотел. Теперь я спокойно сидел на стуле в кухне и наблюдал, как он работает. Иногда я посматривал в окно, за которым шел дождь. Начинало темнеть. Он выключил пылесос. Он стоял в углу рядом с входной дверью.

— Хотите кофе? — спросил я.

Он тяжело дышал. Он вытер лицо.

Я поставил греться воду, и когда она закипела и я выставил две чашки, он уже все разобрал и сложил обратно в баул. Затем он подобрал письмо. Прочел адрес и внимательно посмотрел на адрес отправителя. Сложил письмо пополам и сунул в задний карман. Я смотрел на него. Только смотрел, и больше ничего. Кофе начал стынуть.

— Это мистеру Слейтеру, — сказал он. — Я этим займусь. Наверно, я обойдусь без кофе. Лучше не топтать ковер. Я его только что вымыл шампунем.

— Это правда, — согласился я. Потом я спросил: — Вы уверены в имени адресата?

Он достал с дивана пиджак, надел его и открыл дверь. Дождь все еще шел. Он вступил в боты, застегнул их, надел плащ и обернулся.

— Вы хотите посмотреть? Вы мне не верите?

— Просто показалось странно, — сказал я.

— Ладно, мне надо идти, — сказал он. Но он не двигался с места. — Вам нужен пылесос или нет?

Я посмотрел на большой баул, уже закрытый и готовый к путешествию.

— Нет, — ответил я, — наверно, нет. Я скоро отсюда съеду. Он будет только мешаться.

— Понятно, — сказал он и захлопнул за собой дверь.

Осторожно

ПОСЛЕ бесконечных разговоров – которые Инес, его жена, называла *прояснением ситуации* – Ллойд из их общего дома съехал к себе на квартиру. У него было две комнаты с ванной на верхнем этаже трехэтажного дома. В комнатах потолок был резко скошен. Ходя по квартире, он пригибал голову. Приходилось наклоняться, чтобы посмотреть в окно, а ложась в постель и вставая, следить, как бы не удариться. Ключей было два. С одним он входил в дом. По нескольким ступеням всходил на лестничную площадку перед дверью хозяйки. Потом поднимался еще на один пролет к двери своей комнаты и вставлял в замок второй ключ.

Однажды днем, возвращаясь к себе и неся в рюкзаке три бутылки шампанского "Андре" и кусок ветчины, он остановился на площадке и заглянул в гостиную хозяйки. Старуха лежала на ковре лицом вверх. Она, казалось, спала. Вдруг он подумал, не умерла ли она. Но телевизор работал, и он решил считать, что она спит. Он не знал, как к этому отнестись. Перекинул рюкзак с одного плеча на другое. Тут женщина кашлянула, придвинула левую руку к груди и снова замерла. Ллойд поднялся по лестнице и отпер свою дверь. Ближе к вечеру того же дня, выглянув из кухонного окна, Ллойд увидел старуху во дворе – в соломенной шляпе, с прижатой к груди рукой. Из маленькой лейки она поливала анютины глазки.

На кухне стоял холодильник, совмещенный с плитой, – крохотная конструкция, втиснутая между стеной и раковиной. Чтобы достать что-нибудь из холодильника, приходилось нагибаться, чуть ли не вставать на колени. Но это было неважно – он мало что там хранил, кроме сока, ветчины и шампанского. У плиты было две горелки. Он постоянно кипятил воду в кастрюльке и заваривал растворимый кофе. Но выпадали дни, когда он вообще не пил кофе – или забывал, или просто не хотелось. Однажды утром он проснулся и сразу набросился на пончики и шампанское. Было время, несколько лет назад, когда он бы расхохотался над таким завтраком. А теперь он не увидел здесь ничего странного. Более того, он вообще об этом не задумывался, пока не лег в постель и не попытался вспомнить все, что сделал за день, начиная с самого утра. Сначала он не смог вспомнить ничего примечательного. Потом вспомнил, как ел пончики и пил шампанское. Было время, когда он счел бы такой завтрак затеей слегка диковатой, о которой стоило бы рассказать приятелям. А теперь, чем больше он об этом думал, тем яснее понимал, что ничего интересного здесь нету. Да, он позавтракал пончиками с шампанским. И что?

В гостиной стояли обеденный стол, диванчик, мягкое кресло и телевизор на журнальном столике. За электричество платил не он, и даже сам телевизор был хозяйский, так что он часто оставлял его включенным на целые сутки. Но звук он включал, только если начиналось что-то интересное. Телефона не было; но для него это не было минусом. Ему не хотелось телефона. В спальне стояли двуспальная кровать, тумбочка, комод; при спальне была ванная.

В тот единственный раз, когда к нему пришла Инес, было одиннадцать утра. Он уже две недели как переехал и все думал, заглянет она или нет. Но при этом он пытался бросить пить и поэтому был скорее рад,

что один. Он дал это понять вполне ясно — ему нужнее всего остаться одному. В тот день, когда она пришла, он лежал на диване в пижаме и бил себя кулаком в правый висок. Прежде чем ударить в очередной раз, он услышал снизу, с площадки, голоса. Он узнал голос жены. Звук был похож на ропот далекой толпы, но он понял, что это Инес и что пришла она не просто так. Он еще раз ткнул кулаком в висок и встал с дивана.

Проснувшись этим утром, он обнаружил, что правое ухо забито серой. Все звуки стали неотчетливыми, и он словно утратил чувство равновесия. Весь последний час он пролежал на диване, то отчаянно трудясь над оглохшим ухом, то колотя себя по голове. Время от времени он массировал ушной хрящ или дергал за мочку. А потом снова яростно рылся мизинцем в глубине уха и раскрывал рот, как будто зевая. Он испробовал все, что только мог придумать, и уже был близок к отчаянию. Голоса внизу прервали свое бормотание. Он крепко стукнул по голове и допил стакан шампанского. Выключил телевизор, поставил стакан в раковину. Взял с сушки бутылку из-под шампанского, перенес ее в ванную и поставил под унитаз. И тогда пошел открывать дверь.

— Привет, Ллойд, — сказала Инес. Она не улыбнулась. Она стояла в проеме в ярком весеннем наряде. Раньше он не видел этого платья. Она держала холщовую сумочку с пришитыми с обеих сторон подсолнухами. Этой сумочки он тоже раньше не видел. — Не думала, что ты меня услышишь, — сказала она. — Думала, ты ушел или еще что-нибудь. Но эта женщина внизу — как ее звать? Миссис Мэтьюз? — она сказала, ты у себя.

— Я тебя слышал, — ответил Ллойд. — Но еле-еле. — Он подтянул пижаму и провел рукой по волосам. — Вообще-то я в жутком состоянии. Проходи.

— Уже одиннадцать часов, — сказала она. Она вошла в комнату и захлопнула за собой дверь. Она вела себя так, словно не услышала его слов. Может быть, и в самом деле не услышала.

— Я знаю, который час, — сказал он. — Я уже давно встал. Я встал в восемь утра. Я уже посмотрел кусок "Этого дня". Но сейчас я просто рехнусь из-за одной вещи. У меня ухо забилось. Такое уже было, помнишь? Мы жили еще у китайской кулинарии. Где дети нашли того бульдога с обрывком цепи. Мне пришлось пойти к доктору и промыть уши. Конечно, ты помнишь. Ты меня отвезла, и мы еще долго ждали. Так вот, сейчас то же самое. То есть так же плохо. Только теперь я не могу пойти к доктору. Потому что у меня нет доктора. Я сейчас свихнусь, Инес. Я готов себе голову отрубить.

Он сел на один конец дивана, а она села на другой. Но диван был маленький, и они все равно оказались близко друг к другу. Они сидели так близко, что он мог бы, протянув руку, дотронуться до ее колена. Но он не дотронулся. Она оглядела комнату и снова уставилась на него. Он знал, что небрит и нечесан. Но она была его женой и знала о нем все, что только можно было знать.

— Чем ты уже пробовал? — спросила она. Она раскрыла сумочку и вынула сигарету. — Я имею в виду, какими средствами?

— Что ты сказала? — Он повернулся к ней левым ухом. — Инес, клянусь, я не преувеличиваю. Я говорю как будто внутри бочки. В голове гремит. И слышу я плохо тоже. Твои слова до меня доходят как по водопроводу.

— У тебя есть ватные палочки или растительное масло?

— Голубушка, мне не до шуток, — сказал он. — Нет у меня никаких палочек и никакого масла.

— Если бы у нас было масло, я бы его подогрела и накапала тебе в ухо. Моя мать так делала, — сказала она. — Там бы внутри все размягчилось.

Он потряс головой. Казалось, в голове плещет какая-то жидкость. Такое же чувство было, когда он плавал в городском бассейне и выныривал с ушами, полными воды. Но тогда вытряхнуть воду было нетрудно. Нужно было только набрать полные легкие воздуха, закрыть рот и зажать нос. После этого он надувал щеки и впускал воздух в голову. В ушах хлопало, и несколько секунд он наслаждался тем, как вода вытекает из ушей и капает на плечи. И тогда он выпрыгивал из бассейна.

Инес докурила сигарету.

— Ллойд, нам есть о чем поговорить. Но боюсь, придется все делать по порядку. Садись на стул. Не на этот стул, а который в кухне! Там мы сможем немного прояснить ситуацию.

Он снова стукнул себя по голове. Потом сел на стул. Она подошла и встала сзади. Потрогала его волосы. Потом убрала волосы с ушей. Он потянулся к ее руке, но она ее отдернула.

— В каком, ты говоришь, ухе? — спросила она.

— В правом, — ответил он. — В правом ухе.

— Во-первых, — сказала она, — сиди вот так и не двигайся. Я найду шпильку и салфетку. Попробую забраться туда. Может быть, все и получится.

Он встревожился при мысли, что она засунет ему в ухо шпильку. Он сказал ей об этом.

— Что? — переспросила она. — Господи, я тоже тебя не слышу. Может, это заразно.

— Когда я был маленьким, в школе, — сказал Ллойд, — у нас были уроки здоровья. Их вела медсестра. И она говорила, чтобы ничего меньше, чем локоть, мы никогда в ухо не совали. — Он смутно помнил плакат с подробной схемой уха, со сложной системой каналов, проходов и стенок.

— Конкретно с такой проблемой твоя медсестра не сталкивалась, — сказала Инес. — В общем, надо попробовать хоть что-нибудь. Сперва попробуем это. Не выйдет одно, попробуем другое. Жизнь так ведь и устроена, правда?

— Ты на что-то намекаешь? — спросил Ллойд.

— Я ни на что не намекаю. Но ты волен думать что тебе угодно. Это же свободная страна, — сказала она. — Так, теперь я подготовлю все что нужно, а ты сиди тут.

Она порылась в сумочке, но не нашла того, что искала. Она вывернула сумочку на диван.

— Ни единой шпильки, — сказала она. — Черт. — Но эти слова она говорила будто из другой комнаты. Даже будто он только воображал, что она их говорит. Когда-то, очень давно, они чувствовали, что телепатически читают мысли друг друга. Они могли друг за друга заканчивать фразы.

Она достала маникюрные ножницы, повозилась с ними минуту, и он увидел, что инструмент раздвоился у нее в руках. Теперь из ножниц торчала пилка. Она словно держала в руке небольшой кинжальчик.

— Вот это ты хочешь сунуть мне в ухо? — спросил он.

— А у тебя есть другие идеи? — сказала она. — Или это, или уж не знаю что. Может, у тебя есть карандаш? Или штопор где-нибудь завалялся? — сказала она и засмеялась. — Не бойся, Ллойд, я тебя не пораню. Я же сказала, что буду очень осторожно. Просто оставайся на месте, а я поищу салфетку и сделаю тампон.

Она пошла в ванную. Он сидел на кухонном стуле. Он начал обдумывать то, что должен ей сказать. Он хотел ей сказать, что перешел исключительно на шампанское. Он хотел сказать, что и дозу шампанского уже понемногу снижает. Что переход на полную трезвость — уже только вопрос времени. Но когда она вернулась в комнату, он не смог ничего сказать. Он не знал, откуда начать. Она не смотрела в его сторону. Выудила сигарету из груды вещей, которые вывалила из сумки на диван. Прикурила от зажигалки и встала у окна, выходившего на улицу. Она что-то сказала, но он не разобрал слов. Когда она умолкла, он ее не переспросил. Что бы она ни сказала, ему не хотелось, чтобы она это повторяла. Она потушила сигарету. Но продолжала стоять у окна, наклонившись к стеклу, почти касаясь головой скошенного потолка.

— Инес, — позвал он.

Она обернулась и подошла. Он увидел салфетку, обмотанную вокруг пилки.

— Поверни голову и держи ее вот так, — сказала она. — Да, вот так. Теперь сиди и не шевелись. Не шевелись, — повторила она.

— Осторожно, — сказал он. — Ради бога.

Она не ответила.

— Прошу тебя, — сказал он. И больше ничего уже не говорил. Ему было страшно. Закрыв глаза и задержав дыхание, он ощущал, как пилка ввинчивается внутрь уха и его зондирует. Ему казалось, что сердце вот-вот остановится. Затем она продвинула пилку чуть глубже и начала водить лезвием вперед и назад, разрыхляя то, что было внутри. В глубине уха он вдруг услышал резкий писк.

— Ай! — сказал он.

— Задела? — Она вынула пилку из его уха и отступила на шаг. — Есть какая-то разница, Ллойд?

Он поднес руки к ушам и наклонил голову.

— Нет, все то же самое, — сказал он.

Она посмотрела на него и прикусила губу.

— Дай я схожу в ванную, — сказал он. — Прежде чем продолжать, мне нужно сходить в ванную.

— Иди, иди, — сказала Инес. — А я спущусь к хозяйке и спрошу у нее масла, что ли. А может, у нее и ватные палочки есть. Странно, что я не сообразила сразу. У нее спросить.

— Отличная идея, — сказал он. — А я пошел в ванную.

В дверях она остановилась и посмотрела на него, а потом открыла дверь и вышла. Он прошел через гостиную в спальню и открыл дверь ванной. Просунул руку за унитаз и достал бутылку шампанского. Сделал большой глоток. Шампанское было теплым, но пошло легко. Он отпил еще. Сначала он действительно считал, что сможет не бросать пить, если перейдет на одно только шампанское. Но очень быстро обнаружилось, что он выпивает три или четыре бутылки за день. Он понимал, что должен побыстрее с этим покончить. Но сначала нужно вернуть

слух. Все по порядку — как она и говорит. Он допил шампанское и поставил бутылку обратно за унитаз. Потом включил воду и почистил зубы. Утершись полотенцем, он вернулся в комнату.

Инес уже вернулась и что-то грела на плите в небольшой кастрюльке. Она посмотрела в его сторону, но сначала ничего не сказала. Глядя поверх ее плеча, он посмотрел в окно. С дерева на дерево перепорхнула птица и начала чистить перья. Но если она и издавала какие-то свои, птичьи, звуки, он их не слышал.

Инес что-то сказала, он не разобрал что.

— Повтори, — сказал он.

Она помотала головой и отвернулась к плите. Но потом снова повернулась к нему и произнесла громко и медленно, так что он ее понял:

— Я нашла в ванной твою заначку.

— Я снижаю дозу, — сказал он.

Она сказала что-то еще.

— Что? — переспросил он. — Что ты говоришь? — Он и в самом деле не расслышал.

— Поговорим потом, — сказала она. — Нам есть что обсудить, Ллойд. Во-первых, деньги. Есть и другие вопросы. Но сначала займемся ухом. — Она окунула палец в кастрюльку и сняла ее с плиты. — Пусть минуту остынет, — сказала она. — Слишком горячее еще. Садись. Укрой плечи полотенцем.

Он покорно подчинился. Сел на стул и обернул полотенце вокруг шеи и плеч. Потом стукнул кулаком по виску.

— Черт бы все это побрал, — сказал он.

Она не подняла голову. Она снова проверила пальцем температуру. Потом перелила жидкость из кастрюльки в пластиковый стакан. Взяла стакан и подошла к нему.

— Не бойся, — сказала она. — Это просто детское масло твоей хозяйки. Я сказала ей, что случилось, и она думает, оно поможет. Естественно, без гарантии, — сказала Инес. — Но может и размягчить. Она говорит, такое случалось с ее мужем. Она говорит, однажды у него из уха выпал кусок серы, словно большая пробка от чего-то. А это была просто ушная сера. Она говорит, попробуйте масло. А палочек ватных у нее нет. Я просто не понимаю, как это у нее нет ватных палочек. Удивительно.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо. Я согласен попробовать что угодно. Инес, если я останусь как сейчас, то лучше мне умереть. Ты слышишь? Я не шучу, Инес.

— Наклони голову набок, до упора, — сказала она. — Не шевелись. Я буду лить масло, пока ухо не наполнится, а потом заткну вот этим полотенцем. А ты просто посидишь вот так минут десять. А тогда посмотрим. Если не сработает, других идей у меня что-то нету. Просто не знаю, что тогда делать.

— Сработает, — сказал он. — Если не сработает, я найду ружье и застрелюсь. Я не шучу. К тому же мне все равно этого хочется.

Он нагнул голову набок. Он присмотрелся к обстановке в этой непривычной перспективе. Но никакой разницы с прежним ракурсом не было, кроме того, что все легло набок.

— Еще, — сказала она.

Он ухватился за стул, чтобы не потерять равновесие, и наклонил голову еще ниже. Все вещи в его поле зрения, все вещи в его жизни слов-

но сгрудились в дальнем конце комнаты. Он чувствовал, как теплая жидкость течет ему в ухо. Потом она приложила к уху полотенце и прижала. Немного погодя она начала массировать область вокруг уха. Надавила на мягкую впадину между челюстью и черепом. Переместила пальцы в область над ухом и подвигала кончиками пальцев. Он уже не понимал, сколько сидит на этом стуле. Может быть, десять минут. Может быть, дольше. Он по-прежнему держался за стул. Когда ее пальцы надавливали сильнее, он чувствовал, как теплое масло переливается в ушных каналах. Когда она нажимала каким-то особым образом, ему казалось, что он слышит тихий шелест.

— Сядь прямо, — сказала Инес. Он выпрямился и придерживал затылок запястьем, пока жидкость выливалась из уха. Инес подбирала ее полотенцем. Потом вытерла ухо снаружи.

Инес шумно дышала носом. Ллойд слышал звук ее вдохов и выдохов. Он слышал машину, проезжавшую по улице перед домом, слышал четкое щелканье садовых ножниц под кухонным окном на черном дворе.

— Ну? — спросила Инес. Она ждала ответа, уставив руки в боки, насупившись.

— Я тебя слышу, — сказал он. — То есть я слышу. Мне уже не кажется, что ты говоришь из-под воды. Все хорошо. Отлично. Господи, я думал, что рехнусь. Но теперь все хорошо. Я все слышу. Дорогая, дай я сварю кофе. И сок есть.

— Мне надо идти, — сказала она. — Я кое-куда опаздываю. Но я вернусь. Мы где-нибудь пообедаем. Нам надо поговорить.

— Мне просто нельзя спать на этом боку, вот в чем дело, — продолжал он. Он пошел за ней в гостиную. Она закурила. — Вот в чем дело-то. Я спал всю ночь на этом ухе, и оно забилось. Со мной все будет хорошо, если не спать на этом боку. Если я буду осторожен. Понимаешь, в чем дело? Главное — спать на спине или на левом боку.

Она не смотрела на него.

— Не навсегда, разумеется. Я бы и не смог. Не смог бы всю жизнь только так. Но какое-то время. На левом боку или плашмя на спине.

Но, еще не договорив, он уже начал бояться предстоящей ночи. Он начал бояться того момента, когда начнет готовиться ко сну, и всего, что будет потом. До этого момента еще оставалось несколько часов, а он уже боялся. А вдруг посреди ночи он случайно повернется на правый бок и тяжесть вдавленной в подушку головы снова закупорит серой темные каналы в его ухе? Вдруг под этим скошенным, смотрящим прямо ему в лицо потолком он проснется оглохший?

— Господи ты боже мой, — сказал он. — Господи, это ужасно. Инес, у меня только что был настоящий кошмар. Инес, куда тебе надо идти?

— Я же сказала, — ответила она, складывая вещи обратно в сумочку и готовясь уходить. Она посмотрела на часы. — Я кое-куда опаздываю. — Она подошла к двери. Но у двери остановилась и что-то сказала. Он не слушал. Не хотел слушать. Он смотрел, как движутся ее губы, пока она не договорила то, что собиралась сказать. Договорив, она сказала: — До свидания. — Потом открыла дверь и закрыла за собой.

Он пошел в спальню одеться. Но сразу же выскочил оттуда в одних штанах и подошел к двери. Открыл ее и постоял, прислушиваясь. Он услышал, как внизу на площадке Инес благодарит миссис Мэтьюз за масло. Услышал, как старуха отвечает: "Всегда рада помочь". А потом услышал,

как она сравнивает его с покойным мужем. Он услышал, как она говорит: "Оставьте мне ваш номер. Если что случится, я позвоню. Всякое бывает".

– Надеюсь, вам не придется звонить, – сказала Инес. – Но я все равно оставлю. У вас есть на чем записать?

Ллойд услышал, как миссис Мэтьюз открывает ящик и роется в нем. Потом голос старухи произнес: "Хорошо".

Инес назвала их домашний номер.

– Спасибо, – сказала Инес.

– Приятно было познакомиться, – сказала миссис Мэтьюз.

Он слушал, как Инес спускается по ступенькам и открывает входную дверь. Потом услышал, как дверь закрылась. Он ждал, пока Инес не завела машину и не уехала. Тогда он закрыл свою дверь и вернулся в спальню, чтобы наконец одеться.

Надев ботинки и завязав шнурки, он лег на кровать и до подбородка укрылся одеялом. Руки вытянул вдоль туловища. Закрыл глаза и представил, что уже ночь и что он засыпает. Потом выпростал руки и скрестил их на груди, чтобы проверить, как ему лежится в таком положении. Глаза он не открывал. Хорошо, думал он. Ладно. Если он не хочет, чтобы ухо снова забилось, надо спать на спине, вот и все. Он знал, что справится. Ему просто нельзя забываться, даже во сне, и поворачиваться на правый бок. Да и больше четырех-пяти часов сна за ночь ему и не нужно. Он справится. С человеком случаются вещи и пострашнее. Можно даже назвать это испытанием. Но он его выдержит. Знал, что выдержит. И он сдернул одеяло и встал.

Впереди по-прежнему оставалась бóльшая половина дня. Он пошел в кухню, нагнулся к крохотному холодильнику и достал непочатую бутылку шампанского. Вынул как мог осторожно пластиковую пробку, но праздничный хлопок все-таки раздался. Он взял стакан из-под детского масла, протер его и доверху налил шампанским. Со стаканом перешел к дивану и сел. Он поставил стакан на журнальный столик. Откинулся на спинку и вытянул ноги на столик рядом со стаканом. Но, немного погодя, его снова встревожила мысль о предстоящей ночи. А вдруг, вопреки всем его стараниям, сера решит закупорить ему другое ухо? Он закрыл глаза и потряс головой. Быстро вскочил и пошел в спальню. Разделся и снова надел пижаму. Потом вернулся в гостиную. Снова сел на диван и снова положил ноги на столик. Протянул руку и включил телевизор. Отрегулировал звук. Он знал, что не перестанет беспокоиться о том, что случится ночью, когда он ляжет. Просто придется научиться с этим жить. Почему-то он вспомнил о пончиках и шампанском. В конце концов, если подумать, ничего особенного в таком завтраке нет. Он отхлебнул шампанского. Но у него был странный вкус. Он облизнул губы, потом утер рот рукавом. Посмотрел и увидел на шампанском тонкую масляную пленку.

Он встал, подошел к раковине и вылил стакан. Взял бутылку в гостиную и устроился на диване. Он пил, держа бутылку за горлышко. Он не привык пить из бутылки, но это не казалось таким уж нелепым. Он подумал, что даже если заснет сидя на диване посреди дня, это будет ненамного страннее, чем часами лежать на спине. Он нагнул голову, чтобы выглянуть в окно. Судя по углу лучей и падавших в комнату теней, было около трех часов дня.

Перевод Г. Дашевского

Велосипеды, бицепсы, сигареты

ПОЗАВЧЕРА Эван Гамильтон бросил курить, и уже два дня его преследовало ощущение: все, что он делает и говорит, напоминает о сигаретах. Он глянул на свои руки, залитые светом кухонной лампы. Поднес правую к лицу и понюхал пальцы:

— Пахнет.

— Ну да. Будто потеешь этим запахом, — кивнула Энн Гамильтон. — Я, когда бросала, — он меня три дня преследовал. Выходишь из ванной, а он все равно с тобой. Противно... — Она поставила на стол тарелки. — Я ведь понимаю... Знаешь, слабое утешение, но поверь: на второй день — хуже всего. Третий тоже не сахар, но, если продержался, считай, легче. Я рада, что ты всерьез надумал бросать... — Она коснулась его руки. — Позовешь Роджера? И сядем ужинать.

Гамильтон вышел за дверь. На улице уже стемнело. Было начало ноября, когда дни короткие и прохладные. На дорожке, ведущей к дому, Гамильтон заметил парнишку на приземистом, явно недешевом, велосипеде. Раньше Гамильтон его никогда не видел. Парнишка сполз на сиденье вперед и стоял, касаясь носками земли, удерживая равновесие.

— Мистер Гамильтон? — спросил он.

— Да... А в чем дело? Роджер?

— Ну... Роджер... Он у нас — с ним мама, они там выясняют... Он, Кип и, как его... Гэри Берман. Что-то про велосипед брата. В общем, не знаю... — пробормотал парнишка, сжимая резиновые ручки на руле велосипеда. — Но мама сказала, чтоб я поехал и позвал вас. Ну, кого-нибудь из родителей Роджера.

— Но с ним ничего не случилось? — спросил Гамильтон. — Нет, конечно... Ну, пойдем...

Он зашел на минуту в дом надеть ботинки.

— Нашел его? — спросила жена.

— Да там какие-то проблемы — что-то с велосипедом, — пожал плечами Эван Гамильтон. — На улице ждет парнишка — не разобрал имя... Сказал, чтоб кто-нибудь из нас сходил к его маме.

— Но ничего не случилось?

— Да нет, не случилось, — Гамильтон посмотрел на жену и покачал головой. — Какая-то мальчишеская ссора, мать парня вмешалась...

— Может, мне пойти?

На мгновение Гамильтон задумался:

— Наверно, лучше тебе... Ладно, сам схожу. Подожди пока с ужином. Оно вряд ли надолго.

— Не нравится мне, что Роджер гуляет по ночам, — покачала головой Энн Гамильтон. — Ох, не нравится.

Парнишка сидел на велосипеде и то нажимал, то отпускал ручной тормоз.

— Далеко идти? — спросил Гамильтон, когда они тронулись.

— На Арбакл-корт, — ответил парнишка и, поймав взгляд Гамильтона, добавил: — Рядом. Два квартала.

— В чем дело-то? — спросил Гамильтон.

— Я не все понял... Брат был на каникулах, а Роджер, Кип и этот, Гэри Берман, катались на его велосипеде... Ну, и раздолбали его. Вроде то-

го... Не знаю. Они говорили: брат не может найти велосипед, а Кип и Роджер последними на нем катались. А мама пытается выяснить, где велик.

– Кипа я знаю, – кивнул Гамильтон. – А еще кто?

– Гэри Берман. Эти Берманы – они недавно сюда переехали. Его отец... Он придет. Вернется с работы и придет.

Они свернули за угол. Парнишка ехал чуть впереди. Гамильтон приметил какой-то сад, потом они свернули еще раз – в тупиковую улочку. Он и не подозревал о ее существовании и совсем не знал никого, кто здесь живет. Окинул взглядом незнакомые дома – и его скребанула мысль: а что он знает о жизни сына?

Парень свернул на дорожку, ведущую к дому, соскочил с велосипеда. Поставил велосипед у стены. Открыл дверь – и Гамильтон прошел вслед за ним через гостиную в кухню, где увидел сына. Они сидели за столом – Роджер, Кип Холлистер и еще какой-то мальчишка. Гамильтон пристально посмотрел на сына, потом перевел взгляд на полную темноволосую женщину, сидевшую на другом конце стола.

– Вы – отец Роджера? – спросила та.

– Да. Эван Гамильтон, – представился он. – Добрый вечер.

– А я – миссис Миллер, мама Гилберта, – сказала женщина. – Простите, что вытащила вас, но надо разобраться...

Гамильтон опустился на стул напротив женщины и обежал взглядом комнату. Мальчишка лет десяти – это у него исчез велосипед, решил Гамильтон, – сидел рядом с женщиной. Еще один мальчик, лет четырнадцати, болтая ногами в воздухе, сидел на сушке для посуды, глядя на парня, который говорил по телефону. Ухмыльнувшись какой-то фразе на другом конце провода, парень потянулся к раковине выбросить в нее сигарету. Гамильтон слышал, как зашипела сигарета, упав в воду. Парнишка, который его привел, скрестив руки на груди, прислонился к холодильнику.

– Застал кого-нибудь из родителей Кипа?

– Сестра Кипа сказала, они уехали в магазин. Я зашел к отцу Гэри Бермана – он обещал быть через несколько минут. Я оставил ему адрес.

– Мистер Гамильтон, – начала женщина. – Я сейчас расскажу, в чем дело. Мы на месяц уезжали в отпуск, и Кип попросил у Гилберта велосипед – чтобы Роджер помог ему развозить газеты. У Роджера что-то было с велосипедом – то ли прокол шины, то ли еще что. Ну, и вот...

– Пап! Гэри хотел меня задушить, – вмешался Роджер.

– Что?! – Гамильтон встревоженно посмотрел на сына.

– Гэри хотел меня задушить. Видишь – даже следы остались, – сын потянул вниз вырез футболки, показывая шею.

– Дело происходило у нас в гараже, – продолжала женщина. – Не знаю, что уж там было, но в гараж заглянул Курт, мой старший.

– Он первый начал, – выкрикнул Гэри Берман, повернувшись к Гамильтону. – Зачем он начал обзываться? Обозвал меня тупицей, – Гэри уставился на входную дверь.

– Парни, мой велик стоит шестьдесят долларов! – И вы должны заплатить их! – срывающимся голосом объявил Гилберт.

– Давай ты не будешь лезть, – шикнула на него женщина.

Гамильтон постарался взять себя в руки.

– Продолжайте, – кивнул он.

— Как выяснилось, Кипу и Роджеру был нужен велосипед, чтобы развозить газеты. А потом они, и с ними еще Гэри, принялись его запускать.

— Запускать? Что значит "запускать"? — не понял Гамильтон.

— Запускать, — кивнула женщина. — Вниз под горку — и пускай катится, пока не упадет. А потом — они сами признались, за пару минут до вашего прихода, — они взяли его в школу и там запускали в футбольные ворота.

— Это правда, Роджер? — спросил Гамильтон, глядя на сына.

— Ну... правда, — пробормотал Роджер, не поднимая глаз и барабаня пальцами по столу. — Но... мы запускали его всего один раз. Сперва Кип, потом Гэри, а потом я...

— Всего один раз? Не многовато ли выходит, Роджер? Один, да один... Плохо, Роджер... Вот уж не ждал от тебя... И от тебя тоже, Кип, — сказал Гамильтон.

— Понимаете, — продолжала женщина, — дело в том, что они — кто-то из них — темнит или недоговаривает... Я знаю только одно: велосипед исчез.

Парнишка постарше, который сидел на сушке, рассмеялся и стал передразнивать парня, говорящего по телефону.

— Мы не знаем, где велосипед, миссис Миллер, — сказал Кип. — Мы же говорили: последний раз мы с Роджером видели велосипед, когда после школы отвозили его ко мне домой. В смысле не последний, а перед тем. А последний раз был, когда я потом утром приехал сюда и поставил его за домом. — Он покачал головой. — Мы не знаем, где он, — повторил он.

— Шестьдесят долларов, — объявил Гилберт, глядя на Кипа. — Можете в рассрочку: пять долларов в неделю.

— Гилберт, я последний раз повторяю... — повысила голос женщина. — Видите: они утверждают, что велосипед исчез уже отсюда, — женщина слегка нахмурилась. — Но верить им или нет... Они все время увиливают от ответа.

— Ну мы же всё сказали! Всё-всё.

Гилберт откинулся на стуле и отрицательно помотал головой на эти слова.

Звякнул дверной колокольчик, и мальчишка, сидевший на сушке для посуды, соскользнул на пол и скрылся в гостиной.

Широкоплечий стриженный ежиком мужчина с тяжелым взглядом серых глаз, не говоря ни слова, вошел на кухню. Мельком посмотрев на женщину, он обогнул ее и направился к стулу, где сидел Гэри Берман.

— Мистер Берман? Давайте познакомимся. Я мама Гилберта, а это мистер Гамильтон, отец Роджера.

Мужчина кивнул Гамильтону, но руки не подал.

— В чем дело-то? — спросил он сына.

Мальчишки за столом бросились наперебой рассказывать.

— А ну, молчать! — бросил им Берман. — Я обращаюсь к Гэри. До вас очередь дойдет.

Гэри начал рассказывать, в чем дело. Отец внимательно слушал, время от времени хмурясь, исподлобья оглядывая приятелей сына.

Когда Гэри Берман закончил, женщина сказала:

— Я хочу докопаться до правды. Я никого не виню. Поймите, мистер Гамильтон, мистер Берман... Я просто хочу докопаться до правды, — она пристально посмотрела на Роджера и Кипа, они же, как один, обернулись к Гэри Берману.

— Все было не так, Гэри! — воскликнул Роджер.

— Пап, можно с тобой поговорить? С глазу на глаз? — спросил Гэри Берман.

— Пойдем, — кивнул мужчина, и они вышли в гостиную.

Гамильтон проводил их взглядом. Он чувствовал, что их надо остановить — нечего им секретничать. Ладони его вспотели, и он потянулся к карману рубашки, чтобы достать сигареты. Потом, глубоко вздохнув, поднес руку тыльной стороной к лицу и сказал:

— Роджер, ты что-нибудь знаешь, кроме того, что вы рассказали? Знаешь, где велосипед Гилберта?

— Нет, — тряхнул головой мальчик. — Правда не знаю.

— Когда ты последний раз видел этот велосипед? — спросил Гамильтон.

— Когда мы привезли его из школы и оставили у Кипа.

— Кип, — обернулся Гамильтон к приятелю сына, — ты знаешь, где сейчас велосипед Гилберта?

— Нет, откуда?! — вскинулся парнишка. — Мы брали его в школу, а я утром отвез его сюда и поставил за гаражом.

— Мне казалось, ты сказал, ты поставил его за домом, — подняла брови женщина.

— В смысле — за гаражом. Я это имел в виду, — потупился мальчик.

— А потом ты не брал его покататься? — спросила женщина, подаваясь вперед.

— Нет, — потряс головой Кип.

— Точно? — настаивала женщина.

— Нет! Не знаю я, где он! — не выдержал мальчик.

Женщина только пожала плечами.

— Ну и кому прикажете верить? — обратилась она к Гамильтону. — Как с этим разбираться? Я знаю одно — у Гилберта пропал велосипед.

Гэри Берман с отцом вернулись на кухню.

— Это Роджер предложил запустить его с горки! — заявил Гэри Берман.

— Ты это предложил! — взвился Роджер, вскакивая со стула. — Ты этого хотел! Еще хотел отвезти его в сад и там все с него отвинтить.

— Молчать! — обернулся к Роджеру Берман-старший. — Говорить будешь, когда спросят, сейчас тебя не спрашивают. Гэри, я разберусь с этим. Нет, надо же — срываться среди ночи из-за пары каких-то придурков! А ну, если кто из вас знает, где велосипед, — сказал Берман, пристально глядя на Кипа, потом переведя взгляд на Роджера, — советую выложить все прямо сейчас.

— По-моему, вы нарываетесь, — заметил Гамильтон.

— Да? — обернулся Берман, сдвигая брови. — А по-моему, вам лучше не соваться!

— Роджер, мы уходим, — объявил Гамильтон, вставая. — Кип, ты с нами — или остаешься? — он повернулся к женщине. — Не знаю, что тут можно придумать. Я поговорю с Роджером, но что касается денег — ес-

ли Роджер приложил руку к тому, чтобы доконать этот велосипед, то треть он заплатит.

— Не знаю, что сказать, — вздохнула женщина, провожая Гамильтона через гостиную. — Я поговорю с отцом Гилберта — он сейчас в отъезде. Посмотрим. Знаете, как оно бывает... Но я с ним поговорю.

Гамильтон подался в сторону, пропуская ребят на крыльцо, и услышал за спиной, как Гэри Берман говорит:

— Он обзывал меня тупицей, слышишь, пап!

— Что? Обзывался тупицей? — услышал Гамильтон голос Бермана-старшего. — Да он сам тупица — ты только посмотри на него!

Гамильтон остановился и произнес:

— Вы всерьез нарываетесь. Может, возьмете себя в руки?

— Я же сказал: не суйтесь! — произнес Берман.

— Иди домой, Роджер, — Гамильтон облизнул губы. — Я сказал — домой!

Роджер и Кип ступили на дорожку. Гамильтон стоял в дверях и смотрел на Бермана, идущего через гостиную вместе с сыном.

— Мистер Гамильтон... — нервно начала женщина, но не успела договорить.

— Ну, что нужно? — рыкнул Берман. — Поберегись, прочь с дороги! — Берман двинул Гамильтона плечом, и тот, отступая, шагнул с крыльца в какой-то куст, хрустнувший под ногами. Он не мог поверить, что до этого дошло. Он выбрался из куста и сгреб стоявшего на крыльце мужчину в охапку. Оба тяжело упали на лужайку, перекатились, Гамильтон прижал Бермана к земле, коленями навалился ему на локти. Схватив Бермана за ворот, он равномерно начал впечатывать его затылком в землю, а женщина за спиной кричала:

— Боже, да разнимите же их! Кто-нибудь! Позвоните в полицию!

Гамильтон остановился.

Берман взглянул на него и пробормотал:

— Слезь.

— Вы целы? — охнула женщина, едва они расцепились. — Боже... — Она посмотрела на мужчин, стоящих в метре от нее, повернувшись друг к другу спиной и тяжело дыша. Ее старшие топтались на крыльце и глазели; теперь, когда все было кончено, они все еще чего-то ждали, глядя на мужчин, пихая друг друга кулаками под ребра, в грудь, уходя от тычков соседа.

— Эй, живо в дом, — шуганула их женщина. — Не думала, что так все выйдет... — пробормотала она, держась рукою за сердце.

Гамильтон весь вспотел, легкие горели, когда он пытался вздохнуть поглубже. В горле стоял ком, какое-то время он не мог сглотнуть. Он двинулся по дорожке, с одной стороны шел сын, а с другой — этот парень, Кип. Он слышал, как хлопнула дверь машины, завелся движок. Свет фар отъезжающей машины чирканул по глазам.

Роджер чуть слышно всхлипнул. Гамильтон положил ему руку на плечо.

— Я домой пойду, ладно? — пробормотал Кип, и по лицу его потекли слезы. — Отец будет меня искать...

— Извини, — Гамильтон поморщился. — Извини, что так вышло — лучше тебе этого не видеть, — сказал он сыну.

Они продолжали путь. Когда дошли до своего квартала, Гамильтон убрал руку с плеча сына.

— А если б он схватился за нож, пап? Или за биту?

— Нет, не стал бы он хвататься.

— А если бы схватился? — спросил сын.

— Никогда не скажешь, что́ человек сделает в ярости, — пожал Гамильтон плечами.

Они почти дошли до дверей. Сердце забилось, когда Гамильтон увидел свет в окнах.

— А можно пощупать твои бицепсы? — спросил сын.

— Потом, — сказал Гамильтон. — Сейчас иди ужинай — и быстро в постель. И скажи маме — все в порядке. Я посижу немного на крыльце.

Мальчик переминался с ноги на ногу и смотрел на отца, а потом ворвался в дом и закричал:

— Мам, мам!

Он сидел на крыльце, спиной опершись о стенку гаража и вытянув ноги. Пот на лбу высох. Он чувствовал, как под рубашку забирается холодок.

Однажды он видел, как отец — бледный, неспешно говоривший широкоплечий человек — полез в драку. Дело было в кафе. Противник, с которым дрался отец, батрачил на соседней ферме. Драка была серьезной, и отец, и этот парень здорово наваляли друг другу. Гамильтон любил отца и многое мог о нем вспомнить. Но сейчас в памяти всплыла именно та драка, будто это было самое главное.

Он все еще сидел на крыльце, когда из дома вышла жена.

— Боже мой, — сказала она и положила руки ему на голову. — Иди помойся, а потом поешь и все мне расскажешь. Ужин еще теплый. Роджер пошел спать.

Но он слышал голос сына — тот звал его.

— Он еще не спит, — кивнула жена.

— Я поднимусь к нему, на минутку. А потом выпьем по стаканчику.

Она покачала головой:

— Никак в голове не укладывается.

Он вошел в комнату к сыну и сел в ногах кровати.

— Уже поздно, а ты не спишь: спокойной ночи, — сказал Гамильтон.

— Спокойной ночи, — отозвался мальчик и пристроил руки под голову, растопырив локти в стороны.

Он был в пижаме, от него пахнуло теплом и свежестью — Гамильтон глубоко вдохнул этот запах. Он похлопал сына ладонью, через простыню:

— Не принимай это близко к сердцу. Держись от них подальше и не давай мне повода еще раз услышать, что ты угробил чей-то велосипед. Договорились? — спросил Гамильтон.

Мальчик кивнул. Он выпростал руки из-за головы и принялся теребить простыню.

— Ну и хорошо, — кивнул Гамильтон. — Спокойной ночи.

Он наклонился поцеловать сына, но тот заговорил:

— Пап, а дедушка был такой же сильный, как ты? Ну, когда он был твоего возраста, а ты...

— А мне было девять? Ты про это? Да, наверно. Такой же сильный, — сказал Гамильтон.

— Иногда я совсем не помню, какой он был, — признался мальчик. — Не хочу его забывать. Ничего не хочу забывать, понимаешь? Пап?

Гамильтон не сразу нашелся с ответом, и сын продолжил:

— А когда ты был маленький, это было как у тебя со мной? Ты его больше любил, чем меня любишь? Или так же? — Сын выпалил все это на одном дыхании. Он заворочался под простыней и отвел глаза в сторону. Гамильтон все еще не мог найти ответ, и мальчик спросил:

— А дедушка курил? Я помню, у него была трубка, да?

— Перед смертью он начал курить трубку, верно, — кивнул Гамильтон. — Он долго курил сигареты, а когда сильно огорчался из-за чего-то, бросал, но потом менял марку и снова начинал курить. Вот, смотри, — сказал он. — Понюхай-ка мою ладонь.

Мальчик взял его руку в свои, поднес к носу, вдохнул и сказал:

— Ничем не пахнет. А что, пап?

Гамильтон сам понюхал ладонь, потом пальцы.

— Действительно, — удивился он. — Все выветрилось. — "Неужели продержался?" — подумал он. — Хотел показать тебе, ну да ладно. Поздно уже, давай спи.

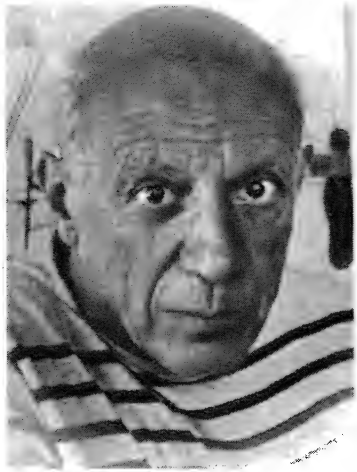
Мальчик повернулся на бок и смотрел, как отец идет к двери, потом, обернувшись, кладет руку на выключатель. Тут мальчик сказал:

— Пап? Ты не подумай, что я того, но — я хотел бы знать тебя, когда ты был маленьким. Ну, как я сейчас. Как бы это тебе объяснить... Мне очень этого не хватает. Понимаешь, я начинаю по тебе скучать уже сейчас, когда об этом думаю. Чушь, да? Ладно, только дверь оставь открытой!

Гамильтон оставил дверь открытой, потом передумал и наполовину притворил ее.

Перевод А. Нестерова

Пабло Пикассо



Поэтические тексты

Перевод с французского и вступительная статья Михаила Яснова

В 1935 году Андре Бретон прочитал доклад "Сюрреалистическое положение объекта, положение сюрреалистического объекта", в котором отметил, что живопись "сталкивает внутреннее представление с репрезентацией конкретных форм реального мира, стремясь, как в случае с Пикассо, отразить каждый предмет в обобщенности его характеристик; достигнув этого, она приходит к задаче высшего порядка — задаче в полном смысле слова поэтической: по возможности исключить внешний объект как таковой, рассматривая природу лишь в ее соотношении с внутренним миром сознания".

Именно такую задачу можно увидеть в поэтических текстах Пабло Пикассо; как раз в это время он и начинает писать, причем неистово, вовсю эксплуатируя приемы, почерпнутые из живописи, демонстрируя вязкий, буксующий — с неожиданными взрывами и провидческими порывами — "внутренний мир сознания".

В 1935 году Пикассо уже пятьдесят четыре года. Он переживает творческий кризис, расстается с женой Ольгой, начинает новую жизнь. Он почти забросил живопись, однако увлеченно пишет тексты, причем именно то, что он называет поэзией. Поначалу он пишет чуть ли не ежедневно и продолжает писать вплоть до 1959 года; корпус его произведений насчитывает более трехсот пятидесяти стихотворений и три пьесы, все — чистый эксперимент, все вне каких бы то ни было рамок и правил.

Не будучи сюрреалистом в живописи, Пикассо куда ближе к этому движению в своих литературных произведениях. Еще в 1928 году в статье "Сюрреализм и живопись" Бретон отмечал, что сюрреализм должен пройти там, где "прошел или

© Le Cherche Midi Éditeur, 2005
© Михаил Яснов. Перевод, вступительная статья, 2007
Журнальный вариант. Полностью книга выйдет в издательстве "Текст".

пройдет" Пикассо. В литературе мы видим ход от противного: Пикассо последовательно идет по пути, намеченному сюрреалистами и их предшественниками. Причем основные постулаты сюрреализма отнюдь не являются для Пикассо-поэта главным источником искусства: для него важнее не автоматизм, а спонтанность, не столько игра подсознательного, сколько осознание самого акта игры-писания.

Пикассо занимает место в той традиции, которая началась во французской поэзии с ее, как говорил поэт Франсис Вьеле-Гриффен, "духовного завоевания" — свободного стиха. От vers libre (свободного стиха) путь шел к vers-prose (стихопрозе), а затем — особенно наглядно в поэтической практике сюрреалистов — к prosème (прозостиху): проза отвоевывала все большее пространство, прежде отводимое непосредственно поэзии. В одном из первых стихотворений, помеченных "28 октября 1935 года" (даты в текстах Пикассо почти всегда играют роль названий), он написал: "Если я думаю на каком-то языке и пишу 'в лесу собака идет по следу зайца' и хочу перевести все это на другой я должен сказать 'стол из белого дерева погружает лапы в песок и почти умирает от боязни понять насколько он глуп'".

При переводе такого типа литературных текстов, основанных не только на сближении далеких ассоциаций, но прежде всего на разрушении (а на самом деле — строительстве заново) всего синтаксического каркаса речи, важно понять, на кого автор оглядывается, чей опыт учитывает, чьи находки берет за образец. Гийом Аполлинер выстраивал, например, своего "Гниющего чародея", вписывая его в "кельтские глубины" традиции. Не заходя столь далеко, можно найти несколько произведений и художественных приемов, с которыми Пикассо перекликается, у непосредственных его предшественников; для читателя эти аллюзии могут оказаться немаловажными, чтобы понять, кого мог иметь в виду сам автор.

За спиной Аполлинера нетрудно разглядеть "про́клятых поэтов", чья поэтическая практика оказалась столь востребованной сюрреалистами, и, как нередко бывает в подобных случаях, нельзя не обратить внимание на явления в общем-то маргинальные: скажем, на заметки, наброски и "листки" Жюля Лафорга с их поэтическими перечнями и рваным синтаксисом или, например, на уникальный эпиграф Тристана Корбьера к его стихотворению "Эпитафия" и подписью "Народная мудрость":

> За исключением любовников которые изначально и конечно вожделеют начать с конца существует еще столько вещей кончающихся началом что начало в конце концов начинает окончательно становиться концом и начиная с этого конца любовники и все прочие в конечном счете первоначально снова начнут с этого начала которое конечно будет всего лишь возобновленным началом и в заключение начнется вечность не имеющая ни конца ни начала до скончания мира и кончится все тем что окончательно исчезнет разница между началом конца и концом начала что является естественным концом всякого начала подобного естественному началу всякого конца а это уже есть законченное начало бесконечности оканчивающейся изначальной нескончаемостью — то есть эпитафия то есть начало начал и наоборот.

Кажется, этот небольшой текст напрямую отсылает нас к поэтическим произведениям Пикассо с их повторами и отсутствием границ внутри речевого потока. У Аполлинера же ассоциации прежде всего ведут к его "Онирокритике", предмету особой гордости поэта; это мир, в котором не существует ни пространства, ни времени, есть только одна субстанция — поэзия как таковая, которую он определяет как "триумф воображения", "образ, не похожий ни на что и напоминающий все":

> Я почувствовал себя свободным, свободным, как цветок в пору цветения. Солнце не более свободно, чем созревший плод. Стадо пасущихся деревьев ощипывало невидимые звезды, и заря протягивала руку буре. В миртовой роще чувствовалось влияние тени... Тени вышли из миртовой рощи и легли в палисадниках — их орошал отросток с глазами человека и зверя. Прекраснейший из людей схватил меня за горло, но мне удалось опрокинуть его на землю. Упав на колени, он оскалился. Я дотронулся до его зубов, из них вырвались звуки и превратились в змей цвета каштанов; змеиный язык носил имя святого Фабо. Они отрыли какой-то прозрачный корень и съели его. Корень был величиной с репу... На небе было полным-полно испражнений и луковиц. Я проклинал эти возмутительные светила, свет которых стекал на землю. Все живое исчезло. Но отовсюду доносилось пение. Я брел к безлюдным городам и ночевал в пустых лачугах...

В этой поэтической медитации логические связи, аллюзии, реминисценции и символы заменены суггестивными прозрениями, затемненными метафорами, игрой удаленных смыслов, всем, что вскормило эстетику сюрреализма и на что так чутко реагировал Пикассо, тексты которого тоже вряд ли подлежат рациональному истолкованию и служат скорее чисто поэтическим, то есть трансцендентным целям.

Еще один из формалистических предшественников Пикассо — безусловно Реймон Руссель, поэт, прозаик, недооцененный при жизни новатор, включенный сюрреалистами в почетный список сотоварищей по литературе. Бретон, представляя Русселя в "Антологии черного юмора", рассказал о своеобразном приеме, которым тот пользовался при написании своих произведений: "Суть этого приема сам Руссель раскрыл лишь в опубликованном посмертно произведении, озаглавленном 'Как я написал некоторые из моих книг'. Теперь мы знаем, что секрет этот заключался в подборе одноименных или по крайней мере очень похожих по звучанию слов, складывавшихся затем в две фразы. <...> Повествование должно было развиваться посредством кропотливой работы с каждым из составлявших эти фразы омонимов: одно такое слово с двойным значением следовало связать с другим при помощи предлога à и так до самого конца". Если предлог à заменить на предлог de, то мы получим весьма схожую картину развития фразы в текстах Пикассо.

Обратная перспектива обостряет зрение: становятся видны некоторые механизмы работы Пикассо с текстом и его звучанием. И тем более интересно сопоставить технику этой работы с приемами и методами тех, кто представлял в поэзии сюрреализма непосредственно живописную линию, — Франсиса Пикабиа и Жана Арпа, работавших с пластикой языка, как работают с красками и глиной, нанизывая на стержень стиха цепочку далеких образов и ассоциаций. Пикассо сделает следующий шаг: разорвет и эти, уже весьма зыбкие, ритмические и синтаксические связи, освободится от мешающих ему ограничений, откажется от привычного канонического порядка слов, от заглавных букв и знаков препинания, лишь изредка прибегая к тире как графическому знаку.

Развертывая бесконечную ленту по большей части визуальных ассоциаций, он все же не забывает о слове как таковом — и здесь вспоминается "продукт" игровой теории сюрреалистов — "слова́ в шляпе": для того, чтобы дать затертым, заштампованным словам новое звучание и новую жизнь, их писали на отдельных листках, клали в шляпу, перемешивали и вынимали наудачу; смысл составленных таким образом фраз был непредсказуем и зависел только от случайностей выборки. Слова, вырванные из жизни и вроде бы вслепую соединенные, тотчас обрастали новым и неожиданным подтекстом.

Подобная случайная выборка в литературном опыте Пикассо осложняется нарочитым отказом от глаголов в личных формах, они заменяются причастиями и деепричастиями, отчего, с одной стороны, еще более затемняется смысл произносимого, а с другой — усиливается симультанность впечатления от всего произведения в целом. К тому же Пикассо любит выстраивать цепочку слов таким образом, чтобы определения или действия перетекали из одного фрагмента текста в другой, соседний, что при отсутствии знаков препинания заставляет читателя в очередной раз разрешать проблему выбора ("казнить нельзя помиловать"), а работа переводчика превращается сначала в труд дешифровщика, а затем — шифровальщика текста.

Это в равной степени относится и к большим, и к самым кратким текстам, которые, как правило, являются лабораторной словесной игрой. Например, стихотворение "11 ноября 1936 года" — "spleen du quart de brie dans son sleeping-car", — основанное на почти точном звуковом отражении начала строки в его конце (spleen du quart — sleeping-car), можно было бы, подхватывая игру, перевести так: "в спальном купе храп вкупе со сплином", выигрывая в многократном пыхтящем "п", однако явно проигрывая в передаче прямого и идиоматического смыслов выражения quart de brie — "четвертушка сыра бри" и "большой нос". Проблемы множатся. Их отягощают и "стихи-вариации", в которых автор бесконечно меняет порядок одних и тех же слов и фраз, используя их точно так же, как он использовал цвет и форму в живописи, или компонуя разные элементы текста, наподобие пластических конструкций.

Не забудем также, что Пикассо, подобно, скажем, Арпу, переходил в поэтических опытах с языка на язык — например, один из последних его поэтических циклов (январь 1959 года) написан по-испански (см. русский перевод — "Иностранная литература", 1970, № 3), — и, как нередко встречается у двуязычных авторов, взгляд со стороны на речь и язык приводит его к любопытным экспериментам и интуитивным сближениям. Один из сюрреалистов первого призыва Мишель Лейрис сопоставлял писания Пикассо с "Поминками по Финнегану" Джеймса Джойса: в конечном счете, Пикассо делает те же попытки мультиязыкового воспроизведения речи, что и Джойс (разве что в данном случае к французскому с вкраплениями испанского безусловно прибавляются языки живописных ассоциаций и аллюзий), — попытки, которые превращают чтение в очередное толкование грамматических фигур и произвольных фрагментов.

Тексты Пикассо, как правило, вписываются в прямоугольник — привычную для него форму холста, доски, листа бумаги. Он почти не прибегает к абзацам, строчки заканчиваются на одной линии правого края, и, как показывают отдельные рукописи, даже в случае работы с поэтическими строками он их вытягивает таким образом, чтобы они заполняли все пространство того материала, на котором фиксируется данный текст.

В 1913 году в одной из статей, посвященных живописи Пикассо, Аполлинер писал: "Имитируя плоскости, чтобы выразить объемы, Пикассо дает столь полный и столь глубокий перечень всевозможных элементов, из которых состоит предмет, что они ничуть не изменяют облик самого предмета, благодаря сотворчеству зрителей, которые вынуждены воспринимать все эти элементы симультанно, учитывая к тому же и сам принцип общей композиции".

Не меньшее сотворчество требуется и от читателя поэтических текстов Пикассо.

поскольку стул вопреки обыкновению не приходит дружески похлопать меня по плечу а кухонный стол не бросается в мои объятья и чайник не целует меня в губы и улыбаясь и хихикая не нашептывает мне на ухо тысячу вещей которые я с трудом понимаю а полотенце и тряпки не принимаются рукоплескать и биться головой о границу отделяющую капельку солнца просочившуюся в окно и мягкую насупленность мрамора несмотря на тысячу украшающих его разноцветных ленточек просто чтобы посмотреть как они пляшут на дремлющей в уголке тарелке зеленый горошек ликует над диалогом toro и коня вопреки очевидности драмы разыгрывающейся и повторяющейся на тысячу ладов той самой которую мне придется выковыривать из глубины взгляда каждого зрителя моей самой тонкой булавкой я бы тем не менее предпочел дать им развлекаться как хочется и прервать действие только в конце корриды и разбудить их лишь когда они все умрут и мулы поволокут их оставляя всю пролитую кровь другим и разве что пытаясь запечатлеть в рентгеновских лучах мой портрет дощечку с доброй сотней обволакивающих меня колдовских мазей и с аппаратом внутри в сердцевине моего тела подготовленного к любым самым неприятным неожиданностям способным умертвить вас от смеха запредельной радости ибо в глазу toro все объясняется цифрами и ничего не ясно в глубине бычьего озера и только запах воспевающий рану может математически выразить пройденный путь подобный вьющемуся удару шпаги более опечаленной при виде жары прерываемой вздохами и прячущейся под юбками чем боли которая заглавными буквами проступает вокруг арены ощущающей бегство капля за каплей вопреки готовой идее пространства и отвлекающей от малейшего движения в саду где теперь не сыщешь детей играющих кто в серсо а кто как маленькие девочки в классики и уже распространяется зловоние и ужас внутренностей лопнувших в окровавленных руках убийц и вываливающихся из чрева лошади и начинается месса корриды и каждый крик пригвождает свою гвоздику к вазе и каждый рот поет четвертованный двумя двойными зеркалами образующими крест и скрепленными веревками которые одним концом привязаны к распаленным сердцам тридцати тысяч мужчин и женщин точь-в-точь знамя которое что ни миг пронзают снаряды покуда каждый из этих моментов кует их из своего кулака прикрепленного к единому раскаленному рукаву одержимому желаниями любви и общности всего народа что роется во внутренностях и пытается руками нащупать сердце а оно ускользает вместе с жизнью toro которому лошадь закрывает копытами плачущие глаза покуда из слез набирается милостыня для завершения нынешнего вечера уже подходящего к границе того возраста когда седлают крылья — и выпрыгивает наружу разбивая ставни и звонит во все колокола в его ухе и приносит парусиновый цвет сирени цветущей под белыми доспехами разодранными до земли дырой мушкетона в цвет масти toro и уже слоеное мороженое распространяет по арене горький холод дежа вю остающийся в его

груди и музыка усиливает его молчание и все резче крик стрижа врывающийся под балдахин куда не добирается запах копченых сардин от которого совершенно забываются иллюзии и не нащупать времени чтобы присесть подле лжи покуда та грубо объясняет свою правду по линиям руки нумерует их и бросает в сторону в клоаку и у каждого своя судьба

28 декабря 1935 года

оседлав этот поздний вечер всей своей печенкой и потрохами припавший к озеру незабудок открытому настежь любому ветру и поддерживая руками крылья разбитые ритмом криков я прогуливался когда внезапно сигарета как безумная обвилась вокруг моего пальца и ужалила меня до крови

12 февраля 1936 года

I

сердцевина отражения его зыбкий кусочек распростерт по властному искушению пространства вероломно расцвеченного пронзающим его светом а черная и такая ласковая буря сжимает его в своих когтях баюкает и лижет за ушком сквозь тюль патефонной пластинки

II

вокруг патефонной пластинки лучащейся своей сердцевиной искушение убитое покалыванием света выпускает его лаская из когтей и сверкающее лезвие его желания скользит в глубине стакана и покусывает воздушное зернышко зарождающейся мелодии

III

вокруг этих кругов пчелиный рой мелодии убивает цвет разрывает уколами воздушный шар надутый надвигающейся грозой и в распростертом клочьями свете парит пространный аромат ее образа

29 февраля 1936 года

плот медузы освобождается от моря чтобы взлететь и овладеть крохотным ледяным следом птицы

если плот медузы наконец освобожденный от оков улетает во тьму
то летит он следом за этим крохотным ледяным следом
если плот медузы сбрасывает цепи и плывет уцепившись концами
пальцев за лохмотья волн то лоб его разбивается вдрызг о камень
брызг птичьего крыла освобожденного от крохотного и ледяного
если плот медузы сбросивший цепи плывет уцепившись концами
пальцев только за эти лохмотья волн то лоб его разбивается вдрызг
о камень брызг изрытый птичьим крылом освободившимся от
подбитой птицы нежной птицы поющей на самом кончике рога
огромного влюбленного быка

22 марта 1936 года

вот хлебная крошка так нежно положенная ее пальцами на краешек
неба настолько голубого дышащего будто это морская раковина
вместо небес флейтист взмахивает крыльями с каждой цветущей
весенней каплей которые превращают в клочья ее платье и окно
раздувается и заполняет комнату и уносит парящие в воздухе ее
длинные волосы

20 мая 1936 года

ах если бы птица вьющая гирлянды часов уснувших в чреве
бронзового паука могла приготовить жаркое из звезд в недрах этого
бриза цифр под яростными ударами козлищ разряженных в перья и
спеть на розовом телеграфном проводе о зрачке голубого яйца на
перевязи подвешенной к пламенеющему гвоздю вбитому точно в
середину лба между рогами на голове того какая тишина

3 октября 1936 года

жалкая шагреневая кожа сжимающая разодранное тело истекающее
кровью любви когда в тесноте венца ее гнезда из колючих ветвей
жалкое воспоминание об аромате жасмина пригвожденное в
глубине ее глаза бьющего в набат во все колокола кусает за шею
радуги грозу пойманную в ловушку гребень зеркало буква
комического алфавита угощение рука расстояние стертый цвет
списка смертных покуда жизнь ставит на огонь в большой
праздничной зале пропахшей капустой котелок с мясом надежд и
улыбается под столом лжи все сидящие вокруг стулья поднимаются
и идут пригвоздить себя к стенам административного зала в
ожидании когда кошачья акула закончит вылизывать часы
смолящие паруса своего добротного зонтика и прислушиваться к
хрусту который производит ломаясь в моей груди язычок

тревожного колокола ее взгляда с электрическим ароматом звезд раздавленных каблуком

[2—7 февраля 1938 года]

2.2.38

повиснув на шее веревки
ласковая
молчаливая
приятно отдающая вербеной
плавные руки
забрызганные капельками пота
бьющие тревогу
в потоке света
прижатые к вискам
отблески льда стучащего в дверь
и таящего аромат радуги
за голубиными вуалями
пересекаются со счетами угольщика
как всегда приходящего вовремя

2–7.2.38

повиснув на шее веревки (повиснув ибо ее пальцы это лучи голубого желтого зеленого лилового света)
ласковая (ибо извилистый рисунок окружает палец и беззубыми деснами впивается в него до крови)
молчаливая (ибо веревка на конце которой она держится в равновесии хлопает ее по ляжкам и щекочет между пальцами ее ног пеплом циферблата часов подвешенных к пламени свечи)
приятно отдающая вербеной (кавалькада тарелок вилок ложек и кухонных тряпок поставленная на постреливающий огонь и бросающаяся в ноги покусывая липкие руки тюремщика)
плавные руки (это руки слова едва сорвавшегося с губ и уже пьяного недостатком внимания окутанного гигроскопической ватой мелодии тянущейся из-под подушки)
забрызганные капельками пота (иначе говоря любовь печаль и легкий аромат сандалового веера)
бьющие тревогу (я представляю себе тележку зеленщика влекомую телками выкрашенными красной краской словно кирпичная стена)
в потоке света (равном 137 840 минус марка приложенная к подолу ее подвенечного платья)
прижатые к вискам (свет сквозь ставни попорченные корзинами уже мертвых мандаринов поставленными на стол в столовой)
отблески льда стучащего в дверь (как говорится волей-неволей)
и таящего аромат радуги (порядок в мыслях запах угля ослепленного фарами автомобиля прибывшего чтобы овладеть

резонами прилепленными к килю корабля оторвавшегося от потолка и поданного горячим на полотне брошенном в кресло)
за голубиными вуалями (оружие граждан погибших ни за что закопанных в землю и питающихся трупными червями)
пересекаются со счетами угольщика (услышать вдали за городом крики трех маленьких девочек атакованных змеями)
как всегда приходящего вовремя (чтение вслух списка номеров выигравших в национальной лотерее)

2 июля 1938 года

капля за
каплей
умирает
жизне-
стойкий
бледно-
голубой
между
когтями
миндально-
зеленого
на ступенях
розового

вторник 5 ноября 1940 года

ночью
было как раз
пять минут второго
а потом и позже
я развлекался
возле костра
где огню предавали
нагую колдунью
я улыбался
краешком губ заката
сдирая
нежно сдирая ногтями кожу
с каждого всполоха
пламени
вот уже
три без десяти а пальцы
все еще пахнут теплым хлебом
жасмином
и медом

Мордехай Рихлер

Версия Барни

с примечаниями и послесловием Майкла Панофски

Роман

Перевод с английского В. Бошняка

Книга третья
Мириам
1960–

1

Как я говорил уже, все начиналось кошмарно. Дерганый, как подросток, я не находил себе места, считая дни до встречи с Мириам – до той встречи, что, как я думал, станет решающей. В Торонто я решил прилететь накануне вечером, вселиться в "Парк-Плазу" и – ни капли в рот и ни ногой из номера. Взял с собой книжку Апдайка "Кролик, беги", но никак не мог заставить себя вчитаться. Раскрыл "Нью рипаблик", а там статья про то, как сенатор Кеннеди победил Хэмфри на предварительных выборах в Западной Виргинии – ну победил и победил: помня, какая сволочь был его папаша Джо Кеннеди*, я и от сына ничего путного не ждал. Фотографию, что красовалась на первой полосе "Нью-Йорк таймс" – ликующий Никита Хрущев показывает обломки сбитого самолета-шпиона "У-2", – я тоже не нашел интересной. Отшвырнул от себя и книгу, и журналы с газетами и выключил прикроватную лампу. Сон не шел, с неизбежностью материализовалась миссис Огилви, и вот уже она, облизнув губы кончиком языка, начинает расстегивать пуговки того платья, что было ей чуть маловато. [На с. 218. ("ИЛ", 2007, № 9) – ...одета в тесное – как она только влезла в него – летнее платье. – *Прим. Майкла Панофски.*]

– И ничего у тебя не выйдет, надменная ты империалистическая шлюха, – сказал я. – Я Мириам даже с женой не изменяю, чего же ради я буду валять дурака с тобой!

Уж я и ворочался. И метался. *Помни: смотреть надо прямо в глаза – в эти ее голубые очи, за которые умереть не жалко, – но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не на грудь. И не на ноги. Животное.* Еще и еще раз я репетировал анекдоты, которые ей, возможно, понравятся и вознаградят меня появлением ямочек на ее щеках, а истории о себе я отбирал такие, чтобы они меня

Окончание. Начало см. "ИЛ", 2007, № 8, 9.

* Здесь и далее звездочка отсылает к затекстовым примечаниям.

высвечивали нужным образом как бы исподволь; все, что, на мой взгляд, попахивало саморекламой, я с возмущением отвергал. Надеясь успокоить нервы, закурил "монтекристо", после чего бросился в ванную чистить зубы и вычистил даже язык, настолько я боялся запаха изо рта. Возвращаясь к кровати — так уж угодно было судьбе, — вынужден был пройти мимо моего мини-бара. Не худо бы все там проверить, может, орешков кешью пожевать. Да и глоточек пропустить не помешает. А в три часа утра я с ужасом обнаружил на стеклянном столике дюжину пустых шкаликов из-под виски, водки и джина. *Пьяница. Слабак.* Мучимый ненавистью к себе, я вновь залез в кровать и принялся вызывать в себе картинку с Мириам на моей свадьбе, как она с удивительной грацией движется в этом своем многослойном шифоновом коротком платье. А какие глаза! А эти голые плечи! *О господи, что, если в баре я встану с ней поздороваться, а она заметит, что у меня стоит?* Мысленно я сделал себе заметку, чтобы непосредственно перед ланчем отдрочить — в качестве превентивной меры. Потом заснул, но лишь на короткое время, после чего буквально выпрыгнул из кровати, ругая себя на чем свет стоит: *ты проспал, идиот, теперь ты опоздаешь!* Начал лихорадочно одеваться и только тогда сообразил взглянуть на часы. Было шесть утра. Черт! Черт! Черт! Я разделся, принял душ и побрился, снова оделся и пошел болтаться по улицам до семи, когда в гриль-баре "Принц Артур" начинают подавать завтрак.

— На время ланча я заказывал столик, — сказал я метрдотелю. — Хотелось бы, чтобы он был у окна.

— Боюсь, что столики уже все зарезервированы, сэр.

— Вон тот, — сказал я и сунул ему двадцатку.

Вернувшись в номер, я заметил, что на телефоне вспыхивает красная лампочка. Значит, пока меня не было, мне кто-то звонил. Сердце сильно забилось. *Она не сможет. Она передумала.* "Я не встречаюсь с мужчинами, которые дрочат в гостиничных сортирах". Но звонила, оказывается, Вторая Мадам Панофски. Я перезвонил домой.

— Ты забыл на столике в прихожей свой бумажник, — сказала она.

— Не может быть!

— Вот он, у меня в руке, со всеми твоими кредитными картами.

— Н-да, от тебя что-нибудь хорошее услышишь, пожалуй!

— По-твоему, это я виновата?

— Я что-нибудь придумаю, — сказал я, вешая трубку. И тут вдруг подступила такая тошнота, что я пулей бросился в туалет. Обняв унитаз, я стоял на коленях, и меня вновь и вновь выворачивало наизнанку. *Поздравляю, Барни, теперь от тебя будет вонять, как из канализации.* Что делать? Я снова разделся, снова принял душ, зубной щеткой чуть не стер с зубов всю эмаль, прополоскал горло, сменил рубашку и носки и опять пошел на улицу. Пройдя три квартала, встал как вкопанный, вспомнив, что попросил метрдотеля в 12.55 поставить у нашего столика ведерко с бутылкой шампанского "дом периньон". *Сколько в этом рисовки!* Столь утонченная женщина, как Мириам, наверняка сочтет это нарочитым. Этаким толстым намеком. Словно я ставлю себе целью соблазнить ее. "Думаешь, купил мне бутылку шампанского, так можно сразу в кровать тащить?" А у меня ни в коем случае нет таких нечистых помыслов. *Честно-честно.* Что ж, вновь возвратился в гостиницу, отменил шампанское. Но вдруг она все-таки, как это ни маловероятно, согласится зайти ко мне в номер? Что-то ведь все же есть во мне хорошее!

— *Вот вам простенький тест, Панофски. Отметьте галочкой минимум три положительные черты характера из следующих десяти.*

— *Fuck you!*

Окинул на всякий случай взглядом комнату — ба: кровать не застелена! Позвонил администратору, пожаловался, потом в рум-сервис — заказал дюжину красных роз и бутылку "дом периньон" с двумя бокалами.

— Но, мистер Панофски, вы ведь только что отменили заказ на шампанское.

— Я отменил шампанское в баре "Принц Артур", а сейчас речь идет о шампанском в номер — хорошенько охлажденном и не раньше двух часов дня, если это вас не затруднит.

К полудню я со стертыми ногами, мучимый жутким похмельем, усталый, эмоционально измотанный, решил, что чашка черного кофе в баре на крыше будет мне спасением, но почему-то вдруг взял да и заказал вместо кофе "кровавую мэри". Вертя в пальцах бокал, обнаружил, что остается куда-то вбить еще три четверти часа, а в бокале одни кубики льда. Что ж, заказал вторую. Вынул из кармана приготовленный список разговорных тем. Смотрела ли она фильм "Психоз"? Читала ли "Гендерсон — король дождя" Сола Беллоу? Что она думает о встрече в Нью-Йорке Бен-Гуриона с Аденауэром? Должен ли быть казнен Карил Чессман*? После третьей "кровавой мэри", обретя покой и уверенность, я посмотрел на часы — 12.55! И тут меня вновь обуяла паника. *Вот дьявол, я же забыл утром отдрочить, а теперь уже поздно. Да и реквизит. Все ведь осталось в номере!* Я знал, что ее отец — социалист, поэтому взял с собой книжку "Свобода в современном государстве" Гарольда Ласки* и последний выпуск журнала "Нью стейтсмен". Сломя голову ринулся в свой номер, сунул "Нью стейтсмен" в карман пиджака и сел за стол в баре "Принц Артур" в час ноль две, а тут и Мириам подоспела — смотрю, метрдотель уже ведет ее к столу. Встав поприветствовать ее, я кое-как прикрыл торчок ресторанной салфеткой. О, как она была хороша в стильной кожаной черной шляпе и черном шерстяном платье, подстриженная короче, чем при нашей первой встрече! Я прямо изнывал от желания сделать ей комплимент по поводу ее внешности, но побоялся, как бы она не сочла это излишней куртуазностью. Бестактным — с места в карьер — приставанием.

— Как здорово, что я наконец вижу вас, — сказал я. — Выпьете?

— А вы?

— Да так... разве что "перье". Хотя повод есть, как вы считаете? Как насчет бутылки шампанского?

— Ну, даже не знаю...

Я подозвал официанта.

— Принесите нам, пожалуйста, бутылку "дом периньон".

— Но вы же только что отмени...

— *Просто принесите, и все, будьте добры.*

Прикуривая одну сигарету от другой, я пытался вспомнить хоть одно из отрепетированных *bon mots*[1], но все, с чем я сумел выступить, было:

— Жарко сегодня, не правда ли?

— По-моему, нет.

— Да и по-моему тоже.

1. Острот (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

– Да?

– АвысмотрелиГендерсонкорольдождя?

– Простите?

– Гендерсонкороль... в смысле "Психоз"!

– Нет еще.

– Я думаю, сцена под душем... Но что думаете о ней вы?

– Я думаю, надо сперва посмотреть.

– А, да, конечно. Естественно. Можно бы и сегодня вечером, если вы...

– Но вы-то наверняка уже смотрели.

– Ах да. Правильно. Я забыл. – Черт! Он что, в Монреаль, что ли, поехал за этой несчастной бутылкой шампанского? – Как по-вашему, – спросил я, уже начиная плавать в поту, – правильно сделал Бен-Гурион, что согласился встретиться в Нью-Йорке с Эйзенхауэром?

– Вы, наверное, хотели сказать – с Аденауэром?

– Господи, ну конечно!

– А что – вы пригласили меня на интервью? – спросила она. И вот они, долгожданные ямочки на щеках. Я готов был тут же на месте умереть и отправиться в рай. *Не смей опускать взгляд на ее грудь. Держи его на уровне глаз.* – А, вот же он!

– В рум-сервисе спрашивают, остается ли в силе ваш заказ на вторую бутылку, ту, что вы просили принести в ваш...

– Вы не могли бы просто налить, и все?

Мы сдвинули бокалы.

– Передать не могу, до чего я рад, что вы сегодня все-таки пришли, – сказал я.

– Ну, вам ведь тоже, видимо, непросто было выкроить для меня время в плотном графике деловых встреч.

– Да я же только ради вас и приехал!

– А мне казалось, вы говорили...

– А, конечно. Бизнес. Да, да, я тут по делу.

– Вы что, пьяны, Барни?

– Разумеется, нет. Наверное, надо что-нибудь заказать. На всякую комплексную удешевленку не смотрите. Берите, что хочется. Что же это они кондиционер здесь не поставили! – сказал я, расслабляя узел галстука.

– Но тут совсем не жарко.

– Да. То есть нет, не жарко.

На первое она заказала гороховый суп, а я – непонятно зачем – суп из лобстера, блюдо, которое ненавижу. Помещение бара покачивалось и колебалось, а я все силился сказать что-нибудь умное, какой-нибудь афоризм, переплюнуть самого Оскара Уайльда; думал, думал и говорю:

– Вам нравится жить в Торонто?

– Мне нравится моя работа.

Я досчитал до десяти, а потом говорю:

– Я развожусь.

– Ах, я вам сочувствую.

– Намсейчаснеобязательновэтовдаваться, ноэтозначит, чтоуваснебудетпричинуклонятьсяотвстречсомной, потомучтояужебольшенебудуженатым.

– Вы говорите так быстро, что я не уверена, правильно ли я вас понимаю.

— Я говорю: скоро я больше не буду женатым.

— Ну, очевидно, раз вы разводитесь. Но я надеюсь, вы делаете это не из-за меня?

— Что же еще-то я могу сделать? Я люблю вас. Отчаянно.

— Барни, вы же меня не знаете.

Тут — надо же такому случиться! — над нашим столом склонился пышущий гневом Янкель Шнайдер, которого я не видел с тех пор, как мы были десятилетними мальчишками и учились в начальной школе. Не то чтобы совсем уж призрак Банко*, но что-то вроде.

— А, вот тот мерзавец, который мне в детстве не давал проходу, доводил до белого каления, все передразнивал, как я заикаюсь, — раздалось у меня над ухом.

— Не понимаю, о чем вы?

— А вы, значит, имеете несчастье быть его женой?

— Пока нет, — уточнил я.

— Что такое? — удивилась Мириам.

— Может, ты хотя бы к ней с этим лезть не будешь?

— Он смеялся над тем, как я заикаюсь, и я ночами все волосы из головы повыдергал, а матери приходилось меня буквально за шкирку, пинками гнать в школу. *Зачем ты это делал?*

— Мириам, я не делал этого.

— *Какое тебе в этом было удовольствие?*

— Я даже не уверен, черт тебя дери, что помню, кто ты такой!

— Годами я мечтал о том, как я буду за рулем, а ты — на переходе через улицу, и я тебя сшибу и раздавлю. Понадобилось восемь лет психоанализа, чтобы я решил, что ты этого не стоишь. Ты пакость, Барни, — сказал он, затянулся последний раз сигаретой, после чего бросил ее мне в раковый суп и ушел.

— Господи Иисусе, — сказал я.

— Я думала, вы сейчас его ударите.

— Ну не при вас же, Мириам!

— Мне говорили, что у вас гнусный характер, и, когда вы слишком много выпьете, вот как сейчас, например (что вас не слишком-то красит), вы начинаете напрашиваться на драку.

— Макайвер?

— Я этого не сказала.

— Что-то мне нехорошо. Сейчас стошнит.

— До туалета добраться сумеете?

— Какой стыд.

— Вы можете —?..

— Мне надо лечь.

Она помогла мне добраться до номера, где я немедленно пал на колени, рыгая в унитаз и звучно пердя. *Я желал, чтобы меня закопали заживо. Утопили и четвертовали. Разорвали пополам лошадьми. Что угодно, только не это.* Она намочила полотенце, вытерла мне лицо и довела в конце концов до кровати.

— Как это унизительно!

— Шшш, — сказала она.

— Вы возненавидите меня и больше не захотите видеть.

— Ах, помолчите, — сказала она, вновь промокнув мне лоб влажным полотенцем, потом заставила выпить стакан воды, поддерживая мне затылок прохладной ладонью. Я решил больше не мыть голову. Никогда.

Вновь откинувшись, я закрыл глаза в надежде, что комната перестанет вращаться.

– Я полежу минут пять и буду в порядке. Не уходите, пожалуйста.

– Попробуйте заснуть.

– Я люблю вас.

– Да. Конечно.

– Мы поженимся, и у нас будет десять детей, – сказал я.

Когда я проснулся – примерно через пару часов, – она сидела в кресле, скрестив свои длинные ноги, и читала "Кролик, беги". Сразу я голос подавать не стал, а воспользовался тем, что она вся ушла в чтение, чтобы как следует насладиться зрелищем такой красоты рядом с собой. Слезы текли по моим щекам. Сердце сжималось. Если время сейчас остановится навсегда, я не стану жаловаться. Наконец я сказал:

– Я знаю, вы больше не захотите меня видеть. И я не виню вас.

– Я собираюсь заказать вам бутерброд и кофе, – сказала она. – И, если вы не возражаете, бутерброд с тунцом себе. Есть хочется.

– Наверное от меня жутко воняет. Вы не уйдете, если я по-быстрому приму душ?

– Я смотрю, вы меня считаете легко предсказуемой.

– Как вы можете такое говорить?

– Вы ведь ожидали, что я приду к вам в номер.

– Конечно нет.

– Тогда для кого здесь шампанское и розы?

– Где?

Она показала.

– О-о.

– Вот вам и о-о.

– Сегодня я вообще не знаю, что делаю. Я как сам не свой. Полный распад. Сейчас позвоню в рум-сервис и скажу, чтобы унесли.

– Нет, вы этого не сделаете.

– Не сделаю.

– Ну, так и о чем мы будем говорить? О фильме "Психоз" или о встрече Бен-Гуриона с Аденауэром?

– Мириам, я не могу вам лгать. Ни сейчас, ни вообще. Янкель говорил правду.

– Какой Янкель?

– Тот человек, что подошел к нашему столику. Я заступал ему дорогу на игровую площадку и говорил: "Т-т-ты в к-к-к-ровать п-п-п-писаешь, п-п-пиздюк?" А когда он вставал в ужасе от необходимости отвечать у доски перед классом, я принимался хихикать, так что ему уже ни слова было не вымолвить, и он срывался на плач. "М-м-м-мол-лодец, Я-я-я-янкель!" – потешался я. Зачем я только делал это?

– Но неужто же вы думаете, что я могу на это ответить?

– Ах, Мириам, если бы вы только знали, как я на вас рассчитываю!

И тут я вдруг почувствовал – с болью и радостью одновременно, – как по моей душе пошел будто весенний ледоход. Я нес какую-то околесицу, что-то бормотал (боюсь, что совсем бессвязно), путая злоключения и обиды детства с историями про Париж. От рассказа о том, как Бука покупал героин, я возвращался к жалобам на мать, на то, что она была ко мне равнодушна. Я рассказал Мириам про Йосселя Пински, про то, как он пережил Освенцим, а теперь коротает дни в баре на улице Трумпельдора* в Тель-Авиве, занимаясь всякого рода *гешефтами*. Од-

нажды я с его подачи уже торговал краденными египетскими древностями и теперь посчитал, что она должна знать и об этом. Как и о том, что я занимаюсь "степом". От байки про то, как Иззи Панофски "бросили на мораль", я перескочил к тому вечеру, когда Макайвер читал свою прозу в магазине Джорджа Уитмена, а потом почему-то плавно перешел к приключениям Хайми Минцбаума. Рассказал про pneumatique, которая доставила мне письмо слишком поздно, в результате чего Клара так рано и бессмысленно ушла и снится мне теперь ночами, гниющая в гробу.

— Так это вы, значит, тот Калибанович из ее стихотворения.

— Да, это я.

Я объяснил ей, что на Второй Мадам Панофски женился вопреки... нет, из чувства вины перед Кларой... нет, назло, чтобы отомстить за ее представление обо мне. При этом я поклялся, что никогда никого не любил, пока на собственной свадьбе не увидел Мириам. Потом смотрю — за окном уже сумерки, а наша бутылка шампанского пуста.

— Может, пойдем куда-нибудь, поужинаем? — спросил я.

— Давайте сперва просто погуляем.

— Прекрасная идея!

Самодовольный Торонто никогда не был городом моей мечты. Не город, а всеканадская бухгалтерия. Но, оказавшись в громе и суете часа пик на Роуд-авеню теплым вечером начала мая, я чувствовал в душе весну и был в том настроении, когда хочется всех обнять, простить и рассказать им, как сладостно жить на свете. Весна действительно вступала в свои права: на деревьях вовсю лопались почки. Если пучки гвоздик, выставленных в ведрах у дверей магазинов, были и впрямь подозрительны (есть мнение, что их оранжевый и лиловый цвет — это всего лишь краска из баллончиков), то букеты нарциссов своей чистотой и непорочностью всё искупали. Да и некоторые из офисных девушек, парами попадавшихся нам навстречу, были неоспоримо хороши. В своем восторге я, наверное, слишком широко улыбнулся при виде молодой матери, катившей мимо нас прогулочную коляску с малышом, потому что она нахмурилась и ускорила шаг. В кои-то веки я без раздражения смотрел, как потный спортсмен в шортах изображает бег на месте, вместе с нами ожидая, когда переменится цвет светофора.

— Чудесный вечер, не правда ли? — обратился к нему я, и он тут же хлопнул себя по заднему карману, проверяя, на месте ли кошелек.

И, наверное, я слишком явно задержался, восхищаясь новеньким "альфа-ромео", припаркованным перед антикварным магазином, — иначе зачем бы его владелец, как ошпаренный, выскочил, встал у передней дверцы и на нас уставился. Где-то чуть дальше от центра мы набрели на скверик, где, кажется, можно было бы немного посидеть, отдохнуть на скамейке, но ворота оказались закрыты на замок, а вывеска, криво прикрученная к решетке, гласила:

НЕ ЕСТЬ
НЕ ПИТЬ
НЕ ВКЛЮЧАТЬ МУЗЫКУ
НЕ ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК

Стиснув ладонь Мириам, я сказал:

— Подчас мне кажется, что духом этого города, его главной движущей силой является навязчивый страх, что кто-то где-то, не приведи господи, будет счастлив.

— Фу, как стыдно.

— А что такое?

— Вы цитируете Менкена* — он так говорил о пуританах. И не ссылаетесь.

— Да неужто?

— Делаете вид, будто сами придумали. А ведь, кажется, обещали не врать мне.

— Да. Простите. С этой секунды больше — ни-ни.

— Я выросла во лжи и никогда больше не стану с ней мириться.

Тут Мириам внезапно посерьезнела и рассказала мне о своем отце, слесаре-лекальщике и организаторе профсоюза. Она его обожала — такой идеалист! — пока не выяснилось, что он маниакальный распутник. Зажимал фабричных девок в сортире. Выискивал их по барам и дансингам субботними вечерами. Мама была убита горем.

— Зачем ты его терпишь? — спросила ее Мириам.

— Так ведь что же делать-то? — ответила мать и склонилась, всхлипывая, над швейной машинкой.

Мать Мириам умирала трудно. Рак кишечника.

— Это он ее им наградил, — сказала Мириам.

— Ну уж... Не слишком ли?

— Нет, не слишком. И ни один мужчина такого со мной не сделает.

Не помню, где и что мы ели — кажется, где-то на Йонг-стрит, сидели в отдельной выгородке бок о бок, соприкасаясь бедрами.

— Никогда не видывала, чтобы на собственной свадьбе человек выглядел таким несчастным. И каждый раз, как гляну, вы смотрите на меня.

— А что, если бы я не сошел тогда с поезда?

— Если бы вы только знали, как *я-то* этого хотела!

— Да ну?

— А сегодня я все утро просидела в парикмахерской, а потом купила все эти обновки — специально для нашей встречи, — а вы ни разу даже не сказали, что вам нравится, как я выгляжу.

— Нет. Да. Нет, честно, выглядите вы потрясающе.

Было уже чуть ли не два часа ночи, когда мы добрались до здания на Эглинтон-авеню, где была ее квартира.

— А теперь, судя по всему, вы станете притворяться, будто не хотите зайти, — сказала она.

— Нет. Д-да. Мириам, не мучьте меня.

— Мне надо в семь вставать.

— А. Ну ладно. Наверное, в таком случае...

— Ах, да идем же, — сказала она и втащила меня за руку.

2

Теперь, когда все близится к концу, время начало тикать быстро, как счетчик такси. Скоро мне стукнет шестьдесят восемь, и Бетти, у которой такие вещи на контроле, наверняка захочет устроить по этому поводу в "Динксе" посиделки. Сентиментальная наша Бетти хочет, чтобы

Зака, Хьюз-Макнафтона, меня и еще кое-кого из завсегдатаев посмертно кремировали, и тогда она поставит нас в урнах на стойку бара, лишь бы ей с нами не расставаться. Возможно, мне не следовало рассказывать ей о том, что сделала Флора Чернофски. После того как Норман на своем спортивном "мерседесе" врезался в опору линии электропередачи и разбился насмерть, она его кремировала и пепел разделила на части. Бóльшую порцию поместила в специально сделанные песочные часы, а остальное пошло в таймер для варки яиц. "Так Норм всегда будет со мной", – сказала она.

Я не пойду на эти Беттины посиделки. Нечего тут праздновать. А кроме того, я стал теперь таким раздражительным старым мерзавцем, что уже и за себя не отвечаю. Вчера под вечер пошел в видеосалон возвращать фильм "Банковский сыщик", мою любимую ленту Филдса*, а там юный балбес с конским хвостиком, к тому времени вставивший себе еще и кольцо в нос, мне и говорит:

– Ах-ах! Что же вы обратно-то не перемотали? С вас еще три доллара за перемотку.

– У вас есть шариковая ручка?

В недоумении он дает мне ручку, я сую ее в дырку и принимаюсь крутить бобину по часовой стрелке [Против часовой стрелки. – *Прим. Майкла Панофски*], не обращая ни малейшего внимания на то, что за мной выстроилась очередь из пяти человек.

– Что вы делаете?

– Перематываю.

– Да вы же год так будете мотать!

– Сейчас всего только три, сынок, а эту кассету я должен был сдать к пяти.

– Дайте сюда, папаша, и можете забыть об этих трех баксах.

Позавтракал сегодня поздно, а потом включил радио, решив послушать Мириам для разнообразия в прямом эфире. Ура! Оказалось, она как раз начинает читать письмо, пришедшее якобы от радиослушателя из Калгари.

Дорогая миссис Гринберг!

Я старый чокнутый дурень, из тех, о ком рассказывают анекдоты, – человек, отдавший лучшие годы жизни любимой женщине, а она взяла да и сбежала с мужчиной помоложе. Надеюсь, Вы разберете мой почерк, который стал совсем никудышным с тех пор, как меня опять разбил микроинсульт. Как Вы, конечно, поняли, образования у меня почти что и нет. Куда мне до тех слушателей, чьи письма Вы обычно читаете вслух. Нынче я на пенсии, а был сборщиком мусора и вторсырья – ха! ха! ха! Но все равно я надеюсь, что мне хватит грамотности, чтобы попасть в эфир. Я все еще скучаю по жене и не убираю ее фотографию с тумбочки у кровати, что стоит в моей комнатке в Виннибаго. Сегодня у Мэрилу день рождения, и мне хотелось бы, чтобы Вы исполнили песенку, которая звучала в столовой гостиницы "Хайландер" в Калгари, куда я возил ее праздновать ее тридцатилетие в 1975 году.

Я от той песенки помню всего несколько слов, но они очень подходят к моему теперешнему состоянию, а вот ни названия, ни автора музыки не припомню. Там слова такие:

В лунном свете вздымаю я руки пустые,
Трам-тарам тара-рам, дорогие черты...

А музыку, как я припоминаю, играли в основном на рояле, причем написал ее какой-то знаменитый поляк. Постойте-ка. Про него же фильм когда-то показывали — с Корнелем Уайлдом, он еще болел туберкулезом, то есть тот пианист, а не Корнель. Я бы хотел, чтобы вы исполнили этот номер и посвятили его Мэрилу, на которую я не держу зла. Спасибо огромнейшее.

Искренне Ваш,

УОЛЛИ ТЕМПЛ.

P. S. Мне и правда нравится классическая музыка, а уж до Вашей передачи я и вообще сам не свой. Одна из моих любимых пластинок, которую очень Вам рекомендую (может, поставите как-нибудь в другой раз), — это "Избранное" Моцарта.

Мириам сделала паузу, а потом и говорит:

— Это письмо пришло от того же шутника, что уже писал нам, представляясь то Дорин Уиллис, то еще каким-нибудь вымышленным именем.

Ч-черт!

— Я прочитала его письмо вслух только для того, чтобы этот радиослушатель знал, что он меня не одурачил. А за его труды пусть ему будет награда — я поставлю для него Шопена, Этюд 1—12, опус 10 в исполнении Луи Лорти. Запись сделана в Суффолке, Англия, в апреле 1988 года.

Наша семейная лесная почта — этот "там-там телеграф", а вернее сказать, игра в испорченный телефон — в последнее время шла с истерическим перенапрягом, так что и до меня донеслись кое-какие обрывочные сведения. Например, о том, как Майк звонил Савлу.

— Держись за шляпу: папочка пишет мемуары!

— Я знал, что он что-то задумал. Минуточку, извини. Нэнси, ты кладешь эту книгу не на ту полку. Она должна лежать там, откуда ты ее взяла... Прости, Майк. Мемуары, говоришь? Черт, вдруг его не захотят печатать? Это может совсем сломить его.

— Ну, сейчас купят всё, что касается Клары Чернофски, да и потом — он же знал кучу всяких знаменитостей.

— Слушай, это не ты мне говорил, что у Каролины какой-то родственник крутой хирург-ортопед?

— Да. И что?

— Нэнси, нет, это *не совсем* то место, где она стояла. Черт! Черт! Черт!.. Прости, Майк. Я бы хотел кое о чем посоветоваться. Если я отправлю тебе рентгеновские снимки, ты не можешь их ему передать?

— Чтобы опять разворошить то забытое дело о смерти или — как до сих пор выражается Кейт — исчезновении Бернарда Московича?

— Я тебе задал вопрос.

— Да. Конечно. Если ты настаиваешь...

Затем Савл позвонил Кейт.

— Ты слышала? Папочка собирается нас прославить.

— А почему ты думаешь, что один ты в нашей семье можешь быть писателем?

— Он тебе никаких набросков еще не показывал?

— Савл, ты бы послушал, как он по телефону-то разошелся! Рассказывал старые истории, хохотал. Вспоминал звезд хоккея, которых ви-

дел в их лучшие годы. А еще у папы была интрижка с учительницей, когда ему было всего четырнадцать лет.

— Да ну, он нам лапшу вешает. Он говорил, да только я никогда в это не верил.

— Помнишь, как он нам лекции читал об опасности наркотиков? Так он, оказывается, когда был в Париже, день и ночь курил гашиш! Когда он говорит о прошлом, он молодеет прямо на десятилетия. Последнее время только прошлое его по-настоящему и занимает.

Потом Майк позвонил мне.

— Папа, ты можешь обо мне писать что угодно, но только — пожалуйста — не задевай Каролину!

— А ты попробовал бы поговорить так с Сэмюэлом Пипсом* или Жан-Жаком Руссо, хотя ты-то ни того, ни другого и не читал, поди!

— Я не шучу, папа.

— Тебе не о чем беспокоиться. Как детки?

— Джереми прекрасно сдал экзамены за начальную школу. А Гарольд — вот, прямо сейчас, пока мы говорим с тобой, — пишет тебе письмо.

На следующее утро в десять позвонил Савл.

— Ты чего так рано встал? — поинтересовался я.

— Мне к одиннадцати к дерматологу.

— О господи! Проказа! Вешай трубку немедленно!

— Ты что, правда пишешь мемуары?

— Ну, в общем, да.

— Дал бы мне взглянуть. Папа, пожалуйста!

— Со временем, может, дам. Как Нэнси?

— А, эта. Она бросила в самую пыль мои компакт-диски и измусолила авторский экземпляр "Читателя-неоконсерватора". Помнишь, я тебе тоже экземпляр посылал? В общем, она вернулась к мужу.

Но по-настоящему я взволновался, только когда позвонила Мириам, с которой я никак не мог поговорить уже полтора года. Когда я услышал, как она этим своим голосом обращается прямо ко мне, у меня сердце чуть наружу не выскочило.

— Барни, как поживаешь?

— Прекрасно. А почему ты спрашиваешь?

— Так у людей заведено, когда они долго друг с другом не общались.

— Хм. Ладно. А ты?

— Я тоже прекрасно.

— Ну так и всё, наверное? Поговорили?

— Барни, я тебя умоляю.

— Когда я слышу твой голос, как ты называешь меня по имени, у меня сразу руки трясутся, так что, умоляю, никаких "Барни" и никаких "умоляю".

— Мы прожили вместе больше тридцати лет...

— Тридцать один.

— ...и по большей части чудесно. Неужто мы теперь не можем поговорить?

— Я хочу, чтобы ты вернулась домой.

— Я дома.

— Ты всегда гордилась своей прямотой. Так и переходи прямо к делу, прошу тебя.

— Мне звонила Соланж.

— У меня с ней ничего нет. Мы добрые друзья, вот и все.

— Барни, ты не должен передо мной отчитываться.

— Черт возьми, и правда не должен.

— Тебе уже не тридцать лет...

— Да и тебе...

— ...и продолжать так пить больше нельзя. Она хочет, чтобы ты показался специалисту. Пожалуйста, сделай, что она просит.

— Гммм.

— Ты знаешь, я ведь до сих пор переживаю за тебя. Часто о тебе думаю. Савл говорит, ты пишешь мемуары?

— Ах вот оно что. Да, вроде как, решил немножко наследить в песках времен.

Вознагражден: в трубке слышится гортанный смешок.

— Не вздумай дурно отзываться о детях. Особенно...

— А знаешь, что сказал однажды Ирли Уинн?

— Ирли Уинн?

— Это бейсболист. Великий питчер, то есть подающий. Его имя занесено на скрижали славы. Как-то раз его спросили: мог бы он засандалить собственной матери? "Это смотря как она умеет отбивать", — ответил он. [Проверить эту цитату мне не удалось. — *Прим. Майкла Панофски.*]

— Особенно о Савле. Он такой ранимый!

— И о профессоре Хоппере, правильно? Которого я сам запустил в наш дом. Ах, прости, пожалуйста. Как поживает Блэр?

— Он решил досрочно уйти на пенсию. Мы собираемся провести год в Лондоне, где он сможет наконец закончить монографию о Китсе.

— Толстенных книг о Китсе уже и так не меньше шести. Какого он там хрена может нового придумать?

— Барни, держи себя в руках.

— Прошу прощения. Это Савл не умеет себя держать в руках, а не я.

— Савл один к одному твоя копия, потому ты к нему и придираешься.

— Ага! Ну-ну.

— Блэр не хочет, чтобы ты повсюду раструбил, что когда-то он сотрудничал с журналом "Американский изгнанник в Канаде".

— Поэтому он и прячется у тебя под юбкой? Мог бы и сам позвонить.

— Он не знал, что я буду тебе звонить, а на самом деле я — честно, Барни, — звоню, потому что волнуюсь за тебя и хочу, чтобы ты показался врачу.

— Передай от меня Блэру вот что... Господи! Еще одна монография о Китсе... Передай ему: дескать, я считаю, что книг, похожих друг на друга, как искусственно выращенные помидоры, уже и так достаточно, — сказал я и повесил трубку, чтобы не опозориться еще больше.

Непосредственно от Блэра я так никаких вестей и не дождался, зато довольно скоро в этаком еще — знаете? — конверте ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВАС пришло заказное письмо от его адвокатов из Торонто. Их клиент, профессор Блэр Хоппер, кандидат наук, в соответствии с законом о доступе к информации обратился в ФБР с запросом, на который ему ответили, что в 1994 году на имя ректора колледжа "Виктория" Торонтского университета поступило анонимное письмо, в котором утверждалось, что вышеупомянутый профессор Хоппер — известный сек-

суальный маньяк, в 1969 году засланный в Канаду в качестве агента ФБР, чтобы следить за деятельностью граждан США, уклоняющихся от призыва в армию. Если эта клевета, абсолютно беспочвенная, будет повторена в книге так называемых мемуаров Барни Панофски, профессор Хоппер оставляет за собой право вчинить иск как автору, так и издателю.

Призвав себе на помощь Хьюз-Макнафтона, я написал ответ под грифом ОТ ВАС НИЧЕГО ЗАВИСЕТЬ НЕ БУДЕТ, где заверял, что никогда не опускался до анонимных писем, а если эти гнусные инсинуации будут повторены публично, я тоже оставляю за собой право прибегнуть к помощи закона. Я пошел отправлять письмо, но вдруг передумал. Взял такси, приехал на улицу Нотр-Дам, купил новую пишущую машинку, переписал письмо и отправил заказным. Затем я выбросил свою старую машинку и новую тоже. Даром, что ли, я сын инспектора полиции?

3

На озере у меня есть сосед, представитель растущей армии телевизионных пиратов, которые обзаводятся спутниковыми антеннами размером с кухонный поднос, хотя у нас это противозаконно, поскольку дает доступ к сотне каналов из США, не лицензированных в Канаде. Он даже ухитряется их все расшифровать, потому что не пожалел тридцати долларов на декодер. Это я только лишь к тому, что в моем нынешнем состоянии полураспада я ночи напролет страдаю, потому что из прошлого принимаю чертову уйму путаных картин, а вот расшифровать их мне нечем. В последнее время я много раз просыпался, будучи совершенно уже не уверенным, что же, собственно, в тот день на озере произошло. Вдруг я подправил в своем сознании события того дня, как приукрашивал иногда другие эпизоды своей жизни, с тем чтобы предстать в более выгодном свете? Грубо говоря, что, если О'Хирн прав? Что, если, как этот мерзавец и подозревает, я действительно выстрелил Буке в сердце? Мне позарез нужно думать, что я не способен на такую жестокость, но что, если я на самом деле убийца?

Однажды я проснулся среди ночи совершенно потрясенный: мне снился кошмар, в котором я застрелил Буку и стою над ним, смотрю, как он корчится и кровь хлещет у него из груди. Выкрутившись из мокрых от пота простынь, я оделся и поехал на дачу; к рассвету прибыл. И пошел бродить по лесу в надежде, что окружающий пейзаж всколыхнет мою память, сам приведет меня к месту вдруг да и впрямь совершенного преступления, как бы ни заросло там все кустами за тридцать с чем-то лет, прошедших с исчезновения Буки. Я заблудился. Запаниковал. Память временами вдруг отшибало вовсе, и я не мог понять, что это за лес, где я и зачем я здесь. Должно быть, много часов уже я сидел на поваленном дереве, курил "монтекристо" и вдруг слышу музыку (далеко не небесную), звучащую где-то поблизости. Пошел на звук и в результате оказался на собственной лужайке перед домом, где Бенуа О'Нил поставил свою негритянскую верещалку, чтобы ему не скучно было сгребать листья.

Что ж, с прибытием, поц.

Как это ни парадоксально, но в те дни, когда моя память работает безупречно, мне тяжелее, чем когда она отказывает. Или — иными сло-

вами — путешествуя по лабиринтам прошлого, я натыкаюсь на эпизоды, которые помню слишком явственно. Взять, например, хоть Блэра.

Блэр Хоппер (бывший Гауптман) в 1969 году вдруг вырос посреди моей жизни как полип. Объявился у меня на озере, где Мириам, сердце которой всегда обливалось кровью при виде беглых деток, обиженных жен и всякой прочей нечисти, всех привечала. Он пришел дождливым вечером, добыв адрес в "Руководстве для призывников, желающих иммигрировать в Канаду":

Даже если вы не выбирали Канаду в качестве земли обетованной и все получилось случайно, мы рады приветствовать вас. Мы, добровольные работники Программы противодействия призыву в армию, полагаем, что ваше нежелание участвовать в войне во Вьетнаме носит принципиальный характер и, следовательно, вы когда-нибудь станете выдающимися гражданами.

(Да, чуть не забыл упомянуть о том, что по зверским условиям моего освобождения от Второй Мадам Панофски она получила дом в Хемпстеде со всеми его уютными закоулками, а вот недвижимость в Лаврентийских горах я все-таки отстоял. Первым моим побуждением было избавиться от места якобы совершенного преступления, но, подумав, я сообразил, что это было бы равносильно признанию вины. Так что я, наоборот, сперва разнес весь коттедж в куски, даже стены сломал, а потом все восстановил, поставил красивые стеклянные двери и световые люки, добавил комнаты для детей и кабинеты для себя и Мириам.)

Декорации те же, входит Блэр. Очень хотелось бы написать, что Макс, наш наделенный даром предвидения пес овчарочьей породы, с которым так нравилось играть детишкам, встретил непрошеного гостя рычанием, скалил зубы — но нет, правда состоит в том, что этот четвероногий предатель тут же бросился к нему, виляя хвостом. Честность повелевает мне признать, что Блэр Хоппер, он же Гауптман, в те дни был молодым человеком приятной наружности. Тут ничего не скажешь. А возраста он был скорее Мириам, чем моего, иначе говоря, лет на десять младше меня. Высокий, светловолосый, голубоглазый и широкоплечий. Как ловко на нем сидела бы форма эсэсовца! Но в реальности он был в рубашке, галстуке, светлом летнем костюме в полосочку и мягких туфлях. Прибыл с дарами: бочонком непастеризованного меда, которым снабдила его коммуна в Вермонте, что служила этапом на подпольной трассе перемещения современных беглых рабов, и — ух, красотища! — парой расшитых бисером настоящих индейских мокасин. Я в тот момент посасывал "макаллан" и пригласил его ко мне присоединиться.

— Я бы лучше выпил минералки, — сказал он, — но только если у вас есть уже открытая бутылка.

Вода у нас тогда как раз кончилась, и Мириам заварила ему травяной чай. "Роузхип" назывался, что ли, — не помню.

— Как на границе, осложнений не было? — спросила она.

— Я как турист приехал. В этом костюме я вполне могу сойти за республиканца и члена загородного клуба. Да и дорожных чеков у меня было достаточно — проверили, козлы, не поленились!

— Должен предупредить вас, — сказал я, изображая ледяную вежливость, — что мой отец — полицейский в отставке. Поэтому в нашем доме служащих полиции не называют этим словом.

— Конечно, в этой стране все по-другому, сэр, — сказал он, и его щеки порозовели. — Наверняка и полиция ведет себя здесь прекрасно.

— Ну, честно говоря, не знаю. — И только я хотел выдать какой-нибудь анекдот из раздела "о выходках сыщика Иззи Панофски", как меня перебила Мириам.

— Вам бутерброд с ореховым маслом сделать?

Блэр прибыл в пятницу и пробыл у нас только десять дней, но уже в тот первый уик-энд он старался быть полезным, настойчиво вызывался что-то там мыть и починил ворота, которыми я все обещал заняться, но никак руки не доходили. Когда в кухню залетела оса и я схватился за мухобойку, он с криком "Не надо! Не надо!" как-то умудрился выгнать ее за дверь. Да что там: этот хитрющий мерзавец умел запросто, без напряжения сил и без всяких этих "Черт! Черт! Черт!" открыть банку таблеток аспирина с самой заковыристой, снабженной секретом от детей крышкой, пусть даже ее надо сперва нажать, а уж потом только повернуть. И вот еще что. Я совершенно не обратил внимания на то, как он при виде Мириам встал в стойку и как она, похоже, с удовольствием его знаки внимания принимала.

В воскресенье вечером Мириам спрашивает:

— Тебе разве не надо сегодня ехать в город?

— Да ну, я решил недельку отдохнуть, — отвечаю я как можно более небрежным тоном.

— А как же ваши мужские посиделки за покером в среду вечером?

— Да обойдутся они и без меня разок. А если я кому в офисе понадоблюсь, позвонят сюда.

Обладая естественной прелестью, Мириам пребывала в трогательном неведении о том, какое вокруг нее создается поле притяжения. Я, во всяком случае, мог бы весь остаток жизни любоваться ею в полном счастье и обалдении от того, что прямо здесь, рядом со мной такая красавица; впрочем, ей я старался об этом не говорить. Да и теперь, едва закрою глаза, изо всех сил пытаясь удержать слезы раскаяния, сразу вспоминается, как она кормит Савла — глаза опустит, а ладонью поддерживает его неокрепший пульсирующий затылочек. Вижу, как она учит Майкла читать, превращая это в веселую игру — оба хохочут. Могу зримо представить, как они с Кейт плещутся в ванне. Наглядно представляю себе ее на кухне — возится там, что-то готовит субботним вечером, слушая по радио трансляцию концерта из Метрополитен-опера. Или как она спит в нашей кровати. Или сидит в кресле, читает, длинные ноги скрещены в щиколотках. В дни нашего с ней безоблачного счастья иногда мы договаривались встретиться в баре отеля "Ритц" и вместе куда-нибудь сходить, и тогда я ждал ее за столиком в укромном уголке, чтобы смотреть, как она вплывает в зал — элегантно одетая, невозмутимая, притягивающая взгляды, — вот, наконец, увидела; одаривает нежной улыбкой, целует. Ах, Мириам, как томится по тебе мое сердце!

Одевалась Мириам всегда сдержанно, к модным вывертам относилась равнодушно. Ей не нужно было себя рекламировать, поэтому ни в мини-юбках, ни в платьях с большим декольте она не появлялась. Летом на даче у озера она могла позволить себе расслабиться. Черные как смоль длинные волосы скалывала простенькой заколкой, косметикой не пользовалась даже минимальной и ходила в просторных футболках, украшенных карикатурами на Моцарта или Пруста, в джинсовых шортах и босиком, против чего я не возражал нисколько, когда нам не при-

ходилось развлекать у себя молодого, прыщущего половым задором беглого призывника, с которым у нее было много общего. Ни один, ни другая, например, не помнили Вторую мировую войну — не тот возраст, — и в понедельник вечером, с жаром обсуждая газетную статью о летчике Харрисе из бомбардировочного соединения британских ВВС, они хором принялись осуждать ковровые бомбардировки немецких городов, эту ненужную бойню, где погибало безвинное гражданское население. Естественно, это навело меня на мысль о том, как молодой Хайми Минцбаум летал над Руром.

— Минуточку, — сказал я. — А как же Ковентри*?

— Я понимаю, — сказал Блэр, — вашему поколению это видится по-другому, но как вы оправдаете уничтожение зажигательными бомбами Дрездена?

В тот же вечер чуть позже я заметил, как Блэр уставился на Мириам, когда она наклонилась собрать разбросанные по полу гостиной детские игрушки. Во вторник я днем задремал, а когда проснулся, дом был пуст. Ни жены. Ни детей. Ни Übersturmfuhrer'а Блэра Хоппера-Гауптмана. Все были в огороде. Блэр в майке с красующейся на ней голубкой Пикассо помогал Мириам перелопачивать кучу компоста — еще одно дело, к которому я намеревался приступить когда-нибудь в отдаленном будущем. Наблюдая с господствующей высоты, каковой служила мне опоясывающая дом веранда, я видел, как Блэр украдкой заглядывает ей за отвисающий ворот футболки, когда она наклоняется, втыкая в землю лопату. Поганец. Неторопливо снизойдя на их огородный уровень, я спросил:

— Может, помочь?

— Да ну, иди почитай книжку, — отозвалась Мириам. — Или налей себе еще, дорогой. Ты будешь тут только мешать.

Но прежде чем уйти из огорода, я притянул жену к себе, схватив ее за задницу обеими руками, и взасос поцеловал.

— Фу-ты ну-ты, — сказала она, вся вспыхнув.

Поздним вечером я заловил этого вуайериста из Ковентри* в гараже, где он точил ножи нашей газонокосилки. С собой у меня была пара банок пива, и я предложил одну ему.

— Не хотите ли сигару? — спросил я.

— Нет, спасибо, сэр.

— Да оставьте вы это "сэр" Христа ради!

— Простите.

— Блэр, я боюсь за вас. Может, зря вы сбежали в Канаду? Не лучше ли было бы сказать призывной комиссии, что вы голубой?

— Но это не так!

— Ну вот. Я и Мириам так же сказал.

— Вы к тому, что она думает...

— Да нет, конечно. Да и я ни минуты этого не думал. Просто у вас походка такая.

— А что у меня с походкой?

— Послушайте, меньше всего на свете мне хочется вас смутить. Все с вашей походкой в порядке. Забудьте. Но вы могли бы притвориться голубым. А теперь вы здесь и никогда не сможете вернуться домой.

— Мой отец так и так не захочет меня больше видеть. Он в прошлом году был активистом кампании Никсона.

— Что вы здесь будете делать?

— Надеюсь закончить в Торонто аспирантуру и преподавать.

— Вы учились в Колумбийском?

— Нет, в Принстоне.

— Хочу, чтобы вы знали: если бы мне было столько лет, сколько вам, и я был бы американцем, я бы тоже пошел с теми хиппи, что подстриглись и рванули агитировать за Джина Маккарти* — "В приличном виде — за приличную страну". Думаю, Джеймс Болдуин был прав, когда назвал ваше отечество "Четвертым рейхом". Хотя одно обстоятельство в истории с тем, как студенты захватили Колумбийский университет, меня беспокоит. Где-то я вычитал, что один студент нагадил в верхний ящик стола декана. Не думайте, что я совсем тупой. Я понимаю, это была антифашистская акция. Однако все равно, знаете ли...

— Туда нагнали столько козл... в смысле полицейских — и в форме, и в штатском... И этих студентов страшно избили. Больше ста человек попали в больницу.

Мистер Мэри Поппинс быстро поладил с нашими детьми, обучал их *гоише* трюкам вроде завязывания разных морских узлов, учил, как заманить белку, чтобы она ела орешки у тебя с ладони, как заставить завестись намокший лодочный мотор, который я крыл матом и дергал за шнур, пока он не оторвется и не останется у меня в руках. Как-то под вечер, стряхнув дремоту, я спустился вниз налить себе стаканчик и, может быть, побеситься с Майком и Савлом (Кейт тогда еще не родилась), и тут вдруг снова оказалось, что их нигде не видно.

— Блэр повел их собирать землянику, — сообщила Мириам.

— Зачем же ты позволила ему куда-то уводить детей с наших глаз? Вдруг он педофил!

— Барни, ты зачем намекал Блэру, что я подумала, будто он голубой?

— Напротив. Я заверил его, что ты ничего такого не думала. Это он передергивает.

— Да ты, случаем, не ревнуешь?

— К этому липучему комуняшке? Конечно нет. Кроме того, я ведь верю тебе безоговорочно.

— Тогда я бы на твоем месте перестала к нему цепляться. Он гораздо умнее, чем ты думаешь, просто слишком вежлив, чтобы поставить тебя на место.

— У меня такое чувство, будто у меня враг в доме.

— Это потому, что он старается быть полезным?

— Слишком старается.

Блэр отравлял собой всю мою Ясную Поляну. Все десять акров берега. После сумасшедшей Клары, после всего того дерьма, которого я нахлебался со Второй Мадам Панофски, а затем суда и позора, да при том, что я еще и телевизионный бизнес свой ненавидел всеми фибрами души, хоть он и приносил большие баксы, Мириам была мне как долгожданный выигрыш в лотерее жизни. Она была моим спасением. Особым призом самоотверженному игроку. Представьте, если сможете, что "Красные носки" из Бостона вдруг выиграли первенство мира или что Даниэле Стил за ее пошлейшие любовные романчики дали Нобелевскую премию, и вы получите кое-какое представление о том, что я почувствовал, когда Мириам, вопреки всему, согласилась выйти за меня замуж. Однако мое вознесение омрачалось страхом. Боги на Олимпе наверняка записали мой номер, чтобы обрушить на меня какую-нибудь адекватную кару:

"А, там у нас еще Панофски. Давай, как полетит рейсом 'Эйр Канада', устроим крушение".

"Хммм, старо".

"Тогда, может быть, рак яичек? Чик-чик — и яйца долой".

Прежде я по нескольку лет кряду уклонялся от визита к Морти Гершковичу, а тут так и забегал к нему на осмотр, а то вдруг меня застигнет врасплох какая-нибудь патология легких! Стремясь умилостивить мстительного Иегову, я стал жертвовать крупные суммы на благотворительность и еле сдерживался, чтобы не подкидывать к сердитым небесам расходные ордера, едва над нашим домом бабахнет гром и засверкают молнии. Начал тайно поститься на Йом Кипур[1]. Ждал, что дети родятся глухонемыми, без рук, с синдромом Дауна, а когда этого не произошло, мои предчувствия стали еще мрачнее. Что-то для меня заготовлено точно — гадостное и страшное. Я это знал. К этому готовился. Втайне от Мириам я спрятал пять тысяч долларов наличными в запирающийся ящик стола. Этими деньгами предполагалось откупиться от обезумевших наркоманов-грабителей, которые могут вломиться в наш домик в любую ночь.

Как только занятия в школе кончались, я перевозил Мириам с детьми в Лаврентийские горы, в наш коттедж на озере, и приезжал туда, во-первых, на выходные, а во-вторых, ночевал там со вторника на среду. Как бы поздно я ни выезжал из города вечером в пятницу или четверг, я знал, что все огни во дворе к моему приезду будут зажжены. Мириам с сонным Савлом на руках будет ждать на веранде, у ее ног будет возиться с конструктором "лего" Майк. И все бегом устремятся ко мне, едва я открою дверцу машины — Мириам, чтобы я ее обнял, а дети, чтобы повизжать, когда я буду подбрасывать их в воздух, делая вид, что еле-еле успеваю поймать.

Когда я ночевал на даче, утром Мириам имела возможность до завтрака прыгнуть в озеро и сплавать на другой берег залива. Я в это время сидел на балконе с детишками, попивал черный кофе, любуясь ее стильным кролем, а потом смотрел, как она плывет обратно ко мне, *возвращаясь домой*. Я встречал ее на берегу с полотенцем, насухо вытирал, задерживаясь на тех местах, куда допущен только Барни Панофски, эсквайр. А теперь появился этот Блэр, еще более тренированный пловец, и плавает с нею вместе. Оказавшись на дальнем берегу, он вскарабкивается на вершину высоченной, нависающей над озером скалы и ныряет с нее, причем не плюхается животом, à la Панофски, а входит в воду почти без брызг.

В среду вечером меня срочно истребовал звонком Серж Лакруа, этот aficionado[2], кинолюбитель-самоучка, которого я сделал режиссером одной из серий "Макайвера из Конной полиции Канады". В представлении Сержа искусство кино сводится к внезапным переходам камеры от голого по пояс главного героя, опускающегося на шкуру белого медведя со своей дамой сердца... к толстенному отбойному молотку — как он долбит бетон... или, упаси господи, к пистолету бензоколонки, извергающему тугую струю в бак автомашины. Я не мог смотреть отсня-

1. День искупления (*иврит*) — самый святой праздник (Судный день), завершает десять дней покаяния после еврейского Нового года.
2. Любитель (*исп.*).

тый им материал без хохота, но все равно его звонок означал, что я должен буду провести четверг в городе.

Когда я затеял этот правдивый рассказ о моей никчемно растраченной жизни, я дал зарок описывать даже и те вещи, вспоминать о которых мне до сих пор, спустя многие годы, все еще стыдно, так что получайте. В общем, решил я расставить сети для уловления моей вроде бы верной, но, может быть, заблудшей жены и ее неотразимого эсэсовца-воздыхателя. В среду вечером я объявил, что беру детей с собой в Монреаль, уверив засомневавшуюся Мириам, что они не только не будут мне обузой, но и получат массу удовольствия, околачиваясь возле меня на съемочной площадке. Затем, ранним утром в четверг, пока Мириам с этим Блэром Хоппером-Гауптманом (ведь явно родственник всех военных преступников сразу!) предавались утреннему купанию, я схватил с полки весьма чувствительные кухонные весы Мириам, взбежал наверх, из шкафчика в нашей ванной выудил ее тюбик вагинального крема, поставил на весы и записал его точный вес. По-прежнему разыгрывая из себя Джеймса Бонда, выдернул у себя из головы волосок и положил его на коробку с противозачаточными колпачками. Когда все, сидя за столом внизу, завтракали, я запел:

— Уж и не знаю, когда мне сегодня вечером удастся вернуться, но перед выездом из города я обещаю позвонить — вдруг вам что-нибудь понадобится...

Впавший в истерику Серж призвал меня, чтобы я разобрался в бюджетных хитросплетениях и успокоил разволновавшуюся труппу, но приехал я в таком дурном настроении, что только усугубил кризис. Нашему soi-disant[1] герою, исполнителю главной роли, не понравилось, как я перед всем актерским составом самым непростительным образом сделал ему выговор — дескать, перестаньте халтурить перед камерой, или вас заменят. Затем бездарной шлюшке, которая изображала главную героиню, я сказал, что по сценарию, даже такому говенному, как наш, ей положено делать нечто большее, нежели просто трясти сиськами, и она убежала в слезах.

Цепляясь ко всем по малейшему поводу, я непрестанно видел перед собой мокрых от пота Мириам и Блэра, экспериментирующих с позами, которые не снились даже авторам "Камасутры". Опять сплошное déjà vu, — как сказал однажды Йоги Берра*. Впрочем, не совсем. Сцена та же, зато актеры новые. На сей раз, к счастью, револьвера у меня не было. Наконец, в шесть часов вечера я позвонил на дачу. Я насчитал четырнадцать гудков, пока Мириам, явно с неохотой стряхнувшая с себя посткоитальную дрему либо отвлекшаяся от упоительного позирования для очередной порнографической фотографии, подошла к телефону.

— Нам еще час будет не вырваться, — сказал я.

— Что у тебя с голосом? Что случилось, дорогой?

— Буду не раньше полдевятого, — буркнул я и повесил трубку. Сразу же сгреб детей и, не мешкая, рванул на дачу. Если они затеют совместные игрища под душем, есть шанс, что я их застигну.

Животные!

Майк и Савл, чувствуя мое состояние, сообразили притвориться спящими и всю дорогу до озера тихарились.

— Маме надо сказать, что вы обалденно провели время, хорошо?

1. Так называемому (*франц.*).

— Да, папа.

Не успел я поставить машину на ручник и выйти на предполагаемое поле брани, как подскочившая ко мне радостная Мириам уже тискала меня в объятьях.

— А что мы сделали-то! Никогда не догадаешься, — сказала она.

Сука наглая. Блудница вавилонская. Иезавель.

Взяв за руку, она подвела меня к трактору, стоящему на заднем дворе.

— Помнишь, ты хотел заплатить Жан-Клоду, чтобы он оттащил его на свалку, и купить новый?

— Ну да. И что?

Она заставила меня сесть на сиденье и дала ключ. Блэр все это время улыбался, изображая скромного труженика. Я повернул ключ, понажимал на педаль, и мотор завелся.

— Весь вечер Блэр в нем копался. Почистил свечи, заменил масляный фильтр, бог знает, что он там сделал еще, но ты только послушай!

— На будущее: постарайтесь, чтобы не заливало свечи, мистер Панофски.

— А, да. Спасибо. Но сейчас мне нужно срочно в туалет. Извините.

Заперев за собой дверь ванной, я отворил шкафчик под раковиной и нашел, что мой волос все еще там, где положено — на крышке коробки с колпачками. И тюбик с вагинальным кремом заметно легче не стал. *Но что, если он наскочил на нее неожиданно и она ни тем, ни этим не воспользовалась, так что я теперь стану отцом его ребенка! И вырастет, скорей всего, вегетарианец. И уж конечно читатель журнала Союза потребителей.* Нет, нет! Все еще встревоженный, но уже ощущая более чем явственные уколы совести, я возвратил на место весы, добыл из кухонного холодильника бутылку шампанского и поставил на обеденный стол.

— Что празднуем? — спросила Мириам.

— Спасение трактора. Блэр, я даже не знаю, как мы вообще без вас обходились!

Сейчас, задним числом, я догадываюсь, что мне не следовало открывать вторую бутылку, затем бутылку "шатонёф", которым мы запивали приготовленную Мириам osso buco[1], а потом еще и коньяк. Отказываясь от коньяка, Блэр чопорно прикрыл ладонью свой бокал, едва я поднес к нему бутылку.

— Да бросьте вы! — не унимался я.

— Надеюсь, я не провалил экзамен на мужественность, — сказал он. — Но, по правде говоря, если я выпью еще хоть каплю, мне станет дурно.

Затем с неизбежностью наступила очередь его ежедневной вьетнамской проповеди, в которой он нес по кочкам Никсона, Киссинджера и Уэстморленда*. Будучи не в том настроении, чтобы просто так взять да и согласиться, я сказал:

— Это, конечно, грязная война, но, Блэр, неужто вы, такой совестливый человек, ни вот на столечко не чувствуете вины за то, что эту войну тащат на своих плечах главным образом черные, бедные крестьяне и работяги из глубинки, тогда как ваша небедная и продвинутая задница отсиживается в Канаде?

— Вы считаете, что мой долг быть среди тех, кто жжет напалмом детей?

1. Тушеную говяжью голяшку с овощами (*итал.*).

Мириам сменила тему, но потом атмосфера всерьез накалилась. Как выяснилось, у Блэра в Бостоне жила сестра, она была адвокатом и давала бесплатные консультации, а заодно возглавляла организацию, занимавшуюся трудоустройством глухих, слепых и прикованных к инвалидному креслу. Вместо того чтобы признать ее деятельность достойной восхищения, я заспорил:

— Да, но при этом лишаются работы здоровые мужики! Вот: будто своими глазами вижу. Горит наш дом, а пожарные не могут его найти, потому что все слепые. Или лежу это я в реанимации, стенаю: "Сестра! Сестра! Помогите! Умираю!" А она меня не слышит, потому что глухонемая.

В последний его вечер с нами "дядя" Блэр устроил для очарованных им детей костер, а я сидел на крыльце и злобствовал, прихлебывая "реми мартен" и покуривая "монтекристо". Глядя, как они скачут на берегу и жарят сосиски и корень алтейки, я всячески желал, чтобы искры подожгли лес и Блэра, давно объявленного в "Четвертом рейхе" в розыск злостного пироманьяка, увели бы в наручниках. Нет, такого счастья я не дождался. Тренькая на дурацкой своей гитаре, Блэр обучал моих детей балладам Вуди Гатри ("Эта страна — твоя страна", "Двинем по старой пыльной дороге" и прочим левацким грезам), Мириам подпевала. Моя семья, *мишпуха* Панофски, чьи предки всего два поколения назад вышли из *штетла*, превратилась в компанию с обложки "Сатердей ивнинг пост" работы Нормана Рокуэлла. Черт! Черт! Черт!

Блэр ушел на следующее утро, когда я еще не спустился к завтраку, и я решил — все, больше я его не увижу. Но из Торонто потихонечку начали просачиваться открытки, иногда адресованные Майку и Савлу — с предложением стать друзьями по переписке. Получая на деревенской почте очередное послание, я каждый раз боролся с искушением выкинуть его в урну, но боялся — вдруг Мириам узнает. Приносил и бросал на стол под радостные крики моих вероломных детей. Квислинги — оба! А тем из вас, кто слишком молод помнить, кто такой был Квислинг, надо глянуть в историю этой... черт, ну как же ее, страна такая, рядом со Швецией. Не Дания, но тоже там неподалеку. [Норвегия. — *Прим. Майкла Панофски.*]

— Конечно, вы должны ответить ему, дети, — сказал я. — Но стоимость почтовых марок будет вычтена из денег, выдаваемых вам на расходы.

— Боже, ушам своим не верю! — ужаснулась Мириам.

— Я еще не закончил. Сегодня я всех приглашаю на обед в "Джорджо".

— А скажи-ка мне, Отец Горио, ты что, и там тоже заставишь детей самих платить за гамбургеры и жареную картошку, да еще и есть с рекордной скоростью, чтобы ты успел домой к началу первого иннинга игры в бейсбол?

Потом Блэр прислал Мириам оттиск статьи, написанной им для журнала "Американский изгнанник в Канаде", и она тщетно пыталась его от меня спрятать, а значит, даже ей уже было неловко.

Предположим, рассуждал Блэр, канадское правительство под давлением массовых народных выступлений будет вынуждено отстаивать независимость страны посредством национализации промышленных объектов, находящихся в собственности американского доллара, и прекращения свободного притока американских инвестиций. Неизбежное вторжение с юга будет грубым, жестоким и кровопролитным. Однако, как считал Блэр, Канада победит:

Рассматривая возможность вторжения янки, важно не забывать, что население Канады в массовом порядке развернет борьбу с этими козлами. Подпольщики и партизаны вырежут девять из десяти захватчиков. Народные массы канадцев станут поддерживать своих защитников партизан, лечить их, кормить и прятать, принимая их как своих братьев. Мы должны учиться у вьетнамцев, как надо бороться со вторжением янки...

Не знал, что ли, этот мудак, что, когда в прошлый раз американцы нагрянули к Монреалю, вице-губернатор Гай Карлтон сбежал, город капитулировал, а делегат от французского населения Валентэн Жуатар приветствовал козлов-янки как братьев, сказав: "Наши сердца всегда жаждали единения, и мы всегда принимали войска Союза как свои собственные".

4

Ципора Бен Иегуда
Димона
Негев
Эрец Израэль
22 Тишри 5754 года

Фонду имени Клары Чернофски
для Женжчин,
Лексингтон-авеню, 615,
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
США

ВНИМАНИЮ ХАВЕРА[1] ДЖЕССИКИ ПИТЕРС И ДОКТОРА ШИРЛИ УЭЙД

Шалом, Сестры!

Мои родители, фамилия которых Фрейзер, при рождении назвали меня Емимой (в честь старшей из трех дочерей Иова), но это было тридцать пять лет назад в Чикаго, а теперь я четыре года уже как переехала в город Димона в пустыне Негев и прохожу под именем Ципора Бен Иегуда. Я черная еврейка, последовательница Бена Амми, бывшего чемпиона штата Иллинойс по реслингу, который научил нас, что мы истинные израэлиты. Да. Мы — черный народ, рассеянный римлянами по Африке, а потом перевезенный в качестве рабов в Америку. Мы все братаны, вплоть до южноафриканских лемба, которые тоже называют себя израэлитами, хотя и не соблюдают больше *глатт кошер*. В 1966 году христианской эры Бену Амми, еще проповедовавшему тогда в Чикаго, во время бомбардировки зажигательными снарядами винного магазина было ниспослано видение. Он забил стрелку с Иеговой, они там это дело перетерли, и он узнал, что пришло время истинным детям Израиля делать *алию*[2]. В Великом Исходе приняли участие триста пятьдесят крутых пацанов и пацанок, а теперь, *Готт зеданк*, нас стало 1500, но мы продолжаем страдать вроде как от пращей и стрел анти Семитизма белых еврейских узурпаторов.

1. Товарища, подруги (*иврит*).
2. Алия — восхождение (*иврит*) — репатриация евреев в Израиль.

Надо вам сказать, что быть черной еврейкой в Эрец Израэль – это вам не фунт изюму! В Кесарии есть гольф-клубы, куда нас не принимают, и рестораны в Тель-Авиве и Иерусалиме, в которых сразу, как мы покажемся на горизонте, мест нет. Бледнолицые израильтяне не одобряют некоторые наши ритуалы, особенно полигамию, *которая основывается на правильном прочтении Пятикнижия Моисеева.* Мы стыдим их – приходится, раз уж мы более начитанны. Мы строго постимся весь Шаббат. Мы суровые вегетарианцы, не едим даже молока и сыра. И не носим синтетической одежды. Короче, мы возвратились к истинной вере, какой она была до поругания так называемой Евро-гойской цивилизацией.

Мы патриоты. Мы не любим мусульман, потому что они были главными работорговцами. И мы против палестинского государства. В нашей общине соблюдается строгая дисциплина, мы далеко ушли от жизни "по понятиям" блатного Чикаго. И что бы вы там ни вычитали в "Джерузалем пост", мы не балуем с наркотиками. Здороваясь со взрослыми, наши дети слегка кланяются, а наши женщины свято чтят своих мужей. А верховное слово во всех вопросах принадлежит Бену Амми, нашему Мессии, которого мы зовем Абба Гадол, Великий Отец.

Наша *мишпуха,* состоящая из семи "духовных банд", всех держит в страхе, потому что эти расисты видят в нас авангард великой Черной миграции под маркой Закона о возвращении. Однако, согласно Абба Гадолу, в Америке всего 100 000 Черных действительно израильского происхождения. Конечно, израэлитские племена в Африке насчитывают, быть может, до пяти миллионов, но мы не ожидаем, что к нам здесь присоединится более полумиллиона человек.

Еще мне хотелось бы заверить вас, что это полная чушь – то, что якобы сказал репортеру из "Джерузалем пост" один наш подросток:

"В двухтысячном году будет полный апокалипсис. Вулканы и все такое. И вы увидите, как Черные придут отовсюду обратно в Израиль. И тогда этой страной будем править мы".

Сестры, причина, по которой я пишу вам, состоит в том, что мне нужен грант. Скажем, 10 000 долларов, чтобы братва смогла начать работу над сочинением Агады в стиле рэп, на слова поэта Айс-Ти*. Это будет наш дар Эрец Израэль. Типа современной Шестой книги Мойши.

Благодарная вам заранее, остаюсь

С уважением

Ципора Бен Иегуда

5

– Меня зовут Шон О'Хирн, – представился следователь, появившийся на следующий день после исчезновения Буки, и протянул руку. – Думаю, нам надо бы немножко поболтать.

Своим более чем твердым рукопожатием он чуть не переломал мне пальцы, а потом вдруг резко перевернул пострадавшую руку, словно собрался читать по ладони.

– Э, да у вас мозоли!

О'Хирн, еще не разжиревший, не облысевший, не страдающий приступами влажного нутряного кашля, от которого у него впоследствии глаза будут чуть не на лоб лезть, был одет в зеленый – будто он лесник – габардиновый пиджак и клетчатые брюки, на голове – соломенная федора. Когда он уселся на моей веранде в бамбуковое кресло, мне в глаза

бросились его двухцветные туфли для гольфа с кисточками на язычках. Значит, вечером планирует помахать клюшкой.

– Этот Арнольд Палмер, – говорил тем временем сыщик, – нечто особенное. Я однажды видел его на открытом первенстве Канады, и у меня только одно желание возникло: собрать все свои клюшки в кучу и сжечь. Может, сыграем? сколько вам дать очков вперед?

– Я не играю в гольф.

– Ай, да не вешайте мне лапшу! Вон же у вас мозоли на руках!

– Это я грядку копал под спаржу. Ну, вы нашли Буку?

– Говорят, отсутствие новостей – уже хорошая новость, хотя, может быть, в нашем случае это и не так, а? И катер пускали, и водолазов – все без толку, да и в округе, насколько мы знаем, никто не рассказывал, что подобрал на дороге мужика, голосовавшего в плавках и ластах.

О'Хирн приехал на машине без спецраскраски, но с ним прибыли еще два автомобиля Sûreté du Quebec*. И вот уже два молодых полицейских с притворной скукой пошли бродить по моим угодьям, явно в поисках следов свежеразрытой земли.

– Какой же вы счастливый, что вам не приходится в такую жару сидеть в городе! – сказал О'Хирн, сняв шляпу и вытирая лоб носовым платком.

– Ваши люди зря теряют время.

– У меня раньше тоже имелась дачка на озере Эхо. Не такой дворец, как у вас, просто маленькая хибарка. Так у нас там одна проблема была – муравьи и полевые мыши. Каждые выходные, прежде чем уехать, надо было все тщательно убирать и всю помойку увозить с собой. А вы куда – на свалку отвозите?

– Да просто бросаю все в бак напротив кухонной двери, а Бенуа О'Нейл забирает. Хотите там покопаться – пожалуйста, не стесняйтесь.

– Знаете, я не могу понять, почему вы не рассказали тем первым представителям полиции, которые к вам нагрянули...

– Они не нагрянули. Я их вызвал.

– ...о том, что у вас здесь происходило, тем более вы были так расстроены потерей друга, который, как вы считаете, утонул.

– Он не утонул. Он вломился в чью-нибудь дачу и не вылезет оттуда, пока не прикончит там последнюю бутылку спиртного.

– Ага. Ага. Но заявлений о взломе не поступало.

– Я совершенно уверен, что протрезвевший Бука объявится здесь либо сегодня к вечеру, либо завтра.

– Слушайте, а может быть, мистер Москович до сих пор гуляет где-нибудь в лесу? Правда, он в одних плавках. Боже, комары сведут его с ума. Да и пора бы ему уже проголодаться. Как вы думаете?

– Я думаю, вам надо пройтись по всем домам, что стоят на берегу, и вы его найдете.

– Вы хорошо подумали, и это ваше последнее слово?

– Да ведь мне нечего скрывать.

– Обратного никто и не утверждает. Но, может быть, вы поможете мне разобраться с некоторыми скучными деталями – так, просто для отчета.

– Вы не откажетесь выпить?

– Против холодного пива я бы не возражал.

Мы перешли в дом. О'Хирна я снабдил пивом "мольсон", себе налил виски.

— Ого! — О'Хирн даже присвистнул. — Столько книг сразу я видел только в библиотеке. — Он остановился у висевшего на стене маленького рисунка пером. Компания чертей во главе с Вельзевулом насилует голую девушку. — Н-да-а, у кого-то тут и впрямь больное воображение!

— Это рисунок моей первой жены, хотя вас это вряд ли касается.

— Развелись, да?

— Она покончила с собой.

— *Здесь?*

— В Париже. Это город во Франции — а то, может, вы не знаете.

Я уже лежал на полу, в голове звенело, и только тут до меня дошло, что он меня ударил. В испуге я поспешил кое-как встать на подгибающиеся, ватные ноги.

— Вытрите чем-нибудь рот. Вы же не хотите испачкать кровью рубашку, а? Наверняка из магазина "Холт ренфрю". Или "Бриссон и Бриссон", где отоваривается этот паршивец Трюдо. [В 1960-м году Пьер Элиот Трюдо вряд ли был известен. Годом трюдомании стал 1968-й, когда его избрали премьер-министром. — *Прим. Майкла Панофски.*] Нам ваша жена звонила. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но она утверждает, что в среду ранним утром между вами вышло недоразумение и вы подумали, что у вас есть причина злиться на нее и мистера Московича. — Раскрыв маленький черный блокнотик, он продолжил: — По ее словам, вы приехали из Монреаля неожиданно рано и, застав их вместе в постели, подумали, что они — гм — предавались блуду. Однако — и тут я вновь ее цитирую — правда состоит в том, что ваш друг очень плохо себя чувствовал. Она принесла ему на подносе поесть, а он так дрожал, так страдал от холода, несмотря на жару, так жутко стучал зубами, что она залезла к нему в постель, чтобы согреть его, и обняла как нянька, и в этот самый момент вы ворвались и страшно разобиделись, истолковав все превратно.

— Ну ты и мудак, О'Хирн.

На этот раз он огорошил меня молниеносным ударом под дых. Я пошатнулся, стал ловить ртом воздух и опять завалился на пол. Лучше бы я там и оставался, потому что, едва я встал и попытался дать ему сдачи, как он сильно ударил меня по лицу левой, а потом влепил по другой щеке еще и правой. Я стал водить языком по зубам, проверяя, все ли на месте.

— Я тоже не принимаю ее утверждения за чистую монету. Но ведь не все это *буба-майса*, а? Я немножко знаю идиш. Вырос на улице Мейн. Перед вами профессиональный *шабес гой*[1]. Бывало, я зарабатывал кое-какие крохи, растапливая в пятницу вечером печки в домах ортодоксальных евреев, и никогда я не видывал более приличных, законопослушных граждан. По-моему, вам опять надо вытереть подбородок.

— К чему вы все это говорите?

— Послушайте, ведь это должно было вас черт знает как разозлить. Ваша жена и ваш лучший дружок валяются в обнимку.

— Ну, скажем, меня это не порадовало.

— И я не виню вас. И никто не винит. Кстати, а где мистер Москович спал?

— Наверху.

1. Нееврей, выполняющий в субботу поручения религиозных евреев, которым всякая работа в это время запрещена (*идиш*).

— Ничего, если я гляну? Работа у меня такая, а?

— У вас есть ордер на обыск?

— Да ну, бросьте вы. Не надо так. Вы же говорили, вам нечего скрывать.

— Первая комната направо.

Борясь со злобой пополам со страхом, я подошел к кухонному окну, смотрю, один из полицейских пошел в сторону леса. Другой вывоpотил содержимое мусорного бака и роется в куче отбросов. Тут вернулся О'Хирн, держа руку за спиной.

— Странное дело. Он забыл там всю свою одежду. Бумажник. Паспорт. Похоже, этот Москович и впрямь заядлый путешественник.

— Он за своими вещами вернется.

О'Хирн достал что-то из кармана пиджака.

— Вы со мной что — шутки шутить вздумали, Панофски? Когда не знаешь, что это, вполне можно принять за марихуану.

— Но это не мое.

— Да, совсем забыл, — сказал он и вынул, наконец, из-за спины другую руку. — Смотрите, что я нашел.

Черт! Черт! Черт! Это был отцовский табельный револьвер.

— У вас есть разрешение?

В эту минуту паника затмила мне разум, и я выпалил:

— Первый раз вижу! Он, наверное, Букин.

— Так же, как эта марихуана?

— Да.

— Однако я нашел его у вас в комнате, на тумбочке рядом с кроватью.

— Не знаю, как он туда попал.

— Да вы что, специально напрашиваетесь или как? — сказал он и ударил меня с такой силой, что я опять потерял равновесие. — А теперь отвечайте серьезно.

— А, я вспомнил. Это отцовский. Как-то раз он приезжал на уик-энд и оставил его. Он был инспектором следственного отдела полиции Монреаля.

— Ах ты, черт побери! Вы сын старого Израиля Панофски!

— Да.

— Нну-дык! Тогда мы тут в каком-то смысле вроде как *мишпуха*. Так, кажется, звучит у вас слово "семья" — шутники, ей-богу! А в барабането — пустая гильза.

— Он так и не научился толком заряжать.

— Ваш отец?

— Да.

— Сейчас я вам открою один маленький секрет. Я ведь точно как ваш отец. Скольких подозреваемых я отправил в больницу — это ужас! "Оказывали сопротивление" — вы ж понимаете.

— Я стрелял из него.

— Ну вот, это уже лучше. И насколько недавно?

— Когда жена уехала, мы с Букой много выпили.

— Ну естественно. Вы, надо полагать, были вне себя от негодования. Я бы весь кипел, это точно. За вашей спиной он трахал вашу жену. Ну и — пиф-паф. Да еще и при вашей-то вспыльчивости!

— Какой такой моей вспыльчивости?

— За вами числится привод в Десятый отдел, вот, здесь у меня и дата записана — за драку в баре. А еще на вас поступало заявление от официанта из "Руби Фу" — он обвинял вас в оскорблении действием. Надеюсь, вы не считаете меня предвзятым *гоишер хазером*. У нас, знаете ли, может, и нет таких шикарных поместий прямо на озере, но домашние задания мы выполняем, а?

— Я заклинал Буку не ходить купаться в таком состоянии. И когда он стал спускаться к воде, я сделал предупреждающий выстрел в воздух.

— А револьвер оказался у вас в руках случайно?

— К этому времени мы вовсю валяли дурака, — сказал я, весь под рубашкой покрываясь потом.

— Значит, выстрелили поверх его головы смеха ради? Вы гнусный лжец, — сказал он и пнул меня. — Ну-ка, давайте серьезно.

— Я вам правду говорю.

— Вы лжете, изо всех сил сцепив зубы, благо они у вас еще есть. Потому что хрен знает, как будет нехорошо, если вы упадете и выбьете себе парочку, не правда ли?

— Мне наплевать, как это выглядит. Именно так все и было.

— Стало быть, он пошел поплавать, и что потом?

— Я сам был пьян вдрезину. Ну, пошел на диван прилечь, а проснулся от кошмара — мне казалось, всего через несколько минут. Приснилось, будто мой самолет падает в Атлантику.

— Ах вы бедняжечка.

— А на самом деле я проспал что-нибудь около трех часов. Пошел искать Буку, но в доме его нигде не обнаружил. Я испугался, не утонул ли он, и позвонил в полицию, попросил их приехать как можно скорее, чего я никогда бы не сделал, если бы мне было что скрывать.

— Или если бы вы начали заметать следы слишком рьяно. Знаете что? Я обожаю Агату Кристи. Могу поспорить, опиши она этот случай, она бы назвала его "Делом пропавшего пловца". После смерти вашего отца вы должны были сдать оружие.

— Да я забыл о нем напрочь!

— Вы забыли о нем напрочь, но держали в руке и хохмы ради произвели выстрел в воздух.

— Нет, я попал ему прямо в сердце, а потом закопал в лесу, где ваши придурки как раз сейчас рыщут.

— Ну вот, это уже лучше.

— О'Хирн, вы что, шуток вообще не понимаете?

— Если меня не подводит слух, вы только что сказали: "Я попал ему прямо в сердце, а потом..."

— Fuck you, О'Хирн! Если тебе есть в чем меня обвинить, то давай, говори в чем! Если нет — вся ваша троица может ухерачивать отсюда сию же минуту!

— Ух, какой злой, какой вспыльчивый! Бить-то меня хоть не будешь? Похоже, мне сильно повезло, что это не я вам попался с вашей женой в обнимку.

— И можете еще кое-что записать себе в книжечку, но, боюсь, это вашу позицию не усилит. Я не был ни капельки зол на Буку. Я был рад. Счастлив как никогда. Потому что мне нужен развод, и теперь у меня появились для него основания. Бука согласился быть моим соответчиком. Он нужен мне как свидетель. Так зачем же мне его убивать?

— Стой-стой-стой. Куда погнал! Я этого слова не говорил, — нахмурился О'Хирн. Потом он лизнул палец и стал листать записную книжку. — По словам вашей жены, перед тем как она уехала, а уехала она потому, что имела все основания вас опасаться — при вашей-то склонности к насилию...

— У меня нет склонности к насилию.

— Я просто цитирую ее слова. Она спросила: "Что ты сделаешь с Букой?" А вы ответили — цитата: "Я убью его", и далее стали угрожать ей и ее недавно овдовевшей матери.

— Это была фигура речи.

— Так вы не отрицаете, что сказали это?

— Да вы, я смотрю, полный идиот. У меня не было намерения причинять вред Буке. Он мне нужен.

— У вас есть девушка в Торонто?

— Это не ваше дело.

— Этакая сдобненькая телочка по имени Мириам Как-ее-там.

— Не пытайтесь еще и ее к этому припутать, хамская ваша рожа! Ее здесь и вовсе не было. Она-то тут при чем?

— О'кей. Усвоил. Значит, так: этот незаконный револьвер я забираю с собой, но я вам оставлю расписку.

— Возникнут трудности с правописанием — обращайтесь.

— Ну вы и тип!

— Ну так ка́к — я в чем-нибудь обвиняюсь?

— Да разве что в дурных манерах.

— Тогда на прощание я желаю вам приятного времяпрепровождения на поле для гольфа. И пусть тебе кто-нибудь там треснет клюшкой по твоей дурной башке, хотя она и после этого умней не станет, — сказал я и, схватив его за лацканы пиджака, принялся трясти. Он не сопротивлялся. Только улыбался. — *Буба-майса! Шабес-гой! Мишпуха*! Не смей меня подначивать этим своим ломаным идиш — ты, напыщенный малограмотный мудак! Агата Кристи! "Дело пропавшего пловца"! Готов поспорить, что последней книжкой, которую ты прочитал, были "Приключения Винни-Пуха" в детском переложении, да и то ты до сих пор силишься понять, о чем там речь. Где тебя учили допрашивать подозреваемых? Или ты "Звездных войн" насмотрелся? Начитался комиксов? Нет, это я бы прочухал. У тебя бы тогда пузырь изо рта торчал!

Ухмыльнувшись, О'Хирн освободился от моего захвата, коротко рубанув рукой — так ловко, что я только моргнуть успел. Другой рукой он ухватил меня сзади за шею, рванул мне голову вперед и двинул коленом в пах. Разинув рот, я согнулся пополам, но ненадолго, потому что тут же он двумя соединенными вместе руками, словно кувалдой, поддел меня под подбородок, и опять я, беспорядочно махая руками, рухнул спиной на пол.

— Панофски, сделай самому себе милость, — сказал он. — Мы знаем, что это твоя работа, и рано или поздно найдем, где ты зарыл его, жалкий ты мерзавец. Грядку под спаржу он копал, щ-щас! Так что сбереги наше время и силы. Поимей немножко *рахмонес* к бедным служителям закона. Это значит "жалость" на вашем жаргончике, которым я — спорим? — владею лучше тебя. Сознавайся. И показывай, где труп. Мы за это скидку даем. Я поклянусь в суде, что ты был настоящим душкой, помогал следствию и рыдал от раскаяния. Наймешь себе хитрого еврея адвоката, и все, в чем тебя обвинят, — это убийство по неосторожности

или что-нибудь в таком духе, потому что была борьба и револьвер выстрелил случайно. Или это вообще была самозащита. Или — господи боже мой — может, ты даже не знал, что он заряжен! И судья, и присяжные будут тебе сочувствовать. Ну как же: жена! И лучший друг! Да чтоб мне сдохнуть, если тут не было состояния временной невменяемости. В худшем случае ты получишь три года и вернешься домой через полтора. Слушай, да ведь тут можно даже и условного добиться — для такого бедного обманутого мужа, как ты. Но, если будешь настаивать на той своей *буба-майсе,* которую ты нам грузишь, я засвидетельствую на суде, что ты меня ударил, и тогда никто твоей сказке не поверит и дадут пожизненное, что означает минимум десять лет, и, пока ты будешь гнить в тюрьме, питаясь собачьим кормом и каждый день получая по мордасам от плохих парней, которые не любят евреев, твоя красотка в Торонто будет раздвигать ножки с кем-нибудь другим, а? Я к тому, что, когда ты выйдешь, ты будешь сломленным стариком. Ну, что скажешь?

Я ничего не мог сказать — меня безостановочно рвало.

— Гос-споди, поглядите, что вы наделали с ковром! Может, вам тазик принести? Где у вас тазик?

О'Хирн нагнулся и протянул руку, чтобы помочь мне встать, но я отрицательно помотал головой, опасаясь очередного подвоха.

— Да, теперь этот ковер только шампунем. Что ж, за пиво merci beaucoup[1].

Я застонал.

— А если ваш приятель, этот долгоиграющий купальщик, все-таки объявится, вы уж будьте так добры, позвоните нам, идет?

По дороге к двери О'Хирн умудрился наступить мне на руку.

— Ать-тя-тя. Извиняюсь.

Я пролежал на полу, может, час, может, дольше, во всяком случае О'Хирн со своими подручными давно уехал, когда я, собравшись с силами, налил себе очередную порцию виски, проглотил ее и набрал номер Хьюз-Макнафтона. Его не было ни дома, ни в офисе. Я застал его в "Динксе" и сообщил о визите полицейских.

— Что-то у тебя голос какой-то странный, — проговорил он.

— О'Хирн избил меня как сидорову козу. Я хочу сделать на него заяву.

— Надеюсь, ты не отвечал ни на какие вопросы?

Я подумал, что лучше бы мне рассказать Джону все как есть — про то, как О'Хирн нашел у меня отцовский короткоствольный револьвер, и про то, как я напоследок грубо с ним разговаривал.

— Ты схватил его за лацканы и тряс?

— Да вроде бы. Но только после того, как он меня ударил.

— Я хочу попросить тебя об одолжении, Барни. У меня все еще остаются кое-какие баксы в банке. Они твои. Но тебе придется найти себе другого адвоката.

— Да ведь ты мне еще и для развода нужен! Да, кстати! Нам уже не требуется искать проститутку и частного сыщика. Я поймал ее на измене. Бука будет моим свидетелем.

— Да ведь его же, наверное, нет в живых!

— Он объявится. Да, я вот еще что забыл упомянуть. Следователю известно о Мириам.

1. Большое спасибо (*франц.*).

– Откуда?

– Кто ж его знает? Слухом земля полнится. Может, нас видели вместе. *Ей не надо было такое говорить о голосе Мириам.*

– О чем, о чем? Что-то я тебя не пойму.

– Это я так. О'кей, ладно, я не должен был. Но я сказал. Слушай, Джон, мне нельзя в тюрьму. У меня любовь.

– Мы никогда не встречались. Я тебя не знаю. Это окончательно. Ты откуда звонишь?

– Из дома на озере.

– Вешай трубку.

– Ты что – параноик? Они не могут, это незаконно!

– *Вешай трубку сейчас же.*

Черт! Черт! Черт!

На следующий день в Монреале меня рано утром разбудил звонок в дверь. Это был О'Хирн с ордером на мой арест за убийство. А наручники на меня надевал Лемье.

6

Детям никогда не надоедало слушать о том, как я ухаживал за Мириам; они радовались нашим похождениям и проделкам и постоянно требовали новых подробностей.

– Ты хочешь сказать, что он сбежал с собственной свадьбы и поехал с тобой на поезде в Торонто?

– Ну да.

– Ну ты и гад, папочка, – хихикает Кейт.

Серьезный Савл отрывается от книги и говорит:

– Так меня ведь тогда еще на свете не было.

– А в котором часу отходил поезд на Торонто? – в сотый раз задает все тот же вопрос Майкл.

– Около десяти часов, – отвечает Мириам.

– Если хоккей заканчивался, скажем, в десять-тридцать, а поезд отходил приблизительно в десять, то я не понимаю, как...

– Майкл, мы ведь это уже выясняли. Наверное, отправление задержали.

– И ты заставила его слезть в...

– Я все-таки не могу понять, как...

– Ну я же еще не закончила предложение, – начинает уже обижаться Кейт.

– Ах, ну какая же ты зануда, Кейт!

– Ты будешь говорить, когда я дойду до конца предложения. И ты заставила его слезть на станции Монреаль-Вест. Точка.

– А на самом деле она втайне обиделась, что я не поехал с ней до Торонто.

– Здрасьте! Это же была его свадьба.

– Он был пьяный, – говорит Савл.

– Папочка, это правда? Вопросительный знак.

– Разумеется, нет.

— Но это ведь правда, разве нет? — что ты не мог удержаться и все время глазел на нее, запятая, несмотря на то, что это была твоя свадьба. Точка.

— Он даже танцевать меня ни разу не пригласил.

— Мамочка думала, что он просто немного чокнутый. Точка.

— Если ты непрестанно глазел на нее, скажи тогда, в чем она была одета.

— А в таком многослойном шифоновом платье с одним голым плечом. Ха. Ха. Ха.

— А это правда, запятая, что, когда он в первый раз пригласил тебя на ланч, он обтошнился по всей комнате, вопросительный знак.

— Лично я родился еще только через три года.

— Ага, удивительное дело, и почему этот день до сих пор не объявлен всенародным праздником! Как день рождения королевы Виктории.

— Дети, я вас умоляю!

— И ты пошла с ним в его номер в гостинице на первом же свидании? Вопросительный знак. Постыдилась бы. Точка.

— Мама у папы третья жена, — констатирует Майкл, — но дети у него только мы.

— Ты так в этом уверен? — спрашиваю я.

— Папочка! — возмущается Кейт.

— А я сделала укладку, надела новое сексуальное платье, а...

— Мамочка!

— ...а он даже не сказал мне, что я потрясающе выгляжу.

— А потом что?

— Потом они пили шампанское.

— А первая папина жена сделалась знаменитой и...

— Про это мы уже слышали.

— ...это она нарисовала тот гадкий рисунок пером. Точка.

— А теперь он стоит кучу денег, — говорит Майкл.

— Ну надо же, — вставляет Савл.

— Да, как-то это не очень романтично, — потешается Кейт, — когда твой кавалер на первом свидании весь обтошнится.

— По правде говоря, я страшно боялся произвести на вашу мать плохое впечатление.

— И как?

— Это уж пусть она ответит.

— Во всяком случае, он проявил оригинальность. Уж этого у вашего папочки не отнять.

— Стало быть, вы разговаривали, гуляли, — продолжает Кейт, — *а потом что?* — сделав большие глаза, спрашивает она; мальчишки тоже навостряют уши.

— Не обязательно вам все знать, — поджимает губы Мириам, и я вижу, как у нее на щеке опять проступает ямочка.

— Ну коне-ечно. По-моему, мы уже достаточно взрослые.

— А помните, — оживляется Кейт, — как мы все ездили в Торонто на машине, и...

— На "тойоте".

— Вообще-то она была "вольво универсал".

— Ну-ка, вы оба, перестаньте меня перебивать. Так вот, когда мы проезжали мимо одного большущего дома...

— Где мама когда-то жила.

— ...папа на тебя этак со значением глянул, и у тебя щеки стали красными, как помидоры, и ты к нему прижалась и поцеловала его.

— Ну, должны же у нас быть какие-то свои секреты! — говорю я.

— Когда мама жила в том доме, папа был все еще женат на той толстой женщине, — говорит Кейт, надувает щеки и, животом вперед, ковыляя, идет по комнате.

— Ну, хватит. Кроме того, она тогда не была толстой.

— Мама говорит, что и ты тоже не был.

— Ну я же стараюсь, держу диету.

— Мы не хотим, чтобы с тобой случился инфаркт, папочка.

— А меня волнует не столько копченое мясо, сколько твои сигары.

— А правда, что маме на следующее утро пришлось оплачивать твой счет в "Парк-Плазе"?

— Я забыл тогда свои кредитные карточки в Монреале, а в лицо меня в те дни там никто еще не знал. Боже мой, неужто для вас нет ничего святого?

— Да-а, тебе и правда повезло, что она вышла за тебя!

— Нехорошо так говорить, — вступается за меня Кейт.

— Точка или запятая? Ты не сказала.

— Папочка у нас хороший.

— Я пошла в "Парк-Плазу" встретиться с ним за завтраком, — говорит Мириам, — а там у стойки регистрации тарарам какой-то, все глазеют, и, конечно же, это из-за вашего папочки. Он не взял с собой ни чековой книжки, ни каких-либо документов, а виноват в этом был, естественно, клерк-регистратор. Вышел менеджер, уже замахал руками, подзывая охрану, но тут вмешалась я, предложив свою кредитную карту. Но клерк был в ярости. "Мы, — говорит, — примем вашу карту, мисс Гринберг, но пусть сперва мистер Панофски извинится передо мной за то, что обзывал меня грязными словами, которые я даже повторить не могу". А ваш отец говорит: "Да всего-то и назвал его мудаком, типичным для Торонто, — что делать, я всегда склонен преуменьшать". А я говорю: "Барни, я требую, чтобы ты сейчас же извинился перед этим джентльменом!" Ваш отец, в обычной его манере, закусил губу, поскреб в затылке и говорит: "Раз она так хочет, я извиняюсь, но в душе остаюсь при своем мнении". Клерк аж крякнул. "Я приму кредитную карту мисс Гринберг, чтобы избавить ее от продолжения этой постыдной сцены". Ваш отец едва не набросился на него, но я оттащила. "Я весьма вам признательна", — сказала я клерку. Нам, естественно, пришлось идти завтракать в другое место, и ваш отец всю дорогу кипятился. А сейчас, если не возражаете, я должна начинать одеваться, а то опоздаю.

— А куда ты идешь?

— Блэр Хоппер делает доклад "Мир Генри Джеймса" в Макгиллском университете, он не забывает о нас и поэтому прислал два билета.

— А ты, папа? Неужели тоже пойдешь?

— Нет, он, разумеется, не пойдет. Майкл, может, ты со мной сходишь?

— Папа сказал, что берет меня с собой на хоккей.

— Я схожу, — говорит Савл.

— Во! Здорово! — притворно радуется Кейт. — Наконец-то побуду дома одна.

— Конечно, тебя бросают одну, — встреваю я, — потому что никто тебя не любит. Мириам, я буду ждать вас с Блэром в "Морском баре", выпьем — и домой.

— Может, прямо сейчас начнешь?

— Наверняка у них найдется и травяной чай. Или как минимум минералка.

— Барни, ты же его не любишь. И он это знает. Я одна приду в "Морской бар".

— Вот это правильно.

7

Задним-то умом я крепок (не знаю только, дар это или проклятие), поэтому теперь понимаю, что Блэр за Мириам начал волочиться с первого дня, как увидел ее. Осуждать мужчину за это я не вправе. Наоборот, всю вину я возлагаю на себя — недооценил противника. Мерзавец, но надо отдать ему должное — годами выскакивал, как чертик из коробочки, втирался в нашу семью, подрывал ее подобно сухой гнили, поселившейся в балках дома, построенного на века. Когда дети были еще малы и с ними было хлопотно, мы как-то раз проездом оказались в Торонто — по дороге к друзьям на озеро Гурон, — так Блэр пришел к нам в гостиницу со скромненьким букетиком фрезий для Мириам и бутылкой "макаллана" для меня. Предложил сводить детей в Музей науки, чтобы мы с Мириам могли вечерок отдохнуть. Майк, Савл и Кейт возвратились в гостиницу, увешанные игрушками. Конечно же, образовательными, а не милитаристскими водяными пистолетами или пистонными ружьями, которыми пользовался я, чтобы изображать с ними ковбоев и индейцев и устраивать всякие прочие расистские игры: "Бабах, бабах! Вот вам за то, что снимали скальпы с ни в чем не повинных еврейских вдов и сирот, вместо того чтобы готовить уроки!"

Когда Майкл в год окончания школы победил на математической олимпиаде, от "дядюшки" Блэра пришло поздравительное письмо и экземпляр сборника эссе о канадских писателях под его редакцией. Я читал эту его книжку с нарастающим раздражением, потому что, по правде говоря, она была не так уж плоха.

Когда мы вновь оказались в Торонто, на сей раз без детей, Мириам вдруг спрашивает:

— Днем ты, конечно же, будешь занят?

— Да, с "Троими амигос", увы.

— Блэр предложил сходить со мной на вернисаж в галерею Айзекса.

Помню, в тот раз я рассказал ей про то, как встретил Дадди Кравица в галерее на Пятьдесят седьмой стрит в Нью-Йорке. Дадди, занимавшийся тогда обустройством своего особняка в Вестмаунте, показал на три заинтересовавшие его картины и сел поговорить с женоподобным, одышливым владельцем.

— Сколько будет стоить, если я освобожу вас от всех трех сразу? — спросил он.

— В сумме это будет тридцать пять тысяч долларов.

Дадди подмигнул мне, отстегнул свой "ролекс", положил часы перед собой на обтянутую кожей крышку стола и говорит:

– Я готов выписать вам чек на двадцать пять тысяч, но мое предложение действует только три минуты.

– Вы шутите?

– Две минуты и сорок пять секунд.

После томительно долгой паузы владелец говорит:

– Я могу спуститься до тридцати тысяч долларов.

Дадди получил эти картины за двадцать пять тысяч, причем они ударили по рукам, когда до срока оставалось меньше минуты, после чего Дадди пригласил меня в свой люкс в "Алгонкине" это дело обмыть.

– Рива пошла делать укладку к Видалу Сассуну. Потом мы с ней идем в "Сарди", а потом на мюзикл "Оливер". Места забронированы. А насчет Освальда – если хочешь мое мнение, так он просто козел отпущения. Этот Джек Руби из одной с ним шайки, ты ж понимаешь.

Мы опустошили тогда восемь мерзавчиков виски из его мини-бара, после чего Дадди принес полный чайник, который прятал под раковиной в ванной, выстроил все пустые бутылочки на столе, вновь их наполнил и, закупорив, поставил на место в бар.

– Ну что, я молодец? – победно ухмыльнулся он.

Приезжая на всяческие конференции в Монреаль (подозрительно часто, как я осознал опять-таки задним числом), Блэр заранее звонил и приглашал нас обоих на обед. Помню, как однажды я снял трубку, услышал его голос и передал трубку Мириам.

– Твой бойфренд, – сказал я, прикрыв микрофон ладонью.

Как обычно, сам я отказался, сославшись на дела, а Мириам еще и уговаривал пойти.

– Что же он все не женится?

– Потому что он безнадежно влюблен в меня. Ты не ревнуешь?

– К Блэру? Не смеши меня.

Однажды, когда все дети были в школе, позвонил бывший продюсер Мириам, Кип Хорган, и очень уговаривал ее снова пойти к нему работать, пусть пока хотя бы внештатно.

– Нам тебя ужасно не хватает, – сказал он.

Как-то раз мы сидели вместе в "Лез Аль", Мириам дождалась, когда я займусь "реми мартен Х. О." и "монтекристо", и говорит:

– Что бы ты сказал, если бы я вернулась на работу?

– Но мы не нуждаемся в деньгах. Нам и так хватает.

– А может, мне работа нужна как стимул.

– Ага. Ты будешь день-деньской на Си-би-си, а кто же мне обед приготовит?

– Какой ты тиран, тиран, Барни! – бросила мне она, выскакивая из-за стола.

– Да я же шучу.

– Нет, ты не шутишь.

– Куда ты помчалась? Я еще не допил.

– Зато я и допила, и доела, а теперь пойду погулять. Даже горничным иногда полагается выходной.

– Постой. Присядь на минуту. Знаешь, мы ведь никогда не бывали в Венеции. Я сейчас пойду прямо в "Глобал трэвел". А ты ступай домой и собирайся. Побыть с детьми уговорим Соланж и сегодня же вечером отправляемся.

– Ну здрасьте. Да ведь завтра у Савла с его командой "умников" встреча с "Лоуер-Канада-колледжем".

— Ледяные "беллини" в "Гаррис-баре". Carpaccio. Fegato alla veneziana[1]. Пьяцца Сан-Марко. Понте Риальто. Остановимся в "Палаццо Гритти", наймем катер и на нем поедем в Торчелло, чтобы позавтракать в "Чиприани".

— Странно, что ты не предложил мне норковое манто.

— Что бы я ни делал, все плохо.

— Не все, но достаточно многое. А теперь, с твоего позволения, я пойду пройдусь. Может, схожу в кино. Так что не забудь забросить белье в прачечную — оно в машине на заднем сиденье. Вот список, что нужно купить у Штейнберга, а вот квитанция на подушечку, которую я отдала в починку Лоусону — это на углу Клермонт-авеню. Если у тебя хватит терпения объехать квартал три раза, парковочное место найдешь. Времени на то, чтобы свозить Савла за новыми ботинками к "Мистеру Тони", у тебя не останется, но ты можешь успеть заскочить в "Паскаль", купишь мне восемь вешалок, а еще надо вернуть и получить назад деньги за тостер — раз уж тебе по дороге, — он не работает. Ужин придумай сам. Обожаю сюрпризы. Привет-привет. — И ушла.

В тот вечер мы ели магазинную китайскую еду. Чуть теплую и слипшуюся.

— Молодец у нас папочка? — потешалась Мириам.

Дети, чувствуя дурные флюиды, ели не поднимая глаз. Но, когда они ушли спать, мы с Мириам выпили бутылку шампанского и занялись любовью, смеясь над утренней ссорой.

— Я же знаю тебя, — говорила она. — Возвращать тостер ты наверняка и не подумал, просто выкинул его в ближайшую урну, а мне сказал, что деньги за него получил.

— Клянусь на головах детей, что я вернул тостер, как приказала мне моя домоправительница.

Следующим вечером, в четверг, я слег с гриппом, не смог пойти на хоккейный матч и смотрел его по телевизору, закутанный в одеяло на диване. Ги Лафлёр за своей синей линией перехватил неточный пас бостонцев и помчался с развевающимися волосами через центр площадки под рев трибун, от которого сотрясался весь стадион "Форум". "Ги! Ги! Ги!" Лафлёр обошел двух защитников, обманным движением заставил вратаря плюхнуться на лед и вот-вот уже должен был коронным своим бэкхендом... Но тут опять Мириам завела свое:

— Знаешь, а ведь, чтобы работать внештатно, мне вовсе не нужно твоего разрешения.

— Как же он мог так промазать по пустым воротам!

— Мне жизнь дана вовсе не для того, чтобы подбирать за тобой грязные носки и мокрые полотенца, водить детей к зубному и хлопотать по хозяйству, а в промежутках врать по телефону, будто тебя нет дома, если тебе нежелателен этот звонок.

— Три минуты! Всего три минуты до конца периода!

За воротами Милбери налетел на Шатта и повалил его, но тут Мириам заслонила собой экран.

— Я требую внимания, — отчеканила она.

— Ты права. Тебе не нужно моего разрешения.

— Еще я хочу извиниться за то, что я ляпнула насчет норкового манто. Ты этого не заслужил.

1. Ломтики сырого мяса с оливковым маслом и сыром. Печенка по-венециански (*итал.*).

Черт! Черт! Черт! А я ведь сходил и купил его как раз в то самое утро. На Сен-Пол-стрит.

– Сколько стоит эта *шмата*? – спросил я.

– Четыре тысячи пятьсот. Но налог можно сбросить, если будете платить наличными.

Сняв с руки часы, я положил их на прилавок.

– Я готов заплатить три тысячи долларов, – сказал я, – но это предложение действительно в течение трех минут.

Мы стояли, смотрели друг на друга, и, когда три минуты истекли, он сказал:

– Не забудьте часы.

– Да возьму я, возьму его.

К счастью, манто было все еще спрятано в шкафу у меня в офисе. Его можно было вернуть.

– Тебе не надо было так шутить. Фи! Норковое манто! – выговаривал я Мириам. – Как я был оскорблен в тот момент! Никогда бы себе такого не позволил.

– Но я же ведь извинилась.

Так Мириам вернулась к работе на радио Си-би-си – стала изредка брать интервью у писателей, пустившихся в странствия, чтобы сбывать свои книги. Я это никак не поощрял, зато друг лесов и враг не поддающихся гниению полиэтиленовых пакетов Герр Профессор Хоппер-Гауптман всячески приветствовал.

– С кем это ты так долго болтала по телефону? – спросил я ее как-то вечером.

– А, это Блэр услышал мое интервью с Маргарет Лоуренс и позвонил сказать, какое оно интересное. А тебе оно как?

– Я собирался послушать запись вечером.

– Блэр говорит, что, если я сделаю серию из десяти канадских писателей, он обязательно найдет в Торонто, куда ее пристроить.

– Во-первых, в Канаде нет десяти писателей, во-вторых, в Торонто можно пристроить что угодно. Прости. Я этого не говорил. Слушай, а поработай-ка с Макайвером! Напомни ему о временах, когда он читал в магазине Джорджа Уитмена в Париже. Спроси, где он крадет свои идеи. Нет. Наверное, они у него свои. Больно уж скучные. Я что-нибудь не то сказал?

– Да нет, ничего.

– Я послушаю пленку после обеда.

– Знаешь, лучше не надо.

Именно Мириам настояла, чтобы Майкл продолжил образование в "Лондон скул оф экономи".

– Да ведь он из Лондона вернется законченным снобом. А чем тебе нехорош Макгилл?

– Ему надо временно пожить от нас отдельно. Ты деспот, а я извожу его своей заботой. Еврейская мамаша, и хоть ты тресни.

– Это Майк так сказал? Как он посмел?

– Это я так говорю. У тебя слишком длинная тень. И ты слишком большое удовольствие получаешь, когда удается забить его аргументацией.

– Значит, в ЛСЭ?

– Да.

Честно говоря, сам-то я еле среднюю школу закончил, аттестат получил сплошь троечный и жутко завидовал одноклассникам, которые с легкостью поступили в университет. В те добрые старые времена прием евреев в Макгилл был ограничен. Чтобы нашего брата приняли, надо было иметь сумму баллов на уровне семидесяти пяти процентов, тогда как *гойским бойчикам* хватало шестидесяти пяти, так что мне нечего было и соваться. Я так стыдился этой своей неудачи, что избегал тех мест, где собираются студенты (например, "Кафе Андре"), и тут же переходил на другую сторону улицы, едва завижу идущего в мою сторону бывшего одноклассника в белом свитере с большой вышитой на нем буквой "М". Все, чего я к тому времени добился, — это повышения от уборщика посуды до официанта в "Норманди руф". Поэтому я несказанно гордился успехами наших детей в науках, тем, что они становились победителями олимпиад и запросто поступали в университеты. С другой стороны, я сомневаюсь, чтобы кардинал Ньюмен, не говоря уже о докторе Арнольде*, пришел в восторг от дуновений, что веют нынче в современных Академах*. Глянув в программу, по которой училась в Веллингтоновском колледже Кейт, я обнаружил в разделе наук курс домоводства — то есть там преподают науку о том, как сварить яйцо. Или как пылесосить. Савл, силясь пристроить куда-нибудь знание мультиков про Микки-Мауса, записался в Макгиллском университете на курс писательского мастерства, который вел — вы правильно догадались — Терри Макайвер. А журналистике в Веллингтоновском обучали выгнанные на пенсию репортеры из газеты "Газетт", подгоняя свои лекционные часы к терапевтическим собраниям Анонимных Алкоголиков.

В ЛСЭ Майк познакомился с Каролиной, и когда мы прилетели в Лондон навестить его, оказались приглашенными на обед в дом ее родителей, живших в шикарном Болтонсе. Выяснилось, что Найджел Кларк — известный адвокат, "советник королевы", а его жена Вирджиния эпизодически пописывает в глянцевый журнал "Татлер" статейки по садоводству. Я был так взволнован (или напуган, как считала Мириам), что заранее причислил их обоих к снобам и злостным антисемитам — из тех, чьи предки (наверняка упомянутые в "Дебретте"*) были заговорщиками, заодно с герцогом Виндзорским собиравшимися в тысяча девятьсот сороковом году установить в Соединенном Королевстве нацистский режим. Проведя свое расследование, я обнаружил, что загородное имение семейства Кларков расположено неподалеку от деревни Иглшем, в Шотландии.

— Надеюсь, ты понимаешь, — сказал я Мириам, — что это как раз то место, где в сорок первом году приземлился Рудольф Гесс.

— Вирджиния звонила, сказала, что форма одежды будет повседневная, но я все равно купила тебе галстук на Джермин-стрит. Тебе для справки: пишется Д, Ж, Е, Р, М, И, Н.

— Я же не ношу галстука.

— Нет, носишь. Еще она спрашивает, не надо ли проследить, чтобы на обеде не было какой-нибудь еды, которая нас не устраивает. Как мило, правда же?

— Нет, не мило. Потому что в подтексте вопрос: настолько ли вы правоверные евреи, что не едите свинину?

Найджел встретил нас не только без галстука, но и без пиджака, в спортивной рубашке и кардигане с протертым локтем, а импозантная Вирджиния была в мешковатом свитере (мы бы о таком сказали "затра-

пезный") и неглаженых штанах. "Понятно, — подумал я. — Для выходцев из колоний оделись похуже. Даю себе установку: мясо руками не рвать!" Втайне от Мириам — да не просто втайне, но и в нарушение данного ей торжественного обещания — я забежал в какой-то бар в Сохо и хорошенько вооружился, от души приняв на грудь шотландского виски, поэтому, когда за столом я освоил второй бокал шампанского "маркс и спенсер", меня потянуло над присутствующими слегка поизмываться. Заменяя собой отца, я принялся рассказывать о его подвигах в рядах монреальских стражей порядка. Например, о том, как они привязали преступника к капоту машины, словно пойманную дичь. Рассказал про Иззины методы дознания. О привилегиях, которые предоставляли ему в борделях. Меня, однако, ждало разочарование: Вирджиния над моими историями хохотала до слез и требовала еще, а Найджел перемежал их пикантными анекдотами из бракоразводных дел, которыми ему приходилось заниматься. Так что снова я все понял неверно, однако, вместо того чтобы подобреть к Кларкам, такой продвинутой парочке, я напрягся, обидевшись за провал своей задумки, и Мириам, как всегда, пришлось меня прикрывать, пока я наконец не перестал дуться.

— Мы в совершеннейшем восторге от вашего чудесного сына, — сказал Найджел. — Надеюсь, вы не станете препятствовать тому, чтобы он женился на девушке иной веры.

— Мне бы это и в голову не пришло, — солгал я.

Потом Найджел пригласил меня поехать вместе с ним в Шотландию, ловить в реке Спей дикого лосося. Остановиться предполагалось в Талкан-Лодже, месте буколическом и легендарном.

— Да я и с удочкой-то не знаю, как управляться, — сказал я.

— Понимаете, — подхватила вдохновенная Мириам, — когда Барни был мальчишкой, он удил в грязной луже, причем вместо нормальной удочки у него была ветка, отломанная от ближайшего дерева, а леску он делал из веревки, которой в лавке обвязывают покупки.

Очарованная Вирджиния положила ладонь на руку Мириам.

— Вы обязательно должны пойти со мной на цветочное шоу в Челси, — сказала она.

Когда мы вернулись в Монреаль, на нашем автоответчике среди множества других было три сообщения от Блэра. Дескать, в следующую среду мы приглашаемся на ланч в Университетский клуб.

— Сходи ты, — поморщившись, сказал я Мириам.

Кейт удивилась:

— Как ты так радостно позволяешь маме столь часто встречаться с Блэром?

— Кейт, какая ты глупышка! Наш брак — это скала!

8

А вот это вы бросьте. Я не хочу, чтобы у кого-то даже на минуту возникла мысль, будто у Мириам с Блэром Хоппером-Гауптманом была интрижка. Ей хорошо было в его обществе — и это все. Возможно, ей льстило его внимание, но не больше. Я единственный, по чьей вине распался наш брак. Не отозвался на угрожающие сигналы, настолько громкие, что пробудили бы и деревенского дурачка. Да и грешил я.

Где-то я читал, что волки, предъявляя права на определенную территорию, метят ее границы, предупреждая нарушителей, чтобы не совались. Я делал нечто аналогичное. Я был по гроб жизни пришиблен тем, что такая умная и красивая женщина, как Мириам, вышла замуж за такого, как я. Поэтому, боясь потерять ее, я превращал ее в свою пленницу, методично устраняя всех друзей, которые у нее были до нашего знакомства. Когда она приглашала бывших коллег по Си-би-си к нам домой, я каждый раз вел себя ужасно. Впрочем, нельзя сказать, что моя язвительность была совсем уж неоправданной. Чуть не лопаясь от собственной непогрешимости, эти интеллектуальные хомячки с "народного радио" смотрели на меня сверху вниз, как на алчного телевизионного *шлокмейстера*, тогда как они, дескать, бескорыстно всех нас защищают от культурных вандалов с юга. Возможно, они и в самом деле были в чем-то слишком правы. Так или иначе, но в ответ я высмеивал квотирование эфирного времени канадского радио и ТВ, то есть принятую там политику отдачи предпочтения канадским авторам, клеймил ее как попустительство посредственности ("Однако сам к выгодной кормушке крепко пристроился", – ехидно попеняла мне в ответ Мириам); еще я вслед за Оденом [На самом деле вслед за Луисом Макнисом ("Музыка волынки"). – *Прим. Майкла Панофски*] обвинял их в том, что они "десятки лет сидят на жопе ровно, подтяжки зацепив за пенсионный крюк". Самый тяжкий случай среди них являл собой Кип Хорган, бывший продюсер Мириам, человек образованный, насмешливый и пьющий, доводивший меня до белого каления тем, как ловко он разрушает мои изощреннейшие ковы, в прах разнося их одним своим остроумным словцом. Если бы он не находил такого понимания у Мириам, мы с ним могли бы и подружиться. А так я его возненавидел. Однажды вечером, когда он в конце концов, вусмерть пьяный, от нас ушел (последний гость, покинувший вечеринку), Мириам набросилась на меня:

– Тебе что, обязательно было целый час сидеть, непрестанно зевая?

– Ты мне скажи: он был твоим любовником?

– Барни, ты меня поражаешь. Спрашиваешь о том, что если и было, то в другой жизни, до нашей встречи!

– Я не хочу больше видеть его за этим столом!

– Что ж, поправь меня, если я ошибаюсь, но, насколько мне известно, ты до меня был женат дважды.

– Да, но только ты у меня глава семьи.

Мне не удалось этим вызвать появления ямочек у нее на щеках. Мириам лишь отмахнулась, она была расстроена.

– Кип сказал, что Марту Хансон – при мне она была простым корректором и даже не очень хорошим – скоро назначат главой художественного вещания.

– И что?

– В будущем мне придется любые свои начинания согласовывать с ней.

А в другой раз только мы включили новости по Си-би-си ТВ, смотрим, там новая какая-то девица вещает из Лондона.

– Глазам своим не верю, – ужаснулась Мириам, – это же Салли Ингрэмс. Я сама ее на работу с улицы взяла!

– Мириам, только не говори мне, что ты хочешь стать телерепортером.

— Нет. Наверное, нет. И Салли, я уверена, хорошо будет с этой работой справляться. Просто меня иногда расстраивает, что все, кого я там знала, заняты интересным делом.

— А ты не считаешь, что родить и воспитать троих замечательных детей — это тоже интересное дело?

— Вообще-то да, но бывают дни, когда я так не считаю. В наше время это стало как-то не очень престижно, правда?

Пока дети еще жили дома и нуждались в постоянной поддержке Мириам, наши мелкие размолвки случались редко и заканчивались, как правило, объятиями и смехом, да и в постели мы оставались страстными любовниками. Впрочем, сейчас, когда все подряд безудержно предаются эксгибиционизму и самовосхвалению, я предпочту немодную сдержанность и скажу только, что с Мириам я делал в постели вещи, которых не позволял себе ни с кем другим, и полагаю, что она тоже. После того как последний из нашего выводка покинул гнездо, свое вступление в пору новой для нас свободы среднего возраста мы отметили тем, что чаще стали баловать себя заграничными поездками, но на Мириам начали вдруг нападать приступы уныния и неудовлетворенности возможностями ее внештатной работы, да и себя она нет-нет, и принималась казнить за бездарность. По глупости своей я недооценивал эту проблему. И, конечно же, в свойственной мне придурковатой манере только отмахивался — дескать, ладно тебе, это пройдет: шалости менопаузы.

Майкл женился, а Савл переехал в Нью-Йорк. И вот однажды, перед тем как заняться любовью в туристском отеле с видом на Гранаду и половину Андалусии, я говорю:

— По-моему, ты забыла про свой колпачок.

— Он мне уже не нужен, но ты-то — конечно! Ты можешь еще иметь детей.

— Мириам, бога ради.

— Небось завидуешь Нату Гольду?

Нат прожил с женой тридцать лет, а потом развелся и нашел себе женщину на двадцать лет моложе, так что в те дни его можно было встретить на Грин-авеню с прогулочной коляской, в которой сидел полуторагодовалый малыш.

— Я думаю, он выглядит глупо, — сказал я.

— Не надо песен, дорогой. Это, должно быть, очень омолаживает.

Однажды вечером, после того как Кейт вышла замуж и уехала в Торонто, я пришел домой с работы раньше обычного и обнаружил на обеденном столе буклет с программами Макгиллского университета.

— Это еще зачем? — спрашиваю.

— Да вот, думаю записаться на некоторые курсы. А что, нельзя?

— Да можно, конечно, — сказал я, однако в тот же вечер чуть попозже пришел в ужас от перспективы возвращаться в пустой дом, когда она будет сидеть в лекционной аудитории, и разразился глупой антиакадемической филиппикой. Очень напирал на правоту Владимира Набокова, говорившего своим студентам в Корнеллском университете, что "д. фил." — это значит дурак и филистер, а также что самые одаренные люди из тех, кого он знал, в университетах не обучались.

— А как насчет твоих детей?

— Нет правил без исключения. Вот Бука, например. Окончил Гарвард.

— Сомневаюсь, чтобы они там установили в его честь мемориальную доску.

Бука был у нас предметом постоянного раздора, а кроме того, я не разделял всеохватного почтения Мириам к профессорам. Кстати (я, кажется, об этом еще не упоминал), у меня в офисе стену украшал мой школьный аттестат в рамочке, красиво освещенный сверху. Мириам меня за это ругала.

— Да сними же ты его, дорогой, — однажды взмолилась она. Но он так и остался висеть.

На следующий день после моей несвоевременной антиакадемической тирады я обнаружил университетскую брошюрку в кухонном помойном ведре.

— Мириам, — сказал я, — мне ужасно стыдно. Иди, поучись опять в Макгилле, если это тебе так нужно. Почему бы и нет?

— Не бери в голову. То был просто каприз.

И вот сегодня мы счастливы и радостны, как молодожены, а, кажется, назавтра... — хотя у нас в Лондоне уже двое внуков. Мириам так и не смогла себя заставить выбросить детскую одежду Майкла, Савла и Кейт. И не разрешила мне избавиться от целой библиотечки рваных и изрисованных книжек Доктора Суса*. Тем временем ее все больше загружали работой на радио, все меньше она предавалась унынию и снова стала походить на себя в старые добрые времена. Зато когда, пусть нечасто, но все же наползала очередная черная полоса, я вел себя нелепо (к сожалению, понял я это много позже) — раньше обычного сбегал в любезный моему сердцу "Динкс" и дольше там задерживался. Являлся домой к ужину (а ужины Мириам готовила удивительные, прямо-таки празднества) и тут же хамски валился в пьяной дреме на диван в гостиной, проводя там весь остаток вечера, до тех пор, пока Мириам нежнейшим образом не разбудит меня, чтобы я перебирался в кровать.

— Между прочим, Соланж приглашала меня пойти с ней сегодня в "Театр де нуво монд", а я отказалась. Не хотела оставлять тебя одного.

— Ой, прости! Правда, прости, дорогая.

Однажды под вечер я сидел на обычном своем табурете у стойки в "Динксе", разводя турусы на колесах перед двумя девицами, которых притащил Зак, и вдруг Бетти выразительно на меня посмотрела.

— Только что заходила Мириам.

— Где?

— Она зашла, повернулась и вышла.

— Она разве не видела, что я здесь?

— Видела.

— Tempus edax rerum[1], — прокомментировал Хьюз-Макнафтон.

— Балбес ты, Джон!

Я поспешил домой и нашел там Мириам в крайнем волнении.

— Вот, специально оделась в твое любимое платье, хотела сделать тебе сюрприз, пошла в "Динкс", думала, тебе доставит удовольствие, если, в кои-то веки, я там с тобой выпью, а потом мы вместе пойдем ужинать. И тут — здра-асьте! — сидит, болтает с двумя девицами, которые в дочери ему годятся. Это не ревность. Это просто печаль.

— Ты не понимаешь. Их приволок Зак. Я просто проявлял вежливость.

1. Время все пожирает (*лат.*).

— Мне уже под шестьдесят. Может, подтяжку лица сделать?

— Мириам, бога ради!

— Или начать красить волосы? Что мне делать, чтобы потрафить мужу, кабацкому волоките?

— Ты больно уж спешишь с выводами.

— Разве?

Затем, не в первый и не в последний раз, она принялась ругать отца. И развратник-то он. И обманщик. И мать из-за него умерла. Уж сколько лет прошло, а Мириам все не могла смириться с распущенностью своего отца — как вспомнит об этом, сама не своя становится. Наверное, это было первое в ее жизни предательство. Я тогда уже умел спокойно воспринимать ее вспышки. Мне все это не казалось важным. Мол, нам-то что? *Идиёт.*

На следующее утро мне пришлось встать рано, чтобы успеть на утренний самолет в Торонто, а когда я вечером вернулся, Мириам не было. На столе лежала записка.

Дорогой!

Я лечу в Лондон навестить Майка и Каролину с их детишками. Прости, что я вчера закатила истерику, и ничего такого не думай. Просто мне иногда нужно развеяться, как и тебе. Если вернешься домой рано, не надо ловить меня в аэропорту Мирабель. Я прошу тебя, пожалуйста. Уезжаю не больше чем на неделю. Целую.

МИРИАМ

P. S. Не надо каждый вечер ходить к Шварцу и наедаться там копченостями и жареным. Тебе это вредно. Я кое-что оставила в холодиле.

Открыв холодильник, я нашел там кастрюлю спагетти под мясным соусом, кастрюлю картофельного супа с зеленым луком, жареную курицу, палку колбасы, миску картофельного салата и пирог с сыром. В расстроенных чувствах поел перед телевизором и рано лег. В семь утра позвонила Мириам.

— Как ты там? — спросил я.

— Прекрасно. Чувствую себя девчонкой-прогульщицей. Надо мне почаще такие выходки устраивать.

— Ну, не знаю. У тебя правда все в порядке?

— Да. На ланч Каролина приглашает меня в "Дафни", так что мне пора уже собираться. Сегодня ты вечером дома будешь?

— Конечно. На завтрак я ел спагетти, обедать, наверное, буду жареной курятиной и сырным пирогом.

— Попозже я тебе еще позвоню. Целую. Пока-пока.

Не хочу даже говорить о том, что произошло в тот вечер. Это была не моя вина. Я был пьян. И никакого значения это для меня не имело. Черт! Черт! Черт! Чтобы отменить, аннулировать этот вечер, я отдал бы год жизни. Я задержался в "Динксе" дольше обычного, время старперов вышло, и начали мало-помалу стекаться одинокие поганцы и поганки. Явился Зак, когда-то работавший в той газете — ну, где все про деньги. Нет, не "Уолл-стрит джорнал". В канадской. То ли "Файнэншл рипорт", то ли "Файнэншл пост". Да и пошла она!.. ["Файнэншл таймс";

правда, ее уже нет — закрылась 18 марта 1995 г. — *Прим. Майкла Панофски.*] Макароны откидывают в... Дьявол, ведь я это уже выяснял. Семерых гномов зовут: Профессор, Ворчун, Весельчак, Скромник, Чихоня и еще два каких-то. Лиллиан Хелман не писала "Человека в костюме от 'Брукс бразерс'". Или рубашке? Хрен с ним.

Зак (это который работал в той денежной газете) сидел со мной рядом, рассказывал о своей первой встрече с Дадди Кравицем:

— Меня послали брать интервью у новых молодых монреальских миллионеров для материала, который мы готовили. Богатые рафинированные англосаксы один за другим всё отрицали, говорили, что никакие они не миллионеры, даже номинально, и каждый, мол, кто на этом настаивает, их оскорбляет. Они рассказывали мне о том, что́ у них заложено, и какие взяты банковские ссуды, и как им тяжело оплачивать учебу детей. Поговорил с франкоканадскими брокерами — те дуют в ту же дуду. Банкиры-англофоны все против них в сговоре. Крупных инвесторов вкладывать деньги в людей с фамилиями Биссонет или Тюржон не заманишь. Думают, мы глупые. Все у них конкуренция, конкуренция. Спать не могут, так из-за своих денег переживают. И когда я пошел разговаривать с Кравицем, я уже смирился, готов был выслушать еще более громкие жалобы на бедность. А он, наоборот, обрадовался. "Э, — говорит, — парень, спохватился: миллионер! Да я уже давно двойной, тройной миллионер. Думаешь, хвастаю? Давай-ка покажу тебе кое-какие бумаги. Кстати: где твой фотограф?" Что бы кто о нем ни говорил, мне он так понравился — я ему потом ни в чем не отказывал. И куда это ты пошел?

— Домой.

— Да ну! Давай еще по одной на дорожку!

— О'кей. Но только по одной.

В этот момент она и проскользнула в "Динкс" — та потаскушка, что сломала мне жизнь; влезла на табурет рядом с Заком, который немедленно принялся ее убалтывать. Я уже даже имени ее не помню, помню только, что это была крашеная блондинка в облегающем свитере и мини-юбке. До отвращения надушенная и лет этак тридцати. Заставив Зака отклониться назад, она сунулась вперед головенкой и говорит:

— Это вы Барни Панофски?

Я кивнул.

— Пару месяцев назад я играла в одном из эпизодов "Макайвера". Изображала журналистку из торонтской "Глоб". Вы помните?

— Конечно.

— Мне сказали, что это будет сквозная роль, но что-то я от ваших людей больше никаких вестей не получаю.

Вот тут-то мне бы и покинуть "Динкс". Или приказать, чтобы меня привязали к мачте, как Одиссея, хотя и не была она никакая не Цирцея и не Сирена, или кто там его завлекал. [Сирены. — *Прим. Майкла Панофски.*] Но когда Зак пошел попи́сать, она скользнула на табурет рядом со мной, и во мне проснулся уличный пацан. Классная девка, щ-щас мы ее! Пусть Зак на пятнадцать лет моложе и куда интереснее меня внешне, а вот покажу ему, что и у меня есть порох в пороховницах! *И вовсе я на нее не запал. И не было у меня никаких насчет нее планов.* Помню, я еще и еще пил и много выпил, и она тоже, но по сей день не могу взять в толк, как вышло, что я оказался у нее в квартире (не знаю даже, в каких краях), и

как мы очутились в постели. Ну совершенно я не хотел, чтобы это случилось. Хотел только переплюнуть Зака. Честно.

Полный отвращения к себе, домой я попал, наверное, часа в три, а может, и позже, разделся и залез под душ.

Мириам разбудила меня звонком в восемь.

– Слава богу, ты дома, – сказала она.

– А что такое?

– Не знаю, что на меня нашло, но я тут в пять утра проснулась почему-то в страшной тревоге за тебя и стала звонить. Звонила, звонила, и никакого ответа.

– Мы допоздна пили с Заком.

– Какой-то у тебя голос странный. С тобой точно все в порядке?

– Ну, если не считать похмелья.

– Ты ничего от меня не скрываешь? Может, подрался? – в твоем-то возрасте! Несчастных случаев не было – это я уже проверила.

– *Со мной все в порядке.*

– Нет. Что-то случилось, Барни. Я чувствую.

– Да ничего не случилось.

– Кажется, я тебе не верю.

– Возвращайся домой, Мириам.

– В четверг.

– Прилетай завтра. Пожалуйста.

– Завтра вечером мы с Вирджинией идем в театр. На новую пьесу Гарольда Пинтера. Но мне приятно, что ты по мне соскучился. Я тоже скучаю. Сдвигаюсь на твою сторону кровати, а тебя там и нет.

К концу дня, еще дважды постояв под душем, я по привычке направился в "Динкс", но вдруг остановился. Что, если та потаскушка уже засела там и ждет меня? Что, если она нацелилась на нечто большее, чем разовый пьяный пистон? Я круто развернулся и поплелся в "Ритц". Там я как будто сбросил с себя много лет и вновь сидел на террасе "Золотой голубки" с Букой и Хайми, вновь ласково пригревавшее солнце начинало закатываться за оливково-зеленые горы, а они от этого словно огнем занялись. Внизу мимо каменной подпорной стенки, держащей террасу, – цок-цок, цок-цок – проехала запряженная осликом тележка какого-то седенького старикашки в синей блузе, и вечерний бриз донес к нам запах поклажи – то были вороха роз. Розы ехали на парфюмерную фабрику в Грасс. Потом мимо нашего столика с пыхтеньем протиснулся толстый сын пекаря, таща на спине огромную плетеную корзину, полную свежеиспеченных батонов, и их аромат тоже достиг наших ноздрей. Потом явился мерзкий пожилой француз, с важным видом прошел со своим отвисшим брюхом по террасе и увел годившуюся ему в дочери девицу, которая сидела за два столика слева от нас. "Madame Bovary, c'est moi"[1], – написал когда-то француз с попугаем [Флобер. – *Прим. Майкла Панофски*], я же, в свою очередь, превратился в того гнусноватого, недоброй памяти французика из моих юношеских воспоминаний. Чувствуя большой соблазн от жалости к себе всплакнуть, я попросил счет и готов был уже встать и двинуться домой, как вдруг опять застыл: в голову пришли новые соображения. Я направился в "Динкс", осторожно вошел. Потаскушки не было. Отвел Зака в укромный уголок.

1. Мадам Бовари – это я (*франц.*).

— Я прошу тебя никогда — слышишь? — никогда ни со мной, ни с кем-либо другим не шутить, упоминая ту вчерашнюю девицу, или мы больше не друзья. Ты меня понял?

— Да без проблем, Барни!

Тут Бетти говорит:

— Вам звонила некая Лорейн. — И подает мне клочок бумаги: — Вот, она оставила свой телефон.

— Если позвонит еще раз, меня нет. Вы о ней что-нибудь знаете?

— По-моему, она манекенщица или актриса. Это она снималась в той сексуальной рекламе банка — помните, по телевизору показывали? Там еще у "Монреальцев" удаляют игрока, Дик Ирвин говорит: мы, мол, еще вернемся, и тут она на Бермудах танцует при луне на пляже. Одетая в саронг. То так извернется, то этак. "Поехать в отпуск — это просто! Возьми ссуду в банке 'Монреаль'". Мужики за стойкой от хохота прямо выли.

В среду я всю ночь не спал. Утром порезался и облился кофе. Потом сходил в ювелирный салон "Бирк", купил длинную нитку жемчуга и поехал встречать Мириам в аэропорт. Не успели мы выйти из дверей аэровокзала, как она говорит:

— Что-то случилось.

— Ничего.

— Пока меня не было, что-то стряслось с Савлом?

— С ним все в порядке.

— С Кейт?

— Да ну, перестань.

— Ты что-то от меня скрываешь.

— Да вовсе нет, — сказал я, открывая в честь ее возвращения домой бутылку "дом периньон". Не помогло.

— Что-то по работе? Какие-то плохие новости?

— Да абсолютно же ничего не случилось, дорогая.

Так-таки и ничего! Мириам была уже два дня дома, а мы все еще не занимались любовью; она недоумевала, а у меня из головы не шел тот пьяный пистон — что, если я подхватил герпес, какой-нибудь триппер или, избави бог, ту дрянь, что косит голубых и наркоманов? Новую болезнь с названием, в котором чудится и сыч, и свищ, и эти, как их, VIP и прочие депутаты. Ну, да вы поняли: ВИЧ, конечно.

На каждый звонок телефона я бросался опрометью, силясь непременно опередить Мириам, утром же уходил не торопясь, нога за ногу, чтобы, если — мало ли? — что-то придет по почте, самому вынуть из ящика. Возвращаясь из "Динкса" к ужину, я нес на сердце тяжесть, а в голове заранее заготовленную ложь — на случай, если эта сука звонила в мое отсутствие.

Сто лет тому назад, наслаждаясь незаслуженным счастьем с Мириам и детишками, я страшился гнева богов. Уверен был: мне готовят что-то ужасное. Какого-то карающего монстра, который вылезет из канализации в уборной, как это бывает в книжках Стивена Кинга. Теперь я понял. Этим монстром был я сам. Я сам разрушил обитель тихой любви, куда прятался от "мира телеграмм и дерготни"*.

В те дни мне все еще приходилось изображать энтузиазм в отношении того *дрека,* который служил мне источником существования; надо было терпеть посредственных, профессионально неграмотных акте-

ров, дрянных сценаристов, бездарных режиссеров и завтракать с чиновниками от телевидения то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе. Все это было унизительно до крайности. Крысиная возня. Но пока я оставался честным, у меня было свое тайное прибежище, свой алтарь. Была Мириам. Наши дети. Наш дом. Где мне не нужно было врать. А теперь, входя туда, я со страхом поворачивал ключ в замочной скважине — вдруг разоблачат! Что ж, у себя в офисе я принял превентивные меры. Призвал к себе на совещание Гейба Орлански и Сержа Лакруа.

— Помните девицу, которая изображала журналистку из "Глоб" в одной из недавних серий "Макайвера"? Кажется, ее звали Лорейн Пибоди, но может, я и ошибаюсь.

— Ну да. И что?

— Надо ее вписать еще в пару эпизодов.

— Она не может играть!

— А вы не можете писать и не можете ставить. Делайте, что вам сказано.

Шанталь увязалась за мной.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Надо же, кто бы мог подумать!

— *Подумать — что?*

— Да так, ничего.

— То-то же.

— Как я насчет вас ошибалась! Вы такой же, как все здесь. Вы не заслуживаете такой женщины, как Мириам. Грязный старикашка — вот вы кто!

— Брысь отсюда!

С бьющимся в горле сердцем я позвонил Лорейн и договорился встретиться за ланчем в одном из помпезных, дорогущих ресторанов в Старом городе, из тех, куда ходят одни туристы и где меня никто не знает.

— Послушайте, — сказал я. — То, что произошло позавчера, было ошибкой. Вы не должны больше писать мне, звонить или иным образом пытаться вступить в контакт.

— Да что вы из мухи слона-то делаете? Расслабьтесь. Перепихнулись, только и всего!

— Я полагаю, мои агенты по кастингу уже с вами связались.

— Да, но если вы думаете, что я потому и...

— Разумеется, нет. Однако вы должны оказать мне одну ответную услугу.

— Вы, кажется, запретили мне вступать...

— Как только мы отсюда выйдем, я посажу вас в машину и отвезу в приемную доктора Мортимера Гершковича, где вы должны сдать кровь на анализ.

— Да ты смеешься, что ли, зая!

— Сделаете, что сказано, и для вас будет еще работа. А нет — не будет.

Мучимый чувством вины, я метался между раскаянием и злостью. Стоило побольше принять за галстук, тут же возникало ощущение, что я вел себя не так уж плохо и виновата во всем Мириам. Как смеет она надеяться на мою полную непорочность! На неуязвимость и неподверженность соблазнам. Мужики — они и есть мужики. При случае, бывает, срываются — а я ведь тоже мужик! Да меня не порицать надо, медаль дать — за то, что изменил всего один раз за тридцать один год! Кроме то-

го, я ведь ничего к этой девке не испытывал. Ведь так и не вспомнил, как попал из бара в ее квартиру! Я подвозил ее до дому, вот и все. И вовсе я не хотел, чтобы она пригласила меня зайти выпить. Я был в сосиску пьян, да и вообще ведь не просил эту суку ко мне клеиться. Эти молодые девицы совсем сдурели: оденется как блядь последняя и давай соблазнять уважаемых пожилых мужчин, у которых, между прочим, семьи! Мной просто воспользовались, и я не собираюсь теперь облачаться во власяницу и заниматься самобичеванием. По сравнению с тем, как ведут себя другие завсегдатаи того же бара, моя нравственность на недосягаемой высоте! Мириам повезло, что у нее такой муж. Нежный. Любящий. А как семью обеспечивает! В таком настроении я вваливался после бара в дом и затевал ссоры по мельчайшим поводам.

— У нас что — опять курица?

— Рыбу ты не любишь, а мясо тебе вредно.

— Так же, как и белое вино. Оно свело в могилу Джеймса Джойса.

— Ну, если хочешь, открой красное.

— И нечего на меня покрикивать.

— Но ты же сам только что...

— Ага, конечно. Всегда я во всем виноват.

В офис позвонил Савл.

— Скажи, пожалуйста, что случилось, почему мама плачет?

— Да ничего, Савл. Честно.

— Похоже, ей так не кажется.

Я все рушил. Терял всех. Жену. Детей.

— Барни, я хочу знать, почему ты каждый вечер являешься пьяный.

— А что, мне за каждую выпитую перед обедом рюмку надо отчитываться?

— И зря ты огрызаешься — я просто боюсь, что в твоем возрасте ты уже не можешь с такими дозами алкоголя справляться как прежде. И домой приходишь в столь кошмарном настроении, что я бы, по правде говоря, предпочла обедать одна.

В постели Мириам отвернулась от меня и тихо заплакала. Мне хотелось умереть. На следующее утро я всерьез раздумывал над тем, не пойти ли через Шербрук-стрит на красный свет. Вот меня сбивает машина, мчит "скорая помощь", увозит в больницу. В реанимации Мириам сидит со мной рядом, держит за руку и все мне прощает. Но мне не хватило духу. Стоял, пока светофор не загорелся зеленым.

Поправочка. Извилистость этих воспоминаний имеет-таки некоторый смысл. Много лет я выкручивался из всевозможных безвыходных положений с помощью такого рычага, как ложь — когда большая, когда малая или средняя. Никогда не говори правду. Поймают — ври, как пленный партизан. Первый же раз, когда я сказал правду, обернулся обвинением в убийстве. Второй раз стоил мне счастья. А получилось это так. Мириам, красивая как никогда — до ослепления, до боли красивая, — зашла субботним вечером в мой кабинет с подносом, на котором несла кофейник и две чашки с блюдцами. Поставила поднос на письменный стол и, сев напротив меня в кожаное кресло, говорит:

— Я хочу знать, что случилось, пока я была в Лондоне.

— Да ничего не случилось.

— Расскажи мне. Может быть, я смогу помочь.

— Честно, Мириам, я...

— Ты так кашляешь ночами, не спишь... Эти сигары. Ты скрываешь от меня и детей то, что сказал тебе Морти Гершкович?

— У меня пока нет рака легких, если ты это имеешь в виду.

И тут я сломался и рассказал ей, что произошло.

— Я так раскаиваюсь. Это ужас какой-то. Я абсолютно ничего к ней не испытывал.

— Понятно.

— Это все, что ты мне скажешь?

— Такого никогда бы не случилось, если бы внутренне ты не был к этому готов, — сказала она и пошла собирать чемодан.

— Ты куда?

— Не знаю.

— Пожалуйста, Мириам! Ты же не хочешь сломать нам жизнь.

— Она уже сломана. Но за прошлое я тебе благодарна. Однако, пока ты не испортил ее еще больше и я не возненавидела тебя, я...

— Мы это обязательно преодолеем. Пожалуйста, дорогая моя...

Все без толку, потому что Мириам снова стало двенадцать лет. Смотрит на меня, а видит своего отца. Который зажимал фабричных девок. И шлялся, клеил их по барам.

"Зачем ты с этим миришься?" — когда-то спросила Мириам свою мать.

"А что поделаешь?" — ответила та, сгорбившись над швейной машинкой.

Мириам не будет такой смиренной, вот еще!

— Мне надо побыть одной, — сказала она.

— Я сделаю все, что ты захочешь. Продам бизнес, и мы уедем жить в Прованс или Тоскану.

— Что ты там будешь делать целыми днями — с твоей энергией? Строить модели самолетов? Играть в бридж?

Это она мне напомнила тот случай, когда я пообещал перестать так уродоваться на работе и завести себе какое-нибудь хобби. Я нанял строителей, которые соорудили мне на даче шикарнейшую мастерскую, снабженную полным набором инструментов фирмы "Блэк энд Декер". Изготовив один кривобокий шкафчик, я так раскурочил руку электропилой, что потребовалось наложить четырнадцать швов. После этого я пользовался мастерской исключительно как кладовкой.

— Мы будем путешествовать. Я буду читать. Мы справимся, Мириам.

— Барни, ты только притворяешься, будто ненавидишь свою продюсерскую фирму. На самом деле ты любишь процесс заключения сделок, любишь деньги и власть над работающими у тебя людьми.

— Я могу пойти в свой банк и договориться о хорошем выходном пособии для всех. Мириам, ты не можешь бросить меня из-за одного моего несчастного проступка.

— Барни, я устала всех ублажать. Тебя. Детей. Твоих друзей. Ты за меня все решаешь с тех самых пор, как мы поженились. А я хочу сама принимать решения, свои собственные, — плохие ли, хорошие, — пока не совсем состарилась.

Переехав в холостяцкую квартиру в Торонто и перейдя на полный рабочий день в штат радио Си-би-си, Мириам прислала ко мне за вещами Савла.

— Кто мог подумать, что до этого дойдет! — сказал я, наливая сыну выпить.

— Ты жалкий старый болван, и я рад, что она ушла от тебя. Ты никогда не стоил такой женщины. Как ты с нею обходился! Будто она твоя собственность. Черт! Черт! Черт! А теперь давай показывай, которые из этих книг и пластинок ее.

— Да бери, что хочешь. Бери все. Теперь, когда всех неблагодарных детей я вырастил, а жена меня бросила, мне и дом-то этот больше не нужен. Наверное, все продам и перееду в квартиру в центре.

— Надо же! У нас была такая семья! Настоящая семья! А ты все профукал — никогда тебе этого не прощу!

— А я ведь до сих пор твой отец, ты знаешь?

— Тут я ничего не могу поделать.

Кейт умоляла Мириам простить мне мой постыдный промах — тщетно, а Майк отказался встать на чью-либо сторону. Я летал в Торонто каждые выходные, водил Мириам по ресторанам, смешил ее и начал уже подозревать, что она наслаждается этим вторым периодом ухаживания не меньше меня.

— Нам ведь так хорошо вместе. Почему ты не хочешь со мной улететь отсюда домой?

— Чтобы все испортить?

Я рискнул и изменил тактику. Сказал Мириам, что, если она желает развестись, пусть сама этим и занимается, я ничего делать не буду, а условия приму те, что выставит она. Просто подпишу все, что дадут мне ее адвокаты. "А между тем, — добавил я, — у нас имеется совместный счет в банке, и я хочу, чтобы ты пользовалась им как ни в чем не бывало". В ответ я получил щелчок по носу: она, оказывается, сняла с этого счета десять тысяч долларов, считая, что взяла их в долг, после чего вернула в банк чековые книжки и написала заявление с просьбой больше не считать ее владелицей вклада.

— Да на что ж тогда ты собираешься жить, бога ради?

— На зарплату.

— Ты ведь как-никак немолодая женщина — все-таки.

— Вот это ты мне уже разъяснил как нельзя лучше, не правда ли, дорогой?

Звонит Майк:

— Я хочу тебя известить, что мы пригласили маму приехать и погостить у нас, но ты имей в виду: это приглашение распространяется и на тебя тоже.

Кейт:

— Она начинает рассказывать, как вы вместе ездили в Венецию или Мадрид, и вдруг ударяется в слезы. Не сдавайся, папочка. Держись, жми на нее.

Приятели ободряли меня. Женщины возраста Мириам, уверяли меня они, частенько делают странные вещи, но потом успокаиваются. Имей терпение, она скоро вернется. Нусбаумы дошли до такой глупости, что приглашали меня в гости одновременно с какой-нибудь веселой вдовой или разведенкой, и одну такую я ни за что ни про что оскорбил.

— Моя жена не видит необходимости в том, чтобы красить волосы, хотя по-прежнему красива. Уверяю вас, утрата красоты — не та проблема, которая должна вас заботить.

О'Хирн в "Динксе" сообщил:

– Ваша Вторая Мадам Панофски очень обрадовалась. Надеется, что развод вас разорит. И принесет вам инсульт или инфаркт.

– Дай бог ей здоровья. Кстати, я тут подумываю, не совершить ли мне еще одно убийство.

Замаячила кандидатура Блэра. Как-то раз звоню Мириам, чтобы предупредить о своем приезде поздним вечером в пятницу.

– Нет, Барни, – отвечает она, – в субботу я увидеться с тобой не смогу. Обещала поехать с Блэром на уик-энд в Северную Каролину. Он делает там доклад в Дюковском*.

Я заставил Шанталь позвонить в Дюковский университет на кафедру Канады и, притворяясь секретаршей Блэра, сказать, что он потерял бумажку, где написано, куда его поселяют. В каком отеле он остановится? В отеле имени Вашингтона Дюка. Тогда по моему настоянию Шанталь позвонила в этот отель, чтобы ей подтвердили, что профессору Хопперу забронирован номер.

– У нас забронирована комната для доктора Хоппера и вторая для миссис Панофски, – ответил клерк.

– Ну, теперь вам лучше? – спросила Шанталь.

Я пригласил Соланж пообедать.

– Как ты думаешь, что она нашла в этом поганце? – спросил я.

– Готова спорить, что он не поправляет ее и не противоречит ей на вечеринках. Возможно, он скорее внимателен, нежели ворчлив. Может быть, в его присутствии она чувствует, что ее ценят.

– Но я люблю Мириам! Она нужна мне!

– А что, если ей больше не нужен ты? Так бывает, представь себе...

Еще через шесть месяцев Мириам переехала к Блэру Хопперу-Гауптману, и я думал, я сойду с ума. Воображал их вместе в постели, как этот гад ласкает ее груди. Однажды, напившись пьяным в нашем пустом вестмаунтском доме, я смел все горшки и кастрюли с кухонных полок, сорвал картины со стен, перевернул столы, бил стульями об пол, пока не отлетели ножки, и вырубил телевизор одним ударом торшера. Я знал, сколько любви и заботы вложила Мириам в приобретение даже самой мельчайшей вещицы в доме, и надеялся, что гром, который я производил, разрушая то, что она собирала, она услышит даже там – в том вертепе разврата, где пребывает с Блэром в Торонто. На следующее утро сердце разрывалось от сожалений. Я собрал по кускам некоторые из ее любимых вещей и, в надежде, что они разломаны не совсем непоправимо, нанял реставратора мебели.

– Ничего, если я спрошу вас, что здесь происходило? – поинтересовался тот.

– Кража со взломом. Вандалы.

Я переехал в квартиру в центре, но продавать дом сразу все же поостерегся – вдруг что-то изменится? Мне нестерпима была мысль о том, что в нашу спальню вторгнутся чужие люди. Или что в кухне, где Мириам пекла свои чудесные круассаны и готовила osso buco, одновременно помогая Савлу делать уроки и приглядывая за тем, как Кейт перебирает в своем манежике погремушки, теперь станет хозяйничать какая-нибудь помешанная на модных наворотах бизнес-сука, установит там микроволновку, да мало ли... Ну как, скажите, как мне было смириться с тем, что какой-нибудь дантист или биржевой брокер будет топтаться по ков-

ру, на котором мы столько раз занимались любовью! Да никому я не дам копаться в наших книжных шкафах с полными собраниями книг Тома Клэнси и Сидни Шелдона! Не хочу, чтобы какой-нибудь олух включал "Нирвану" с громкостью в десять тысяч децибел в комнате, где Мириам в три часа ночи сидела в шезлонге и кормила грудью Кейт, тихо-тихо слушая Глена Гульда — так тихо, чтобы не разбудить меня. Потом: что делать с подвальной кладовкой, битком набитой коньками и клюшками, лыжами и лыжными ботинками? Опять же и с белой плетеной колыбелькой, трижды дожидавшейся, когда Мириам счастливо разрешится от бремени. Или с тем, что получилось у Майка, когда он попытался сам смастерить себе электрогитару.

И вот я один в своей квартире, раннее утро, я уже взялся за выпивку, покуривая неизвестно которую уже сигару, вдруг закрываю глаза и вижу Мириам — какой она предстала передо мной на моей свадьбе со Второй Мадам Панофски. Женщина, обворожительнее которой я не видел в жизни. Длинные, черные как вороново крыло волосы. Пронзительно голубые глаза, за которые и умереть не жалко. В голубом шифоновом коротком платье — а как двигалась! Какое изящество! А эти ямочки на щеках. Эти обнаженные плечи.

— У меня в кармане пиджака два билета на самолет, который завтра летит в Париж. Полетели вместе.

— Не надо так шутить.

— Переезжайте ко мне. Будем жить вместе и любить друг друга. Пожалуйста, а, Мириам?

— Если я не уйду сейчас же, я опоздаю на поезд.

И вот она ушла, промелькнули три года, а я все равно до сих пор сплю на своей стороне кровати и, просыпаясь, тянусь рукой, хватаюсь за пустое место. Ах, Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце!

9

Хорошо, не будем отвлекаться. Процесс. Мой и великого Франца К., также облыжно обвиненного.

Будь я настоящим писателем, я бы так перетасовал свои воспоминания, что вы тут у меня извелись бы все. Навел бы тень на плетень, как этот Эрик как его там, который написал "Что-то там Димитриоса". Эрик что-то такое электротехническое. Эрик Тумблер? Нет. У него фамилия вроде издания, для которого писал Сэм Джонсон. "Айдлер". Эрик Айдлер? [Эрик Эмблер, автор "Маски Димитриоса" (1939). В США эта его книга вышла под названием "Гроб для Димитриоса". — *Прим. Майкла Панофски.*] Нет. Ну и наплевать. Черт с ним. Из меня будет примерчик получше. Поновее хотя бы. Сгодился бы и для Джона Ле Карре. Хотя вы уже знаете наперед: присяжные объявили меня невиновным — правда, только потому, что не нашли трупа, зато уж сплетен по городу пошло предостаточно, да и до сих пор чуть не все считают, что я мокрушник, вышедший сухим из воды.

О'Хирн с ухмылкой наблюдал, как Лемье надевает на меня наручники, после чего меня отвезли в Сен-Жером, где в местном отделе полиции сняли отпечатки пальцев и заставили позировать для фотографий анфас и в профиль. Если кончится тем, что меня отправят на виселицу,

решил я, прикинусь трусом, как блаженной памяти Джеймс Кэгни, который согласился на это из уважения к своему духовнику Пэту О'Брайену*, чтобы не стать в глазах мальчишек-беспризорников героем (нынче говорят "объектом поведенческого копирования") и те не пошли бы по его стопам, а поступали бы в университеты или хотя бы в клубы по интересам. Камера, куда меня заперли, сравнения с отелем "Ритц", конечно, не выдерживала, но была все же гораздо лучше той, в которой приходилось коротать дни графу Монте-Кристо. Приставленный ко мне вертухай тоже оказался, слава богу, сговорчив — он прямо-таки горел желанием подзаработать хоть какую-то добавку к мизерному жалованью. Впрочем, сегодня легко шутить над этим, а тогда я был в ужасе, меня то бросало в слезы, то я покрывался холодным потом и начинал весь дрожать. Обвиняемых в убийстве под залог не выпускали. "Дальше предварительных слушаний у них не сдвинется, — успокаивал меня Хьюз-Макнафтон. — Я буду напирать на полное отсутствие улик".

Впоследствии я узнал, что обвинение, понимая слабость своей позиции, не очень-то и стремилось меня ухайдакать, несмотря на заверения О'Хирна, что тело он откопает — это, мол, всего лишь вопрос времени. Зато неистовая Вторая Мадам Панофски наняла себе какого-то огнедышащего криминалиста подручного, который всячески настаивал на моем обвинении; естественно, при этом чертова *йента* тут же изъявила желание аннулировать супружество. А уж как эта балаболка наслаждалась возможностью покрасоваться в суде! Да черт с ней. Все мысли мои были о Мириам, которая прилетела из Торонто и на второй день была допущена ко мне в кутузку.

— Что бы ни случилось, — сказал я, — хочу, чтобы ты знала: я Буку не убивал.

— Я верю тебе, — сказала она.

— Через неделю я отсюда выйду, — сказал я, надеясь, что произнесенное вслух обязательно сбудется. — Между тем я ведь тут кое-какие полезные знакомства завожу. Если мне понадобится сжечь свой дом или контору, у меня тут уже есть парень, который это сварганит и недорого возьмет. И еще. Я тут не единственный невиновный. Абсолютно все здесь сидят по оговору. Даже тот хмырь, что зарубил жену топором за то, что она неправильно поджарила ему яичницу — он просил глазунью, а она взяла и перевернула. На самом деле, оказывается, ничего подобного. Просто у нее закружилась голова, и она упала в подпол. Приземлилась головой на торчащее вверх лезвие. А кровь у него на рубашке — так это потому, что он подскочил помочь ей. Пожалуйста, не надо плакать. Долго они меня здесь не продержат. Честно.

Восемь дней пришлось дожидаться предварительного слушания у мирового судьи, который отклонил ходатайство Хьюз-Макнафтона и постановил, что "для суда улик достаточно, то есть имеются такие свидетельства, на основании которых правильно проинструктированное жюри присяжных способно вынести обвинительный приговор". Все уперлось, как объяснял Хьюз-Макнафтон, в то, что про револьвер я О'Хирну сперва соврал — это и навлекло на меня подозрения.

— А теперь ответь мне, Барни, дружище, — в который раз принялся увещевать меня Хьюз-Макнафтон. — Мне не нужны на суде неожиданности. О'Хирн найдет тело?

— Где?

— Ну откуда же я-то могу знать?

— Я не убивал его.

Пять долгих недель меня томили, пока, наконец, не назначили рассмотрение моего дела на осеннюю выездную сессию суда в Сен-Жероме. Мириам прилетала каждый уик-энд, останавливалась в местном мотеле, привозила мне книги, журналы, мои любимые сигары "монтекристо" и бутерброды с копченостями от Шварца.

— Мириам, если все же дело обернется так, что меня приговорят гнить в тюрьме, я не хочу, чтобы ты ждала меня. Ты свободна.

— Барни, прошу тебя, пожалуйста, вытри глаза. Благородство тебе не к лицу.

— Но я это серьезно!

— Нет, ты это не серьезно.

Среди моих добрых соузников был один идиот, ограбивший местный гастроном; он взял восемьдесят пять долларов с мелочью и десять блоков сигарет, после чего в тот же вечер его поймали в баре, где он пытался сбыть награбленное. Еще была парочка угонщиков машин, парень, торговавший краденными телевизорами и музыкальными центрами, мелкий наркодилер, один эксгибиционист и тому подобная шушера.

С первого взгляда на судью я почувствовал, что падаю, падаю, падаю в никуда. Увидел свои дергающиеся в воздухе ноги и взмолился, чтобы хоть кишки меня не подвели в последние мгновенья на этом свете. Председательствующий судья Евклид Лазюр, стройный и сразу видно что суровый мужчина с крашеными черными волосами, противными кустистыми бровями, крючковатым носом и щелочкой рта, сам по себе был интересным типом. Как большинство убежденных québécois de vieille souche[1], взросление которых пришлось на годы Второй мировой войны, по молодости и глупости он открыто симпатизировал фашизму. Свои интеллектуальные зубы оттачивал в фашистской в те годы газетке "Девуар", подобно аббату Лионелю Адольфу Грую с его махрово-антисемитской "Аксьон Насьональ". Был членом "Ligue pour la Défence du Canada"[2], этакой своры франкоканадских патриотов, которые бросались в бой как бешеные псы, если Канада нападала, но рисковать шкурой в том, что они считали очередной британской империалистической войной, остерегались. Он был в гуще той радостной толпы, что двинулась по Мейн-авеню в 1942 году с битьем витрин в еврейских магазинах и криками "Бей жида! Бей жида!" Однако с тех пор он уже осуществил публичное покаяние, объяснив это юношеской опрометчивостью. Журналисту он сказал так: "В сорок втором году мы понятия не имели, что происходит. Мы же не знали еще про лагеря смерти!" Впрочем, как указывал Хьюз-Макнафтон, было и нечто обнадеживающее в том, что судить меня будет этот раздолбай. Дело в том, что супружница этого Евклида сбежала с концертирующим пианистом. И за ним давно установилась прочная репутация женоненавистника. Во время одного из прошлых своих дел, перед тем как приговорить тетку, которая воткнула кухонный нож мужу в сердце, он сказал: "Женщины обладают богатой палитрой добродетелей, в этом они богаче мужчин, я всегда в это

1. Квебекцев старого закала (*франц.*).
2. "Лига защиты Канады" (*франц.*).

верил. Но многие говорят — и в это я тоже верю, — что когда они падают, то падают до такого уровня подлости, до какого самый гнусный мужчина опуститься не может".

В общем, я еле дождался, пока моя болтливая и возмутительно неверная жена займет свидетельское место.

— Бедный мистер Московичь, — заговорила она, — весь дрожал, и я легла к нему в постель, просто чтобы согреть его, потому что у меня эмоциональная эмпатия ко всем страждущим, независимо от расы, цвета и сексуальной ориентации. Я человек высокотолерантный. Это многие замечают. Но, господи, где-то же надо и черту подвести! Не хочу никого в этом зале обидеть, но я очень высоко ставлю франкоканадцев. Вот наша горничная, например, — я ее просто обожала! Однако, честно говоря, я бы вам всем посоветовала отказаться, наконец, от традиции выдирать перед свадьбой невесте зубы. Что до меня, то я приискала бы жениху подарки получше.

Только человек, у которого одна грязь на уме, может заподозрить нечто сексуальное в том, что я легла в постель к мистеру Московичу, хотя, конечно же, я привлекательная женщина и в самой, что называется, поре, а муж не исполнял своих супружеских обязанностей со мной месяцами. Да что там: он даже в первую брачную ночь не скрепил наш союз физической близостью, да и дату свадьбы пытался изменить, так как она не укладывалась в расписание финалов Кубка Стэнли. Ему плевать было и на задаток, который мой отец внес в синагогу, и на то, что людей уже пригласили, и сам Гурски должен был прийти, причем не один. Мы вообще-то с ними дружим семьями. И не первый год. Мои родители на нашу свадьбу ничего не пожалели. Моей принцессе, как говорил папочка, все только лучшее — вот потому-то он и возражал так яростно против моего брака с мистером Панофски. Он из другого monde, говорил мне папа, и он был прав, ох, как он был прав, но я-то думала, что смогу поднять Барни до своего уровня — понимаете, стать чем-то вроде профессора Хиггинса в женском роде (это из "Пигмалиона", пьесы великого Бернарда Шоу). Вы могли видеть киноверсию с Лесли Хауардом, который там так хорошо сыграл, что ему потом доверили роль в "Унесенных ветром". А как мне нравилась музыкальная версия! "Моя прекрасная леди" с Рексом Гаррисоном и Джулией Эндрюс — это чудо! Надо ли удивляться, что этот мюзикл имел такой успех! Помню, когда мы с мамочкой выходили из кино и все мелодии еще звучали в голове, я сказала...

Судья, с усилием подавив зевок, перебил ее:

— Значит, вы легли в постель к мистеру Московичу...

— Чтобы согреть его. Да ей-богу же! На мне была розовая шелковая ночнушка с кружавчатыми каемочками — я ее купила в "Саксе", когда мы с мамой в последний раз были в Нью-Йорке. Когда мы с нею ходим по магазинам, продавцы принимают нас за сестричек. Для женщины ее возраста у нее потрясающая фигура...

В 1960 году в Квебеке все еще считалось, что женщины слишком глупы, чтобы участвовать в жюри присяжных. [Лишь в 1928 году, кстати, Верховный суд Канады признал женщин "физическими лицами". — *Прим. Майкла Панофски.*] Поэтому моя судьба была в руках двенадцати мужчин, добронравных и честных граждан. Нескольких свинарей, продавца кастрюль, банковского кассира, гробовщика, плотника, цветово-

да, тракториста-снегоуборщика и иже с ними, причем все явно жалели о своем даром потраченном в суде времени. Образованные на уровне младших классов церковно-приходской школы, они, пожалуй, не удивились бы, увидев у меня в дополнение к рогам еще и хвост. Я даже подумывал, не выйти ли мне как-нибудь на слушания босиком, чтобы убедить их хотя бы в том, что у меня нет раздвоенных копыт.

В начале обвинительной речи Марио Бегин, "советник королевы", сказал:

— Мои ученые коллеги, без сомнения, будут вновь и вновь напоминать вам, что трупа нет, однако истина заключается в том, что в нашем распоряжении все-таки имеются существенные факты, доказывающие, что убийство совершено. Вместо того чтобы сокрушаться по поводу того, что нет трупа, вы лучше бы считали, что он есть, но просто еще не найден. Вот под каким углом надо на это смотреть. От первого звонка обвиняемого в полицию (тут он молодец, очень умно повел себя!) и до момента прибытия на место преступления следователя сержанта Шона О'Хирна у него был целый день, чтобы избавиться от трупа. И не забывайте, что мы имеем дело с лжецом, который лжет и тут же в этом сознается. Мистер Панофски признал, что сотрудникам Sureté он солгал дважды. А я вам говорю, что он о револьвере солгал не дважды, а трижды. Во-первых, сказал следователю сержанту О'Хирну, что понятия не имеет, как револьвер оказался у него на тумбочке у кровати. Потом он отрицал тот факт, что в барабане одна гильза пустая, — это вторая ложь: он сказал, что револьвер забыл его отец, который никогда не умел правильно заряжать оружие. Я нахожу это странным, поскольку его отец был опытным офицером полиции. Но главной для нас является его третья ложь. Обвиняемый был вынужден признать, что стрелял из револьвера, но будто бы только в шутку, поверх головы жертвы. Зато из показаний следователя сержанта О'Хирна мы узнаём, что обвиняемый в конце концов сломался и подтвердил, что совершил убийство. Он сказал, цитирую: я выстрелил ему в сердце, конец цитаты. Это его собственные слова. "Я выстрелил ему в сердце".

Да, сейчас мне нелегко. Так же, как и вы, уважаемые присяжные, я не лишен сострадания. Все, что мы сейчас говорим, мы говорим о муже, который, придя домой, обнаружил жену и лучшего друга вместе в постели. Конечно же, ему это не могло быть приятно. Не будем недооценивать того, какое потрясение он испытал, обнаружив свою недостойную жену в постели с другим мужчиной, но не будем считать это и лицензией на убийство. "Не убий" — так звучит одна из заповедей завета, заключенного между людьми и Богом, и, насколько мы знаем обычаи избранного народа, обещанное выполняется — это свято. Я не стану сейчас занимать ваше время затейливым и пространным вступлением, потому что могу всецело положиться на красноречивые улики, доказывающие, что обвиняемый виновен в убийстве. Есть револьвер, есть пустая гильза в барабане и есть жертва, которую, как мы знаем, никто не видел с тех пор, как она погрузилась в озеро. Если бы этот человек утонул, его тело должно было бы всплыть через месяц, если не через неделю. Но, может быть, он и жив, однако тогда и я, может быть, наследник русского царя, всю семью которого жесточайшим образом истребили по приказу коммуниста Леона Троцкого (он же Бронштейн). Или, может быть, мистер Москович без денег, да и без паспорта, который он тоже забрать

забыл, вылез из озера на другом берегу и в одних плавках поехал на попутках домой в Соединенные Штаты? Если вы в это верите, то у меня есть домик с садиком во Флориде, и я его готов поверившему дешево продать.

Уважаемые присяжные, ваше сочувствие к обманутому мужу понятно, но вы не должны дать состраданию возобладать над чувством справедливости. Убийство — оно убийство и есть. Теперь, когда вы выслушали доказательства, я надеюсь, что вы объявите обвиняемого полностью виновным.

Затем настал черед блеснуть Хьюз-Макнафтону.

— Я попросту не могу понять, что я тут делаю. Я в полном изумлении. За те годы, что я работаю адвокатом, дела, подобного этому, мне не попадалось. С моей точки зрения, тут все проще пареной репы. Мне положено защищать клиента, употребить для этого все свои скромные силы и способности — как-никак его обвиняют в преднамеренном убийстве, — но трупа-то нет! Что же это получается? Завтра меня попросят защищать честного банкира от обвинений в мошенничестве при отсутствии недостачи денег? Или уважаемого гражданина, который якобы сжег свой амбар, при том что никакого пожара не было? Я так уважаю закон, нашего высокочтимого судью, моих ученых коллег и вас, господа присяжные заседатели, что я должен заранее извиниться, поскольку это дело, зашедшее столь далеко, что даже представлено на ваше рассмотрение, есть ничто — пустое оскорбление вашего здравого смысла. Тем не менее faute de mieux[1] придется нам им заняться. Как вы уже слышали, Барни Панофски, любящий муж и кормилец, однажды утром неожиданно вернулся к себе в дачный домик в Лаврентийских горах и нашел там жену и лучшего друга в одной постели. Вообразите эту сцену — те из вас, кто тоже любит своих жен. Приходит, увешанный гостинцами, и видит, что его предали. Предала жена. Предал лучший друг. Мой ученый коллега хочет, чтобы вы поверили, будто миссис Панофски не совершала измены. Да нет же! Она не шлюха, объятая беззаконной похотью. В соблазнительной ночной рубашечке она забирается в постель к мистеру Московичу только потому, что тот дрожит, и она хочет согреть его. Надеюсь, вы тронуты. А я вот, честно говоря, нет. Что, одеял в доме больше не было? Нельзя было горячей воды в грелку налить? И как вышло, что, когда мой подзащитный спугнул их, на его любимой жене *уже не было ее соблазнительной розовой ночной рубашки?* Или миссис Панофски, в отличие от мистера Московича, нечувствительна к холоду? А может быть, ей захотелось снять рубашку, чтобы она не мешала, так сказать, взаимопроникновению? Эти вопросы я оставляю на ваше усмотрение. А также то, почему замужняя женщина, направляясь в отсутствие мужа в спальню к другому мужчине, ничтоже сумняшеся надевает одежду, в которой она так доступна. Мне также хотелось бы спросить: если ее объятия с мистером Московичем были столь невинны, то почему она поспешила после этого убежать? Почему было не остаться, не объяснить? Не потому ли, что ее снедал стыд? Вполне оправданный, если вы спросите мое мнение. Да, еще была медицинская экспертиза, доказавшая наличие следов спермы на простынях мистера Московича, но пусть это вас не беспокоит. Он, видимо, всю ночь мастурбировал.

1. За неимением лучшего (*франц.*).

Насладившись смехом присяжных, Хьюз-Макнафтон продолжил еще увереннее:

— Конечно, хотя мой подзащитный был, что вполне понятно, шокирован увиденным в спальне — его обожаемая жена, его любимый друг... — это все же не давало ему лицензии на убийство, но дело-то в том, что убийства как раз и не было! А если было, так был бы и труп. Мистер Москович и мой подзащитный поссорились, это правда, и оба крепко выпили. Слишком крепко выпили. Мистер Москович решил после этого пойти искупаться — не лучшая идея в его состоянии, — а мистер Панофски, не привыкший потреблять алкоголь в таких количествах, лег на диван и отключился. Проснувшись, он не смог найти мистера Московича ни в доме, ни на мостках. Испугался, что тот утонул. Обращаю ваше внимание: мой подзащитный не сбежал, никуда не скрылся, подобно миссис Панофски. Наоборот, немедленно пригласил полицию. Приезжайте быстрее, сказал он. Разве так ведет себя человек с нечистой совестью? Нет. Определенно нет. Да, вам сказали тут, что из револьвера, принадлежавшего отцу мистера Панофски, инспектору следственного отдела Израилю Панофски, стреляли. А из того, что мой подзащитный на вопросы о револьвере сперва соврал, такой сыр-бор раздули — ух, куда там! Ну да, это печально — он должен был понимать, что Sureté как-никак наша опора и защита. Но! Ведь это тоже понятно: в тот момент Барни Панофски был огорчен и испуган. Поэтому он дважды пустился в невнятные, уклончивые объяснения происхождения револьвера. Но в конце концов он *добровольно* сказал правду, тогда как мог бы молчать и требовать присутствия адвоката. Вспомните, он же сын инспектора полиции, воспитанный в уважении к закону, и никто его говорить не вынуждал. Как счастливы граждане нашей страны, нашей провинции, — возвысив голос, проговорил Хьюз-Макнафтон и сделал паузу, чтобы с поклоном кивнуть О'Хирну, — счастливы, что живут не в какой-нибудь стране Третьего мира, где подозреваемых полицейские избивают, где это в порядке вещей. Нет, нет. С нашей Sureté нам повезло, у нас есть все причины гордиться поведением ее служащих.

Итак, мистер Панофски рассказал следователю сержанту О'Хирну правду. Он в шутку выстрелил в воздух над головой Московича. Если бы это было не так, наши проницательные сыщики нашли бы следы крови — в коттедже, на лужайке. *Хотя бы где-нибудь.* Они обыскали все снизу доверху, вывернули все наизнанку, приводили собак, но крови не нашли нигде, не нашли и следов борьбы, а искали ведь специалисты, которые знают свое дело! Почему же они ушли ни с чем? Да потому что Барни Панофски говорит правду. Ну так где же тогда, напрашивается у вас вопрос, пропавший мистер Москович? А он объявится где-нибудь — *и ведь не в первый раз!* — под вымышленным именем. Но как же так, справедливо задается вопросом сторона обвинения, как это он исчез, оставив всю одежду? А всю ли? Разве следователь О'Хирн знает точно, сколько и какой одежды привез с собой мистер Москович? Возьмется ли сержант О'Хирн под присягой заверить нас, что мистер Москович не припрятал где-нибудь заранее рубашку, пару штанов, туфли и носки? Ах да, он же оставил банковскую книжку, и с этого счета никто больше денег не снимал. Но готовы ли мы поручиться, что у него нет других счетов в других банках? Может, в других странах даже! Мистер Москович человек неординарный. К тому же больной человек, наркоман и отчаянный игрок.

Не мог ли он сбежать, взяв себе новое имя, исчезнуть, чтобы уйти от наркодилеров, букмекеров, каких-нибудь владельцев казино, которым он задолжал огромные суммы? Вы услышите здесь показания свидетелей, в том числе видного канадского писателя и всемирно знаменитого американского художника, которые знали обоих — и мистера Московича, и мистера Панофски — еще по Парижу, так ведь и там мистер Москович исчезал, причем бывало, что и не на один месяц. А еще я в качестве свидетельства представлю вам рассказ, написанный мистером Московичем, однако предварительно я должен извиниться за непристойный, а иногда и богохульный язык этого произведения, который может оскорбить вас. Рассказ называется "Марголис", он про человека, который бросает жену и ребенка, чтобы начать новую жизнь под новым именем в другом месте. Интересно, что у мистера Московича — то-то вы удивитесь, даже для Барни Панофски это было сюрпризом — действительно есть жена и маленький ребенок, которые живут в Денвере, и они столь высокого о нем мнения, что даже не приехали сюда. От свидетелей вы узнаете — а я еще и корешки чеков в доказательство приложу, — что время от времени мистер Панофски выручал своего друга, платил за него, когда тот проигрывался до того, что становилось совсем уж некуда деваться... и это тот самый друг, которого он обнаружит в постели со своей женой!

Я не буду заставлять горемычного мистера Панофски выступать в этом суде. Без вины виноватый, он и так уже настрадался. Дважды предан. Женой. Лучшим другом. Но уж на ваш-то здравый смысл я рассчитываю, вы оправдаете его. А в заключение, рискуя показаться нескромным, я вам признаюсь, что жизнь у адвоката — ох, не подарок! Ну вот хотя бы сегодня: дело, в котором я участвую, настолько абсурдно, в нем так не сходятся концы с концами, что мне стыдно за это деньги брать! А прямо отсюда я еду защищать человека, которого обвиняют в краже сокровищ Короны из Тауэра в Лондоне. Там только одна загвоздка. Сокровища все на месте! Вот и здесь то же самое. Уважаемого человека обвиняют в убийстве. Загвоздка. Отсутствует убитый. Спасибо за внимание.

О'Хирн рассказал, что, приехав ко мне на дачу, он обнаружил у меня на ладонях свежие мозоли, которые я объяснил тем, что копал грядку под спаржу. В результате дальнейших расспросов он выяснил, что семейная жизнь у меня далека от идеала, а в Торонто у меня любовница, еврейка. "Не пытайтесь еще и ее к этому приплести, хамская ваша рожа!" — сказал ему я. О спрятанном [sic!] револьвере я ему трижды солгал, а потом сказал: "Я попал ему прямо в сердце, а потом закопал в лесу, где ваши придурки как раз сейчас рыщут". И вообще во время допроса я проявлял враждебность, сыпал непристойностями и не раз всуе поминал имя Господа нашего Иисуса Христа. Кончил тем, что полез в драку, и меня пришлось усмирять. Презрительно отзывался о неевреях, служащих в Sureté du Québec, а его самого — тут О'Хирн, прежде чем цитировать, извинился за грубость языка — назвал напыщенным малограмотным мудаком...

Тут я прямо-таки восхитился: экий мерзавец!

...В библиотеке у обвиняемого, продолжил свою речь О'Хирн, наличествует много книг, запрещенных церковью*. Авторы одних — масоны, других — известные коммунисты, и все, как правило, собратья обви-

няемого по вере, причем о чтении он сказал так: "Готов поспорить, что последней книжкой, которую ты прочитал, были 'Приключения Винни Пуха' в детском переложении, да и то ты до сих пор силишься понять, о чем там речь. Где тебя учили допрашивать подозреваемых? Или ты 'Звездных войн' насмотрелся? Начитался комиксов? Нет, это я бы прочухал. У тебя бы тогда пузырь изо рта торчал!" Из уважения к презумпции невиновности (хотя интуиция следователя говорит ему совсем иное) О'Хирн навел справки в Нью-Йорке. Там выяснилось, что убитый — "или исчезнувший", скривившись, выговорил О'Хирн, — домой не вернулся. А его банковский счет по сей день не тронут.

Хьюз-Макнафтон бился как рыба об лед, пытаясь обезвредить мою глупую и пагубную фразу о том, что я, дескать, выстрелил Буке прямо в сердце, — говорил, что я от природы насмешлив, питаю слабость к иронии, так что это мое так называемое признание следует считать всего лишь гневным выкриком. Но когда он бросил взгляд на присяжных, а потом посмотрел на меня, я почувствовал, что Хьюз-Макнафтон дело мое считает пропащим. Все более горячась, он с отчаяния пустился на такую театральную уловку, которой постыдился бы даже Перри Мейсон*.

— Что, если я пообещаю вам, — с заговорщицким видом обратился он к жюри, — совершить здесь маленькое чудо? Что, если я сосчитаю сейчас до пяти и вон через ту дверь в торце зала сюда войдет Бернард Москович? Раз, два, три, четыре... ПЯТЬ!

Присяжные повскакивали с мест, все уставились на дверь, и я тоже повернулся всем телом, чуть себе шею не свернул, а уж как забилось у меня сердце!

— Вот видите! — сказал Хьюз-Макнафтон. — Вы все бросились смотреть, потому что у всех есть более чем разумная причина усомниться в том, что убийство имело место.

Эффект получился обратный ожидаемому. Члены жюри явно обиделись, им не понравилась роль марионеток на веревочках. Марио Бегин, "советник королевы", не мог сдержать свою радость. Мои страдания еще усилились, когда я бросил взгляд на Мириам, сидевшую в одном из задних рядов зала, и увидел, что она близка к обмороку.

Под руководством Хьюз-Макнафтона перед судом прошел целый парад свидетелей моего добронравия, и всё зря. Зак, не совсем трезвый, явный roué[1], не к месту много шутил. Серж Лакруа выглядел бы куда достовернее, если бы не выкрасился перед этим в блондина и не нацепил серьгу с бриллиантом. Прилетевшему из Нью-Йорка Лео Бишински не стоило брать с собой смазливенькую шлюшонку в два раза младше себя — да она еще и встала, помахала ему ручкой, когда он уселся на свидетельское место. Но если передо мной и впрямь всерьез замаячила виселица, виной тому был милейший Ирв Нусбаум и никто другой. Мой дорогой приятель Ирв настоял на том, что присягу он принесет только на Ветхом Завете и непременно в ермолке. Он сказал, что я — настоящая опора всей здешней еврейской общины, жертвователь из жертвователей и собиратель из собирателей, сделавший для государства Израиль столько, что мог бы и поменьше. И вообще, он был бы горд назвать меня своим сыном.

1. Повеса (*франц.*).

Плавая в поту, я все яснее понимал, что теперь мне точно уготовано место в длинной череде еврейских мучеников. Капитана Дрейфуса томили на Острове Дьявола много лет и отпустили не потому, что оправдали, а потому, что помиловали. Кто следующий? Менахем Мендл Бейлис, жертва злостной клеветы в Киеве тысяча девятьсот одиннадцатого года. Черносотенцы обвинили его в ритуальном убийстве двенадцатилетнего христианского мальчика, и он просидел два года в тюрьме, пока, наконец, не был оправдан. Потом идет Макс Франк, сын богатого еврейского торговца, — обвинен в убийстве четырнадцатилетней девочки, приговорен судом к повешению, а затем выкраден и растерзан толпой, причем не где-нибудь, а в США, в штате Джорджия, 1915 год...

Коротая время, я составлял тезисы своего выступления с последним словом. "Я не отравлял ваших колодцев, — примерно так я собирался начать, — и не убивал детей, чтобы добывать из них кровь для пасхальной мацы. А если меня ткнуть чем-нибудь острым, неужто не покажется кровь?.."

И вдруг — эврика! — этот никчемный фигляр мэтр Джон Хьюз-Макнафтон совершил-таки чудо, вызвав последнего, совершенно неожиданного свидетеля. То был добрый епископ Сильвен Гастон Савар, совершенно мне в ту пору незнакомый. Маленький, но сверкающий прибамбасами облачения настоящий епископ в черной сутане семенящей походочкой вкатился в зал суда, милостиво кивая испуганным присяжным, трое из которых сразу принялись креститься. В наманикюренных, усыпанных кольцами ручках сей благородный архипастырь держал переплетенное в кожу житие своей тетки, Сестры Октавии, этой антисемитской сучары. Я наблюдал его явление, абсолютно ничего не понимая, но молчал: Хьюз-Макнафтон, слава богу, вовремя ткнул меня локтем в бок, а епископ тем временем говорил о том, что я — хотя и еврей по рождению, как наш Спаситель (вот: подумайте и об этом тоже), — согласился оплатить перевод на английский его скромной книжки. Своим скрипучим, писклявым голосом в продолжение этой новости он поведал, что я вдобавок вызвался провести кампанию по сбору средств на установку статуи Сестры Октавии, которая будет стоять на центральной площади города Сент-Юсташ, а положиться на меня в подобном деле можно, ибо я собиратель из собирателей, как уже обрисовал меня один из выступавших ранее. Закончив свое свидетельство, епископ наградил меня кивком — вроде как благословил, — расправил свои юбки и сел.

С этого момента происходящее превратилось в фарс; Марио Бегин, "советник королевы", понял это и пал духом. Но все же продолжал совершать ритуальные телодвижения: вызывал своих свидетелей, которые говорили о моем вспыльчивом характере, перечисляли угрозы, драки в барах и другие примеры моего неподобающего поведения.

Да чушь все это.

Наверняка почти все вы смотрели фильм "Крестный отец-2" Мартина как-его-там, ч-черт. Ну, вы помните — его звали вроде как того оперного певца, что играл главную роль в мюзикле "Зюйд-Вест". Мартин Пинца? Нет. Подождите. Сейчас, сейчас. Ну вот, почти уже вспомнил. Зовут Марти, а фамилия как у оруженосца Дон Кихота. Мартин Панса? Мартин Пузо? [Мой отец спутал двух итало-американских кинодеятелей: писателя и сценариста Марио Пьюзо и режиссера Мартина Скор-

сезе. Пьюзо писал сценарии фильмов о Крестном отце, а Скорсезе поставил много фильмов, в том числе "Разъяренного быка". — *Прим. Майкла Панофски.*] Не важно, суть в том, что в "Крестном отце-2" против мафии затевают уголовное преследование, и один из бандитов в обмен на неприкосновенность его как свидетеля соглашается сотрудничать со следствием. Но Аль Пачино привозит с Сицилии отца этого человека, и как раз когда коварный изменник должен начать всех закладывать, в зал суда входит старик-отец, садится и выразительно на него смотрит. У несостоявшегося стукача отнимается язык. Вот и на моем суде то же самое: пока председатель суда мистер Евклид Лазюр, волнуясь, читал заключительную речь, мой дражайший епископ, сложив на коленях ручки, мило улыбался членам жюри присяжных.

Присяжные для порядка два часа совещались, а потом вышли с оправдательным приговором — как раз когда им пора было мчаться домой, чтобы не упустить трансляцию показательного хоккея: "Монреальцы" против "Вашингтонских кепочников". Я вскочил, стиснул в объятиях Хьюз-Макнафтона, а потом бросился к Мириам.

Одно соображение вдогонку. Все те годы, что предшествовали суду надо мной, когда я застревал в плотном — бампер к бамперу — потоке транспорта на шоссе, ведущем к моему коттеджу, впереди меня чуть не каждый раз оказывался помятый, изъеденный ржавчиной пикапчик с наклейкой на заднем бампере; я тащился за ним, и перед глазами у меня стояло: ХРИСТОС СПАСАЕТ, а я еще, помню, хмыкал: дескать, не очень-то уповай на это, чувак! Теперь я уже не такой убежденный скептик.

10

Однако новости грустные!

Загляните на первую страницу этих извилистых мемуаров, и вы увидите, что Терри был для меня просто нож острый. Заноза под ногтем. Рассказывать историю своей впустую растраченной жизни я затеял в ответ на гнусный поклеп, возведенный на меня Терри Макайвером в его автобиографии, касающейся моих отношений с Букой, моих трех жен (он называет их *тройкой* кучера Барни Панофски) и той жуткой истории, что я, как горб, буду влачить до могилы. О'кей, о'кей. Это всё издержки первой книги. Хотя и не столь постыдные, как юношеские потуги великого Гюстава Флобера. В "Бешенстве и бессилии" он рассказал историю замурованного заживо человека, который ест собственную руку. В его новелле "Quidquid volueris"[1] главный герой — бессловесный сын черной рабыни и орангутанга. Правда, когда Флобер высасывал из пальца свои бредни, ему было не шестьдесят семь, как мне, а всего пятнадцать.

Это я к тому, что теперь, когда написаны мириады слов, весь мой разбухший, тяжелый, как кирпич, манускрипт внезапно лишился всякого raison d'être[2]. Наш самовлюбленный мерзавец взял да и помер. Инфаркт. En route[3] в Макгилл, где он собирался что-то читать и раздавать

1. "Что ни пожелай" (*лат.*).
2. Смысла (*франц.*).
3. По дороге (*франц.*).

автографы, на Шербрук-стрит вдруг закружился на месте и упал на тротуар, схватившись за грудь. Если бы его быстро доставили в больницу, он, может, и не умер бы, но прохожие принимали его за выпивоху и обходили стороной. Bonjour la visite[1].

Макайвер так никогда и не женился. "Я уже выбрал себе место у ног самой взыскательной из возлюбленных, — сказал он однажды репортеру "Газетт", — литературы". Однако и в преклонном возрасте он не чурался покровительства богатых женщин — стервятниц культурной помойки. Говорят, он собирал рецензии на свои книги в альбом, прокладывая страницы целлофаном. В последние годы МВС [Монреальский Великий Старец. — *Прим. Майкла Панофски*] был щедро осыпан наградами. Его кабинет по всем стенам украшали почетные грамоты. Всеканадская книжная ярмарка в Торонто наградила его премией. В Макгиллском университете он стал президентом. Ходили слухи, что он стоит на очереди за назначением в сенат, где получил бы возможность обмениваться идеями с моим высокочтимым соседом, обладателем пентхауса в нашем доме, Харви Шварцем. Впрочем, бывший consiglière самого Гурски нынче тоже выбился в ньюсмейкеры. На собственные средства он основал Движение за единую Канаду. "Я решил посвятить остаток жизни спасению этой страны, которая была так добра ко мне", — сказал этот жулик, валютный спекулянт, наперсточник от недвижимости, рейдерских и перекупных дел мастер и налоговый шулер, упрятавший миллионы долларов в семейный "Фонд Шварца".

Насчет похорон у меня некий раздрай. В моем возрасте, когда стоишь и смотришь в двухметровую яму, по коже бегут мурашки, но есть и кое-какая приятность в том, что ты дожил, дожал, дотянул, и вот — на чьи-то чужие похороны смотришь все-таки с этой стороны! И пусть они будут чьи угодно, лишь бы не Мириам и не кого-нибудь из наших детей. Однако, к вящему моему изумлению, на похоронах Макайвера я искренне плакал. Когда-то мы были оба молоды, бездумно и беспечно болтались по Парижу — этакие, как теперь говорят, *отвязные* провинциалы, и — задним числом — жаль, что не подружились.

Опять отступление, но на сей раз весьма уместное. Недавно я летал в Нью-Йорк навестить Савла и посмотреть Грегори Хайнза в паре с этим новым вундеркиндом, Сэвьоном Гловером, в мюзикле "Последний джем-сешн Джелли". По-моему, Гловер самый талантливый чечеточник из всех, кого я когда-либо видел, и я на следующий день вернулся, чтобы посмотреть его снова. А еще на следующий день мы встретились и выпили в отеле "Алгонкин" с Лео Бишински.

— Мне уже шестьдесят восемь, был-ля, — сказал он. — Не понимаю. И как это так получилось? Только отвернешься — и уже! Мне шестьдесят восемь лет, я четыре раза женился-разводился, нахапал сорок восемь миллионов долларов — и это при том, что меня обкрадывали без зазрения совести. Продавал рожу с обложки "Вэнити фейр". А сколько раз обо мне писал журнал "Пипл"! Меня цитировала в своих колонках Лиз Смит. Я написал портрет Джонни Карсона, а теперь ко мне наперебой рвутся Джей Лено и Давид Леттерман*. У меня ретроспектива в Музее современного искусства. Отец никогда бы не поверил, что кистью можно заработать больше, чем торговлей модным женским шмотьем. Вот

1. Зд.: вот тебе и здрасьте (*франц.*).

уж мать бы гордилась! Кстати, то, что обо мне пишет этот австралопитек Роберт Хьюз* в журнале "Тайм", — типичная заказуха. А вместе с тем ребята, с которыми я *шмузал* и хохмил в "Ле Куполь" — или оно "Ля", не важно, — в "Селекте" и в "Мабийоне", все теперь меня ненавидят. Придешь к кому-нибудь из них на вернисаж, а они либо нос воротят, либо так: "Вау, кто к нам пришел! Звезда! Да как же мы сподобились! Ты что это, Лео! Не надо, мы скромные, мы тебя не стоим!" Черт подери, а ведь сидели вместе в кафешках и, посмеиваясь, ждали, когда подойдет глянуть на нашу мазню Уолтер Крайслер-младший — вдруг что-нибудь да купит? Я думал, мы друзья до гроба. Вместе прошли огонь и воду. Да будь они все неладны! Сегодня меня всюду принимают, в самых высших кругах — и на Парк-авеню, и в Ист-Хэмптоне. Что хмыкаешь, с почтением смотри: перед тобой человек, который фуршетил в самом Белом доме! Между прочим, обеды, куда меня приглашают, — о, это отдельная песня: высокочтимый хозяин либо шустрый биржевой спекулянт, либо бывший скупщик обесцененных акций с женой вроде охотничьего трофея, только куда болтливее, и обязательно у них на стене висит одна из моих *цацкас*, причем обошлась она мудиле грешному миллиона в два, а у меня при этом единственное желание — сдернуть ее, сунуть под мышку и сделать ноги, потому что сидеть с ними больше пяти минут — это спятить можно. А я сижу, сгораю со стыда, смотрю на него и спрашиваю себя: неужто я все это для него делал? Когда я ел один раз в день, неужто это его одобрения я добивался? У меня шестеро разных детей от четырех жен, а я никого из них видеть не могу, даже подумать тошно, что, когда я крякнусь, они будут как сыр в масле кататься. Один — продюсер звукозаписей хип-хопа. От Моцарта до рэпа и хип-хопа — а? Дорожка не каждому под силу! Хотя кто я такой, чтобы говорить это? Между Гойей и мной тоже разница есть. Вчера делали биопсию моей простаты; жду плохих новостей. Все завидуют мне по поводу моих кисок, а я как лягу с какой-нибудь в постель, так аж трясусь от ужаса: не встанет — ведь засмеют! Черт, Барни, как мы когда-то веселились! Не понимаю, куда все ушло, а главное — зачем же так быстро!..

Макайвер, надо отдать ему должное, победил благодаря упорству — шансов у него было мало. Приплыл-таки на своем слабеньком, необязательном талантишке к признанию в родной стране, что, однако же, больше того, чего добился — и даже к чему стремился — я. Не следовало мне к нему так зло цепляться. После похорон Макайвера я засел в "Динксе". Открываю страницу некрологов газеты "Газетт", читаю: ЧЕРПАЯ ВДОХНОВЕНИЕ В СВОЕЙ ДУШЕ, ТЕРРИ МАКАЙВЕР ЗАРЫЛСЯ В НЕДОСЯГАЕМЫЕ ГЛУБИНЫ. О господи! Тем не менее в тот же вечер я написал поминальное письмо в ту же газету, и спустя три дня оно было там напечатано.

Макайвер, конечно, здорово меня подвел, но это не причина, чтобы взять всю мою писанину и выбросить. Нет уж, возьму-ка я лучше да найду своим почти завершенным признаниям нового адресата. Пусть они теперь посвящаются моим любимым: Мириам, Майку, Савлу и Кейт. А еще Соланж и Шанталь. Но не Каролине.

Вспоминается, как во время моего последнего визита к Майку и Каролине в Лондон меня однажды накормили вегетарианским обедом: артишоки, за ними овощное рагу, сырное ассорти и выращенные на чистой органике фрукты. Когда дело дошло до декофеинированного кофе,

я вынул коробку с сигарами, закурил "монтекристо" и предложил Майку.

— Прости, что на сей раз это не "коиба", — сказал я, испытующе на него глядя.

Майк прикурил, а Каролина соскользнула со стула и — бочком, бочком — пошла открывать окно.

— Но в тот раз ты, конечно, от души насладился сигарами, правда?

— Спрашиваешь!

В некотором уже раздражении я говорю:

— Что ж, вдарим по коньячку — ты да я да мы с тобой — и попечалуемся о тех временах, когда мы были единой семьей, еще и хищников держали, а твой меньшой братишка, мерзавец мелкий, приторговывал у себя в колледже марихуаной.

— Майк терпеть не может коньяк, — вклинилась Каролина.

— Да ну, чуть-чуть, одну унцию, — взмолился Майк, у которого была манера мерить спиртное крошечной серебряной стопочкой. — Только чтобы составить папе компанию.

— А потом ты проснешься в четыре утра с диким сердцебиением и не сможешь больше уснуть.

Следующим утром, мучаясь похмельем, тихо-тихо на цыпочках крадусь вниз — Майк давно уехал, у него привычка выходить из дому точно в 8.06 (как раз двадцать четыре минуты езды до офиса), — думаю, схвачу сейчас такси, и к "Блуму". И уж наемся — и соленой говядины, и *латкес*, однако не судьба: из засады выскочила Каролина. Она, оказывается, специально не пошла на занятие йогой, чтобы побаловать старого греховодника целебным завтраком: свежевыжатый морковный сок, брокколи на пару́ и только что нарезанный зеленый салат, в котором, как она утверждает, "много железа".

Попав в капкан, я все-таки не сдался — плеснул в морковный сок на два пальца водки. Каролина в ответ наградила меня фирменным своим испепеляющим взглядом.

— Что-то рановато, Барни, — процедила она, оставив невысказанное "даже для вас" висеть в воздухе, который вокруг меня в ее присутствии враждебно сгущался.

— Кой хрен рановато — уже одиннадцать! — огрызнулся я.

Нет, не такой уж я законченный хам. Никогда в разговоре с приличной молодой дамой у меня не проскакивают всякие "хрены". Но мне нравится заставлять Каролину морщиться — пусть лишний раз вспомнит, что со всеми своими голубыми кровями, связями в высших сферах и шибко возвышенным образованием, выйдя замуж, она вляпалась в *мишпуху* евреев-выскочек. Затесалась в шайку неотесанных потомков нищих *фусгееров* – хулиганов и отщепенцев, что выступили из своих *штетлов* и пешим ходом пошли через всю Европу к берегам Атлантики, на ходу распевая:

Гейт, йиделех, ин дер вэйтер вельт;
ин Канада, вет ир фердинен гельт.

Ножками, еврейчики, да в дальние края;
В Канаде будем в золоте и ты, и я.

Вообще-то я просто вредничал. Жлобствовал. Сам знаю. Особенно если учесть, какая Каролина интеллигентная женщина, симпатичная и — насколько я могу об этом судить — верная жена и хорошая мать. Майкла она обожает. На самом деле больше всего она меня раздражает тем, что, уподобляясь многим другим женщинам, знающим мою историю, явно старается со свекром наедине не оставаться: вдруг все эти слухи обо мне — правда! Вот и в то утро я принялся ее поддразнивать:

— Каролина, детка моя, теперь-то, когда мы так хорошо знакомы, почему бы тебе не подойти ко мне попросту да не спросить прямо в лоб: да или нет?

Она резко вскочила из-за стола, сгребла тарелки и встала так, чтобы между нами оказалась кухонная стойка. Принялась стирать с нее воображаемые пятна.

— Ну хорошо, спрашиваю: было?

— Нет.

— Ну и чего мы добились?

— А что же еще-то я могу сказать?

Поздно вечером я услышал, как у Майка с Каролиной из-за меня происходит ссора.

— Неужто он такой глупый и наивный, — говорила она, — что думает, будто словом "хрен" может вогнать меня в краску?

— Давай-ка лучше обсудим это завтра.

— Завтра. Через неделю. Он тиран! — И тут она рассказала мужу о нашей кухонной стычке. — Он сам об этом заговорил. Не я. Сказал, что это неправда, но потом добавил, с этакой еще издевательской ухмылочкой: "А что же еще-то я могу сказать?"

— Истину знает только он.

— Это не ответ.

— Меня тогда на свете не было. Откуда мне знать?

— Или ты просто не хочешь знать? А?

— Давай оставим эту тему, Каролина. Вряд ли сейчас имеет смысл ее муссировать.

— Понять не могу, как твоя мать все эти годы могла с ним уживаться!

— Он не всегда был таким издерганным. Или это страх смерти?.. Давай-ка теперь поспим.

— Тебе не обязательно было курить вчера сигару. Мог бы сказать ему, что ты бросил.

— Ну, мне хотелось раз в жизни его порадовать. Он такой старый и одинокий.

— Ты боишься его!

— Каролина, ты ни в коем случае не должна была отделываться от тех "коибас", не спросясь меня.

— Почему это?

— Потому что это был подарок отца.

— Но я же о тебе думала! С таким трудом ты бросил курить! Я не хотела, чтобы ты подвергался соблазну.

— Все равно...

Черт! Черт! Черт! Прости меня, Майк. Мне стыдно. Вновь я тебя недооценил. Тем не менее я решил оставить это висеть в воздухе. И это тоже для меня типично.

Мне хочется донести до моих близких правду. Пусть знают, что, когда Хьюз-Макнафтон выступил с этим своим дурацким фокусом и стал считать до пяти — якобы Бука возьмет да и войдет сейчас в дверь зала, — я ведь тоже вывернул шею. Подумал: насколько это было бы похоже на моего порочного дружка — в последний миг явиться и спасти меня. Я не убивал Буку и не хоронил его в лесу. Я невиновен. Впрочем, сейчас, когда я сам уже играю эндшпиль, а Бука лет на пять еще и старше, он, может быть, давно на том свете по причинам самым что ни на есть банальным. Но не такова Вторая Мадам Панофски, чтобы в это поверить.

Стоп. Забыл кое о чем рассказать. Моя бочкообразная вторая жена объявилась на похоронах Макайвера — наверное, на меня пришла посмотреть, а несколько позже отозвалась на мое слезливое письмецо в "Газетт" одним словом, которое довела до моего сведения, воспользовавшись услугами курьера: ЛИЦЕМЕР!!! Холм, на котором хоронили Макайвера, она покоряла, ковыляя и опираясь на две палки, при этом дышала с присвистом, а ее туловище укрывал балахон, смахивавший на палатку. Голова у нее была обмотана каким-то тюрбаном, я иногда украдкой на нее поглядывал, но не заметил, чтобы из-под него торчала хоть одна прядь волос. Из этого я заключил, что бедняжка прошла курс химиотерапии, а значит, она тоже запросто может угодить в одну из этих двухметровых ям прежде меня. Тем самым сэкономив мне что-нибудь около тринадцати тысяч семисот пятидесяти долларов в месяц. После суда надо мной дело о нашем разводе получило окончательное разрешение в сенате (Резолюция № 67 от 15 марта 1961 года). Ей присудили алименты в две тысячи в месяц, большие по тем временам деньги, к тому же сумма выплаты должна была с инфляцией возрастать. Плюс дом в Хэмпстеде. Но даже и при этом никогда я не желал этой полоумной образине рака.

Мучимый бессонницей, все еще не отойдя от переживаний на похоронах Макайвера, я подумал, не оживить ли мне мою враждебность к усопшему чтением его мемуаров. Вот: раз! — открываю наугад. Смотрю, открылось на его пленительном описании моей свадьбы со Второй Мадам Панофски:

Монреаль. 29 апреля 1959 года. С тех пор как я вернулся в Монреаль и засел в своем подвальчике на Таппер-стрит, я как-то ухитрялся не сталкиваться с П., хотя слышать о его подвигах приходилось. Естественно, по возвращении в Монреаль он всерьез ударился в торговлю, спекулируя всем, чем только можно — от металлического лома до египетских артефактов, поговаривают, что краденых. Сегодня мне не повезло. Мы чуть не лбами столкнулись под дождем на Шербрук-стрит [Или Стэнли-стрит? (см. "ИЛ", 2007 №9, с. 143). — *Прим. Майкла Панофски*], и П., как всегда лукавя, притворно радуясь приятной встрече, чуть не силком затащил меня в "Ритц" выпить. Ну конечно же в "Ритц" [В "Тур Эйфель", согласно воспоминаниям моего отца (см. с. "ИЛ", 2007 №9 , с. 143). — *Прим. Майкла Панофски*], а coup sûr[1] — ведь надо же поразить меня невиданным скоробогатством. Он хвастал, что сделался теперь телепродюсером, думает и кинопроизводством заняться, но я-то знал, что на самом деле он всего лишь поставщик гнусной телерекламы и учебных фильмов для професси-

1. Куда же еще (*франц.*).

онально-технического образования. Потом, как это за ним водится, достает из-за голенища нож:

— Ах, я так тебе сочувствую, — говорит. — Отзывы на твой первый роман могли бы быть и получше. По-моему, он очень ничего!

Затем он поинтересовался, хватает ли мне на жизнь, и весь истекал эмпатией, при этом бесстыдно, comme d'habitude[1], задавал щекотливые вопросы.

Я объяснил ему, что в поте лица тружусь над новым романом, а живу на грант от недавно организованного Совета по культуре и раз в неделю преподаю писательское мастерство в Веллингтоновском колледже.

Он сказал, что задумал телевизионный сериал о частном сыщике, и имел наглость спросить меня, не хочу ли я попробовать себя в сценарном деле, что вызвало у меня смех.

Осознав, что далековато зашел, П. принялся настаивать, чтобы я пришел на его свадьбу — хотя бы "по старой дружбе". Сказал, что там будет Бука, как будто это для меня могло стать дополнительной приманкой. Первым моим побуждением было решительно отказаться, однако, вспомнив про свой писательский долг непрестанно сыпать зерно на литературную мельницу, я, так и быть, согласился. Как-никак на еврейском бракосочетании прежде мне бывать не приходилось, поэтому я решил пострадать во славу онтологии. Как и предполагалось, недостатка в брашнах и питиях не наблюдалось. Однако, зная, что даже в Париже П. выискивал в еврейском квартале ресторанчики, где подавали *гефилте фиш* и куриный суп с клецками из мацы и разводами жира на поверхности, я был удивлен тем, что набор кулинарных изысков был не столько этнически обусловлен, сколько неописуем вовсе. Как я и предчувствовал, Бербэнка с "Бедекером" в числе гостей не наблюдалось, зато был во множестве представлен тип Блайштейна с сигарой*.

Вот отрывки conversazioni[2], взятые из моей записной книжки:

1. Писатель, говорите? Как интересно. А я вашу фамилию знаю?

2. Как вы находите Шолом-Алейхема? Хотя что я говорю, вы, наверное, не понимаете идиш. Такой выразительный язык!

3. Ох, почитать бы вам письма моей дочки из летнего лагеря! Вы бы так и померли со смеху.

4. И как? Вы сочинили уже какой-нибудь бестселлер?

5. Эх, записать бы историю моей жизни! Вот была бы книга так книга, да все времени нет заняться.

Невесту я застал за столом с десертом, где утроба слепленного из мороженого дракона изрыгала дынные шарики и ягоды. Она подняла свою тарелку немыслимо высоко, а затем гору фруктов на ней увенчала шоколадным эклером. Мне тут же вспомнились строки о том, как "Рахиль МакКой, по папе Рабинович, рвет виноград жестокой пятерней"*. Поэтому меня не очень удивило, что жених казался грустным, непрестанно закладывал за галстук и без конца увивался вокруг привлекательной молодой особы, которая изо всех сил старалась держаться от него подальше. Впоследствии, впрочем, она станет его третьей женой — единственно, говорят, чтобы только не делать аборт. [Я и впрямь появился на свет через

1. По своему обыкновению (*франц.*).
2. Разговоров (*итал.*).

шесть месяцев после свадьбы родителей. — *Прим. Майкла Панофски.*] Но в тот вечер она не попала еще в его тенета и сообщила мне, что ей мой первый роман безоговорочно понравился. "Если бы я знала, что вы сюда придете, — сказала она, — я бы принесла книгу, и вы бы подписали".

Мы перешли на площадку для танцев, где П. (в обнимку со своей суженой, по ходу дела вылизывающей измазанные шоколадом пальцы) умудрился дважды на меня налететь, да еще и локтями пихался. Забавно, но это заставляло меня только тесней прижиматься к партнерше, и — если я правильно толкую язык ее тела — девушке было не так уж неприятно.

11

Прошедший в жестокой борьбе референдум 30 октября 1995 года не посрамил проверенных временем избирательных традиций нашей la belle province. Я следил за процессом по телевизору в "Динксе" вместе со всей нашей тамошней компашкой. Вот уж действительно еле-еле! НЕТ независимости — 50,57%; ДА — 49,43%. Однако не прошло и нескольких дней, как мы узнали, что на самом деле наше поражение было не так уж и близко. Счетная комиссия, вся из назначенцев нашего сепаратистского правительства, оказывается, отвергла что-то около 80 000 бюллетеней — главным образом в округах, где наиболее явными были как раз федералистские настроения. Бюллетени признали испорченными из-за того, что крест на них был то слишком жирный, то слишком блеклый, то кривой, то вылезал за пределы клеточки.

Когда я был в седьмом классе, миссис Огилви как-то раз повернулась к классу своей зажигательной задницей и написала на доске:

КАНАДА ЭТО:
а. диктатура
б. постколониальная слаборазвитая демократия
в. теократия

Из этих ответов не подходит ни один. В действительности Канада — это дурдом, невыносимо богатая страна под управлением идиотов, и ее доморощенные проблемы как в кривом зеркале отражают беды и тяготы окружающего мира, где голод, расовые конфликты и вандалы у власти, к несчастью, не исключение, а правило. Подхваченный этой спасительной мыслью, я унесся домой и только налил себе стаканчик на сон грядущий, как зазвонил телефон. То был Серж Лакруа. Ему срочно понадобилось со мной увидеться. [Боюсь, что к этому моменту дневник моего отца становится недостоверным, даже несколько путаным, и вообще страницы рукописи могли оказаться сложенными в случайном порядке. Референдум происходил 30 октября 1995 года, а события, о которых говорится далее, имели место около года спустя. — *Прим. Майкла Панофски.*] Что-нибудь за полгода до этого, просматривая поставленный Сержем эпизод "Макайвера из Конной полиции Канады", я повернулся к Шанталь и говорю:

— Не верю. Гнать его надо. Сегодня же и уволь его, ладно?

— Сделайте это сами.

Но я трус и поэтому не смог — ну как я его уволю, когда он столько лет у меня проработал! Я продолжал тянуть несмотря на то, что его ра-

бота становилась день ото дня все хуже. Однако теперь, когда он сам напросился прийти в двенадцать дня ко мне в офис и наверняка попросит прибавки, сделать это мне будет проще, и я решил: буду действовать, а Шанталь станет моим свидетелем.

— Садитесь, Серж. Чем могу быть полезен?

— Я сразу, без обиняков. Понимаете, ваш друг доктор Гершкович установил, что после моего приключеньица в парке "Лафонтен" я стал ВИЧ-носителем. А теперь он диагностирует у меня СПИД в полный рост.

— А, черт, Серж! Как я сочувствую!

— Я еще могу работать, но я пойму, если вы пойдете на расторжение контракта со мной.

— Между прочим, — подала голос Шанталь, — как раз вчера Барни просил меня переписать твой контракт. Он хочет урезать твой процент с тиражирования.

— Как — зная то, что с ним случилось? — будто со стороны услышал я свой вопрос. При этом я делал Шанталь страшные глаза и жалел, что не прикусил вовремя язык.

— Да. Почему бы и нет? — сказала она.

— Мне нужен совет, Барни.

Что ж, пошли втроем перекусить в "Хуторок".

— А что Питер? — спросил я.

— Похоже, Питер из числа немногих счастливчиков. Кажется, он невосприимчив. Барни, в Нью-Йорке есть один страховой маклер, который покупает полисы страхования жизни у таких, как я. Я пишу завещание в его пользу, а он мне выдает авансом семьдесят пять процентов суммы, причитающейся в случае смерти. Что вы на это скажете?

— Скажу, что незачем иметь дело с такого рода кровососами. Сообщите мне, сколько вам нужно, и я дам в долг. Шанталь, по-моему, ты как раз это и хотела предложить, а?

— Да.

Когда Серж ушел, Шанталь задержалась, и мы еще выпили.

— Знаете что, Барни? А вы не такой уж плохой человек.

— Да ну, плохой, плохой. Ты обо мне и половины не знаешь. Имя моим грехам легион. Вот я и пытаюсь хотя бы некоторые загладить, пока еще есть время.

— Ну, будь по-вашему.

— Господи, да среди моих знакомых скоро будет мертвых больше, чем живых. Почему вы с Савлом все не женитесь?

— Ну здрасьте! Мне что же — монетку подбрасывать? Кого мне слушать — вы одно говорите, мать другое, и все мне добра хотят.

— Мне не нравится, когда ты ссоришься с Соланж.

— А вы почему на ней не женитесь?

— Потому что на днях вернется Мириам. Вот давай на́ спор! Для пацана, обязанного именем герою комикса, я не такой уж и придурок, как ты считаешь?

— Барни, я все хотела спросить вас одну вещь.

— Не надо.

— Тогда, много лет назад, вы действительно убили того парня?

— Думаю, что нет, но бывают дни, когда я не так уж и уверен. Нет, не убивал. Я бы не смог.

Бывают дни, когда моя память не лучше мутного калейдоскопа, а временами наоборот — действует идеально. Сегодня у меня, кажется, в моторе не троит и в голове не клинит, так что скорей-скорей за стол и пером к бумаге, которой последнее время я избегал и, не ровен час, завтра снова начну от нее шарахаться. Я не лгал о тех последних двух днях [Трех днях. — *Прим. Майкла Панофски*] с Букой, но рассказал не все. На самом деле Бука Великий и Ужасный, когда приехал ко мне "переламываться", уже не был тем другом, которого я чтил. Бесцельно прожитые годы и пропущенные через мозг наркотики — не говоря уже о времени, которое стирает, и лихорадке, которая сушит, — помутили ему разум, исказили его индивидуальность и даже внешний вид. [Парафраз строк "Колыбельной" У. Х. Одена: "Любовь моя, челом уснувшим тронь / Мою предать способную ладонь. / Стирает время, сушит лихорадка / Всю красоту детей, их внешний вид, / И стылая могила говорит, / Насколько детское мгновенье кратко..."[1]. — *Прим. Майкла Панофски.*] Он, например, уже не был щедр на похвалы другим писателям, кроме Макайвера, — конечно, ведь тот когда-то "подавал надежды", — да и того если хвалил, то только в пику мне. И вот еще что. После того как он исчез, в ходе одного из моих рейдов по местам его лёжек и водопоев в Нью-Йорке обнаружилось, что в последнее время на нем прочно утвердилось клеймо человека, который обещал больше, чем делал.

Когда мы подъехали к моему дому в Хэмпстеде, чтобы ему очередной раз ширнуться, он сказал:

— Ого, да ты, видать, разбогател!

— Бука, не смеши меня. Я в долгу как в шелку. Не надо было мне соваться в телепродюсерство. Если бы не реклама и производственные фильмы-пособия (а их делать так или иначе приходится), я бы давно уже всплыл брюхом вверх.

Буку очень позабавил наш разноуровневый дом и страсть Второй Мадам Панофски к его обустройству. Огромное зеркало в золотой чешуйчатой оправе. Сборище фарфоровых кошек на каминной доске. Чайный сервиз чистого серебра и графин для виски из горного хрусталя на буфете.

— Тут кое-чего не хватает, — сощурился он.

— Чего?

— Целлофановых чехлов на абажурах.

Неожиданно для самого себя я грудью встал на защиту Второй Мадам Панофски.

— Можешь насмехаться как угодно, а мне вот нравится, что она тут нагородила, — соврал я.

Бука неспешно подошел к книжному шкафу, взял Кларину книжку "Стихи мегеры", наметанным глазом сразу вычленил две строки со сбоями размера и с неподобающим удовольствием громко их прочитал.

— Тут как-то тетка одна брала у меня интервью. Из журнала "Лайф". "Какой была Клара в период ее творческого взлета?" — спрашивает. Какой-какой — сумасшедшей, отвечаю. Маниакальной клептоманкой. Всеобщей подстилкой. "Какой ваш любимый или самый подходящий к слу-

1. Перевод П. Грушко.

чаю анекдот о Кларе Чернофски?" Всё, уходите. Fiche le camp. Va te faire cuire un oeuf[1]. "Когда вы решили общение сделать родом занятий?" Ну ни хрена себе! "Вас угнетает то, что вы не так знамениты, как Клара?" Да уходи же ты! "При всем моем уважении к вам я думаю, вы страдаете от низкой самооценки". Ну елы-палы! А все же я так и не понял, зачем ты на Кларе женился?

— А ты-то почему не женился?

— А — нет?

— А — да?

— Сними галстук и обвяжи им мне руку.

Прежде чем удалось засунуть иглу в вену, два раза он облился кровью, попадая не туда, куда надо, потом по дороге на озеро дремал, стонал, бормотал какие-то нечленораздельные жалобы — видимо, его мучили невыносимые кошмары. За столом во время обеда снова умудрился заснуть, и я уложил его в постель. На следующее утро я уехал в Монреаль, там слишком много выпил и, когда вернулся еще днем позже, но зато раньше, чем меня ждали, нашел Великого и Ужасного в кровати со Второй Мадам Панофски.

— Это твоя вина, — борясь с безостановочным хихиканьем, простонал Бука. — Выезжая из города, ты должен был позвонить.

Взбешенная до истерики жена, сидя за рулем "бьюика", орала:

— Тоже мне, друг называется! И что ты теперь собираешься с ним делать?

— С ним? Что делать, что делать... Убить его, вот что делать, а потом, может быть, и до тебя с твоей мамочкой доберусь!

— Fuck you! — взвизгнула она, вдарила по газам и рванула вперед так, что из-под задних колес брызнул гравий. Ну, а мы с Букой вдарили по "макаллану".

— Тебе бы надо зубы повышибать, Бука, — сказал я, но тоном скорее игривым.

— Только сперва я должен искупаться. А! Еще она меня про Клару все пытала. Ты знаешь, как я сейчас вспоминаю, мне кажется, я был для нее не более чем удобным таким deus ex machina. Хотела рассчитаться с тобой за ту женщину, что у тебя в Торонто.

— Минуточку, — сказал я. Сбегал в спальню и вернулся со старым отцовским табельным револьвером, который положил на стол между нами. — Что, испугался? — спрашиваю.

— Да подожди ты с этим, дай сперва поплаваю с-маской-с-трубкой.

— Бука, ты можешь мне оказать одну услугу?

— Например?

— Я хочу, чтобы ты согласился быть соответчиком на моем бракоразводном процессе. Всего-то и надо, чтобы ты подтвердил, что я пришел домой к возлюбленной жене и обнаружил тебя с ней в постели.

— А, так ты это специально, негодяй, подстроил!

— Да нет же, нет. Честно.

— Использовал меня как наживку!

— Неправда. Но, может быть, пришло время и тебе ради меня раз в жизни выложиться.

— Это как понимать?

1. Убирайтесь. Здесь вам не выгорит (*франц.*).

— Да как! Сколько раз я тебя за эти годы выкупал из долговой ямы!

— А-а.

— Вот тебе и а-а.

— То есть ты наперед купил меня с потрохами?

— Черт!

— А что, если я брал у тебя деньги, потому что больше ты все равно ничего дать не способен?

Эта его фраза повисла в воздухе и долго там трепыхалась, пока я не ответил каким-то не своим голосом:

— Между прочим, мне ведь для тебя, Бука, в долги влезать приходилось.

— О, это уже становится интересно!

— Ладно, in vino veritas[1].

— Только не говори мне, что тебя в твоей дворовой школе учили латыни.

— Вот те на! Это уже удар ниже пояса.

— Нет. Скорее ты у нас что-то распоясался. Ты старый друг или ты — блин — бухгалтер?

— Считай как тебе нравится. Но раз уж пошел такой разговор, скажи-ка ты мне, куда девался тот твой роман, которого так ждет литературный мир?

— Это ты спрашиваешь как друг или как инвестор?

— И так, и этак.

— Я над ним в поте лица работаю.

— Бука, а ведь ты мошенник.

— Что, подвел тебя?

— Когда-то ты был писателем, и чертовски хорошим, а стал обычным наркоманом с претензиями.

— Ага, не оправдал твоих надежд. Мне было положено удивить мир, чтобы ты мог потом хвастать: "Если бы не моя помощь..."

— Слушай, ты жалок.

— Э, нет. Я скажу тебе, кто жалок. Жалок тот, кто настолько пуст, что ему нужны чьи-то чужие достижения, чтобы оправдать собственную жизнь.

Я все еще барахтался, сраженный этим ударом, а он улыбнулся и говорит:

— Что ж, если ты не против, пойду купнусь.

— Хотелось бы знать, почему, взяв в руки чью-нибудь книгу — чью угодно, — ты теперь не можешь ее не высмеять?

— Потому что именно теперь и печатают, и хвалят зачуханную дребедень. А я не опускаю планку, в отличие...

— Ты хотел почитать настоящего писателя? Вот, взгляни, — сказал я и бросил ему книжку Сола Беллоу "Гендерсон, король дождя".

— Когда-то Лео Бишински все понять не мог: "И как ты, — говорит, — терпишь этого незнайку из Монреаля?"

— На что ты, конечно же, отвечал, что терпишь, потому что мы друзья.

— Да господи боже ты мой, я же вел тебя, учил всему на свете! Совал тебе в руки нужные книги. И вот во что ты превратился. Телевизионный проныра. Женатый на вульгарной дочке богатенького папы.

1. Истина в вине (*лат.*).

— Ну не такой уж и вульгарной, раз ты ее только что оприходовал.

— Ну оприходовал, и — если уж говорить о твоих женах — не только ее. Клара, говорю, ну что ты в нем нашла? Как, говорит, что? Кормильца! Вот тут с ней не поспоришь. Но то, что она так рано умерла, для ее карьеры был просто ход конем!

— Бука, может, мне все-таки дать тебе по мозгам? Сколько в тебе дерьма накопилось!

— Зато я правдив! — сказал он.

Я не мог больше это выдерживать. Пребывал в полном ужасе. Ну и, как есть я безнадежный трус, ухватился за юмор. Сгреб револьвер и наставил на него.

— Ты будешь моим свидетелем или нет? — рявкнул я грозно.

— Об этом я подумаю в тимении глубин, — сказал он, встал и, шатаясь, побрел туда, где лежали мои ласты-масты.

— Ты так напился, куда тебе плавать, балбес чертов!

— А давай вместе.

Вот тут я над его головой и бабахнул. Но лишь в последнюю секунду поднял руку с револьвером выше цели. Так что, если я и не стал убийцей по факту, то по намерению — точно.

13

— Что случилось? — спросила Шанталь.

— Не могу вспомнить, где оставил машину. И не надо на меня так смотреть. Это с кем угодно может случиться.

— Пойдемте, — сказала она.

На Маунтен-стрит ее не оказалось. То есть, извините, на рю де ла Монтань. На Бишоп тоже.

— Кто-то ее угнал, — сказал я. — Не иначе какой-нибудь из обожаемых твоей матерью сепаратистов.

Пошли по Мезонёв (бывшему Дорчестерскому бульвару). [На самом деле бульвар до 1966 года назывался Бернсайдовским. — *Прим. Майкла Панофски.*] Вдруг она показывает и вопрошает:

— А это что такое?

— Если проболтаешься Соланж, будешь уволена.

В субботу я собирался днем поспать, уже совсем задремал было, вдруг звонит Соланж. Вопрос на засыпку:

— В котором часу мы вечером встречаемся?

— Мы? А зачем?

— Так ведь игра.

— А, да ну! Я, пожалуй, не поеду сегодня.

— Как, *пропустишь хоккей?*

— Знаешь, что я тебе скажу? Хватит с меня хоккея. Да и устал я что-то.

— Но это, может быть, последний раз, когда играет Грецки!

— Да ну, делов-то.

— Ушам своим не верю.

— Хочешь, отдам билеты? Сходите с Шанталь.

Через десять дней, если верить Шанталь, я надиктовал ей одно и то же письмо в третий раз за неделю. Выходя из кабинета, я, говорят, машинально вынул из кармана ключ, но не мог понять, зачем он нужен.

– На что это вы уставились? – спрашивает Шанталь.

– Ни на что.

– А что это у вас в руке?

– Ничего.

– Барни!

Я показал.

– А теперь скажите мне, что это такое.

– Да знаю я, знаю, черт побери! Почему ты спрашиваешь?

– Нет, вы скажите!

– Пожалуй, я бы присел куда-нибудь...

А уже следующее, что я помню, – это как возвращаюсь я из "Динкса" вечером домой, открываю дверь в квартиру, смотрю, а там меня караулят Соланж и Морти Гершкович. Черт! Черт! Черт!

– Я понимаю, Морти, времена нынче трудные, но только не говори мне, что вы теперь так и рветесь посещать пациентов на дому!

– Соланж подозревает у тебя переутомление.

– А у кого его нет – в нашем-то возрасте!

– Или это просто опухоль в мозгу. Надо сделать сканирование и магнитный резонанс.

– Да хрена с два. И не буду я больше ни транквилизаторов твоих пить, ни антидепрессантов. Я еще помню времена, когда врачи были врачами, а не работали дилерами за проценты от фармацевтических компаний.

– Да зачем же мне прописывать тебе антидепрессанты?

– Сейчас я хочу налить себе рюмочку. И вы оба присоединяйтесь – выпейте на дорожку.

– Ты ощущаешь депрессию?

– Конечно: Шанталь отобрала у меня ключи от машины и не отдает.

– Приходи завтра с утра ко мне в кабинет. Прямо в девять и приходи.

– Еще не хватало!

– Мы придем, – заверила его Соланж.

Морти оказался не один. В кабинете был еще кто-то. Толстый такой, назвался доктором Джефри Синглтоном.

– Вы кто – мозгоправ? – спросил я.

– Да.

– Тогда я вот что вам скажу. Я не имею дела с шаманами, экстрасенсами и психиатрами. Шекспир, Толстой, да даже хотя бы Диккенс знали о человеке больше, чем любому из вас может в страшном сне привидеться. А вы все – шайка шарлатанов, вам платят дикие деньги, а что вы знаете? – самые азы людских проблем, тогда как писатели, которых я упомянул, знают суть. Плевать мне на все ваши стандарты и шаблоны, которыми вы пытаетесь мерить человека. А как легко вас покупают, делая свидетелями в суде! Один работает на защиту, другой на обвинение – называется "эксперты сторон", – и оба кладут в карман изрядные гонорары. Эти ваши интеллектуальные игры приносят людям больше вреда, чем пользы. А из того, что последнее время пишут, я понял, что от увещеваний на кушетке вы, подобно моему приятелю Морти, к тому же съехали на химию. Вот это два раза в день от паранойи. А это пососи перед едой от шизофрении. А вот у меня, например, от всех болез-

ней — первачок и табачок. Чего и вам желаю. За консультацию с вас двести долларов.

— Нам надо бы провести кое-какой анализ.

— Не выйдет: перед приходом сюда я попи́сал.

— Нет, вы не поняли, это скорее тест. Он много времени не займет. Воспринимайте его как игру.

— Что за снисходительный тон!

— Барни, ну хватит уже.

— Это точно ненадолго?

— Точно.

— Ну хорошо, ладно. Давайте.

— Какой сегодня день недели?

— Я ж говорил, что это будет чушь какая-то. Черт! Черт! Черт! День, который перед вторником.

— Так какой же?

— Сперва вы.

Однако сбить его не удалось.

— Так. Сейчас... Суббота, воскресенье... Понедельник.

— А какое число?

— Слушайте, вы не на то дерево лаете. Я никогда не мог запомнить ни номер моей машины, ни номер карточки соцстраха, а когда выписываю чек, всегда прошу кого-нибудь подсказать дату.

— А какой сейчас месяц?

— Апрель. О! Попал. Какой я молодец!

— Время года?

— Ну, ребята, иду на золотую медаль. Апрель — стало быть лето.

По щекам Соланж заструились слезы.

— Что с тобой? — удивился я.

— Ничего.

— Какой нынче год?

— По календарю моего народа или согласно христианскому летоисмельчению? В смысле исчислению.

— От Рождества Христова.

— Тысяча девятьсот девяносто шестой.

— А где мы?

— Детская игра. Мы в кабинете доктора Гершковича.

— На каком этаже?

— В нашей семье сыщиком был мой отец, а не я. Мы ехали в лифте. Соланж нажала кнопку, и готово дело. Что дальше?

— В каком мы городе?

— В Монреале.

— В какой провинции?

— Так, сейчас будет потеха. Мы живем в благословенной провинции, которая затиснулась между Альбертой [Онтарио. — *Прим. Майкла Панофски*] и еще одной такой же на континенте Северная Америка, Земной шар, Вселенная, как я писал в четвертом классе на коричневой бумажной обложке такой тетрадки — как она называлась-то? — где записывают задания на дом.

— А в какой мы стране?

– В Канаде пока что. Это Соланж у нас *сепаратриска*. Извините, не выговорил. Она у нас "за". То есть чтобы Квебек был отдельно. Так что нам надо следить за собой – вдруг что-нибудь не то с языка сорвется!

– Повторяйте за мной следующие слова. Лим...

– Боже ты мой: она сепара-*тистка*! Утро для меня не лучшее время.

– Лимон, ключ, шарик.

– Лимон, ключ, шарик.

– А сейчас я хочу, чтобы вы начали с цифры сто и считали в сторону уменьшения, вычитая по семь.

– Слушайте, до сих пор я был очень терпелив, но это уже чересчур. Не буду я этого делать. Я могу. Но не буду, – сказал я, закуривая "монтекристо". – Ха! Скусил тот конец, что и требуется. За это мне дополнительные баллы дадут?

– Будьте так добры, прочтите, пожалуйста, слово "охват" по буквам задом наперед.

– Вы в детстве читали про Дика Трейси?

– Да.

– Помните, когда он сделался тайным агентом, он называл себя "кищыс". Это "сыщик" наоборот.

– Так ка́к насчет слова "охват" наоборот?

– "Т", "в", "а" и так далее. О'кей?

– Припомните, пожалуйста, те три слова, которые я просил вас повторить чуть раньше?

– А можно я спрошу?

– Да.

– Вы бы не нервничали во время такого теста?

– Нервничал бы.

– Апельсин там был. Ну, одно из тех ваших слов. Я вам и другие два скажу, если вы мне назовете Семерых Гномов.

– Что у меня в руке?

– Да как ее, был-ля! Не шариковая ручка, а эта, хрен ее разбери – а вы знаете, куда макароны откидывают? В дуршлаг! Во как!

– Что у меня надето на руке?

– Да этот, по которому время смотрят. Будильник!

– Извините, – пискнула Соланж и убежала в приемную.

– А теперь возьмите, пожалуйста, эту газету в правую руку, сложите пополам и опустите на пол.

– Нет уж. Хватит. Вы мне вот что скажите. Как я с этим вашим детским тестом справился?

– Ваша мама была бы довольна.

– То есть вы не станете надевать на меня смирительную рубашку?

– Нет. Но я бы посоветовал вам показаться невропатологу. Следует кое-что уточнить.

– Насчет работы мозга?

– Надо действовать методом исключения. Возможно, вы страдаете не только переутомлением. И это может быть не просто безобидная забывчивость, нередкая в вашем возрасте.

– Что, может быть опухоль мозга?

– Не стоит сейчас делать скоропалительные заключения. Вы живете один, мистер Панофски?

– Да. А что?

– Просто спрашиваю.

На следующий день я обманом проник в библиотеку Макгиллского университета и глянул в энциклопедию:

Когда Альцгеймер в 1907 году описывал болезнь, которая теперь названа его именем, он расценивал ее как атипичную форму тотальной деменции... с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами... Повторяемость болезни внутри одного рода в различных случаях может свидетельствовать как о доминантной, так и о рецессивной форме наследственности... Болезнь Альцгеймера морфологически неотличима от старческого слабоумия; ...Сьорген и др. (1952) указывают на то, что в роду, где имелись случаи болезни Альцгеймера, частота старческого слабоумия выше статистически ожидаемой...

О господи! Кейт. Савл. Майкл. За что мне это, Мириам?

Патология

В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах старческого слабоумия. При коронарном микротомировании видна однородная атрофия извилин, расширение борозд, уменьшение массы белого вещества и вентрикулярные вздутия.

А что, может быть, может быть...

Клинические проявления

Первое проявление – легкая потеря памяти. Домохозяйка забывает, куда положила шитье, у нее подгорают котлеты, в магазине она забывает сделать одну-две покупки. Работник умственного труда забывает о назначенных встречах или застывает в смущении посередине лекции, силясь подобрать нужное слово. Болезнь прогрессирует медленно и ощутимее может не проявляться год или больше...

– Морти, это я. Извини, что домой звоню. У тебя есть минутка?

– Конечно. Телевизор только прикручу...

– Это Альцгеймер, да?

– Мы пока не уверены.

– Морти, мы знаем друг друга тыщу лет. Не пудри мне мозги.

– Ну ладно. Есть такая вероятность. Дело в том, что твоя мать умерла от...

– Да хрен с ней, с матерью. У нее и смолоду шариков не хватало. Что с детьми-то будет?

– Да может так, а может этак. Честно.

– Но все же лучше бы им не иметь в роду подобной дряни. Черт! Черт! Черт! Савл как прочтет в газете про какую-нибудь болезнь, тут же ее у себя и находит.

– Ну, мы ведь назначили на завтрашнее утро и компьютерное сканирование, и магнитный резонанс. Я заеду в восемь, захвачу тебя.

– Мне надо улаживать дела, Морти. Сколько мне осталось?

– Если это Альцгеймер, а тут у нас еще большой вопрос – провалы памяти могут и пропадать, и появляться. Я бы сказал, год у тебя еще есть, пока...

– Пока не начну пускать слюни?

– Давай не будем заранее ничего утверждать, скоро узнаем точно. Слушай, я сегодня вечером свободен. Хочешь, зайду к тебе?

– Нет. Но все равно спасибо.

14

Я упоминал уже о "Марголисе", но существует и другой, еще более страшноватенький Букин рассказик, который я прочитал в тюрьме. Написанный в Париже в начале пятидесятых, он вышел в свет в "Нью американ ревью" через несколько месяцев после Букиного исчезновения и называется "Зелигман". Как все свои рассказы, Бука много раз его переписывал, чистил, правил, пока не получился концентрат объемом меньше десятка машинописных страничек. Там излагается история компании процветающих нью-йоркских адвокатов (один из них и есть этот Гарольд Зелигман). Приятели, дабы развеять скуку размеренной жизни, устраивают друг другу розыгрыши, которые становятся все злее. В этой игре есть одно правило. Чтобы выходка была одобрена, она должна точно поражать какой-либо изъян характера жертвы – в случае с Зелигманом, например, то, что он под каблуком у жены, а та сама не своя насчет гульнуть. Однажды утром еще один их приятель Борис Френкель, адвокат по уголовным делам, шутки ради заманивает Зелигмана на полицейское опознание, где ставит рядом с теми, кого предъявляют потерпевшей в деле об ограблении и попытке изнасилования. К удивлению всей компании, наблюдающей сквозь стекло, которое изнутри замаскировано под зеркало, потерпевшая, все еще не вполне пришедшая в себя, опознает в Зелигмане нападавшего на нее преступника. Приятели-адвокаты пугаются, не слишком ли далеко на сей раз зашла шутка, но Зелигман спокоен. У него железное алиби: в тот вечер, когда было совершено преступление, он вместе с женой ужинал дома с Борисом. Однако Борис, глянув в свой настольный календарь, отрицает, что ходил к ним в гости, да и жена Зелигмана утверждает, что у них дома в тот вечер никакого званого ужина не было. После чего Борис и жена Зелигмана, у которых роман в разгаре, сбегают в мотель, где срывают друг с друга одежды и предаются давно вожделенным ласкам.

Перечитав сегодня утром этот рассказ и вспомнив любовь Буки Ужасного ко всякого рода жестоким проделкам, я долго думал, но... – нет, не нашел я в себе былой веры в то, что он и впрямь мог после нашей ссоры настолько разозлиться, чтобы из мести так меня подставить. И все же... все же... Вновь обратившись к дневнику Макайвера, в его записях за 22 сентября 1951 года читаю:

...Как-то раз я на ходу обмолвился:

– Бука, – говорю, – я смотрю, ты себе нового друга завел?

– Каждый Робинзон имеет право на собственного Пятницу, не правда ли?

Нет. Бука не говорил этого, — решил я, отправляясь на одну из бесцельных утренних прогулок. Это злобная выдумка, типичная для *фербрехера* Терри. Мы с Букой так тепло друг к другу относились! Я не был его лакеем. Мы были соратники, братья, сражались вместе против всего мира, что называется, спина к спине у мачты. Не может быть, чтобы я в этом ошибался. Чтобы Бука, даже в том одурманенном наркотиками виде, в котором он приехал ко мне на озеро, этот истинный талант, пусть загубленный, пусть растраченный невосполнимо, сбежал бы, исчез навсегда, только чтобы отомстить мне, — нет, это невозможно! Да ведь и в саморазрушении его виноваты скорее мы: молодые и глупые, мы льстили ему, курили ему фимиам как единственному из всей компании, кому суждено стать великим. Помогали ему сломаться и те издатели, что обхаживали его в Нью-Йорке, соблазняли чрезмерно щедрыми авансами, требуя от него роман, тогда как он-то знал, что написать крупную вещь никогда уже не сможет. Вот и решение загадки. Бука бежал от непосильной ноши возлагавшихся на него надежд, ушел в подполье, стал другим человеком, как тот Марголис. "Мир, мир, смятенный дух!"* Я простил тебя.

Я бродил, наверное, час, может, дольше и так ушел в себя, что не заметил, как забрел в неведомые места. Долго не мог понять, где я, пока не сориентировался по автовокзалу. Подошел. И — господи ты боже мой, кого я там увидел! Владычицу моих исчезнувших поллюций, миссис Огилви, чей кустик на лобке когда-то сверкал для меня жемчужными капельками. Прикинул — да, совпадает, ей лет восемьдесят. Узловатыми пальцами вцепилась в поручень своего ходунка, к которому дерзко прицеплен британский флаг. Сгорбленная. Высохшая. Глаза навыкате. Стоит среди других таких же, скандируя:

Раз и два, и два, и три,
Мы зачем сюда пришли?
Въезд для коляски!
Въезд для коляски!

Их там собралось что-нибудь человек тридцать пять, может, больше, почти все в инвалидных колясках. Словно ожившая картина Иеронима Босха. Или сцена из фильма Феллини. Кто без одной, кто без двух ног. Пережившие инсульт и полиомиелит с ногами бессильными и тонкими, как ручки грабель. Жертвы болезни Паркинсона и рассеянного склероза с дергающимися головами, со струйками слюны на подбородках. Я сбежал, подозвал такси.

— Куда, мистер?
— Отвезите меня... э... э...
— Ну, отвезу, понятное дело. Работа у меня такая. Но куда?
— ...прямо.
— Может, в больницу?
— *Нет.*
— А куда?
— ...в центр.
— Хорошо.
— ...это улица, следующая после... ну, сами знаете... мне надо...
— Ну? Ну?

— ...сразу, которая после гостиницы...

— Какой гостиницы?

— Ну той!

— Так. Везу вас в больницу.

— *Нет*... Знаете, где книжный магазин на углу?

— Если вы собираетесь блевать, то, ради Христа, не здесь. Скажите мне, и я встану к поребрику.

— Я не собираюсь блевать.

— Ну, и то слава богу. Все же есть у тучки светлая подкладка!

— ...а там еще рядом место, куда приходят выпить, понимаете?

— Типа — бар, что ли?

— Конечно. Бар. Я ведь не совсем идиот, знаете ли.

— Сегодня мне должно повезти, — сказал водитель, прижимаясь к обочине. — У вас наверняка есть бумажник, а там наверняка карточка с вашим домашним адресом. И я вас туда отвезу.

— Я знаю, где я живу.

— Тогда скажите мне. И я никому ни звука.

— ...я смогу дойти, там будет уже близко, если вы высадите меня на той улице, где в названии святой. Сен... сен... как же ее...

— У! Это хрен угадаешь. В Монреале половина улиц такие.

— ...Катрин! Сен-Катрин! И на углу, пожалуйста.

— *На котором углу?*

Черт! Черт! Черт!

— ...на том углу, что сразу после религиозной улицы...

— Религиозной улицы?

— Вот не рабби, не мулла... Католик.

— Кардинал?

— Епископ!

— А! Ну вы забавник! Вам надо угол Сен-Катрин и Кресент! Верно?

— Верно. Я иду в "Динкс".

Там Хьюз-Макнафтон уже ждал меня.

— Что с тобой, Барни?

— Барни, Барни. Сам знаю, что Барни. Не забыл еще свое имя.

— Да знаешь, конечно. Бетти, принеси ему кофе.

— Нет, виски!

— Это — обязательно. Но сначала кофе.

Сперва я подождал, когда моя рука перестанет дрожать; только потом стал пить кофе. Хьюз-Макнафтон поднес огонь к моей сигаре.

— Ну, тебе получше?

— Слушай, надо, чтобы ты выправил бумаги: хочу передать весь ворох моих пожитков по доверенности детям.

— Для этого тебе не нужен адвокат, это сделает простой нотариус. А что за спешка?

— Не важно.

— Слушай, расскажу тебе одну историю — она отчасти оправдает меня в роли advocatus diaboli. Я был тогда молодым, неопытным юристом, еще не разуверившимся в людях, и вот завелся у меня клиент, симпатичный такой старый еврей (пошив и торговля всякими *шматас*), который решил переписать свой процветающий бизнес на двух сыновей — ты понял: чтобы при вступлении в наследство пошлину не платить. Ну, сделал я это грязное дело. Выпили вместе шампанского — старик, два его сына и я. Когда

следующим утром старикан пришел к себе на фабрику и сунулся в кабинет, там уже сидят два его сына. Говорят: всё, больше ты сюда не приходи. Взяли и выперли. Так что с подобными делами будь осторожен, Барни.

— Все это очень забавно, но мои дети не такие.

В том моем состоянии больше одной рюмки в меня не влезло. Все еще в растрепанных чувствах пошел домой пешком, беспокоясь о том, когда может бабахнуть следующий провал памяти, и думая о множестве незавершенных дел. Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце! Дети мои, дети! Майк даже понятия не имеет, как сильно я его люблю. А этот брак Кейт! — надолго ли? И что будет с Савлом?

Когда Савлу было лет восемь или девять, не больше, я, бывало, гонял его наверх, в мою комнату принести свитер или сценарий. Двадцать минут — его нет, полчаса... а я-то знаю: он проходил мимо книжного шкафа, вынул книгу и валяется теперь где-нибудь на животе, читает. Когда Савл с головой был погружен в "Историю английских королей", однажды вечером он за ужином всех ошарашил. Жалуется: "Если бы папа был королем, то после его смерти Майк унаследовал бы трон и стал править империей, а мне бы только титул достался — герцога такого-эдакого!"

В возрасте всего десяти лет мой младший сын уже ухватил суть: мир, который ему достанется в наследство, несправедлив.

Ой-ёй-ёй, если бы я был ангелом Божьим, я бы пометил двери каждого из моих детей крестиком, чтобы мор и всякие там казни их миновали. Увы, не та квалификация. А когда мир был мой, когда у меня было время, я занимался ерундой. Сердился, ворчал. Поучал. И все запутал.

Черт! Черт! Черт!

После смерти жены Сэм Джонсон написал мистеру Томасу Уортону: "С той поры я самому себе кажусь оторванным от человечества; будто одинокий бродяга блуждаю в дебрях жизни — без цели, без твердой точки зрения; угрюмый наблюдатель мира, с которым едва ли чем-то связан".

Но моя жена не мертва, ее просто нет со мной. Она временно отсутствует. А мне нужно поговорить с ней. Она недалеко. Онтарио, Онтарио, а какой же город? Нет, не Оттава. В том городе есть гриль-бар "Принц Артур", помните? Вот и я помню. Я еще не совсем ку-ку. Помню даже, куда откидывают спагетти. В такую штуку, которая висит у меня на стенке кухонного шкафа. А еще есть Семь Гномов, но кому, к черту, нужны их имена? Лилиан Крафт не писала "Человека в рубашке от 'Брукс Бразерс'". Или *в костюме.* Да какая разница? То была Мэри Маккарти. Я взял трубку, стал набирать номер... остановился... и злобно заорал. Не могу вспомнить номер Мириам!

Послесловие Майкла Панофски

1

24 сентября 1996 года в 10.28 утра землемер и двое лесорубов с бумажной фабрики "Драммондвиль палп энд пейпер" на поляне вблизи

вершины горы Монгру наткнулись на разбросанные человеческие останки, как то: череп, фрагменты позвоночного столба, тазовые кости, бедренная кость, ребра (изломанные) и берцовые кости (также с повреждениями). Вызвали полицию, кости собрали и доставили судмедэксперту в больницу Нотр-Дам в Монреале. Доктор Роже Жиру заключил, что они принадлежат скелету человека европеоидного типа тридцати с чем-нибудь лет, который умер от неизвестной причины лет тридцать-сорок тому назад. Он предположил, что сломанные ребра, разрозненность частей позвоночника и повреждения берцовых костей связаны с тем, что неизвестный мужчина был жестоко избит тупым орудием или упал со значительной высоты. Но гораздо более вероятно, как он отметил, обратив внимание на следы зубов, что скелет просто погрызен койотами или другими животными, пытавшимися добраться до костного мозга. Статья об этом, напечатанная в "Газетт", привлекла внимание отставного следователя Шона О'Хирна. По его настоянию открыли старое дело, и из Нью-Йорка прилетел вызванный для осмотра черепа дантист. Сразу подтвердилось, что эти останки принадлежат Бернарду Московичу, исчезнувшему в этих местах 7 июня 1960 года. Интервью с радостным О'Хирном напечатали "Газетт" и "Пресс", кроме того, он появлялся в нескольких телешоу (так же, как и вторая жена моего отца, которая каждый раз держала на коленях фотографию мистера Московича в рамочке). "Он клялся мне в вечной любви", — утверждала она. Отчет о суде над моим отцом в Сен-Жероме печатали под заголовками вроде НЕУЖТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ? и ВОПИЮЩИЕ КОСТИ. Защитник моего отца на процессе адвокат Джон Хьюз-Макнафтон, которого отыскали в "Динксе" (это бар на Кресент-стрит в Монреале) от одного репортера просто отмахнулся, сказав "Credo quia impossibile"[1], а второму, который пристал к нему с возобновленными обвинениями, бросил лишь: "Argumentum ex silentio"[2], после чего послал его подальше. Предприимчивый фотограф из таблоида "Алло, полиция!" ухитрился проникнуть в дом престарелых имени Царя Давида и сфотографировал моего отца в момент, когда Соланж кормит его с ложечки жареной говяжьей грудинкой. Я прилетел из Лондона, Кейт — из Торонто, а Савла привезла из Нью-Йорка на машине девица по имени Линда. Все мы встретились в коттедже у озера в Лаврентийских горах, где когда-то жили такой счастливой семьей. Трудно было заставить себя смириться с открытием, что отец лгал и все-таки был убийцей. Кейт, естественно, оспаривала неоспоримое.

— Бука был пьян, мог забрести туда, упасть, сломать обе ноги и умереть с голода. Как смеете вы оба так быстро соглашаться с обвинениями в папин адрес, когда сам он ни на что уже ответить не может, даже имени своего не помнит.

— Кейт, ты не одна здесь, кого все это расстраивает. Будь благоразумнее, пожалуйста.

— Ах, конечно, благоразумнее! Папа был маньяк-убийца! Ему это запросто, правда? Застрелил Буку, втащил на вершину горы и переломал ему ноги лопатой.

— Я же не говорю, что это было именно...

1. "Верю, потому что невозможно" (*лат.*).
2. "Довод, почерпнутый из умолчания" (*лат.*).

— И ведь не было даже намека на попытку зарыть его. Ты что думаешь, папа бросил бы его на съедение зверям?

— А если у него времени не было?

— За все эти годы?

— Останки обнаружили невдалеке от того места, где у папы был шалаш, о котором он однажды нам рассказывал. Поблизости нашли осколок стекла. От бутылки из-под виски!

— Ну и что?

— Кейт, мы знаем, каково тебе, но...

— Они оба были пьяны. Он мог убить его случайно. Считай так, если хочешь.

— Папа для нас ничего не жалел, и мы просто обязаны всякое сомнение толковать в его пользу. Так что вы можете верить чему угодно, а я лично хоть до ста лет доживу, а все буду считать его невиновным. Между прочим, вы не забыли? Он ведь до конца не расставался с мыслью, что Бука где-нибудь живет себе спокойненько и однажды объявится.

— Вот и объявился. Или нет?

Еще мы там в коттедже решали вопрос, что делать с неоконченной рукописью, которую каждый из нас прочитал; кроме того, нам хотелось насладиться в последний раз воспоминаниями детства, да и закрыть дом, уже выставленный на продажу. Обстоятельства, впрочем, не очень-то этому способствовали. Агент по недвижимости сказал: "На следующий день после референдума мне позвонили сорок два человека, желающих продать собственность в здешних местах, а вот предложений купить пока нет ни одного".

С тех пор как мы узнали, что у отца болезнь Альцгеймера, это был не первый наш семейный съезд и не второй. Всякий раз Савл заводил одну и ту же песню: дескать, у бабушки было то же самое, значит, мы все в группе риска.

Для начала, поучал всех Савл, нам не следует пользоваться подмышечными дезодорантами на основе цинка и готовить в алюминиевых кастрюлях, которые тоже под подозрением. Он выписывал и "Ланцет", и "Медицинский журнал Новой Англии" и так на этом поприще продвинулся, что прочитал нам лекцию о пользе курения — оказывается, никотин недавно признали стимулятором мозга, и курильщикам наша семейная болезнь угрожает меньше.

— Ну да, потому что они умирают раньше от рака легких, — отозвалась на это Кейт. — Так что сейчас же гаси сигару!

— Точка?

— Точка, — сказала Кейт и зарыдала.

Диагноз "болезнь Альцгеймера" нам подтвердили четыре месяца назад на совещании в офисе "Артели напрасный труд" 18 апреля 1996 года. Присутствовали доктор Гершкович, два приглашенных им специалиста, Соланж и Шанталь Рено и, конечно же, Кейт, Савл и я. Савл сразу после этого сел в поезд и поехал в Торонто известить Мириам. Узнав такую новость, она расплакалась и, едва совладав с голосом, тут же стала звонить Барни, проситься приехать.

— Не думаю, что смогу с этим справиться.

— Пожалуйста, Барни!

— Нет.

Однако он начал каждое утро бриться, урезал себя в потреблении алкоголя и табака и стремглав кидался на каждый звонок в дверь или по телефону. Соланж перезвонила Мириам.

– Приезжайте как только сможете, – сказала она.

– Но ведь он отказал мне.

– Он даже на краткую прогулку выходить не хочет – вдруг вы приедете, а его нет.

Мириам приехала следующим утром, и они вдвоем отправились на ланч в "Ритц", где метрдотель отличился не лучшим образом, сказав:

– О, давненько я вас вместе не видывал! Что, решили тряхнуть стариной?

Впоследствии Мириам рассказывала Савлу:

– Я заметила, что меню его озадачило, и он попросил меня сделать заказ за нас обоих. Но вначале он был весел. Даже игрив. "Я, – говорит, – с нетерпением жду, как я в дурдоме – или куда там меня поместят – буду играть в прятки и в бутылочку с другими шизанутыми. Может, у них там для нас трехколесные велосипедики найдутся... и жевачка! Мороженое шариками в стаканчиках". Прекрати, оборвала его я. Он заказал шампанское, но официанту при этом говорил что-то вроде "принесите нам бутылку... ну... эт-самое... как его... с пузырьками... что мы всегда заказывали". Официант улыбнулся – решил, видимо, что Барни пытается блистать остроумием, и мне за него было ужасно обидно. Хотелось сказать болвану: когда мой муж хочет блистать остроумием, он таки им блистает!

А все же как это было бы здорово, говорил Барни, если бы я согласилась улететь с ним в Париж в ночь его свадьбы. Мы вспоминали старые добрые времена, дни нашей молодости, и он пообещал мне, что нынче не будет непрестанно блевать, как тогда, при первом нашем свидании. "Хотя, – говорит, – если вдуматься, получилась бы некоторая даже симметрия, не правда ли?" Но это ведь не обязательно должно быть наше последнее свидание, сказала я. Мы теперь можем стать друзьями. "Нет, не можем, – нахмурился он. – Или все, или ничего". Мне дважды приходилось вставать и уходить в туалет, чтобы не разрыдаться за столом. Я видела, как он принимает таблетки – множество, даже не знаю сколько, все разноцветные... Но запивал шампанским. Под столом он коснулся моей руки и сказал, что я по-прежнему самая красивая женщина из всех, кого он видел, и что он когда-то смел надеяться, что мы умрем одновременно, лет в девяносто с лишним, как Филемон и Бавкида, и милосердный Зевс превратит нас в два дерева, которые зимой будут ласкать друг друга ветвями, а по весне сплетаться листвой.

Потом – даже не знаю, может, из-за шампанского? – он начал неправильно произносить слова. Стал путаться в столовом серебре. Нужна вилка, а он берет ложку. Вместо того чтобы за ручку, берет нож за лезвие. Какая-то неприятная перемена в нем произошла. Может быть, от расстройства, разочарования. Потемнел лицом. Жестом поманил меня наклониться ближе и шепотом говорит: Соланж подделывает чеки! Обкрадывает его. Он боится, что она может заставить его подписать сфабрикованное ею завещание. А еще она нимфоманка: затащила однажды привратника из его дома с собою в лифт и задирала юбку – показывала, что на ней нет трусов. Принесли счет, и я заметила, что он не может в нем разобраться. Да ты просто подпиши, – сказала я, и он рассмеялся.

"О'кей, — говорит, — только сомневаюсь, узнают ли они мою новую подпись". Вдруг говорит: "Слушай, а я ведь кое-что еще помню. Когда-то привел ее сюда с ее мамашей, а старая сука и говорит: 'Мой муж всегда оставляет на чай двенадцать с половиной процентов!'"

Тут вдруг он снова весь переменился. Такой нежный стал. Любящий. Стал тем Барни, которого я как раз больше всего и люблю. И я поняла, что он забыл, что я вообще когда-либо от него уходила, видимо, решил, что мы сейчас вместе пойдем домой, а вечером, может, кино по видику посмотрим. Или будем читать в постели, переплетясь ногами. Или вдруг ни с того ни с сего — раз! — и последним самолетом в Нью-Йорк; он любил всякие сюрпризы... фокусник. О, когда-то с ним было так здорово, он был такой непредсказуемый, такой любящий, и я подумала: а что, если не возвращаться в Торонто, а и впрямь пойти с ним домой? Тут я сразу — к телефону, позвонила Соланж, чтобы она срочно приехала. Возвращаюсь к столику, его нет. Боже мой, где он? — спрашиваю официанта. "В туалете", — говорит. Я подождала у двери мужской уборной, он выходит — улыбка растерянная, ноги шаркают, а я смотрю, у него ширинка не застегнута и мокрые штаны...

Пока отец еще был в относительно неплохом состоянии, он пригласил Джона Хьюз-Макнафтона и настоял на том, чтобы подписать бумаги о передаче всех полномочий в руки детей. "Артель напрасный труд" продали "Троим амигос" из Торонто за пять миллионов долларов наличными и еще пять в акциях "Троих амигос". Согласно его воле, как выручка от этой продажи, так и другие активы (в том числе значительный портфель инвестиций) поделили на три части: пятьдесят процентов детям, по двадцать пять Мириам и Соланж. Но сперва, однако, урегулировали следующие завещательные отказы:

Двадцать пять тысяч долларов Бенуа О'Нилу, который много лет был смотрителем коттеджа.

Пятьсот тысяч долларов Шанталь Рено.

Аренду двух постоянных мест на центральной трибуне в новом "Мольсоновском центре" оплатить на пять лет вперед и оставить за Соланж Рено.

Джону Хьюз-Макнафтону до конца жизни ежемесячно оплачивать его счета в баре "Динкс".

Сто тысяч долларов перевести в Нью-Йорк некоей миссис Флоре Чернофски.

Еще был один сюрприз, неожиданный (в свете частых шуточек отца по поводу *шварциков*). На двести тысяч долларов учреждался доверительный фонд в Макгиллском университете для черных студентов, преуспевающих в искусствах, — им устанавливалась стипендия в память об Измаиле Бен Юсефе, известном также как Седрик Ричардсон, который умер от рака 18 ноября 1995 года.

Пять тысяч долларов отец приказал отложить отдельно на поминки в "Динксе", куда следовало пригласить всех его друзей. На похоронах никаких раввинов с речами. А местом последнего упокоения он выбрал (впрочем, давно уже) протестантское кладбище у подножия горы Монгру, но Звезда Давида на камне должна быть, а участок по соседству он купил для Мириам.

Савл схватился за телефон, стал консультироваться с матерью. Она долго не могла ничего вымолвить, потом сказала: "Да, так и нужно" – и повесила трубку.

После того как дела были улажены, отец очень быстро сдал. Сперва он все чаще не мог найти нужное слово для обозначения простейших вещей, безуспешно силился вспомнить имена близких и родных, а потом дошло до того, что, проснувшись, подчас не мог понять, где он и кто такой. Кейт, Савл и я снова приезжали в Монреаль и опять советовались с доктором Гершковичем и специалистами. Беременная Кейт предложила забрать Барни к себе, но врачи отсоветовали – дескать, незнакомая обстановка может ускорить течение болезни. Тогда Соланж переехала к нему в квартиру на Шербрук-стрит. Он принимал ее за Мириам, ругался, называл неблагодарной шлюхой, которая разрушила ему жизнь, она же продолжала кормить его и вытирать ему подбородок салфеткой. Когда он диктовал ей письмо и слова у него путались и искажались, а нелепые фразы повторялись вновь и вновь, она записывала и обещала сразу отослать. Он выходил к завтраку в рубашке, надетой на левую сторону, и в штанах задом наперед – она молчала. Потом он начал произносить тирады перед зеркалом, принимая изображение за другого человека и обращаясь к нему то как к Буке, то как к Кейт, то как к Кларе. Однажды, приняв собственное изображение за Терри Макайвера, он начал биться об него головой, и потребовалось наложить ему двадцать один шов. Пришлось нам с Кейт и Савлом снова собраться в Монреале.

Вопреки возражениям Соланж, 15 августа 1996 года мы сдали отца в дом престарелых имени Царя Давида. Хотя он уже никого не узнает, в том числе и своих детей, мы его не бросаем. Раз в неделю из Торонто приезжает Кейт. Случилось так, что в тот вечер, когда к отцу приехала Мириам, сама недавно оправившаяся от микроинсульта, он играл с Кейт в китайские шашки. Мать с дочерью жутко повздорили и не один месяц потом друг дружку сторонились. Даже не разговаривали, когда Савл свел их вместе за ланчем в Торонто. "Мы по-прежнему семья, – сказал он. – Так что бросьте дурить. Вы обе". Его грубоватый тон, так напомнивший им Барни, покорил их. Савл часто навещает отца в его приюте. Переполошив всех соседей Барни по больничному корпусу, он как-то раз заорал: "Как же ты допустил, чтобы это случилось, мерзавец старый!" – после чего не выдержал и разрыдался. Дежурных медсестер его визиты приводят в ужас. Если он обнаруживает у Барни на халате яичное пятно или находит простыни недостаточно свежими, устраивает страшный тарарам. "Черт! Черт! Черт!" А однажды под вечер, явившись и обнаружив, что телевизор включен на канале, где вещает Опра Уинфри*, он сдернул телевизор с подставки и грохнул об пол. Сбежались сестры. "Здесь комната моего отца, – не унимался Савл, – и он не будет смотреть такую дрянь!"

Мой младший братец унаследовал что-то и от красоты матери, и от яростного темперамента отца. Между Барни и Савлом всегда шел какой-то бой гладиаторов – сила ломила силу, и ни один не желал уступить ни пяди. Втайне отец обожал сына-подростка с его левацкими закидонами и без конца всем рассказывал про 18 ноября, когда пятнадцать студентов захватили колледж, а вот резкий переход сына в лагерь неумолимых

правых заставлял его потом с отвращением морщиться. Но все равно Савл оставался его любимым сыном — хотя бы потому, что стал писателем, воплотив собою давнишние стремления отца. На первой странице своих воспоминаний отец заявляет, что, в столь преклонном возрасте впервые принявшись писать книгу, он нарушил святой зарок, затеяв эту пачкотню. Сие, как и многое другое из того, что он пишет дальше, не совсем правда. Перебирая отцовские бумаги, я обнаружил, что в разные годы он делал несколько попыток писать рассказы. Еще я нашел первый акт пьесы и пятьдесят страниц романа. По его собственному утверждению, он читал запоем и выше всех ставил мастеров стиля — от Эдварда Гиббона до А. Дж. Либлинга*. Перелистывая "Дневник читателя" последнего, я обнаружил там много высказываний Гиббона. Вот два примера. Гиббон об императоре Гордиане:

Его манеры были не столь изысканны, но добротой и дружелюбием он был подобен своему отцу. О широте его интересов свидетельствуют как шестьдесят две тысячи томов его библиотеки, так и двадцать две наложницы, и плоды деяний его говорят о том, что и те и другие были у него для дела, а не напоказ. [Эдвард Гиббон "История упадка и падения Римской империи", том 1, с. 191. Метуэн энд Ко, Лондон, 1909. — *Прим. Майкла Панофски.*]

А вот еще из А. Дж. Либлинга — о тренере по боксу Чарли Голдмане по прозвищу Профессор:

"Жениться? Ну зачем, — говорит Профессор. — Я всегда жил и живу à la carte[1]". [А. Дж. Либлинг "Угол арбитра, избранные эссе о боксе", с. 41. Фаррар, Страус и Жиру, Нью-Йорк, 1996. — *Прим. Майкла Панофски.*]

Мне посчастливилось унаследовать отцовский дар делать деньги. Увы, это свое качество он считал постыдным, потому-то я, видимо, и был наименее любимым из чад; всегда я был мишенью его сарказма. Именно на меня он обрушивался в приступах критиканства. Что бы он там ни писал, но "Дон Жуана" мы с Каролиной слушали не единожды. И, как неоспоримо свидетельствуют об этом мои примечания, я читал также "Илиаду", Свифта, Доктора Джонсона и других. А если уж так вышло, что я полагаю его сугубо евроцентристский пантеон нуждающимся в пересмотре и дополнении, если я нахожу определенные достоинства в фотографиях Роберта Мэпплторпа и работах Хелен Чедвик или Дамьена Хирста*, то это исключительно мое дело. Я возмущен его нападками и не отрицаю этого. Тем не менее стараюсь раз в месяц-полтора прилетать, навещать отца. Наверное, я меньше всех страдаю от того, каким он теперь стал, потому что, по правде говоря, по-настоящему мы никогда и не общались.

У Барни нет недостатка в других, куда более регулярных посетителях. Чуть не каждый день приходит Соланж — моет его и помогает ему рисовать в книжках-раскрасках. Частенько наведываются и старые собутыльники из бара "Динкс": адвокат с дурной репутацией Джон Хьюз-Макнафтон, журналист-алкоголик по имени Зак и другие. А тут вдруг из сердитого письма администратора по режиму узнаю, что в неделю раз захаживает к

1. На заказ (о блюдах в ресторане) (*франц.*).

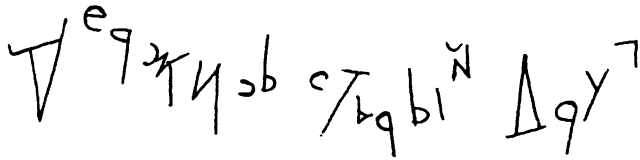
нему еще и некая мисс Морган, мастурбирует его! Забегает и бодрый старичок Ирв Нусбаум, всегда или с пакетом *бейглах*, или с длинными связками жареных *карнацелей*[1] из "Кулинарии Шварца". "Ваш отец, – сказал он мне однажды, – настоящий еврей. Неукротимый, дикий. *Мужик! Биндюжник!* Дьявол! Не знал бы, так поклялся бы, что он из Одессы!"

Когда отмечали его прошлый день рождения, отец удивил нас тем, что отозвался на свое имя. Проказливой такой ухмылочкой. Мы принесли ему надувные шарики, бумажные шляпы, пищалки-свистелки и шоколадный торт. А Мириам с Соланж, вместе крепко подумав, родили идею, которая сперва показалась нам гениальной. Они наняли танцора-чечеточника, чтобы тот для него сплясал. Барни радостно хлопал в ладоши и громко подпевал:

Спят-ка злые, злые псые, мявчи екаты – йе!
Всемпа рае даут-рае прыг вкро-ватиты!

Но тут Барни, пытаясь подражать движениям мистера Чукачакла, споткнулся и упал, да еще, оказывается, и обмочился, так что Соланж, Мириам и Кейт сбежали в коридор и там друг у дружки на грудях рыдали.

Помню еще один момент некоторого просветления. Отцу пришло письмо из Калифорнии. Я прочитать его не смог, а вот отец неожиданно прочел и долго потом плакал. Выглядело оно так:



Мать объяснила, что это письмо от Хайми Минцбаума, который несколько лет назад пережил тяжелый инсульт. Она вспомнила, как в 1961 году в Лондоне Хайми пригласил ее на ланч, во время которого заявил, что она просто обязана выйти замуж за Барни. "Только ты сможешь спасти этого обормота", – сказал он.

Позволив себе отступить от темы – чтобы немножко "занесло", как говаривал папа, – отмечу, что последние визиты в Монреаль меня не радовали. Не только из-за состояния, в котором пребывал отец, но и сам город, где я родился и вырос, производил весьма тягостное впечатление. С телефонной книжкой в руках я попытался найти кого-нибудь из старых приятелей и обнаружил, что, кроме двоих или троих, все переехали в Торонто, Ванкувер или Нью-Йорк – сбежали от разрастающейся межплеменной склоки. Конечно, на взгляд со стороны, особенно из-за границы, происходящее в Квебеке кажется смехотворным. Там действительно ходят по улицам взрослые мужчины, служащие "Комитета защиты французского языка", и каждый день, не покладая рулетки, измеряют размеры букв на уличных рекламных щитах – шрифт англоязычных надписей должен быть в два раза меньше шрифта франкоязычных и цветом чтобы ничуть не ярче. В тысяча девятьсот девяносто пятом году один особенно

1. Что-то вроде мясных колбасок в оболочке из теста.

ревностный блюститель франкофонии ("язычник", как окрестило таких местное арго) заметил в кошерной бакалее коробки с мацой, на которых надписи были и по-английски и по-французски одного размера; последовал приказ убрать запретный товар с полок. Правда, это вызвало такую волну протеста, что в девяносто шестом еврейской общине вышло специальное послабление: особым законом было разрешено выставлять на продажу коробки с одинаковыми надписями именно с мацой и только шестьдесят дней в году. Старый Ирв Нусбаум хихикал над новым правилом от души. "Слушайте здесь! — говорил он. — Марихуана, кокаин и героин запрещены тут у нас круглый год, зато как Песах, так еврейским наркоманчикам — пожалуйста. Шестьдесят дней в году можете себе хрупать свою мацу, не занавешивая окон и не запирая дверей. Кстати, вы не подумайте, пожалуйста, будто я лезу не в свое дело, но я-то знаю, как ваш отец хотел, чтобы его внуки получили правильное еврейское образование. Захотите устроить им поездку в Израиль — всегда рад помочь, все организую".

Рукопись отца вызвала у нас разногласия. Кейт была за публикацию, Савл настаивал на изменениях и сокращениях, а я колебался, удрученный необоснованно жестокими нападками на Каролину. Тут выяснилось, что сделать-то ничего и нельзя. Отец, оказывается, заранее договорился с издателем в Торонто. Мало того, дополнительным распоряжением к завещанию напрочь запретил какую-либо редактуру. Кроме того, как это ни странно, он назначил ответственным за публикацию рукописи именно меня. В результате долгих и тягостных переговоров с издателем было решено, что в тех местах, где я замечу явные ошибки и искажения фактов, я добавлю комментарии, что заставило меня корпеть над нескончаемым чтением. В связи с этим я получил еще два задания. Во-первых, мне разрешили перепечатать последние главы, написанные неверным, неразборчивым почерком — те, в которых Барни рассказывает, как он узнал, что страдает болезнью Альцгеймера (с того места, где описано, как они с Соланж приходят на консультацию к докторам Мортимеру Гершковичу и Джефри Синглтону). А во-вторых, я получил право добавить послесловие, которое затем должно быть одобрено Савлом и Кейт. Им это не понравилось. Мы поругались.

— Да ведь ясно же, что писатель тут я, — надулся Савл. — Кто, как не я, должен приводить в порядок черновик?

— Савл, я на эту работу не напрашивался. Если он выбрал меня, то я просто вынужден подчиниться, потому что его решение окончательно и обсуждению не подлежит. Кроме того — как он сам в этакой его снисходительной манере тут пишет, — я педант и скрупулезно все выполню. И на меня можно положиться в смысле исправления тех мест, где память ему явно изменяет.

— А вот у меня такое впечатление, — вмешалась Кейт, — что многие его так называемые ошибки — цитаты, приписанные там и сям не тем авторам, и тому подобное, — это на самом деле крючки и наживки, заброшенные как раз для тебя. Однажды он сказал мне: "Я знаю, как заставить Майка наконец-то добраться до Гиббона, Одена и множества других авторов. И моя система сработает несмотря ни на что".

— Между прочим, что бы он обо мне ни думал, многих из этих деятелей я уже читал. Но у нас есть одна проблема.

– С Букой?

– Ну вот, опять...

– Кейт, пожалуйста. Давай не будем. Он и мой отец тоже. Но когда он вновь и вновь пишет о том, как все время ждет, что Бука в один прекрасный день появится, он ведь очевидным образом лжет.

– Папа не убивал Буку.

– Кейт, нам так или иначе придется смириться с тем фактом, что папа был не совсем таков, каким прикидывался.

– Савл, замолчи! Ты этого не говорил, и я этого не слышала.

– Черт! Черт! Черт! Как он мог такое содеять!

– Да очень просто: он не делал этого.

Я поставил вопрос ребром перед Джоном Хьюз-Макнафтоном.

– Как правило, – сказал он, – адвокат своего клиента о подобных вещах не спрашивает. Ответ может быть непродуктивен. Но Барни много раз настаивал на том, что показания, которые он дал О'Хирну, – самая что ни на есть неприкрашенная правда.

– Вы верите ему?

– Жюри из двенадцати ничем не запятнанных мужчин постановило считать его невиновным.

– Но сейчас появилась новая и тяжкая улика. Мы имеем право знать правду.

– Правда состоит в том, что он ваш отец.

Наш отец, пока не был низведен до состояния чуть ли не растения, отбрасывал длинную тень. Муж Кейт, например, в его присутствии всегда терялся и поэтому не любил принимать его у них в Торонто. Жалкое нынешнее состояние Барни вкупе с тем, что Кейт мало-помалу, неохотно, но все же начинает смиряться с фактом совершенного им деяния (хотя впрямую она этого не призна́ет, может быть, никогда), послужило толчком ко все большему их сближению. Однако что-то в ней надломилось и очень просит починки. Впрочем, появление у нее ребенка, сына, много способствовало восстановлению ее солнечного характера. Сына она назвала Барни.

Не прошло и нескольких месяцев после обнаружения на вершине горы Монгру костей Бернарда Московича, как политические взгляды моего младшего брата неожиданно поменялись на противоположные. Он вдруг вернулся к левым убеждениям своей юности и стал печатать полемические статьи теперь уже в таких журналах, как "Нейшн" и "Диссент", которые раньше считал гнусной помойкой. Савл горячо возражает, но я убежден, что его обращение произошло вследствие того, что он не видит более нужды в соперничестве с отцом. Мириам, которая ходит теперь с палочкой, просила меня не упоминать ее в этом послесловии – помимо того, что они с Блэром удалились от дел и живут теперь в коттедже поблизости от Честера, на острове Новая Шотландия.

Перед тем как его мозг начал усыхать, Барни Панофски был ярым приверженцем двух любимых постулатов: во-первых, жизнь абсурдна, а во-вторых, никто никого по-настоящему не понимает. Не слишком-то уютная концепция; что до меня, то я под ней точно не подписываюсь.

Эти строки я начал писать на веранде нашего коттеджа в Лаврентийских горах в мой наверняка последний приезд сюда. С минуты на минуту дол-

жен был пожаловать агент по недвижимости с новыми хозяевами по фамилии Фурнье, и я готовился передать им ключи. Я рад, что именно здесь, где мы жили когда-то такой счастливой семьей, я могу позволить себе закончить на той ноте, которая не имеет ничего общего с уликами и вопиющими костями. Я уже позвонил Каролине, сообщил, что произошло. Я сидел — как я говорил уже — на нашей веранде, вспоминал старые времена, и вдруг неподалеку с ревом пошел на снижение огромный широкобрюхий водяной бомбардировщик. Он чиркнул фюзеляжем по озеру и, не останавливаясь, зачерпнул черт знает сколько тонн воды, а затем набрал высоту и сбросил всю эту воду на вершину горы.

Я даже пожалел, что не захватил с собой видеокамеру. Это было невероятное, истинно канадское зрелище, дети были бы в восторге. В Лондоне они такого не увидят в жизни. По словам Бенуа О'Нила, это была обычная тренировка пилотов-пожарных. "Когда-то, много лет назад, — сказал он, — они прилетали чаще. Раза два за лето обязательно — испытывали новые самолеты". А вот мне прежде такого видеть не приходилось.

— Ну, — сказал он, — вам-то! Я ж говорю о временах, когда вас и на свете не было!

И тут как раз прибыл агент по недвижимости с этими Фурнье. Перебросившись с ними двумя-тремя вежливыми фразами, я поспешил извиниться и уехал. Одолев добрый десяток миль, вдруг ударил по тормозам и съехал на обочину. О господи, подумал я, весь вспотев, надо же срочно звонить Савлу! И перед Кейт извиниться. Боже, как жаль, что для папы это чересчур поздно. Он уже за гранью, не поймет. Черт! Черт! Черт!

Примечания

1. Джозеф Патрик Кеннеди (1888—1969) — бизнесмен, дипломат, с 1937 по 1940 г. был послом в Великобритании, предрекал победу Германии в Европе и считал правильной изоляционистскую политику США (с. 31).

2. Имеется в виду нашумевшая в начале 60-х история с закоренелым рецидивистом, которого за последнее преступление приговорили в Калифорнии к смерти, двенадцать лет казнь откладывали, а он за это время написал четыре книги, и две из них были экранизированы. В конце концов его все равно отравили газом (с. 33).

3. Гарольд Джозеф Ласки (1893—1950) — британский политолог, влиятельный член лейбористской партии, в 30-е гг. увлекшийся марксизмом (с. 33).

4. Один из шекспировских персонажей — соперник Макбета, убитый по его приказу (с. 35).

5. Иосиф Трумпельдор (1880—1920) — национальный герой Израиля, политический и общественный деятель, организатор отрядов еврейской самообороны в Палестине; убит арабами (с. 36).

6. Генри Луис Менкен (1880—1956) — журналист, сатирик, язвительный критик американской жизни; оказал значительное влияние на литературу США первой половины XX в (с. 38).

7. Уильям Клод Филдс (1880—1946) — американский актер комического жанра и сценарист; многие ставят его в один ряд с Чарли Чаплином и Бастером Китоном (с. 39).

8. Сэмюэл Пипс (1633—1703) — английский государственный деятель и мемуарист, автор знаменитых "Дневников", впервые расшифрованных и изданных в 1825 г. (с. 41).

9. Английский город Ковентри немцы своими бомбежками в ноябре 1940-го и апреле 1941 г. почти полностью стерли с лица земли. Было разрушено больше 50 тысяч домов (с. 46).

10. По преданию, портной из Ковентри подсматривал за обнаженной леди Годивой, за что был поражен слепотой (с. 46).

11. Юджин Джозеф "Джин" Маккарти (1916—2005) — политический деятель, сенатор, в 1968 г. был кандидатом в президенты США. Протестовал против войны во Вьетнаме (с. 47).

12. Лоуренс Питер (Йоги) Берра (р. 1925) — знаменитый бейсболист, тренер и бейсбольный менеджер, известный, в частности, несуразными речениями, вроде "Опять сплошное déjà vu", "Бейсбол — это девяносто процентов ума, остальные пятьдесят — умение", "Я не посмотрю, что тут смотреть не на что" и т. д. (с. 49).

13. Уильям Чайлдс Уэстморленд (1914—2005) — бригадный генерал, командовавший силами США во Вьетнаме в разгар войны (1964—1968) (с. 50).

14. Айс-Ти (наст. имя Трейс Мэрроу, р. 1958) — американский рэп-музыкант, актер, автор и исполнитель блатного рэпа (с. 53).

15. Сыскная полиция провинции Квебек (с. 54).

16. Томас Арнольд (1795—1842) — основатель знаменитой частной школы в Регби (Великобритания) (с. 67).

17. Сады близ Афин, где учил Платон (с. 67).

18. Справочник Джона Дебретта о британской королевской семье, пэрах, лордах, баронетах и главах шотландских кланов (с. 67).

19. Теодор Сус Гайзел ("Доктор Сус", 1904—1991) — американский детский писатель и иллюстратор (с. 71).

20. Цитата из романа "Говардс-Энд" классика английской литературы Э. М. Форстера (1879—1970) (с. 75).

21. Дюковский университет в Северной Каролине (назван в честь спонсоров — табачных магнатов Д. Б. Дюка и его отца В. Дюка), выпускниками которого были, в частности, Ричард Никсон и Уильям Стайрон (с. 80).

22. Джеймс Кэгни (1899—1986) — знаменитый американский киноактер, достоверно изображавший преступников и злодеев. Пэт О'Брайен (1899—1983) — американский киноактер (с. 82).

23. Список книг, запрещенных католической церковью (Index Librorum Prohibitorum), официально публиковался вплоть до 1966 г. (с. 88).

24. Адвокат, главный герой серии романов (и телесериала) американского писателя Эрла Стэнли Гарднера (1889—1970) (с. 89).

25. Актеры комического жанра и телеведущие, пришедшие на смену удалившемуся от дел в 1992 г. Джонни Карсону (с. 92).

26. Известный американский критик, по происхождению австралиец (с. 93).

27. "Бербэнк с 'Бедекером': Блайштейн с сигарой" — название стихотворения Т. С. Элиота (1885—1965) (с. 97).

28. Т. С. Элиот. Суини среди соловьев (с. 97).

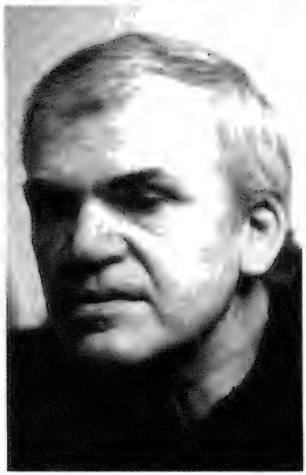
29. У. Шекспир. Гамлет. Перевод М. Лозинского (с. 109).

30. Опра Уинфри (р. 1954) — американская телезвезда, ведущая нескольких ток-шоу. Самая богатая женщина в шоу-бизнесе (с. 116).

31. Эдвард Гиббон (1737—1794) — английский историк, отличавшийся блестящим литературным стилем. Абботт Джозеф Либлинг (1904—1963) — журналист из "Нью-Йоркера" (с. 117).

32. Роберт Мэплторп (1946—1989) — американский фотограф, получивший известность в значительной мере благодаря тому, что балансировал на грани между порнографией и искусством. Умер от СПИДа. Х. Чедвик (1953—1996) — английская художница, феминистка. Известна работами "Пи́сальные струи" (отлитые в бронзе каналы, протаявшие в снегу, на который она пи́сала) и "Вирусные пейзажи" (серия фотографий, где на пейзаж накладывались полученные под микроскопом снимки клеточных структур ее тела). Умерла от вирусной инфекции сердца. Д. Хирст (р. 1965) — английский художник, часто обращавшийся к теме смерти. Самая известная его работа — "Физическая невозможность осознания смерти кем-либо живущим" — представляет собой шестиметровую тигровую акулу в витрине, заполненной формальдегидом (с. 117).

Милан Кундера



Жизнь не здесь

Глава из романа

Вступление автора

Перевод с чешского и послесловие Нины Шульгиной

"Жизнь не здесь" — аллюзия на знаменитую фразу Рембо. Андре Бретон цитирует ее в заключении к "Манифесту сюрреализма". В мае 1968 года она стала лозунгом парижских студентов, исписавших ею стены Сорбонны. Первоначально роман назывался "Лирический возраст". Однако, увидев испуганные лица своих издателей, усомнившихся в том, что роман, обремененный столь абстрактным названием, будет распродан, я изменил его.

Лирический возраст — это молодость. Мой роман представляет собой эпопею молодости, анализ того, что я называю лирическим сознанием. Лирическое сознание — одна из возможностей каждого из нас, одна из основных категорий человеческого существования. Если лирическая поэзия возникла как литературный жанр в незапамятные времена, то лишь потому, что лирическое сознание с незапамятных времен присуще человеку. Поэт — воплощение лирического сознания.

Уже со времен Данте поэт являет собой величественную фигуру, проходящую сквозь европейскую историю. Поэт — символ самой сущности нации (Камоэнс, Гёте, Мицкевич, Пушкин). Он глашатай революции (Беранже, Петёфи, Маяковский, Лорка), рупор, которым говорит История (Гюго, Бретон), он миф, предмет религи-

© Milan Kundera, 1986
© Нина Шульгина. Перевод, послесловие, 2007
Роман Милана Кундеры "Жизнь не здесь" выйдет в издательстве "Азбука-классика".

озного культа (Петрарка, Байрон, Рембо, Рильке) и, прежде всего, он святая святых сокровищницы, имя которой мы готовы писать с большой буквы: Поэзия.

Но что произошло с европейским поэтом во второй половине XX столетия? Его голос стал почти неслышен. И никто даже не заметил, как поэт тихо удалился с шумной сцены мира. По дьявольской иронии Истории последним коротким периодом, когда он еще играл значительную общественную роль, была эпоха коммунистических революций в Центральной Европе в первые годы после окончания Второй мировой войны.

Считаю нужным подчеркнуть, что все эти странные революции, импортированные из России и осуществленные под надзором чужой армии и полиции, были исполнены особым духом, присущим подлинным революциям, и прожиты своими приверженцами с пафосом, с восторгом, с убежденностью ангелов в сотворенном добре и эсхатологической верой в приход абсолютно нового мира. В эти годы поэты в последний раз оказались на большой сцене. Они полагали, что играют свою обычную роль в знаменитой драме Европы, не заметив даже, что директор театра неожиданно изменил репертуар и они стали фигурами чудовищного фарса.

Я видел вблизи эту эпоху, когда "поэт и палач властвовали рука об руку". Я слышал тогда своего любимого поэта, Поля Элюара, который публично и торжественно отрекся от своего пражского друга, сталинской юстицией отправленного на виселицу. Этот эпизод (я говорю о нем в "Книге смеха и забвения") стал моей душевной травмой: когда убивает палач, в конце концов это в порядке вещей. Но когда поэт (и сверх того, великий поэт) становится певцом такого убийства, вся система ценностей, почитаемых неприкосновенными, в одно мгновенье рушится. И уже ни в чем нет уверенности, все становится проблемой, вопросом, предметом раздумий и сомнения: Прогресс и Революция. Молодость. Материнство. Поэзия. Я видел пред собой мир пошатнувшихся ценностей, и постепенно, в течение нескольких лет, рождался во мне образ Яромила, а вместе с ним его матери и девушки, которую он любил.

Нет нужды говорить, что Яромил скверный поэт! Это было бы слишком банально! Яромил — поэт, наделенный чуткостью и большим воображением. Это тонкий юноша. И вместе с тем это чудовище. Но его чудовищность как возможность присутствует в каждом из нас. Она во мне. Она в вас. Она в Рембо. Она в Шелли. Она в Гюго. Она присутствует в каждом молодом человеке всех времен и всех режимов. Яромил не только продукт коммунизма. Коммунизм лишь высветил скрытые его черты, разбудил то, что в других условиях дремало бы в нем миролюбиво и тихо.

И хотя вся жизнь Яромила и его матери приходится на конкретную историческую эпоху, которую я стремился воссоздать такой, какой она была (причем, нимало не помышляя о сатире на нее), описание исторической эпохи не было моей целью. "Мы выбрали эту эпоху не потому, что мечтали писать ее портрет, а лишь потому, что она представлялась нам редкостной западней для Рембо и Лермонтова, редкостной западней для лирики и для молодости". Иначе говоря, для романиста историческая ситуация становится *антропологической лабораторией*, в которой он исследует основной вопрос: что такое человеческое существование? Вопрос, связанный и в этом романе с дальнейшими вопросами: что такое лирическое сознание? что такое молодость? какую потаенную роль играет мать в формировании лирического мира молодого человека? и если молодость — возраст незрелости, то какова связь между незрелостью и жаждой абсолюта? и между жаждой абсолюта и революционным вдохновением? и как лирическое созна-

ние проявляется в любви? существуют ли некие "лирические формы" любви? и так далее, и так далее.

На все эти вопросы роман не дает никакого ответа. Эти вопросы — уже сами по себе ответы, ибо, как сказал Хайдеггер, сущность человека подобна вопросу.

Ксавер

1

Внутри здания он еще слышал шум перемены, которая вот-вот должна кончиться; в класс войдет старый математик и примется терзать учеников цифрами, начертанными на черной доске; жужжание заблудившейся мухи заполнит бесконечное пространство между вопросом учителя и ответом ученика... Но он уже будет далеко!

После большой войны прошел год; была весна и светило солнце; он улицами шел к Влтаве, а потом медленным шагом фланировал вдоль набережной. Вселенная пяти школьных уроков была далеко позади, и с ней связывал его лишь маленький коричневый портфель, в котором он нес несколько тетрадей и один учебник.

Он подошел к Карлову мосту. Аллея скульптур над водой звала его перейти на другую сторону реки. Всякий раз, когда он прогуливал уроки (а прогуливал он часто и с удовольствием), его тянуло к Карлову мосту, и он проходил его из конца в конец. Он знал, что и сегодня пойдет той же дорогой и остановится там, где под мостом уже не вода, а сухой берег, и на нем старый желтый дом; на четвертом этаже дома, как раз на уровне парапета моста и на расстоянии одного прыжка, — окно; он любил смотреть на него (оно всегда было закрыто) и думать о том, кто живет за этим окном.

Сегодня в первый раз (наверное, потому, что стоял удивительно солнечный день) окно было открыто. По одну его сторону висела клетка с птицей. Он остановился и стал разглядывать эту небольшую клетку в стиле рококо, изящно свитую из белой крученой проволоки, и вдруг заметил, что в полумраке комнаты вырисовывается фигура; хотя видел он ее со спины, но сразу понял, что это женщина, и возмечтал, чтобы она повернулась к нему лицом.

Фигура и в самом деле двинулась, но в обратном направлении; она исчезла во тьме. Однако окно оставалось открытым, и он воспринял это как призыв, как тихий, доверительно посланный ему знак.

Он не смог устоять. Вскочил на парапет. Окно было отделено от моста глубокой выемкой, выстланной мостовым камнем. Портфель в руке мешал ему. Закинув его в открытое окно сумеречной комнаты, он прыгнул за ним.

2

Высокое прямоугольное окно, в которое Ксавер впрыгнул, было такого размера, что, разведя руки, он касался ими внутренних его стен, а сво-

им ростом целиком заполнял его высоту. Он осмотрел комнату, начав с задней стены и кончая окном (как тот, кого всегда занимают дали), и потому прежде всего впереди увидел дверь, потом слева у стены пузатый шкаф, справа деревянную кровать, а посредине круглый стол, застланный вязаной скатертью, на которой стояла ваза с цветами. Только сейчас он наконец заметил свой портфель, лежавший внизу под окном на бахромчатом крае дешевого ковра.

Пожалуй, в ту минуту, когда он увидел портфель и хотел было спрыгнуть за ним, в сумрачной глубине открылась дверь, и в ней появилась женщина. Она заметила его мгновенно; ведь в комнате стоял полумрак, а в окно лился свет, словно в комнате была ночь, а за окном — день; мужчина в проеме окна показался женщине черным силуэтом на золотом фоне света; это был мужчина между днем и ночью.

Если женщина, ослепленная светом, не могла разглядеть черты мужского лица, Ксавер в этом смысле был в более выгодном положении; его зрение уже так свыклось с полумраком, что он сумел хотя бы приблизительно уловить мягкость женского абриса и меланхоличность ее лица, бледность которого могла бы осветить даже дали в непроглядной тьме; остановившись в дверях, женщина изучала Ксавера; она не была ни столь непосредственна, чтобы шумно выразить свой испуг, ни столь смела, чтобы сохранить самообладание и заговорить с ним. Только после долгих мгновений, когда они смотрели в нечеткие лица друг друга, Ксавер произнес: "Здесь мой портфель".

"Портфель?" — спросила она и, словно бы звук голоса Ксавера снял с нее первичное оцепенение, закрыла за собой дверь.

Ксавер, присев в окне на корточки, указывал туда, где лежал портфель: "У меня там много важных вещей. Тетрадь по математике, учебник природоведения и еще тетрадь с упражнениями по чешской стилистике. В этой тетради даже последнее задание на тему: *Как пришла к нам весна.* Я жутко корпел над ним и не хотел бы снова выдавливать его из мозгов".

Женщина сделала еще несколько шагов в глубь комнаты, и Ксавер увидел ее в более ярком свете. Его первое впечатление было верным: он увидел на ее неясном лице два больших неуловимых глаза, и его осенило еще одно слово — испуг; причем испуг, вызванный вовсе не его внезапным вторжением, а испуг давнишний, испуг, застывший на лице женщины в виде больших расширенных глаз, в виде бледности, в виде жестов, за которые она как бы постоянно просила извинения.

Да, и в самом деле она просила извинения! "Извините, — сказала она, — не знаю, как могло случиться, что ваш портфель очутился в нашей комнате. Минуту назад я здесь убирала и ничего лишнего не обнаружила".

"Однако, — сказал Ксавер, сидя на корточках в окне и указывая пальцем на ковер. — К моей великой радости, портфель здесь".

"Я тоже очень рада, что вы его нашли", — сказала она, улыбаясь.

Теперь они стояли друг против друга, их разделял стол под вязаной скатеркой, а на ней — стеклянная ваза с цветами из вощеной бумаги.

"Да, было бы досадно, если бы я не нашел его, — сказал Ксавер. — Училка чешского меня ненавидит, и потеряй я тетрадь с домашними заданиями, мне грозило бы остаться на второй год".

На лице женщины выразилось сочувствие; ее глаза сделались такими большими, что Ксавер видел только их, словно ее лицо и тело были всего лишь их сопровождением, их шкатулкой; он не знал даже, как выглядят отдельные черты лица женщины и пропорции ее тела, все это задерживалось лишь на краю сетчатки; основное же впечатление от ее фигуры создавали огромные глаза, заливающие все ее тело коричневатым светом.

Сейчас Ксавер, обойдя стол, шагнул к этим глазам. "Я бывалый второгодник, – сказал он и обнял женщину за плечи (ах, плечо было мягким, словно грудь!). – Поверьте, – продолжал он, – нет ничего более грустного, чем спустя год войти в тот же класс, сидеть за той же партой..."

Тут он увидел, что карие глаза поднимаются к нему, и волна счастья окатила его; Ксавер знал, что теперь он мог бы опустить руку ниже и коснуться груди, живота и всего, чего бы он ни захотел, ибо испуг, который безраздельно владел женщиной, отдавал ее покорной в его объятия. Но он не сделал этого; он сжимал ладонью плечо женщины, столь прекрасную, округлую верхушку тела, и это ощущение казалось ему достаточно полным, достаточно волнующим; он не хотел ничего большего.

С минуту они стояли недвижно, и вдруг женщина вся обратилась в слух. "Вы должны немедленно исчезнуть. Муж возвращается!"

Что было бы проще: взять портфель, прыгнуть на окно, с окна на мост, но Ксавер поступил иначе. Его охватило блаженное чувство: он должен остаться здесь с женщиной, ибо ей грозит опасность. "Я не могу покинуть вас!"

"Мой муж! Уходите!" – испуганно просила его женщина.

"Нет, я останусь с вами! Я не трус!" – сказал Ксавер; тем временем с лестницы уже явственно доносились шаги.

Женщина пыталась оттеснить Ксавера к окну, но он знал, что не смеет покидать ее в минуту опасности. Уже слышно было, как в глубине квартиры открывается дверь, и Ксавер в последнюю минуту бросился на пол и залез под кровать.

3

Пространство от пола до потолка, созданного пятью досками, меж которых прогибался рваный соломенный тюфяк, было ничуть не больше, чем пространство гроба; но в отличие от гроба оно было душистым (приятно пахло соломой), с хорошей акустикой (по полу гулко разносились звуки шагов) и с широким обзором (прямо над собой он видел лицо женщины, которую не имеет права покинуть, лицо, отраженное на сером фоне тюфяка, лицо, пронзенное тремя стеблями соломы, торчащими из мешковины).

Шаги, которые он слышал, были тяжелыми; повернув голову, он увидал на полу сапоги, топающие по комнате. А потом, услыхав женский голос, не мог избавиться от легкого, но все же режущего ощущения жалости: голос звучал так же меланхолично, испуганно и заманчиво, как за минуту до этого, когда обращался к нему. Но Ксавер был достаточно благоразумен, чтобы побороть внезапную прихоть ревности; он понял, что женщина в опасности и защищается тем, чем обладает: своим лицом и своей печалью.

Потом он услышал мужской голос и подумал, что он подобен черным сапогам, шагавшим по полу. Затем услышал, как женщина говорит *нет, нет, нет,* и как пара ног шатко приближается к его прибежищу, и как низкий потолок, под которым он лежит, все больше прогибаясь, вот-вот коснется его лица.

И снова слышно было, как женщина говорит *нет, нет, нет, только не сейчас, прошу тебя,* а Ксавер видел на грубом полотне тюфяка, в сантиметре от глаз, ее лицо, и ему казалось, что это лицо делится с ним своим унижением.

Он хотел выпрямиться в своем гробу, хотел спасти женщину, но знал, что не имеет на то права. А лицо женщины было так близко над ним, оно склонялось к нему, умоляло его, и из него торчали три стебля соломы, словно это были три пронзившие ее лицо стрелы. Потолок над Ксавером ритмично прогибался, и стебли, словно три пронзавшие ее лицо стрелы, в том же ритме касались носа Ксавера и щекотали так, что Ксавер внезапно чихнул.

Всякое движение сверху прекратилось. Кровать застыла, не слышно было даже дыхания. И Ксавер тоже замер. Потом прозвучало: "Что это было?" — "Я ничего не слыхала, мой дорогой", — ответил женский голос. И снова, после минутной тишины, раздался мужской голос: "А чей это портфель?" Потом гулко раздались шаги, и видно было, как сапоги затопали по комнате.

Надо же, мужчина на постели был в сапогах, подумал Ксавер и возмутился; понял, что пробил его час. Опершись на локоть, он высунулся из-под кровати настолько, чтобы видеть, что происходит в комнате.

"Кто у тебя здесь? Куда ты его спрятала?" — орал мужской голос, и Ксавер увидел над черными сапогами темно-синие галифе и темно-синюю рубаху полицейской формы. Мужчина испытующе оглядывал комнату, а потом бросился к шкафу, который своей пузатостью наводил на мысль, что внутри скрывается любовник.

Тут Ксавер выскочил из-под кровати, неслышно, как кошка, и, как пантера, проворно. Мужчина в форме открыл шкаф, набитый платьями, и ощупал их. Но Ксавер уже стоял позади него, и когда мужчина снова запустил руку во тьму одежды, чтобы нащупать спрятанного любовника, Ксавер схватил его сзади за воротник и быстро впихнул внутрь шкафа. Закрыв дверь, запер ее на ключ, вытащил его, сунул в карман и повернулся к женщине.

4

Стоя против больших карих глаз, он позади себя слышал удары об утробу шкафа, шум и крик, что звучали под сурдинку одежды так глухо, что слова в грохоте ударов были неразборчивы.

Он подсел к большим глазам, обнял рукой плечо и лишь теперь, почувствовав нагую кожу, понял, что женщина в легкой комбинации, под которой вздымается обнаженная грудь, нежная и упругая.

Буханье в шкафу раздавалось по-прежнему, и Ксавер обеими руками держал женщину за плечи, пытаясь ощутить четкость их линий, все время терявшуюся в разливе ее глаз. Он уговаривал ее ничего не бояться и показывал ей ключ в доказательство того, что шкаф крепко заперт, что

тюрьма ее мужа дубовая и что узник не сможет ни открыть, ни взломать ее. Потом он стал целовать женщину (продолжая держать ее за нежные плечи, которые были так сладостны, что он не решался опустить руку ниже и коснуться ее грудей, словно не был достаточно стойким, чтобы противиться их обольстительности), и снова казалось ему, что, лаская губами ее лицо, он тонет в бескрайних водах.

"Что нам делать?" — услышал он ее голос.

Он ласкал ее плечи, просил ни о чем не беспокоиться, говорил, что им теперь хорошо, что он счастлив и что грохот в шкафу занимает его теперь не более, чем звук бури, звучащий на граммофонной пластинке, или лай собаки, привязанной к будке на другом конце города.

Чтобы показать свою власть над происходящим, он встал и окинул взглядом комнату. Засмеялся, увидев на столе черную дубинку. Схватил ее, подошел к шкафу и в ответ на раздававшиеся изнутри удары несколько раз стукнул дубинкой по двери шкафа.

"Что нам делать?" — повторила свой вопрос женщина, и Ксавер ответил ей: "Уйдем".

"А он как?" — спросила женщина, и Ксавер ответил: "Человек выдерживает без еды две-три недели. Когда через год мы вернемся сюда, в шкафу найдем скелет, одетый в форму и сапоги", и он снова подошел к бухающему шкафу и ударил по нему дубинкой; смеясь, он смотрел на женщину и мечтал, чтобы она смеялась вместе с ним.

Но женщина не смеялась, а спросила: "Куда же мы пойдем?"

Ксавер сказал ей, куда они пойдут. Но женщина возразила, объяснив, что здесь она дома, а там, куда Ксавер хочет ее увести, у нее не будет ни своего комода, ни птицы в клетке. Ксавер сказал, что дом — это не комод и не птица в клетке, а любимый человек рядом. А потом поведал ей, что у него самого нет дома, вернее, его дом в его шагах, в его ходьбе, в его дорогах. Что его дом там, где открываются неведомые горизонты. Что он может жить, лишь переходя из одного сна в другой, из одного края в другой, а если бы надолго остался в одной обстановке, он умер бы, как умрет ее муж, останься он в шкафу более двух недель.

При этих словах оба вдруг заметили, что шкаф затих. Тишина была такой выразительной, что отрезвила обоих. Она походила на тишину после бури; в клетке запела канарейка, а в окно полился свет закатного солнца. Это было прекрасно, как приглашение в дорогу. Это было прекрасно, как отпущение грехов. Это было прекрасно, как смерть полицейского.

Женщина, впервые коснувшись Ксавера, погладила его по лицу, и Ксавер, тоже впервые, увидел ее не в расплывчатых, а четких очертаниях. Она сказала ему: "Да. Пойдем. Пойдем, куда захочешь. Только подожди минуту, я захвачу кое-какие вещи в дорогу".

Она еще раз погладила его, улыбнулась ему и пошла к двери. Он смотрел на нее глазами, исполненными умиротворения; он видел ее походку, мягкую и плавную, как течение воды, обращенной в тело.

Потом он лег на кровать, испытывая блаженство. Шкаф затих, словно мужчина в нем уснул или повесился. Эта тишина была наполнена пространством, которое вошло сюда в окно вместе с шумом Влтавы и далекими криками города, криками столь далекими, что походили на голоса леса.

Ксавер чувствовал, что вновь одержим дорогами. И нет ничего прекраснее минуты перед дорогой, минуты, когда завтрашний горизонт при-

дет навестить нас и поведать свои обещания. Ксавер лежал на мятых покрывалах, и все сливалось в восхитительном единстве: мягкая кровать, подобная женщине, женщина, подобная воде, и воображаемая под окнами вода, подобная текучему ложу.

И еще он увидел, как вошла женщина. Она была в голубом платье, голубом, как вода, голубом, как горизонты, в которые он завтра нырнет, голубом, как сон, в который он неудержимо падал.

Да. Ксавер уснул.

5

Ксавер спит не ради того, чтобы набраться сил для бдения. Нет, это монотонное качание маятника сон — бдение, совершаемое триста шестьдесят пять раз в году, ему неведомо.

Сон для него не противостоит жизни; сон для него жизнь, а жизнь — сон. Он переходит из одного сна в другой, словно переходит из одной жизни в другую.

Сейчас тьма, тьма непроглядная, но вдруг с высоты опускаются пучки света... Этот свет ширится люцернами; в кругах, вырезанных из тьмы, видны густо падающие снежинки.

Он вбежал в дверь низкого строения, быстро пересек зал и вышел на перрон, где стоял подготовленный к отходу поезд с освещенными окнами; вдоль него двигался старик с фонарем и запирал двери вагонов. Ксавер поспешно вскочил в поезд, когда старик уже поднял фонарь, с другого конца перрона донесся протяжный гудок, и поезд тронулся.

6

Он остановился на площадке вагона и, глубоко дыша, старался перевести дух. Он опять пришел в последнюю минуту, а приход в последнюю минуту ублаготворял его гордыню: все прочие приходили вовремя, согласно заранее продуманному плану, проживая жизнь без всяких неожиданностей, словно переписчики текстов, указанных им учителем. Он представлял их в купе поезда, сидящими на загодя отведенных местах, занятыми плоскими разговорами, беседующими о домике в горах, в котором проведут неделю, о дневном распорядке, который изучили еще в школе, чтобы жить вслепую, по памяти, без единой промашки.

Но Ксавер пришел экспромтом, в последнюю минуту, поддавшись осенившей его идее и неожиданному решению. Сейчас он стоял на площадке вагона и удивлялся тому, что, собственно, побудило его участвовать в школьном походе с занудливыми однокашниками и плешивыми учителями, в чьих усах ползают вши.

Он пошел по вагону: мальчики стояли в проходах и, согревая дыханием замерзшее стекло, пялились в оттаявший глазок; другие лежали на полках, над головами — лыжи, наперекрест прислоненные к сеткам для чемоданов; где-то резались в карты, а в одном купе тянули бесконечную песню с примитивной мелодией и двумя нескончаемо повторяющимися словами: *канарейка умерла, канарейка умерла, канарейка умерла...*

У этого купе он остановился и заглянул внутрь: там были три мальчика из выпускного класса и с ними белокурая девушка, его однокласс-

ница; увидев его, она покраснела, но ничего не сказала, словно испугалась, что ее поймали с поличным, и потому, глядя на Ксавера большими глазами, продолжала открывать рот и петь: *канарейка умерла, канарейка умерла, канарейка умерла...*

Ксавер, оторвавшись от белокурой девушки, миновал следующее купе, откуда неслись другие студенческие песни и гомон игр, и вдруг увидел идущего навстречу мужчину в форме проводника, который останавливался у некоторых купе и просил предъявить билеты. Форма, однако, не сбила Ксавера с толку: под козырьком фуражки он узнал старого латиниста и сразу сообразил, что встречаться с ним ему ни к чему: во-первых, у него нет билета, а во-вторых, он ужасно давно (даже не помнит, как давно!) не был на уроке латыни.

Итак, воспользовавшись минутой, когда латинист заглянул в купе, Ксавер прошмыгнул мимо него на площадку, из которой вели две двери в две кабинки: одна в умывальню, другая — в туалет. Он открыл дверь в умывальню и был потрясен, узрев там учительницу чешского, строгую пятидесятилетнюю даму, крепко державшую в объятиях его однокашника, который сидел на первой парте и которым Ксавер, иногда присутствуя на уроке, напрочь пренебрегал. Увидев Ксавера, возбужденные любовники быстро оторвались друг от друга и склонились над рукомойником; под тонкой струйкой воды, сочившейся из крана, они стали усердно тереть руки.

Не желая мешать им, Ксавер снова вышел на площадку; увидел там белокурую одноклассницу, в упор смотревшую на него большими голубыми глазами; губы ее не двигались и уже не пели песню о канарейке, куплеты которой Ксаверу казались бесконечными. Ах, какое безрассудство, подумал он, верить, что существует песня, которая никогда не кончается; будто все на свете уже с самого начала не есть предательство!

Эта мысль не покидала его, когда он смотрел в глаза белокурой; он знал, что не даст втянуть себя в фальшивую игру, которая временное выдает за вечное и маленькое — за большое, не даст втянуть себя в фальшивую игру, называемую любовью. Поэтому он отвернулся и снова вошел в маленькую умывальню, где статная учительница чешского вновь стояла против однокашника Ксавера и прижимала его за бедра к себе.

"О, прошу вас, второй раз уже не мойте рук, — сказал им Ксавер, — я сам хочу умыться", и он тактично обошел их, открыл кран и склонился над умывальником, обеспечив таким образом весьма сомнительное уединение для себя и для обоих любовников, в растерянности стоявших сзади. "Перейдем в другое место", — услыхал он решительный голос учительницы чешского, хлопанье дверью и шаги двух пар ног, вошедших в соседний туалет. Оставшись один, он удовлетворенно оперся о стену и отдался сладким мыслям о ничтожности любви, сладким мыслям, сквозь которые светились два больших молящих голубых глаза.

7

Поезд остановился, раздался гудок, галдеж ребят, хлопанье дверьми, топот ног; Ксавер вышел из своего укрытия и присоединился к остальным школьникам, толпой вываливавшим на перрон. А потом нарисовались холмы, полная луна и сверкающий снег; шли ночью, ясной как

день. Это была длинная процессия, но вместо крестов кверху торчали пары лыж, как церковные атрибуты, как двуперстные символы, дающие клятву.

Это была длинная процессия, и Ксавер шел в ней, заложив руки в карманы, ибо был единственным, кто не взял с собою лыж, символа клятвы; он шел, слушая разговоры школьников, уже порядком уставших; ненароком оглянувшись, увидел, что белокурая девушка, хрупкая, маленькая, идет в самом конце, спотыкается и утопает в снегу под тяжелыми лыжами; но оглянувшись еще раз чуть позже, увидел, как старый математик берет у нее лыжи, присоединяет их к своим, вскинутым на плечо, и, взяв девушку за руку, помогает ей идти. Это было печальное зрелище: как убогая старость жалеет убогую молодость; он смотрел на это, и ему становилось хорошо.

Потом, поначалу издалека, но чем дальше, тем ближе, стала доноситься танцевальная музыка; перед ними вырос ресторан, а вокруг него деревянные домики, куда гимназисты пошли расселяться. Для Ксавера не была заказана комната, ему не надо было ни сдавать на хранение лыжи, ни переодеваться, и потому он сразу вошел в барный зал, где были танцевальная площадка, джазовый оркестр и несколько посетителей за столиками. Он мгновенно заметил женщину в темно-красном пуловере и брюках в обтяжку; ее окружали мужчины с кружками пива, но Ксавер чувствовал, что женщина, элегантная и гордая, скучает в их обществе. Он подошел к ней и пригласил на танец.

Они танцевали посреди зала только вдвоем, и Ксавер видел, что шея женщины изумительно увядшая, кожа вокруг глаз изумительно морщинистая, а вокруг рта пролегли две изумительно глубокие складки; и он был счастлив, что в его объятиях столько лет жизни, что он, гимназист, держит в объятиях целую, почти завершенную жизнь. Он был горд, что танцует с этой женщиной, и думал о том, что вскоре сюда войдет белокурая и увидит, как он вознесся над ней, словно возраст его партнерши был высокой горой, а молоденькая девушка трепетала у ее подножья, словно умоляющий стебель травы.

И в самом деле: в бар нахлынули ученики и ученицы, сменившие лыжные брюки на юбки, и уселись за свободные столики, так что теперь Ксавер танцевал с темно-красной женщиной на глазах у многочисленной публики; за одним из столиков он увидел белокурую девушку и остался доволен: она была одета гораздо лучше других; была в красивом платье, вовсе не подходящем для грязного кабака; и в этом платье, белом и легком, казалась еще более хрупкой и еще более ранимой. Ксавер знал, что такое платье она надела ради него, и сейчас он твердо решил не предавать ее и прожить этот вечер с ней и для нее.

8

Он сказал женщине в темно-красном пуловере, что больше не хочет танцевать: ему противны рожи, что сидят за кружками пива и глазеют на них. Женщина одобрительно засмеялась; и хотя оркестр продолжал играть и на площадке была только их пара, танцевать они перестали (весь зал видел, как они перестали танцевать); держась за руки, сошли с подиума и, минуя все столики, вышли на заснеженную поляну.

Их обдало морозным воздухом, и Ксавер подумал о том, что вскоре на мороз выйдет и хрупкая, болезненная девушка в белом платье. Он снова подхватил темно-красную женщину под руку и повел ее дальше по белоснежной поляне, и казалось ему, что он крысолов, а покорная ему женщина – дудочка, на которой он играет.

Через минуту открылась дверь ресторанчика и вышла белокурая девушка. И была она еще более хрупкой, чем прежде, ее белое платье терялось на фоне снега, и сама она казалась снегом, идущим по снегу. Ксавер, прижимая к себе темно-красную женщину, тепло одетую и изумительно старую, целовал ее, запускал руки под ее пуловер и краем глаза наблюдал, как девушка, подобная снегу, смотрит на них и страдает.

А потом он повалил старую женщину на снег и долго катался на ней, хотя понимал, что его игра слишком затянулась, что платье у белокурой девушки тонкое, что мороз хватает ее за икры и колени и подбирается к бедрам и гладит ее все выше и выше, до самого лона и живота. Наконец они поднялись, и старая женщина повела его в один из домиков, в свою комнату.

Окно комнаты на первом этаже было лишь в метре над снежной поляной, и Ксавер видел белокурую в нескольких шагах от себя, смотревшую на него в окно; он не хотел расставаться с девушкой, чей образ заполнял его всего, и потому включил лампу (старая женщина похотливо посмеялась над тем, что ему нужен свет), взял женщину за руку, подошел с ней к окну и у окна стал обнимать ее и задирать кверху мохнатый пуловер (теплый пуловер для старческого тела), но при этом думал о девушке, которая, верно, совсем окоченела, окоченела настолько, что уже не ощущала своего тела и была лишь одной душой, печальной и больной душой, дрожавшей в заледеневшем теле, уже ничего не ощущавшем, утратившем способность осязания и ставшем не чем иным, как мертвой оболочкой для трепещущей души, столь любимой Ксавером, ах, столь бесконечно любимой.

Кому под силу вынести столь бесконечную любовь! Ксавер чувствовал, как слабеют его руки, как они не могут приподнять тяжелый мохнатый пуловер всего лишь для того, чтобы обнажить грудь старухи. Ощутив вялость во всем теле, он сел на кровать. Трудно описать, как было ему хорошо, как он был доволен и счастлив. Когда человек очень счастлив, на него, как награда, нисходит сон. Ксавер, улыбаясь, погрузился в глубокий сон, в прекрасную сладостную ночь, в которой светили два заледеневших глаза, две окоченевшие луны...

9

Ксавер проживает не одну-единственную жизнь, что тянется от рождения до смерти как длинная грязная нить; он не проживает свою жизнь, а проводит ее во сне; в этой жизни-сне он переносится из одного сна в другой; он видит сон, во сне засыпает и снится ему другой сон, так что его сон подобен шкатулке, в которую вложена другая шкатулка, а в нее еще одна и еще.

Например: сейчас он спит одновременно в доме у Карлова моста и в домике в горах; эти два сна звучат как две долго удерживаемые на органе ноты; и к этим двум нотам присоединяется третья.

Сигнальный экземпляр

Он стоит и осматривается. Улица пустынна, лишь там-сям мелькает тень и тотчас исчезает за углом или в воротах. Он тоже не хочет быть замеченным; идет боковыми, окраинными улицами и с другой стороны города слышит звуки стрельбы.

Наконец, войдя в один дом, по лестнице спускается вниз; в подвале несколько дверей; он отыскивает нужную дверь и стучит; сперва три раза, затем, помедлив, один раз и, снова помедлив, еще три раза.

10

Дверь открылась, и молодой человек в рабочей спецовке пригласил его войти. Они прошли несколько комнат, заваленных всяким хламом, платьями на вешалках, ружьями, стоявшими по углам, а потом длинным коридором (он вывел их далеко за пределы дома) в маленький подземный зал, где сидело примерно двадцать пять человек.

Он занял свободный стул и оглядел присутствующих; знал лишь немногих. Во главе стола сидело трое мужчин; один из них, в кепке, говорил; говорил о близкой и секретной дате, когда все решится; в этот день, согласно плану, все должно быть обеспечено: листовки, газеты, радио, почта, телеграф, оружие. Он спрашивал некоторых присутствующих, выполнены ли порученные им задания ради успеха этой даты. Повернувшись к Ксаверу, спросил его, принес ли он список.

Настала ужасная минута. Для надежной конспирации Ксавер продублировал список на последней странице своей тетради по чешскому. Эта тетрадь со всеми другими тетрадями и учебниками была у него в портфеле. Но где портфель? С собой его нет!

Мужчина в кепке повторил вопрос.

Бог ты мой, где же портфель? Ксавер лихорадочно стал думать, и вскоре из глубин памяти всплыло неясное и неуловимое воспоминание, сладкое дуновение счастья; он хотел удержать это воспоминание, но времени не оставалось: все, повернувшись к нему, ждали его ответа. Ему пришлось признать, что списка у него нет.

Лица мужчин, к которым он пришел как товарищ к товарищам, сделались строгими, и человек в кепке ледяным голосом заявил, что, если список попадет во вражьи руки, дата, на которую они возлагали все надежды, будет загублена и останется простой датой, как все прочие: пустой и мертвой.

Но прежде чем Ксавер решился что-либо сказать, позади председательского стола открылась дверь, в ней появился человек и свистнул. Все знали, что это сигнал тревоги; мужчина в кепке еще не успел отдать приказ, как заговорил Ксавер; "Позвольте мне идти первым", – сказал Ксавер, зная, что дорога, которая ждет его теперь, опасна, и тот, кто пойдет первым, рискует жизнью.

Ксавер знал, что забыл список и что должен смыть свою вину. Но не только чувство вины толкало его подвергнуть себя опасности. Ему претила ничтожность, что делает из жизни полужизнь, а из людей – полулюдей. Он хотел положить свою жизнь на весы, на другой чаше которых – смерть. Он хотел, чтобы каждый его поступок, каждый час и даже секунда могли определяться высшим критерием, каким является смерть. Поэтому он хотел идти во главе колонны, идти по канату над

пропастью, с ореолом пуль вокруг головы и, возвысившись так в глазах всех, стать бесконечным, как бесконечна смерть...

Мужчина в кепке окинул его холодным, строгим взглядом, в котором блеснул свет понимания. "Ну что ж, иди!" – сказал он ему.

11

Он протиснулся в железную дверь и очутился в узком дворе. Было темно, вдали раздавалась стрельба, и, подняв взгляд, увидел над крышами блуждающие световые полосы прожекторов. Узкая железная лестница напротив него вела на крышу шестиэтажного дома. Он подскочил к ней и быстро взобрался наверх. Остальные, выбежав за ним во двор, прижимались к стенам. Ждали, когда он окажется на крыше и подаст им сигнал, что путь свободен.

Потом все ползком, настороженно, двинулись по крышам, и Ксавер все время был впереди; подвергая себя опасности, он оберегал остальных. Шел мягко, осмотрительно, шел как хищник, и глаза его прозревали тьму. В одном месте он остановился и подозвал мужчину в кепке, чтобы показать ему, как внизу, глубоко под ними, сбегаются черные люди с короткими обрезами наперевес и пытливо осматриваются вокруг. "Веди нас дальше", – сказал мужчина Ксаверу.

И Ксавер шел, перескакивая с крыши на крышу, спускаясь по коротким железным лестницам, прячась за дымовые трубы и увертываясь от назойливых прожекторов, что поминутно ощупывали дома, края крыш и каньоны улиц.

Это был прекрасный путь притихших мужчин, обращенных в стаю птиц, что сверху облетают затаившегося врага и на крыльях крыш опускаются на другую сторону города, где уже нет ловушек. Это был прекрасный долгий путь, но путь столь долгий, что Ксавера начала одолевать усталость; та усталость, что мутит разум и забивает мысль галлюцинациями; ему казалось, что он слышит звуки похоронного марша, знаменитого похоронного марша Шопена, который духовые оркестры исполняют на кладбищах.

Не замедляя шага, он что есть мочи силился напрячь свой разум и отогнать зловещие галлюцинации. Тщетно: музыка все время доносилась до него, словно хотела напророчить ему близкую кончину, словно хотела к этой минуте борьбы пришпилить черную вуаль грядущей смерти.

Почему он так сопротивлялся своим галлюцинациям? Разве он не мечтал о величии смерти, что сделала бы его путь по крышам незабвенным и бесконечным? Разве погребальная музыка, что доносилась до него как пророчество, не была самым замечательным аккомпанементом его отваги? Разве не прекрасно, что его борьба – похороны, а его похороны – борьба, что жизнь со смертью так восхитительно обручены здесь?

Нет, не смерти, пришедшей заявить о себе, ужасался Ксавер, а тому, что в эту минуту он не может положиться на собственный разум, что не способен (он, кто в ответе за безопасность своих собратьев!) уловить потаенные ловушки врагов, если уши его залеплены текучей меланхолией похоронного марша.

Но разве возможно, чтобы галлюцинация обрела такую реальную форму, что марш Шопена слышится со всеми ритмическими ошибками и фальшивой игрой тромбона?

12

Открыв глаза, он увидел комнату с одним облупленным шкафом и одной кроватью, на которой лежал. Он с радостью обнаружил, что спал одетым и, стало быть, не должен переодеваться; скользнул лишь в ботинки, брошенные под кровать.

Но откуда доносится эта грустная духовая музыка, что звучит совершенно реально?

Он подошел к окну. В нескольких шагах от него, посреди поляны, с которой уже почти сошел снег, спиной к нему стояла группка людей в черных одеждах. Они стояли осиротелые и печальные, печальные, как окружающий пейзаж; от белоснежного снега остались лишь грязные клочья и полосы на влажной земле.

Он открыл окно и выглянул. Теперь он лучше понял происходящее. Одетые в черное люди собрались вокруг ямы, у которой стоял гроб. С другой стороны ямы иные люди, тоже одетые в черное, держали у губ медные духовые инструменты, к которым были прикреплены маленькие пюпитры с нотами; упираясь в них взглядом, музыканты играли похоронный марш Шопена.

Окно было едва ли в метре от земли. Ксавер выпрыгнул из него и подошел к траурной группке провожающих. В эту минуту два дюжих крестьянина протянули под гроб веревки, подняли его и стали медленно опускать в яму. Старый мужчина и старая женщина, стоявшие в группке людей, одетых в черное, разрыдались, остальные поддерживали их и успокаивали.

Потом гроб опустили на дно ямы, и одетые в черное люди подходили один за другим и бросали на его крышку горсть земли. Ксавер нагнулся последним, набрал в ладонь горсть земли с комочками снега и бросил ее вниз.

Он был здесь единственным, о ком никто ничего не знал, но и единственным, кто знал все. Только он знал, почему и как умерла белокурая девушка, только он знал о руке мороза, что легла на ее икры и, поднявшись по телу до живота, прошла меж грудей, только он знал, кто был причиной ее смерти. Только он знал, почему ей хотелось быть погребенной именно здесь, где она больше всего страдала и где мечтала умереть, видя, как любовь предает ее и как исчезает.

Только он знал все; остальные присутствовали здесь, как ничего не ведающая публика или ничего не ведающие жертвы. Он видел их на фоне далекого горного пейзажа, и ему казалось, что они затеряны в беспредельных далях так же, как и усопшая затеряна в беспредельной земле, и что он (который знает все) еще просторнее, чем далекий мокрый пейзаж, и что все — члены семьи умершей, сама умершая, могильщики с их лопатами и луга и холмы — входят в него и теряются в нем.

Он был переполнен пейзажем, трауром родных, смертью белокурой девушки и чувствовал, как все они распирают его, словно в нем растет дерево; он чувствовал себя огромным и воспринимал теперь се-

бя как ряженого, в чужом наряде и в маске скромности; скрывая свой реальный облик под этой маской, он подошел теперь к родителям умершей (лицо отца, напоминавшее ему черты белокурой девушки, покраснело от плача) и выразил им соболезнование; они безучастно протянули ему руки, и он ощутил, как их ладони в его руке хрупки и невесомы.

Потом он стоял, опершись о стену домика, где так долго спал; он взглядом провожал людей, которые небольшими группками расходились с похорон и терялись во влажных далях. Вдруг он почувствовал, как кто-то ласкает его; ах да, он чувствовал прикосновение руки на лице. Уверенный, что постигает смысл этого прикосновения, благодарно принял его; он знал, что это рука прощения; это белокурая девушка дает ему понять, что не перестала любить его и что любовь продолжается и по ту сторону земного бытия.

13

Он падал сквозь свои сны.

Самой прекрасной была минута, когда один сон еще длился, но сквозь него уже просвечивал следующий, в какой он погружался.

Руки, что ласкали Ксавера, стоявшего посреди горного пейзажа, принадлежали женщине из сна, в который он падал снова, еще не зная об этом, так что эти руки существуют сами по себе; это заколдованные руки в пустом пространстве; руки меж двух историй, меж двух жизней; руки, не испорченные ни телом, ни головой.

Если бы эта ласка рук без тела длилась как можно дольше!

14

Потом он почувствовал прикосновение не только рук, но и больших, мягких грудей, упиравшихся в его грудь, увидел лицо черноволосой женщины и услыхал ее голос: "Проснись! Бога ради, проснись!"

Под ним была измятая постель, а вокруг серела комнатка с большим шкафом. Ксавер вспомнил, что он в доме у Карлова моста.

"Знаю, что тебе хотелось бы долго спать, — сказала женщина, словно извиняясь, — но я должна была тебя разбудить, потому что я боюсь".

"Чего ты боишься?" — спросил Ксавер.

"Боже мой, ты ничего не знаешь, — сказала женщина. — Послушай!"

Ксавер умолк, усердно стараясь вслушаться; издали доносилась стрельба.

Вскочив с постели, он подбежал к окну. По Карлову мосту проходили группки людей в рабочих синих комбинезонах с ружьями через плечо.

Это было подобно воспоминанию, что доходит до нас сквозь множество преград; хотя Ксавер и знал, что означают группки вооруженных рабочих, охранявших мост, но при этом чувствовал, что не может о чем-то вспомнить, о чем-то, что могло бы объяснить его личное отношение к тому, что видит. Он знал, что неразрывно связан с этой сценой, но по какой-то ошибке выпал из нее — так случается, когда актер забы-

вает выйти вовремя на сцену, и пьеса без его участия разыгрывается ужасно изуродованной. И вдруг он вспомнил.

А вспомнив, огляделся в комнате и облегченно вздохнул. Портфель по-прежнему был здесь, в углу, прислоненный к стене, никто его не унес. Он подошел к нему и открыл. Все было на месте: тетрадь по математике, тетрадь по чешскому, учебник природоведения. Он вынул тетрадь по чешскому, раскрыл ее на последней странице и снова вздохнул: список, который требовал от него мужчина в кепке, был здесь аккуратно продублирован мелким, разборчивым почерком, и Ксавер вновь порадовался своей идее замаскировать столь важный документ в школьной тетради, которая начиналась упражнением по стилистике на тему: *Как пришла к нам весна.*

"Будь любезен, скажи, что ты там ищешь?"

"Ничего", – ответил Ксавер.

"Мне нужна твоя помощь. Ты же видишь, что творится. Ходят из дома в дом, сажают и казнят".

"Не бойся, – улыбнулся он, – никаких казней не будет!"

"Откуда тебе знать!" – возразила женщина.

Откуда он мог знать? Он знал это даже слишком хорошо: список всех врагов народа, которых должны были казнить в первый день революции, был у него в тетради; стало быть, казни и вправду совершаться не могут. Впрочем, его вовсе не занимала тревога красивой женщины; он слышал стрельбу, видел парней, охранявших мост, и думал лишь о том, что день, который он с таким вдохновением готовил со своими соратниками по борьбе, наконец наступил, но он проспал его; что он не здесь, а в иной комнате и в ином сне.

Он хотел выбежать на улицу, хотел тотчас представиться этим парням в рабочих спецовках, хотел вручить список, которого нет ни у кого, кроме него, а без этого списка революция слепа, ибо не знает, кого сажать и расстреливать. А потом он понял, что это невозможно: ему не известен пароль, установленный на сегодня, он давно объявлен предателем, и никто ему не поверит. Он в иной жизни, в иной истории и от этой жизни не в силах спасти ту, другую, в которой его больше нет.

"Что с тобой?" – в тревоге добивалась от него женщина.

И Ксавер подумал: если он не может спасти ту утраченную жизнь, то обязан сделать великой эту, проживаемую сейчас. Он оглядел красивую, пышную женщину, зная в эту минуту, что должен покинуть ее, ибо жизнь – там, снаружи, за окном, откуда доносится стрельба, словно соловьиные рулады.

"Куда ты хочешь идти?" – воскликнула женщина.

Улыбнувшись, Ксавер указал на окно.

"Ты обещал взять меня с собой!"

"Это было давно".

"Ты хочешь меня предать?"

Она опустилась перед ним на колени и обняла его ноги.

Он смотрел на нее, сознавая, как она прекрасна и как горько с ней расставаться. Но мир за окном был еще прекрасней. И если ради него он покинет любимую женщину, этот мир станет еще дороже на цену любви, которую он предаст.

"Ты красивая, – говорил он ей, – но я должен тебя предать". Он вырвался из ее объятий и шагнул к окну.

От переводчика

"Ксавер" — самостоятельная вставная новелла романа Милана Кундеры "Жизнь не здесь". А сам Ксавер — плод фантазии поэта Яромила, герой его мечтаний и его "невоплощенных возможностей". Если Яромил неловок и робок с женщинами, неудачлив в любви и хотя и принимает революцию, но при этом вынужден наступить "на горло собственной песне", то Ксавер смел, любим женщинами и решительно шагает в ногу с революцией. Яромил сетует на то, что человеку дано прожить всего лишь одну жизнь, и Ксавер, его alter ego, проживает в своих снах несколько жизней. Яромил погружает своего двойника в непрерывную, бесконечную череду сновидений, но в мире этих снов и фантазий зеркально отражается игра мотивов из реального мира: мотив незрелой юности, мотив жертвенной любви и предательства, мотив жизни и смерти во имя миража революции...

И несколько слов о судьбе этого (второго после "Шутки") романа: Кундера начинает его писать в 1968 году, будучи активным участником "Пражской весны", и кончает в 1970-м, когда перед ним вырастает глухая стена молчания и запрета: ни о каком издании романа на родине уже не может быть и речи. В 1973 году (с последующими переизданиями) он выходит во французском переводе в парижском издательстве "Галлимар", а чешский оригинал увидел свет лишь в 1979 году в торонтском издательстве Sixty-Eight Publishers, основанном для опальных чешских писателей Йозефом Шкворецким, спасшим тем самым шедевры чешской литературы, обреченные на забвение. Роман по воле автора и поныне не издан на его родине. Пожелаем же ему успеха у читателей России!

Дидье ван Ковелер
Клонировать Христа?

Перевод с французского Дмитрия Баюка

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Апостол Павел.
Послание к Евреям. 11:1

Церковь существует на земле для того, чтобы защищать человека от Божьего слова.

Марсель Эме. *Клерамбар*

Голгофа в Эссонне

В парижском пригороде молодой человек в джеллабе стоит на тротуаре, сгибаясь под тяжестью креста.

— Не стой ты как памятник, — раздается над ним чей-то голос. — Нагнись немного. Легче будет идти.

— Хорошо, папа, — отвечает молодой человек, с натугой пытаясь изменить положение тела.

Прохожие оборачиваются, с сомнением смотрят на покачивающийся силуэт человека, который с трудом движется зигзагами между домиками, и, решив, что присутствуют на каком-то представлении, вытаскивают фотоаппараты.

А свесившийся с балкона грузный бородач продолжает режиссировать сцену Крестного пути. Был июнь 1997 года, над Эссонном светило летнее веселое солнце. Сотрудник Национального центра научных исследований, специалист по ядерной физике и распознаванию образов профессор Андре Марион использовал своего двадцатилетнего сына в научных целях. Поскольку фигура Рудольфа размерами вполне соответствовала фигуре страдальца, юноша поддался на уговоры отца и согласился участвовать в "следственном эксперименте". Цель эксперимента — выяснить, насколько смещается джеллаба по отношению к оси симметрии туловища.

Для чего все это? Дело в том, что на протяжении многих лет профессор Марион работает над проблемой Аржантёйского нешвенного хитона — домотканой рубахи, в которой, согласно преданию, Иисус Христос шел на Голгофу. Пользуясь уникальным оборудованием из Оптического института расположенного под Парижем наукограда Орсе

© Éditions Albin Michel, S. A., Paris, 2005
© Дмитрий Баюк. Перевод, 2007

(микроденситометр, цифровые фотоаппараты с ПЗС-матрицами, сканеры, позволяющие оцифровывать и обрабатывать образы различных объектов в инфракрасных лучах), Марион составил подробное описание всех пятен крови, сохранившихся на реликвии. После того как стала ясна карта следов на спине, оставленных кнутом во время бичевания, он смог обозначить те места, где раны вновь открылись под тяжестью креста. Попутно профессору – между прочим, агностику по убеждениям – стало ясно, что, вопреки принятому в I веке н. э. обычаю, Иисус, по всей вероятности, нес *крест целиком*, а не только перекладину.

Чтобы проверить эту гипотезу, физик просил своего сына поносить сначала перекладину, а потом и весь крест. Изучение различных складок, оставленных на джеллабе в том и другом случае, позволило создать с помощью компьютера модель геометрических деформаций, учитывая "все положения, которые могла принимать туника на спине человека, когда тот шел, сгибаясь под тяжестью креста или перекладины и покачиваясь от изнеможения после перенесенных страданий"[1]. Вполне понятно, сколь важную роль отводил Андре Марион сыну в своих работах.

Следующий этап исследования заключался в том, чтобы сравнить пятна крови на Аржантёйском хитоне и Туринской плащанице, в которой распятый, согласно преданию, был погребен. Наиболее значительные раны располагались десятью зонами, и именно в них Андре Марион обнаружил девять точных совпадений – это стало веским доводом в пользу признания подлинности обеих реликвий. Вдобавок, изучение пыльцы, обнаруженной в ткани каждой из них, анализ крови, а также исследование ДНК, о чем будет говориться ниже, дали результаты, которые кажутся достаточно надежными, чтобы утверждать: *и то и другое принадлежало одному и тому же человеку.*

Но вот загвоздка: датировка, произведенная с помощью радиоуглеродного метода, противоречит этому выводу. Она заставляет отнести время изготовления ткани Туринской плащаницы примерно к 1300 году, а Аржантёйского хитона – к 600-му. Стало быть, один и тот же человек должен был бы истекать кровью сначала в хитоне и лишь семьсот лет спустя – в плащанице. И это, как станет видно дальше, не единственное чудо в данной истории.

Иными словами, наиболее могущественное средство прояснения необъяснимых явлений опровергает свидетельства, выводы специалистов и комментаторов. А в декабре 2004 года, перечеркивая последние открытия светил биологической науки, вице-мэр Аржантёя сделал заявление, поддержанное бывшим кюре местной базилики: "Мы не нашли никаких пятен крови на хитоне. Все это не более чем пятна красителя". Одновременно в прессе обсуждалось "Евангелие от Джимми"[2], где я пытаюсь вообразить возможные последствия развития яйцеклетки, оплодотворенной при помощи ДНК из соскоба с Туринской плащаницы, и из окружения Иоанна Павла II стали раздаваться голоса, призывающие пересмотреть научные основания исследований человеческой крови с этой самой плащаницы, проводившихся после 1978 года. И каждый, словно приговаривая "Сезам, закройся", с удовлетворением прикрывал-

1. A. Marion. Jésus et la Science. Paris: Presses de la Renaissance, 2000. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.*)
2. Роман Дидье ван Ковелера "Евангелие от Джимми" увидел свет в 2004 г., русский перевод выйдет в издательстве "Флюид/FreeFly". (*Прим. перев.*)

ся результатами углеродного анализа, переводившего исследованные реликвии в разряд обычных подделок – довольно обычных и сфабрикованных значительно позже времени смерти Христа[1].

Радость, с какой обладатели реликвий реагировали на признание их фальшивкой, не может не удивлять. В чем же ее причины?

В 1996 году родилась овечка Долли, выведенная путем клонирования из взрослых клеток. Через два года после овечки досталось, с позволения сказать, и пастухам. Во время встречи с папой Иоанном Павлом II микробиолог университета Сан-Антонио в Техасе Леонсио Гарса-Вальдес сказал ему: "Ваше Святейшество, мне выпала честь провести молекулярное клонирование трех генов из крови Христа".

Именитый исследователь, сумевший заполучить нить плащаницы благодаря невероятным маневрам, которые мы поймем, изучив ватиканскую закулисную жизнь, утверждал, что на этом его рискованные генетические манипуляции заканчиваются. Но он сказал достаточно, чтобы Его Святейшество сразу насторожился и осознал, какую опасность представляет американское "мессианское лобби", рыщущее по Интернету в поисках крови Спасителя за любую цену и жаждущее его полного клонирования. Калифорнийская секта "В ожидании Второго Пришествия" (Second Coming Project) прямо заявляла на своем сайте в Интернете: "Если мы сами не возьмем быка за рога, христиане будут ждать возвращения Мессии до скончания века. Второе Пришествие Христа случится потому, что *мы собираемся заставить его вернуться*".

Нетрудно представить себе, как реагировали на складывающуюся ситуацию хозяева Ватикана, конечно уже предупрежденные своими секретными службами – недаром их числят среди лучших в мире. В самом деле, есть ли более верный способ защитить гемоглобин распятого, чем в одночасье поставить под сомнение честность и компетентность всех биологов, которые засвидетельствовали его присутствие на реликвиях? Объявить, что красть нечего, – вероятно, лучший способ предупредить кражу.

Вдобавок ко всему, в том же самом 1998 году, когда вся пресса настойчиво призывала церковь к осмотрительности по отношению к этой "Туринской иконе", которую многие прелаты объявляли средневековой подделкой, доктор Андре Марион опубликовал в одном научном журнале[2] свое открытие, сделанное с помощью оборудования Оптического института в Орсе: Туринская плащаница *подписана*. На ней обнаружились следы надписей, сделанных по-гречески и на латыни, которые палеографы относят ко времени не позже V века н. э. и которые с большей или меньшей достоверностью образуют фразы и слова вроде "Ты пойдешь на смерть", "Назарянин", "Иисус", "тень лица" или еще "принести жертву". Все эти буквы нанесены на ткань тем же самым способом, каким на нее нанесен и образ всего истерзанного тела: окисление некоторых нитей на глубину меньше толщины человеческого волоса. Феномен, который не удалось воспроизвести ни в одной лаборатории, применяя самое современное оборудование.

1. A. Marion, A.-L. Courage. Nouvelles découvertes sur le Suaire de Turin. Paris: Albin Michel, 1997.
2. Optical engineering. 1998. Vol. 37, n° 8.

Понятно, что в сложившихся обстоятельствах Туринская плащаница, заботливо дискредитированная, была надежно спрятана в глухом ящике и стала недоступна ни для верующих, ни для сектантов, ни для любопытствующей науки.

Но генетиков не так-то просто обескуражить. Те, для кого предполагаемая кровь Христа стала отныне объектом бесконечного вожделения, умеют находить способы для преодоления возникающих трудностей, и дальше мы в этом убедимся. Подлинны они или нет, но Туринская плащаница, Аржантёйский хитон и еще одна реликвия — саван, или сударium, из Овьедо стали главным залогом многих сражений, более или менее тайных, между теми, кто рассматривает их как объекты поклонения, и теми, для кого они не более чем материальные свидетельства, подлежащие исследованию.

В сентябре 2004 года я встречался с продюсером Филиппом Альфонси и режиссером Ивом Буассе. Заинтригованные основным посылом романа "Евангелие от Джимми", они хотели узнать, что в нем придумано, а что нет. И я им рассказал все, что тогда знал о научных данных, собранных в связи с некоторыми предметами, которые было бы уместно назвать "страстны́ми покровами". Филипп Альфонси — человек, восприимчивый к тайнам, а Ив Буассе — весельчак и атеист; что же касается меня, то я свободен — моя вера не поддается классификациям. Но нас, всех троих, объединяло желание постигнуть механизмы манипулирования сознанием и принять вызов неизведанного, поэтому мы решили снять на эту тему фильм для серии "Расследование по понедельникам" на телеканале "Канал-плюс".

В фильме "Собираются ли они клонировать Христа?" мы на протяжении пятидесяти двух минут исследуем различные аспекты явления, которое оборачивается то величайшей на свете загадкой, то самой изящной мистификацией в истории. Настоящая книга — продолжение и своеобразный итог работы над фильмом; в ней я пытаюсь проследить, куда ведут открытия, сделанные до начала съемок, во время них и уже после.

Следует ли искать причины тех явлений, с которыми мы столкнулись, в сверхъестественной силе, действующей на благо людям, или же мы имеем дело с заговором, задуманным и осуществляемым с позиций абсолютного макиавеллизма? Исследование, начатое всего лишь с целью сбора материала для романа, на редкость последовательно вело меня к реальности, уводя от иррационального.

Настало время Откровению осуществиться, говорят сегодня многие верующие. Пусть так — но только какому?

Три части головоломки

Прежде чем говорить о причинах, побудивших некоторых ученых ввязаться в споры о бичевании, распятии и якобы имевшей место дематериализации тела Иисуса, стоит, наверное, напомнить профанам — каким когда-то был и я сам — кое-какие ключевые моменты его истории.

Никто не возьмется утверждать, что кроме четырех Евангелий в нашем распоряжении есть много свидетельств реального существования

Иисуса из Назарета. О нем писал еврейский историк Иосиф Флавий (37 – ок. 100 н. э.):

Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки" (Древн., XVIII, 3, 3).

Вот практически и все. К тому же некоторые современные историки сомневаются в подлинности этого фрагмента, якобы "обнаруженного" христианскими переписчиками. Если говорить о римских историках, то и Плиний Младший, и Тацит, и Светоний ограничиваются лишь презрительно-лаконичными упоминаниями о сектанте-бунтовщике, поднявшем восстание против Империи. Но о его учении, о многочисленных толпах адептов, о приписываемых ему чудесных исцелениях, о невероятной стойкости, с которой он противостоял своим истязателям, – полное молчание. Если задуматься о смуте, случившейся в Палестине по вине этого возмутителя спокойствия и описанной в Новом Завете, есть от чего прийти в недоумение. Либо все Евангелия – нагромождение выдумок и орудие пропаганды, которая оказалась на редкость успешной благодаря красноречию первых христиан и позволила из ничего создать новую религию, впоследствии потрясшую весь мир, либо при жизни Христа – а еще больше после его смерти – проводилась непрерывная работа и безжалостная цензура без устали вымарывала отовсюду любые упоминания о реальном земном существовании "Сына Божьего".

В контексте этой дилеммы материальные свидетельства, именуемые "страстны́ми покровами", обретают совершенно особое значение: если их подлинность будет доказана, то они окажутся единственными реальными, основанными на методах современной науки доказательствами того, что за Новым Заветом стоит нечто большее, чем просто фантазии.

Скажу прямо: я не ставил перед собой цели ни доказывать что бы то ни было христианам, ни обращать в христианство всех прочих; я хотел всего лишь разоблачить мистификации и указать на факты намеренной лжи, замаскированные как под науку, так и под религию; а кроме того, я хотел рассказать о последних открытиях, о которых узнал, чтобы предоставить возможность каждому вынести собственное суждение со знанием дела. Меня – инстинктивного мистика, скептика – если говорить о методе, – выросшего в дружбе с иудеями и мусульманами, в шестнадцатилетнем возрасте обратившегося в буддизм из любви к китаянке, разделяющего большинство христианских ценностей, но прекрасно отдающего себе отчет в нелепостях, на которых христианство было построено, проживающего жизнь в добром согласии с грехом, иконоборца по натуре и бескомпромиссного врага всякой групповщины, – меня довольно трудно заподозрить в склонности к прозелитизму. Я полностью разделяю позицию, сформулированную Анри Тенком, обозревателем

отдела религии газеты "Монд": "Вера для мистика — прежде всего чувство причастности к таинству. Она не может возникнуть как итог относительно непротиворечивых научных данных".

И все же это вовсе не повод отвергать от имени веры научные открытия, подтверждающие существование таинства, подобно тому, что регулярно проделывают религиозные власти на протяжении многих веков. Процитируем, к слову, бессмертную речь о. Ксавье Леон-Дюфура, произнесенную в 1971 году[1]: "Пустая гробница — еще не основание, даже косвенное, для веры в Воскресение. <...> Обращать внимание слушателей на отсутствие Тела Христа в гробнице или на Его сложенные облачения — значит отвлекать от Его Вести, которую они должны усвоить, и сводить Евангелие к анекдоту". Вот так! (*Занавес.*) Когда есть богословы такого калибра, атеистам незачем выходить на арену. И настоящий мистик может не без тревоги задуматься над фразой Марселя Эме: "Церковь существует на земле для того, чтобы защищать человека от Божьего слова".

Но вернемся к нашим реликвиям. Среди большого количества различных свидетельств Страстей Господних, свидетельств, возникавших то тут, то там на протяжении последних двух тысячелетий, — например, такого количества фрагментов "истинного креста", что хватило бы на небольшое шале, а также всяческих гвоздей, терновых венцов и одеяний, — обратим внимание на три предмета, заслуженно подвергнутых самому пристальному изучению: это Туринская плащаница, сударium из Овьедо и Аржантёйский нешвенный хитон. И посмотрим на них как на три детали одной головоломки, сложить которую наука, несмотря на отчаянное сопротивление церкви, уже вот-вот сможет.

Начнем с плащаницы — по-французски ее часто называют "Святым Платом" (Saint Suaire), что неверно, так как слово "плат" подразумевает кусок ткани, которым, по иудейским традициям первых веков, укрывают только лицо умершего. Плащаница же представляет собой кусок полотна размером четыре метра тридцать шесть сантиметров на метр десять сантиметров, она выткана "елочкой" и сложена поперек, так чтобы одна ее половина укрывала лежащее на другой половине тело. На этих половинах имеются, во-первых, кровавые отпечатки ран на груди и спине мужчины, подвергнутого бичеванию и распятию, бок которого был проколот копьем, голова изранена шипами, а во-вторых, отпечаток тела, спереди и сзади. Причем отпечаток негативный — об этом стало известно после того, как адвокат Секондо Пиа сфотографировал его в 1898 году. Вдобавок, это изображение трехмерно, что выяснили исследователи НАСА и французский физик Ив Сайяр: зафиксировав интенсивность в некой точке, можно полностью восстановить весь рельеф.

Но вот где начинаются проблемы: этот самый отпечаток образован окислением целлюлозы, поверхностным и монохромным, на глубину в сорок микрометров[2]. Результаты, полученные в двух центрах атомных исследований — в Лос-Аламосе и в Жиф-сюр-Иветте, говорят, что для подобной печати по ткани нужен короткий мощный электрический

1. X. Léon-Dufour. Résurrection de Jésus et message pascal. Paris: Le Seuil, 1971.
2. 1 мкм = 10^{-6} м (то же, что и микрон). (*Прим. перев.*)

разряд, получаемый при разности потенциалов в миллионы вольт и продолжительностью в миллиардные доли секунды. Те, кто доказывает, что мы имеем дело со средневековой подделкой, предпочитают говорить либо о следах пота, либо об окрашивании ткани ржавчиной, либо о потертостях на ткани, в которую заворачивалась объемная фигура, либо о фотографии, изготовленной в XIV веке. Впрочем, к перечисленным вариантам я еще вернусь позже. Несомненно одно: если даже отмести все эти дурацкие гипотезы, мы погружаемся в пучину абсурда. Стоит допустить, что в ткань было завернуто мертвое тело, — и всё! О чем и говорил обиняками о. Леон-Дюфур. Дело в том, что образ отпечатался безо всяких деформаций, как бы *на плоскости* – без тела внутри плащаницы. Но анализ следов крови показывает, что тело находилось внутри плащаницы не менее тридцати часов — но и не больше, так как на ткани не осталось никаких следов разложения. А "вытащить" тело оттуда так, чтобы не повредить ни волокон льна, ни застывших сгустков крови, уж и вовсе невозможно.

А если кровь кто-то добавил позже кисточкой? Невероятно: обязательно остались бы разводы. Это подтвердили все медики и гематологи, от Пьера Барбе в 30-е годы до Пьера Мера уже в наши дни, — все указывают на полное соответствие цвета крови и серозной жидкости законам анатомии. Так, по словам Пьера Мера — руководителя Международного центра по исследованию Туринской плащаницы (CIELT) выходит, что следы крови на льняной ткани оставил труп, необъяснимым образом исчезнувший оттуда в тот самый момент, когда на поверхности сплетенных нитей неизвестно как возник его негативный отпечаток. И еще: чей же это был труп?

Первое формальное упоминание о Туринской плащанице в анналах относится к 1357 году. Она тогда находилась во Франции, в местечке Лирей в Шампани. Одно из трех. Либо ее создал какой-то гениальный средневековый самородок, который по неизвестной причине взял и исхлестал плетьми тело какого-то неизвестного человека, водрузил ему на голову терновый венец, потом распял, пронзил труп копьем и уложил на кусок льна, предварительно обсыпанный пыльцой растений, растущих в Святой Земле. Либо, если забыть на время о радиоуглеродном методе и поверить всем прочим указаниям на возраст ткани[1], относящим его к началу нашей эры, то надо предположить, что в него был завернут один из тысяч анонимных палестинцев, распятых во время римской оккупации. Либо, поскольку больше нигде не упоминается несчастный,

1. Среди оснований датировки началом нашей эры — размеры ткани, с большой точностью кратные иудейскому локтю (единице измерения, используемой во времена Иисуса Христа), структура льна и способ тканья (характерные для Сирии первых веков нашей эры), следы хлопка, типичного для Ближнего Востока, метод отбеливания тканей после тканья (почти не использовавшийся после VIII века нашей эры), боковые швы того же типа, что были обнаружены на тканях из Масады (разрушенной римлянами в 74 году н. э.)... Кроме того, сильное увеличение века на образе позволило различить там отпечаток монеты, какие чеканились при Понтии Пилате и находились в обращении между 30 и 32 годом. Это обнаружил о. Франциск Филас из университета Игнатия Лойолы в Чикаго, и поначалу подлинность этого отпечатка отрицалась нумизматами, поскольку в словах "кесарь Тиберий" была ошибка: вместо греческого "к" слово "кесарь" было написано через латинское "с". Однако в 1981 году во время раскопок археологи нашли еще несколько монет с такой же ошибкой. Наличие монет, которые закрывали бы глаза покойного, оспаривалось Андре Марионом, но потом было убедительно доказано Брюно Боннет-Эмаром в его "Le Saint Suaire, signe de contradition" (CRC, 1990).

которого бы пытали при помощи тернового венца, признать, что речь в данном случае идет об Иисусе из Назарета.

Но, остановившись на двух последних гипотезах, надо будет сразу ответить на вопрос: а где же была плащаница на протяжении тринадцати столетий? На одно из мест с достоверностью указывает кодекс Дёрдя Праи. В 1150 году в Константинополе пребывало венгерское посольство. Император Мануил I Комнин собирался отдавать свою дочь за принца Белу Венгерского; в знак особого доверия к гостям он показал императорское сокровище, тайно хранившееся в часовне. Историки называют его *syndon*, что в переводе с греческого означает "плащаница". "Погребальная плащаница Христа, – уточняется в описании сокровища, – всегда источает аромат мирра, не поддаваясь тлению, потому что в нее было завернуто тело Умершего, перенесшего Страсти".

Миниатюрист из венгерской делегации внимательно изучил реликвию и со всем тщанием воспроизвел ее в сцене "Положение во гроб", украшающей кодекс. На рукописи, точно датируемой[1] и хранящейся сейчас в Национальной библиотеке Будапешта, ясно различимы, кроме характерного плетения нитей утка и основы "елочкой", четыре обгоревшие точки, расположенные буквой "L". Эти четыре точки, прожженные каплями камеди (то ли случайно сорвавшимися с кадила, то ли, как утверждают некоторые, направленными туда специально ради того, чтобы "подписать" плащаницу инициалом слова *Lux*, имеющимся на пасхальных свечах), видны сегодня так же отчетливо, как они были видны в 1150 году. То есть специально для тех, кто продолжает цепляться за датировку с помощью радиоуглеродного метода, еще один факт, явно указывающий на существование плащаницы за сто лет до того, как она якобы была соткана (в 1260–1390 годах).

Есть немало и других исторических свидетельств, предшествующих XII веку, только они не так надежны. В апокрифических Евангелиях (от Петра, Никодима, Фомы, Евангелиях евреев) есть отсутствующие в канонических текстах рассказы о плащанице, сохраненной Иосифом Аримафейским, который нашел ее в пустой гробнице, и о том, как апостолы ее прятали – по мнению некоторых толкователей, в Кумранской долине. А потом, начиная с 131 года, стали поговаривать о хранимом в Эдессе (ныне Урфа, Турция) платке с "отпечатком Тела Христова". Город становится важным центром паломничества, известным на весь христианский Восток. Потом следует ряд военных вторжений, полотно прячут, и его следы теряются; следующие упоминания о нем относятся только к 525 году, когда Эдесса была восстановлена после катастрофического наводнения. Это время отмечено разительной переменой в иконографии: Иисус, которого до тех пор изображали либо наподобие греческого бога с белокурыми локонами, либо как пухлого херувима, внезапно приобретает семитские черты и черную бороду (облик семита-бородача); по выражению профессора Поля Виньона, появляется двадцать поводов утверждать, что этот облик списан с образа на плащанице[2].

1. Кодекс Праи содержит самый древний известный текст, написанный на венгерском языке. Он содержит также музыкальную партитуру, записанную невмами, которая позволяет его точно датировать.
2. P. Vignon. Le Saint Suaire de Turin. Paris: Masson, 1938.

При упоминании в текстах этот образ именуется *мандильоном*, что в переводе с греческого означает "плат". Но подождем до VII века, и тогда Смирра, главный медик императора, пояснит в одном из своих сочинений, что *мандильон* — вовсе не "плат", а "саван, на котором отпечаталось не только лицо, но и все тело Иисуса". Это толкование позволяет понять сходное место у египетского историка Феофилакта: во время кампании против персов (587—590) "плат был развернут и показан воинам, дабы придать им смелости".

Первым взялся доказывать, что *мандильон* — это и есть плащаница, только сложенная вдвое, а потом еще вчетверо, англичанин Ян Вильсон[1]; его мнение, что сложенную таким образом плащаницу убирали в ларец, позволяющий увидеть только лик, до сих пор наталкивается на активное сопротивление, несмотря на веские доводы в пользу такой версии. Так, лик с *мандильона*, воспроизведенный на монетах Юстиниана II (685—711), в точности повторяет лицо на плащанице.

Однако да будет мне позволено несколько сбавить в этом месте тон: поскольку средства научного исследования в то время были весьма ограничены, ничто не мешает думать, что *мандильон* был всего лишь копией плащаницы. Остается заметить, что в 2002 году, когда на плащанице проводились реставрационные работы, обнаружились следы давнего ее складывания, так что на виду оставалось только лицо страждущего[2]. В определенный период своего существования плащаница очень хорошо соответствовала описаниям *мандильона* в различных документах.

Заметим по этому поводу, что, если апостолы и в самом деле забрали из гробницы погребальный покров Христа, дабы сохранить его, демонстрировать его как таковой они не могли, поскольку иудейский закон запрещал поклонение предмету, который касался мертвого тела, поэтому им следовало выбираться из Иерусалима, сложив плащаницу так, чтобы оставалась видна только тень лика, которую они выдавали за произведение художника. Если эта гипотеза верна, то сами апостолы и были первыми фальсификаторами, подделывавшими плащаницу, — только в обратном смысле.

В 639 году Эдессу захватили арабы. Несмотря на свое противостояние христианской религии, они признали культ образа того, кого считали не просто пророком ("Ведь Мессия, Иисус, сын Марии, — только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марии, и дух Его", — говорится в четвертой суре Корана). Растущая слава реликвии достигла Константинополя, где императорам — одному за другим — хотелось завладеть этим "единственным подлинным изображением Христа", которое бы сразу придало законность их претензиям на власть. Они смогли это сделать силой в 944 году.

Среди свидетельств, что *мандильон* действительно прибыл в Константинополь, иллюстрация из мадридской рукописи "Истории византийских императоров" Иоанна Скилицы, хранящейся в Испанской национальной библиотеке[3]. На ней гонец вручает императору Константину[4] сложенное полотно, на котором виднеется бородатая го-

1. I. Wilson. The Turin Shroud. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1978.
2. Revue internationale du Linceul de Turin, n° 25. Paris: CIELT, 2003.
3. M. G. Siliato. Contre-enquête sur le Saint Suaire. Paris: Plon; Desclée de Brouwer, 1998.
4. Константин VII Порфирогенет — византийский император, вступивший на престол в 913 г. (*Прим. перев.*)

лова. Гонец на рукописи — это архидиакон и референдарий Святой Софии Григорий. Именно он доставил знаменитую реликвию из Эдессы. И именно он оставил нам первое полное "освидетельствование" ее — в проповеди, обнаруженной совсем недавно в архивах Библиотеки Ватикана. В частности, он говорит, что на этом полотне "лик отпечатался из-за испарины смерти на лице Спасителя — и по воле Бога. А сгустки крови из его бока украсили отпечаток"[1].

И хотя епископ X века не располагал всеми нашими техническими средствами, позволяющими отличить следы крови от краски художника, его слова обладают тем достоинством, что впервые сообщают нам о ранах на теле, а именно о ране в боку, проколотом копьем.

Эта реликвия остается главным сокровищем императоров до 1204 года. Но исчезает во время безжалостного разграбления города крестоносцами, христианами Запада, обезумевшими от ненависти и зависти к христианам Востока, жившим в невообразимой роскоши, как казалось тем, кто выбрался из убогих дворцов, окруженных жалкими крепостными стенами.

Кому из них досталась плащаница, описанная архидиаконом Григорием? Это тайна. Некоторые историки утверждают, что она попала в руки афинских герцогов. Другие, и среди них Ян Вильсон, полагают, что плащаницей завладели тамплиеры — главные финансисты Четвертого крестового похода. Захватив, они тайно переправили ее в свою сокровищницу в Сен-Жан-д'Акр. После падения этой крепости их сокровища были пересланы в Сидон, а потом на Кипр.

В 1306 году Великий магистр ордена Жак де Моле переправил ее во Францию. И тут начали распространяться слухи, что тамплиеры "поклоняются таинственной бородатой голове, идолу с рыжей бородой, которого называют Спасителем". Этим обвинением король Филипп Красивый, движимый завистью к их могуществу и богатству, воспользуется как поводом, чтобы всех их арестовать 13 октября следующего года в ходе невероятной операции, проведенной по всему королевству. Архивы сохранили для нас протоколы допросов, в ходе которых следователи (инквизиторы) хотели выведать у тамплиеров тайну этой "головы". "Я видел ее на семи капитулах, — признался под пыткой брат Рауль де Жизи. — Когда ее показывали, все присутствующие бросались на землю, снимали капюшоны и ей поклонялись".

Как бы то ни было, неоспоримые документы подтверждают присутствие плащаницы в Лирее не позднее 1357 года, и к этому времени она уже являлась собственностью Жофруа де Шарни. Как же она к нему попала? На этот счет имеются две противоположные гипотезы: или он получил ее в наследство через свою жену Жанну (родственницу афинских герцогов), или она ему досталась от человека с очень похожим именем, которого некоторые полагают его дядей (объясняя расхождение в написании имен неустоявшейся орфографией), — Жофруа де Шарнея, тамплиера, сожженного Филиппом Красивым одновременно с Жаком де Моле.

Английский историк Ноэль Каррер-Бригс утверждает, к примеру, что Святой Грааль — его сегодня принято отождествлять с чашей, в ко-

1. Цит. по французскому переводу А.-М. Дюбарля из кн.: Histoire ancienne du Linceul de Turin jusqu'au XIIe siècle. Paris: ŒIL, 1985.

торую была собрана кровь Христа, — на самом-то деле представляет собой не что иное, как ковчежец, где хранили плащаницу. В поддержку этой теории он напоминает, что во многих рассказах о Граале, в том числе в "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбаха, тамплиеров весьма выразительно именуют хранителями крови Христовой.

В 1944 году в английском селении Темплком графства Сомерсет на одном доме бомбой снесло крышу. И тогда обнаружилась спрятанная под коньком крышка от старинного ларца, украшенная портретом бородатого мужчины. Черты его лица точь-в-точь совпадали с лицом на византийских копиях *мандильона.* Эта крышка, датируемая с помощью радиоуглеродного метода периодом между 1298 и 1310 годом, принадлежала, по всей видимости, тамплиерам, устроившим в Темплкаме самый главный из своих командорств в Нормандии, своего рода тренировочный центр, куда собирали самых активных новых крестоносцев перед отправкой на Ближний Восток. Имя командора Нормандии было Жофруа де Шарней.

Этот портрет, на который и сейчас можно посмотреть в церкви английской деревни, следует считать сильным аргументом; правда, в эзотерических кругах с 1988 года бытует основанное на радиоуглеродной датировке мнение, что и на нем, и на Туринской плащанице изображен один и тот же человек — Жак де Моле, тамплиер, которому перед сожжением на костре пришлось по воле Филиппа Красивого пережить муки Мессии. Но давайте вспомним, что Жаку де Моле на момент смерти было семьдесят лет, а человеку, изображенному на Туринской плащанице, около тридцати, и забудем об этой гипотезе, которая стоит не больше, чем потраченные на нее чернила и чем теория некоторых католиков-интегристов, обвиняющих тех, кто проводил в 1988 году радиоуглеродные измерения, в франкмасонском заговоре, задуманном с целью заменить в коллективном бессознательном Иисуса Христа на Великого магистра ордена тамплиеров.

Вернемся к Жофруа де Шарни, который в своем лирейском фьефе построил храм, чтобы выставить там на обозрение паломников принадлежащую ему священную реликвию. Именно тогда в первый раз вспыхнула лютая ненависть католического духовенства к плащанице — чувство это будет в дальнейшем только крепнуть[1].

Епископ города Труа Пьер д'Арси объявит этому куску ткани настоящую войну, потрясая "сокрушительным" аргументом: Иисус не мог оставить на плащанице своего образа, потому что в Евангелиях об этом ничего не говорится. В послании, отправленном папе Клименту VII в 1389 году, епископ утверждает, что это якобы мученическое облачение представляет собой всего лишь чье-то художество. Более того, он заявляет, что его предшественник, достопочтенный Анри де Пуатье, разоб-

1. Вслед за скептически настроенным каноником начала XX века Улиссом Шевалье декан факультета философии Католического института Тулузы о. Жан-Мишель Мальдаме утверждает, что в наши дни "соблазн признать плащаницу подлинной многих манит в тенета", а случись отпечатку на ней быть единственным подлинным образом Иисуса, он превратился бы в преграду между Богом и тем, кто ему молится. Придавать слишком большое значение доказательству ее подлинности — все равно что "сводить все содержание веры к превращению Воскресения Христова в чудо в позитивистском смысле слова" (Le Monde, 3 juillet 1996). Это одна из причин, по которым церковь вообще продолжает квалифицировать ее как "икону", но не как "реликвию".

лачил подделку, вынудив ее автора к признанию, но не раскрыл тем не менее ни его имени, ни способа, к которому тот прибегнул, — что делать, тайна исповеди.

Эти доводы настолько ничтожны, что папа отказал епископу в его требованиях, наложил на него обет "вечного молчания" и разрешил поклонение плащанице — при условии, что ее будут показывать паломникам как "образ или копию" оригинала.

И сегодня некоторые авторы слепо следуют за бездоказательными обвинениями епископа, как, например, известный своими разоблачительными выступлениями в прессе Анри Брок[1]. Его главный аргумент: вдова Жофруа де Шарни вторично вышла замуж за дядю папы. Ну и пусть. Даже если согласиться, что подозрение в "организации семейного дела" небезосновательно, его недостаточно, чтобы подкрепить теорию о каком-то неизвестном мошеннике, который без помощи красок скопировал реликвию, существовавшую веком ранее, что подтверждается кодексом Праи. Хотя, конечно, нельзя исключить возможности, что плащаница, какой мы ее знаем сегодня, — вовсе не плащаница 1357 года. Я еще вернусь к этой гипотезе, которую почему-то до сих пор никто не изучил.

Надо сказать, что после Лирея маршрут реликвии становится совершенно очевидным всем историкам. Ее судьба коренным образом меняется благодаря женщине, о дерзости, отваге и жадности которой не устают спорить биографы, — Маргарите де Шарни, внучке Жофруа де Шарни. У нее не было детей, она была небогата и не питала никакого доверия к своей родне. Кому передать семейную ценность? Кто будет достоин обеспечивать ее сохранность? В 1443 году Маргарита забрала реликвию из храма — деревянной церкви, грозившей вот-вот развалиться, — и, взяв ее под мышку, отправилась странствовать — от Шиме до Льежа, от Макона до Женевы — в поисках подходящего пристанища. Сначала она подумывала о Габсбургах, но те проявили довольно мало интереса к предмету, ведь единственным "сертификатом соответствия", который предлагался, служила лишь булла папы римского — дальнего родственника владелицы. А потом епископ Льежа заявил о своей солидарности с епископом Труа: плащаница — дело рук художника. И тогда Маргарита, уже стареющая, но полная несгибаемой воли, продолжила поиски. На этот раз ее целью стал савойский двор.

Между тем разгневанные каноники Лирея, которым семья Маргариты доверила на сохранение плащаницу и которые поэтому считали ее своей, затеяли тяжбу, чтобы вернуть "собственное добро". Этот судебно-церковный фарс завершился только к 1453 году, когда могущественный Людовик Савойский согласился возложить на себя бремя "покровителя" плащаницы, предложенное ему Маргаритой. Имеется акт, подписанный обеими сторонами, но в нем плащаница не упоминается: Маргарита получила замок за "оказанные услуги". Что же до бедных каноников, то им пришлось удовольствоваться пятьюдесятью франками золотом из савойской казны в обмен на отказ от дальнейших притязаний. Но они отомстят Маргарите, отлучив ее от церкви.

Так у погребального облачения началась весьма бурная жизнь. Савойское герцогство не имело тогда определенной столицы, и герцог со

1. H. Broch. Le Paranormal. Paris: Points Sciences, 2001.

всем двором то и дело переезжал из замка в замок, таская за собой плащаницу. И поклонялись ей в ту пору исключительно в домашнем кругу. В первую очередь женщины из герцогского семейства испытывали совершенно особое священное чувство к реликвии, за которой закрепилась слава верного средства, способствовавшего также и чадородию, и вообще, по выражению историка Гишенона, "предохраняющего от всех напастей"[1].

Понятное дело, духовенству Шамбери не очень нравилось, что плащаницу приходится все время принимать во внимание. В конце концов они уговорили герцогиню Клодину, вдову Филиппа II Безземельного, поместить ее ради безопасности в часовню. Там-то она чуть было и не сгорела во время пожара 1532 года, устроенного, как говорили, протестантами.

Прожженное расплавленным серебром реликвария и заштопанное сестрами-клариссинками, погребальное одеяние переместилось в Ниццу и потому не досталось французским солдатам, вскоре после этого наводнившим Савойю. Но французское вторжение грозило и Ницце, поэтому плащаницу переместили в Верчелли, а когда отряды маршала де Бриссака взяли и его и когда началось разграбление города, каноник, приставленный охранять плащаницу, не знал, куда ее теперь спрятать. Тогда он обмотал эти четыре метра тридцать шесть сантиметров вокруг своего тела, перевязав веревкой и скрыв под сутаной, и, запеленутый в самую большую ценность христианского мира, пригласил маршала к обеду.

Французские офицеры кутили и опустошали винные погреба. Тучность каноника они объяснили тем, что под сутаной у него надета власяница, размеры которой соответствовали тяжести грехов. Так плащаница возвратилась в целости и сохранности в Шамбери, где и оставалась до 1578 года, после чего двинулась в Турин — новую столицу, выбранную герцогом Эммануэлем-Филибертом.

Отныне ее можно было видеть регулярно — каждый год 4 мая, хотя время от времени папы предпринимали попытку уговорить герцогов вернуть святую реликвию церкви, но задача эта стала тем более невыполнимой, когда герцоги превратились в королей Италии.

В начале Второй мировой войны Виктор Эммануэль III в обстановке исключительной секретности отправил плащаницу поездом до Монтеверджине, чтобы спрятать ее в тайном месте в горах близ Неаполя. Она оставалась спрятанной на протяжении семи лет и едва не попала в руки специального отряда, отправленного Гитлером ее разыскивать.

В 1946 году Умберто II, правивший Италией с 9 мая по 2 июня, отрекся от престола после референдума, который отдал предпочтение республиканской форме правления. Чтобы снять напряжение в среде сторонников монархии, он решил отправиться в изгнание, и новая власть не преминула воспользоваться случаем и завладеть всем его имуществом, как государственным, так и личным. Конфискации избежала единственная принадлежавшая ему вещь — плащаница. Адвокаты жаловались, что реликвия никогда не проходила как объект собственности, не числилась ни в едином акте и потому не могла законным образом быть приравнена к "имуществу", из-за чего и "не подлежала конфискации".

1. Histoire du Saint Suaire et de la Maison de Savoie. Сообщение принцессы Мари-Габриель Савойской.

27 марта 1981 года последний король Италии, у которого, по изящному выражению одного из министров от христианской демократии, "не оставалось ничего, чем он мог бы прикрыть наготу, кроме плащаницы", передал ее по завещанию Святому престолу, то есть, выражаясь формально, папе римскому как юридическому лицу.

Его дочь Мари-Габриель Савойская описывала мне сюрреалистическую картину, открывшуюся ее глазам, когда ее семья явилась торжественно вручать святую реликвию наследнику. Оказавшись в окружении почти полудюжины коронованных особ, папа Иоанн Павел II принял сложенную ткань со словами благодарности, обращенными к королевской делегации: "У меня нет средств вознаградить вас по заслугам, но я буду за вас молиться".

Так, после пяти веков непрекращающегося давления, оказываемого его предшественниками на правителей Савойи, понтифик не смог предложить в обмен на плащаницу ничего, кроме слов.

Вторая деталь головоломки – сударium из Овьедо, принадлежащий церкви Испании. Радиоуглеродный метод относит его ткань к периоду между 679 и 710 годом н. э.[1] Но об этом редко вспоминают. Дело в том, что среди сохранившихся документов есть и письмо святого Браулио, датируемое 620 годом, в котором рассказывается, как после падения Иерусалима реликвию везли через Персию в Севилью, укрыв в ковчежце из кедрового дерева – Arca santa. И уточняется: в том самом ковчежце, куда апостолы положили его после смерти Иисуса. Спасаясь от наступающих мусульман, плат привезли в Овьедо в 810 году, и место это он никогда больше не покидал, о чем свидетельствуют регулярно проводившиеся инвентарные описи.

Речь идет об окровавленном куске льняной ткани размером восемьдесят три на пятьдесят три сантиметра, он поврежден взрывом бомбы, с помощью которой его пытались уничтожить в 1934 году. Толщина нитей – та же, что у плащаницы, они так же сплетены и образуют тот же самый рисунок. Согласно традиции этим платом укрыли голову Христа после снятия с креста. Следы крови на нем изучали специалисты из разных стран. Как мне рассказывала Мари-Габриель Савойская, они были удивлены, обнаружив на поверхности плата совершенно неожиданную субстанцию – губную помаду. По всей видимости, следы помады оставила жена генерала Франко – только ей, не считая ученых, дозволялось оставаться наедине с реликвией.

Если пренебречь следами от поцелуев, то черты лица, "впитанные" тканью, совпадают с теми, что запечатлены на плащанице: нос длиной восемь сантиметров с разбитым хрящом, борода, разделенная на две пряди... При наложении этих двух кусков ткани друг на друга семьдесят пятен крови совпадают. Кровь относится к одной и той же группе IV (AB), как установил доктор Вильялаин, преподаватель судебной медицины из университета Валенсии. Что же касается сравнения генетического состава, то, как писал в 2000 году его коллега из Турина Байма-Боллоне: "Исследование полиморфизмов ДНК не позволило обнаружить никаких несоответствий, по крайней мере к настоящему моменту". Под

1. M.-C. van Oosterwyck-Gastuche. Le Radiocarbone face au Linceul de Turin. Paris: F.-X. de Guibert, 1999.

"полиморфизмами" следует понимать несоответствие маркеров, используемых в судебной медицине при идентификации личности[1]. Однако не стоит обольщаться: это еще не может служить неопровержимым доказательством того, что на обеих реликвиях кровь одного и того же человека. Зато профессор Иерусалимского университета Авиноам Данин, сравнив пыльцу и микрофлору, обнаруженные в обоих случаях, свидетельствует об идентичности их происхождения, причем в некоторых случаях речь идет о растениях, росших до VIII века. "Есть только одно место в мире, где возможно подобное сочетание, — заявил он на Международном конгрессе ботаников в Сент-Луисе, штат Миссури. — Это Иерусалим". А потом, говоря о плате, добавил: "Невероятно, чтобы два куска материи, покрытых пятнами крови идентичной формы и одной и той же группы и на которых обнаруживается пыльца одних и тех же растений, не относились бы к одному и тому же времени и не укрывали бы одно и то же человеческое тело"[2].

Напомним, что и Андре Марион, проводивший численное сравнение следов от ран на Туринской плащанице и на Аржантёйском хитоне, отмечал их идентичность. Его выводы совпадают с выводами Данина. Если они справедливы и если, как утверждают специалисты по радиоуглеродному методу, радиоизотопный анализ дает точную датировку, то остается предположить, что какой-то человек вблизи Иерусалима, живший не позднее VIII века, истекал кровью, будучи завернут в плащаницу XIV века, с лицом, прикрытым платом VIII века, и в хитоне века VII.

Продолжим, однако, наш опыт "спортивного ориентирования", ведь, как утверждает о. Франсуа Брюн, вся эта история развивалась от вехи к вехе в порядке, установленном "самим Господом нашим, пожелавшим, чтобы в означенное время наша наука позволила нам одержать верх над самим сциентизмом"[3].

Святой нешвенный хитон, принадлежащий теперь муниципалитету Аржантёя, хранится в этом местечке под Парижем вот уже двенадцать веков. Речь идет об одеянии из коричневатой шерсти без швов, которое, по преданию, Христос надел после бичевания и в котором прошел весь крестный путь. Хитон в своем нынешнем виде лишен некоторых частей, и на нем множество дыр. Длина в самой целой части не превышает метра — от горловины до низа, — а от рукавов осталось не больше чем по десять сантиметров[4].

Самый древний из упоминающих о нем текстов — Евангелие от Иоанна: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: 'разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий'. Так поступили воины". Потом последовало пятивековое молчание, пока наконец Григорий Турский не сообщил, что хитон цел и хранится в деревянном ковчежце близ Константинополя. Но его со-

1. P. Baima Bollone. 101 questions sur le Saint Suaire. Editions Saint-Augustin, 2001.
2. Сообщение "Франс-пресс" от 3 августа 1999 года, 20.37.
3. F. Brune. Dieu et Satan, le combat continue. Paris: Oxus, 2004.
4. F. Le Quéré. La Sainte Tunique d'Argenteuil. Paris: F.-X. de Guibert, 1997–2000.

временник летописец Фредегарий Схоластик утверждал: хитон находился в Яффе, откуда его в сопровождении кардинальского кортежа торжественно повезли в Иерусалим.

Как бы то ни было, императрица Ирина Константинопольская в 800 году подарила нешвенный хитон своему предполагаемому жениху Карлу Великому, а тот, в свою очередь, передал его своей дочери Теодраде, аббатисе бенедиктинского монастыря в Аржантёе. После смерти Карла в 814 году тут ежемесячно проводились знаменитые службы за упокой его души и "в память о благодеяниях, которыми он обогатил наш монастырь, и в особенности в благодарность за хитон Господа нашего Иисуса Христа", как уточняет старый Аржантёйский мартиролог.

В 850 году на монастырь напали викинги. Его обитатели бежали, прихватив реликвию с собой, как утверждают одни историки, а может быть, спрятали ее прямо на месте, как утверждают другие. Аббатство восстановили в 1003 году, но о хитоне никто не вспоминал до 1129-го. Последней настоятельницей монастыря была известная Элоиза, однако из-за ее злосчастной связи с Абеляром кто-то, видимо, посчитал, что она недостаточно ревностно блюдет заветы святого Бенедикта, и вместо бенедиктинок там поселились бенедиктинцы. Именно они, как следует из папской буллы 1156 года, вернули хитон на место. Поклонение ему набирало силу, и в 1544 году Франциск I распорядился обнести аббатство крепостной стеной, чтобы лучше защищать бесценную реликвию. Все наиболее важные персоны, от Генриха III, Людовика XIII и Марии Медичи до Анны Австрийской, — а в промежутке и сам Ришелье, — приезжали в Аржантёй ей поклониться.

Но во время Великой французской революции судьба нешвенного хитона становится просто гротескной. Сознавая, что имущество монастыря будет непременно конфисковано, кюре Озе для начала перевез хитон в свою приходскую церковь, и обдумывая, как спасти реликвию от революционеров, принял исключительно рок-н-ролльное решение, он разрезал ее на куски. Прежде чем раздать их по одному заслуживающим наибольшего доверия людям, свою долю он зарыл у себя в саду. Выйдя из тюрьмы в 1793 году, он поспешил домой и откопал эту часть хитона, а после обратился к "доверенным лицам", дабы собрать все прочие части. Нетрудно догадаться, что на призыв откликнулись не все.

Из утерянных частей две были недавно обнаружены, их подлинность установили в 2004 году Андре Марион, с помощью оптических методов, и Софи Дерозье — специалистка по античным тканям. Эти части хранятся в аббатстве Лонгпон-сюр-Орж, которое, подчиняясь своему епископу, не имеет, разумеется, ни малейшего желания возвращать их для латания хитона. К слову сказать, этим хитоном, после его восстановления, стали пользоваться, кажется, все на свете. Ну хотя бы папа Пий IX, который в 1854 году распорядился отрезать от него еще одну полоску, чтобы украсить ею свои апартаменты в Ватикане (предложив в обмен лично освященную свечу), или неизвестные воры, стащившие его в 1983 году — они добровольно вернули хитон двумя месяцами позже с условием, что его чаще будут показывать верующим; или, наконец, немыслимое "заимствование" хитона, когда замечательная компания: супрефект, вице-мэр, чиновник, ответственный за охрану исторических памятников, специалистка по тканям, два эксперта по радиоуглеродному методу и кюре — тайно, под покровом темноты, перевезли хи-

тон в дом супрефекта, чтобы там отрезать от него еще несколько небольших кусочков[1].

Кому-то, возможно, покажется, что это придуманная мною для одного из новых романов история, но нет, ничего не придумано! Участники сами обо всем рассказали семь месяцев спустя в газетах: "Паризьен" от 7 и 8 декабря 2004 года, "Эко режиональ" и "Газетт дю Валь-д'Уаз" от 8 декабря того же года.

Если коротко, супрефект Жан-Пьер Морис, страстный почитатель хитона (он надеялся с его помощью избавиться от аллергии), ночью 6 мая 2004 года перевез считавшийся историческим памятником объект в своем личном автомобиле в супрефектуру, где от него и была отъята небольшая часть, чтобы, по заявлениям участников, "не разжигать страстей" ("Паризьен"), "избавить ученых от всякого давления" ("Эко режиональ") и "дать им возможность спокойно работать" ("Газетт").

Какие страсти? Какое давление? На Аржантёйский хитон, как мне представляется, всем плевать. Кто знает о его существовании? На протяжении семидесяти лет местные коммунистические власти не делали ничего ради извлечения его из полного забвения. Тогда велась настоящая антиклерикальная война, и можно только приветствовать намерение нового руководства мэрии, избранного в 2001 году из числа сторонников Союза за народное движение (UMP), привлечь к хитону максимум общественного внимания — приветствовать можно само намерение, но никак не способ его осуществления. Услышав о такой кавалерийской вылазке, всякий задумается: неужели "спокойствие" ученых при проведении радиоуглеродного анализа ткани важнее опасности ее возможного загрязнения? Кто знает, надевали ли заговорщики 6 мая перчатки? А может, они завернули хитон в какую-нибудь пыльную дерюжку, пряча от любопытных глаз?

Как бы хотелось, чтобы в отчетах об экспертизе и заключениях о датировке содержались ответы на все подобные вопросы — пустые, разумеется, но ведь всякий вправе их задать, коль скоро процедура проводилась в обстановке строжайшей секретности. Если верить довольно ехидному докладу Экуменического научного комитета по исследованию Аржантёйского хитона, где об операции узнали месяцы спустя из газет, как и все прочие, заговорщики расходились под покровом темноты, и каждый уносил в своем кульке по кусочку реликвии: один направился в сторону Жиф-сюр-Иветт проводить радиоуглеродный анализ, другой — в свою лабораторию исторических памятников изучать ткань под микроскопом, а третий — как знать? — может быть, спрятал свою долю в сейф. То, что не посмели сделать римские солдаты, а именно разделить между собой нешвенный хитон, совершила тем майским вечером "более чем спокойно" горстка народных избранников, ответственных лиц и квалифицированных экспертов.

Как же оценить произошедшее с точки зрения закона? Ведь единица, означенная как "священный хитон", числится с 1979 года в инвентарной описи исторических памятников. Сей объект принадлежит коммуне. Неужели его лабораторная датировка с помощью радиоуглеродного метода не заслуживала проведения тендера и выделения де-

1. Bulletin du COSTA, Comité œcuménique et scientifique de la Tunique d'Argenteuil (UNEC, Saint-Gratien), 2004, 13 décembre.

нег из общественных средств? Рассудив, что "из соображений безопасности работы должны проводиться в условиях секретности", мэрия просто отмахнулась от подобных формальностей. Всякий, конечно, вправе заподозрить, что недоброжелатели "раздули" эту историю, распуская через газеты злобные слухи. Появление книги, которую посвятил нешвенному хитону[1] скрывшийся под псевдонимом Жан-Пьер Морис, получивший между делом новое назначение в Виши, должно было правильно расставить все акценты. Миссия выполнена. Во-первых, вопреки тому, что утверждали исследователи в прессе, изъятие реликвии из хранилища произошло не в мае, а семью месяцами ранее, то есть простое ночное предприятие оборачивается трехдневным отпуском в загородном доме супрефекта, о чем он рассказывает весьма эмоционально.

Таким образом, вечером 12 октября, в то самое время, когда люди заказывают себе пиццу на дом, месье Морис распорядился доставить ему нешвенный хитон, чтобы провести с ним ночь. Хитон был помещен в отдельную комнату, подчеркивает он, но и находясь в смежном помещении, месье Морис несколько раз за ночь просыпался и думал с улыбкой: "Все хорошо..."

И только утром начались, как он пишет, "танцы" экспертов, и торжества продолжались до вечера среды, о чем рассказывается с такой подкупающей простотой и энтузиазмом, что совершенно невозможно не посочувствовать их участникам. Как же прекрасно получить шанс для осуществления своих фантазий на благо науки! Легко представить себе мэра Парижа, который сгорает от желания распорядиться, чтобы ему домой привезли Джоконду — ведь тогда можно будет провести с ней уик-энд, а потом разрезать на кусочки и проверить, действительно ли она современница Леонардо. Уж не знаю, что его удерживает от подобного шага.

Что же до месье Мориса, то он — просто воплощение морали и деликатности. Например, охотно признается, что одно лишь этическое чувство не позволило ему дать также ход исследованию ДНК крови, взятой с хитона. Уместность такого анализа представлялась ему сомнительной, а мысль, что, возможно, сам Христос когда-то носил его, казалась шокирующей. К тому же, констатирует он, никакой крови на хитоне нет — а есть всего лишь окислившаяся краска. Правда, всего через десять страниц автор вдруг сообщает: "На сей раз в лаборатории не нашли следов какой бы то ни было краски". Впрочем, все это не важно. "Возможно, будут еще упреки, — пророчествует Жан-Пьер Морис на странице 37. — Но я, во всяком случае, не думаю — хотя, быть может, я слишком наивен, — что кто-то упрекнет нас в том, что эксперименты проводились вполне бесстрастно, но недостаточно строго в научном плане". Нет, месье супрефект, в этом вас не упрекнут. Даже если мы столкнулись с опечаткой, красноречивой оговоркой или коряво выраженной мыслью, — такой крик души никого не оставит равнодушным. Будем уважать чужие страсти!

Но перейдем же наконец к результатам данного следственного действия — такое определение здесь более чем уместно, если принять во

1. J.-M. Devals. Une si humble et si sainte Tunique. Paris: F.-X. de Guibert, 2005.

внимание, что к историческому памятнику была применена власть префектуры, что было бы оправдано только в том случае, если бы вмешательство власти уберегало реликвию от опасности, возникшей *до* того, как власть вмешалась. В данном же случае опасность возникла именно *из-за* вмешательства власти. И тем не менее...

У меня перед глазами отчет мадам Софи Дерозье, датированный маем 2004 года. Он заканчивается так: "Креповое переплетение, полученное в результате сильного скручивания нитей основы и утка, было известно на Ближнем Востоке еще в начале нашей эры; например, в Масаде — с середины I века до н. э. до I века н. э. <...> Единственная странность, обращающая на себя внимание, — это равномерность зигзагообразного скручивания нити как вдоль утка, так и вдоль основы. <...> Эта характеристика, возникающая при определенных способах ткачества с креповым переплетением нитей, — довод, противоречащий атрибуции ткани Палестине начала I тысячелетия. И все же этот довод не исключает подобную возможность, в той мере, в какой там же были обнаружены ткани без крепового переплетения, но с аналогичным зигзагообразным скручиванием нитей основы и утка. Таким образом, технические знания, необходимые для изготовления ткани, аналогичной ткани Аржантёйского хитона, уже имелись".

Иначе говоря, реликвия *может относиться* ко времени Иисуса. Но углерод-14 так не считает. Исследование на масс-спектрометре — которое, надо заметить, удалось провести только через семь месяцев после разрезания ткани, потому что аппарат, как жалуется месье Морис, плохо работал: его приходилось все время "калибровать и тестировать на работоспособность", — так вот, это исследование привело к заключению: "В современном состоянии образцов и при условии пренебрежения случайными загрязнениями ткани углеродом на протяжении ее долгой и бурной истории инструментальные измерения относят два образца хитона к периоду между 530 и 650 годом н. э.". Этот отчет анонсировался (еще до официального опубликования) 14 февраля 2004 года на сайте епископства Валь-д'Уаз.

Бесполезно настаивать на разъяснениях по поводу "случайных загрязнений", неизбежных при беспокойной жизни хитона. Датировка с помощью радиоуглеродного метода (основанного на свойстве атомов изотопа углерод-14 распадаться, отчего их количество уменьшается вдвое каждые 5730 лет) предполагает, что имеется образец, огражденный от всякого влияния углерода, более молодого, чем исследуемый образец. В данном случае это условие, очевидно не выполнено. Сам изобретатель метода, нобелевский лауреат по химии Виллард Либби, когда Умберто Савойский (на тот момент — владелец Туринской плащаницы) просил его произвести датировку реликвии на основании содержания в ней углерода-14, отвечал, что его метод очень надежен при определении возраста деревянных фрагментов, но непригоден для датировки древних тканей.

Но это не помешало первому заместителю мэра Аржантёя Филиппу Метезо, приглашенному к супрефекту на разрезание хитона, дать прессе такой комментарий: "Мы убеждены в результате на 95 процентов, оставляя все же пять шансов из ста, чтобы не губить миф". Очень мило! В самом деле, даже немного огорчаясь — ведь он и сам католик! — что углерод не позволяет приписать хитон Иисусу, месье Метезо прежде все-

го может быть рад за свой город: получено доказательство, что муниципальная реликвия могла принадлежать Карлу Великому, что это вовсе не фальшивка XIV века, как утверждали некоторые из предшественников-коммунистов, – по аналогии с плащаницей, которая стала средневековой в 1988 году именно при помощи углерода-14.

Короче говоря, если верить республиканским и церковным властям Валь-д'Уаза, нешвенный хитон Христа – это подделка, изготовить которую Карл Великий попросил императрицу Ирину – на радость всему миру. И именно церковь, как и в случае с Туринской плащаницей шестнадцатью годами ранее, взяла на себя обязанность – а может быть и удовольствие – опередить ученых и довести до сведения всех христиан неприятную новость.

Турин – Аржантёй: общее дело?

– Согласно только что полученной датировке, время изготовления Туринской плащаницы приходится на период между 1260 и 1390 годом после Рождества Христова, – заявил на пресс-конференции 13 октября 1988 года архиепископ Туринский кардинал Баллестреро, со странным усердием упреждая публикацию результатов радиоуглеродных исследований привлеченными к делу лабораториями – публикацию, которая случится еще только через пять месяцев.

И церковь покорно и торопливо склонила свою голову перед приговором науки. Той самой науки, которая, подчеркнем, за десять лет до того, как провозгласила ткань плащаницы подделкой средневековых мастеров, начинала с признания ее подлинности. Напомним некоторые факты.

В 1978 году, уступая настояниям верующих и упорным домогательствам ученых, Иоанн Павел I – тот самый папа римский, который пробыл на престоле всего тридцать три дня, – благословил с согласия Умберто Савойского всестороннее исследование плащаницы группой ученых из Европы и США. Речь идет о проекте, получившем название СТУРП (STURP – Shroud of Turin Research Project). И вместо того чтобы отправить плащаницу в лабораторию, лабораторию привезли к плащанице: семь тонн оборудования, уложенного в контейнеры, прибыли самолетом в Турин.

– За неделю крайне напряженной работы, – объяснял мне физик Луиджи Гонелла, – мы превратили один из залов музея в исследовательский институт.

Образцы пыльцы и нитей, вне всякого сомнения испачканных кровью, фотографии мельчайших подробностей, наблюдения в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, зондирование при помощи оптоволокна скрытых поверхностей плащаницы (там, где сестры-клариссинки после пожара 1532 года нашили заплаты из голландской ткани), отсасывание собранной веками пыли... Привезенное оборудование послужило технической базой для официального сбора всевозможных анализов, проводившихся здесь на протяжении нескольких лет, чтобы прийти к единодушному заключению: некий мужчина, подвергнутый бичеванию и пытке венцом из колючек, распятый и пронзенный копьем в бок, в соответствии с евангельским повествованием, был похоронен заверну-

тым в эту ткань и провел в ней около тридцати часов. Свойства ткани, как и особенности найденной пыльцы, подтверждают датировку I веком н. э. и локализацию в районе Иерусалима. Наличие кровавых отпечатков подтверждено всеми видами исследований. Но что касается окисления целлюлозы на поверхности некоторых волокон — тут, напротив, полная неясность.

— Мы не знаем, как лик мог образоваться, — признавался Луиджи Гонелла. — Мы потратили около ста двадцати часов на прямые наблюдения. Мы обрабатывали результаты около ста тысяч часов и все-таки не пришли ни к каким выводам. Все наши гипотезы оказались несостоятельными.

Луиджи Гонелла — хрупкого сложения пожилой господин, язвительный и проницательный, вечно окутанный сигаретным дымом, из-за которого его улыбка кажется немного загадочной, — остается ключевой фигурой в исследовании плащаницы. Умелый дипломат, мастер всевозможных маневров, то уступчивый, то упрямый, в зависимости от обстоятельств, решительный или гибкий, но в любом случае крайне осмотрительный, принятый за своего и в исследовательской лаборатории, и в коридорах Ватикана, Гонелла может служить образцом ученого, признающего высшие интересы церкви. Он был научным советником кардинала Баллестреро, и в 1978 году кардинал назначил его президентом координационной комиссии, созданной для контроля над деятельностью СТУРП.

В то время реликвия все еще принадлежала экс-королю Умберто, но высшие церковные иерархи уже видели себя ее духовными наследниками и законными хранителями. В таких условиях научное подтверждение подлинности плащаницы Христа подводило бы черту и под многолетним давлением, оказываемым Ватиканом на Савойский дом, от которого "по справедливости" требовалось всего лишь "отдать богу богово".

Я отнюдь не хочу сказать, что исследователи СТУРП, приехавшие сюда из самых известных университетских лабораторий, исследовательских подразделений ВВС США, из НАСА, из центров атомных исследований, из археологических музеев и институтов судебной медицины, могут быть хоть как-то заподозрены в том, что кто-либо их "ориентировал" относительно решения, к которому им следовало прийти. Протоколы наблюдений и результаты, многократно перепроверявшиеся на протяжении двадцати лет, говорят сами за себя. Но, вне всякого сомнения, их заключения, ставшие известными задолго до официального обнародования во время публичной церемонии в Ватикане, решающим образом повлияли на последнюю волю короля Умберто.

В его завещании, датированном 27 марта 1981 года, говорится: "Поскольку католическая иерархия признает за савойской династией в лице ее главы светское имущественное право на Священную плащаницу, Я, осознавая, что для будущего необходимо гарантировать окончательную передачу церкви этой важнейшей реликвии страстей Нашего Спасителя, РАСПОРЯЖАЮСЬ, чтобы права на Священную плащаницу во всей их полноте были переданы Святому престолу".

Через сорок семь дней после этого Иоанн Павел II назначил аудиенцию ученым из СТУРП, которые должны были передать ему в руки ре-

зультаты своих научных исследований. Но встречу пришлось отменить: 13 мая непосредственно перед ее началом в папу выстрелил Али Агджа.

Те, кто привык во всяких совпадениях видеть заговоры, не преминули отметить, что предшествующий понтифик Иоанн Павел I умер – при обстоятельствах весьма подозрительных – 28 сентября 1978 года, за восемь дней до начала работы СТУРП, учрежденного им вместе с Умберто Савойским.

И в 1997 году, когда пожар, случившийся из-за чьего-то преступного поджога, едва не уничтожил реликвию, нашлись люди, которые снова задали злокозненный вопрос: *кто* из врагов христианства, а может быть, даже из людей церкви хотел помешать плащанице *донести заключенную в ней весть?*

В 1988 году, когда проводилась датировка радиоуглеродным методом, обстановка в Турине изменилась кардинальным образом: тут ничто больше не напоминало о слаженной работе СТУРП. Бесконечные внутренние распри, смены руководства, сведение счетов, предательства, подстроенные утечки важной информации, заботливо переданные прессе подробности разногласий – казалось, кто-то специально собрал скептиков и атеистов, чтобы они приехали и опровергли безоговорочный вердикт 1978 года.

Попутно заметим, что король Умберто был уже мертв. Плащаница уже не принадлежала частному лицу, и у церкви больше не было нужды убеждать ни Савойский дом, ни весь мир в подлинности реликвии. Я бы даже сказал, что, принимая во внимание культурный контекст и настроения эпохи, средневековая датировка была бы, вероятно, предпочтительной, при условии, что ее можно было бы впоследствии оспорить.

Конечно, всякий волен видеть в этих ядовитых допущениях проявление моего скверного характера. Но, к моему большому удивлению, они были совсем недавно фактически подтверждены в нашем фильме одним из самых близких советников Бенедикта XVI. Кардинал Бертон, архиепископ Генуи, член Конгрегации вероучения, прямо заявил в камеру: "Видимо, результаты проведенного радиоуглеродного анализа были ошибочными, прежде всего из-за предвзятости, о причинах которой нет смысла говорить. Вердикт был вынесен еще до того, как началось проведение исследований".

"Вердикт был вынесен" – но кем? Учеными, которых сама же церковь и выбрала в итоге невиданных внутренних конфликтов. Вот о чем нам поведал кардинал Бертон: Конгрегация вероучения не рекомендовала проводить датировку с помощью радиоуглеродного метода, указывая на его низкую надежность при оценке возраста древних тканей. Тем не менее, если такая датировка представлялась в тот момент необходимой, то, по мнению Конгрегации, ее было бы лучше доверить специалистам Папской академии наук. По инициативе кардинала Ратцингера, будущего папы Бенедикта XVI, был составлен обстоятельный протокол на восемьсот страниц, в котором формулировались условия возможного исследования.

И тут случилось немыслимое. По приказу кардинала Казароли, государственного секретаря, по сути дела второго лица в Ватикане, – а следовательно, я полагаю, с благословения Иоанна Павла II – этот протокол объявили не имеющим силы и попросту отправили в корзину.

Одновременно Мехтильду Флери-Лемберг, крупнейшего в мире специалиста по истории текстильных изделий, приглашенную для того, чтобы проконтролировать, как будет проводиться вырезание образца для анализа, заменили на Луиджи Гонеллу и Джованни Риджи, двух научных советников кардинала Баллестреро, а о нем всем хорошо известно, что он никогда не верил в подлинность реликвии, официальным хранителем которой был назначен.Что же касается семи лабораторий, выбранных для проведения датировки, то в итоге их осталось всего три.

На вопрос, почему Ватикан решил восстать против мнения Конгрегации вероучения, в прошлом — святой инквизиции, подлинной хранительницы догматов, микробиолог Гарса-Вальдес сегодня нам говорит: "Это был как раз такой период, когда церковь отчаянно боялась клонирования Христа. Они думали, что если признать плащаницу подлинной, то обязательно кто-нибудь заполучит соскобы крови с нее и попытается клонировать Иисуса из Назарета".

На первый взгляд это объяснение кажется анахронизмом — но только тем, для кого эпоха клонирования началась в 1996-м — с овечки Долли. Хотя именно в 1986 году Стин Вилландсен преуспел в выведении ягненка из ядра зародыша, насчитывавшего на тот момент восемь клеток. Согласно Гарса-Вальдесу, именно на фоне таких событий 21 апреля 1988 года провели взятие образца для радиоуглеродной датировки — непогрешимого метода, если верить печатным изданиям, продолжающим расхваливать его достоинства.

Впрочем, так ли уж он непогрешим? Кроме известного случая, когда возраст панциря живых улиток с помощью этого метода определили равным двадцати семи тысячам лет, упомянем также сигнальный рог викингов, датированный 2006 годом (лаборатория Аризонского университета в Туссане), льняную скатерть, изготовленную в 1950 году и "состаренную" исследованием на три с половиной века (лаборатория Цюриха), и мумию, оказавшуюся на семьсот лет моложе, чем покрывала, в которые она завернута (лаборатория Оксфорда).

Эти три лаборатории, как видим, обладали безупречной репутацией и, вероятно, именно поэтому были выбраны Ватиканом по предложению Луиджи Гонеллы для проведения датировки Туринской плащаницы. Контролировать их работу было поручено доктору Тайту из Британского музея. Выбрать место, откуда следовало вырезать образец, и произвести само разрезание реликвии доверили Джованни Риджи.

В первую очередь именно это решение удивляет больше всего. Кто такой Джованни Риджи? Специалист по микроанализу из международной компании 3M, производящей главным образом клеящие материалы. Участие этой компании было понятно в 1978 году, когда речь шла о сборе пыльцы, пыли и фрагментов крови с помощью клейкой ленты. Десять лет спустя программа радикально поменялась: ничего не надо было приклеивать, надо было резать. И неужели Риджи на самом деле крупнейший авторитет в этой области? Когда смотришь кадры видеозаписи, от изумления перехватывает дыхание: они разрезали плащаницу, держа ее голыми руками. А главное, невозможно понять, почему церковь и ученые позволили использовать для взятия образца наименее подходящее для этого место — самый край, тот, за который реликвию брали при всякой оказии, тот самый край, который латали в Средние

века. Ведь одного этого достаточно, чтобы и датировка оказалась средневековой.

И это не единственная странность предпринятого экстравагантного исследования. Есть другие поводы настороженно отнестись к его результатам, вот лишь некоторые из них: избыточная плотность образца (квадратный сантиметр образца весил сорок три миллиграмма, тогда как средняя плотность ткани не превышает двадцати трех), нежелание публиковать результаты непосредственных измерений, отклонения от обычных правил ведения записей, отказ от проведения анализов вслепую (когда сотрудникам лаборатории неизвестно, что и для кого они тестируют), отказ исследователей апробировать полученные результаты в ходе их междисциплинарного обсуждения, расхождения между лабораториями (только в Цюрихе обнаружили примеси, а в Оксфорде дали "доверительный интервал", радикально отличающийся от двух других), пропажа запасных образцов и образовавшихся при разрезании ткани обрезков, терминологические ошибки в публикации, отсутствие физического, химического и статистического анализа образов[1]... "Ни вычисления, изобилующие ошибками, — писал специалист по статистике Жуванру, — ни методы, вызывающие сомнения, так как опираются либо на ошибочные, либо на непроверяемые гипотезы, не дают абсолютно никаких оснований доверять представленным результатам".

— Только радиоуглеродный метод обеспечивает надежность результатов, — прореагировал доктор Тайт на бурю протестов со стороны ученых, недовольных тем, как проводились под его руководством работы по датировке, результаты которой опубликовал журнал "Нейчер".

Журнал "Сайенс" напомнил, что не стоит так уж доверять радиоуглеродному методу, если речь идет не о волокнах древесины. Газета "Монд" от 3 января 1996 года писала, со ссылкой на сообщение Комиссариата атомной энергии: "Все датировки, проведенные с помощью радиоуглеродного метода, следует пересмотреть в сторону увеличения возраста на тысячи лет". И далее в той же статье некий специалист простодушно признавался: "Углерод-14 сильно искажает возраст, о чем известно уже сорок лет". Этим специалистом был Мишель Фонтюнь, руководитель службы датировок методом радиоуглеродного анализа — из той самой лаборатории, куда по распоряжению супрефекта Мориса и вице-мэра Метезо отправили для определения возраста Аржантёйский хитон в 2004 году.

Шестнадцатью годами раньше в Турине наука, несмотря на оплошности и ошибки, восторжествовала над предрассудками. В знак признательности "за хорошо проделанную работу" группа анонимных инвесторов передала доктору Тайту чек на миллион фунтов стерлингов, чтобы он смог занять кафедру в Оксфордском университете. А кардинал Баллестреро благословил "уровень достоверности в 95 процентов", обеспеченный теми, кто проводил датировку. Кардинал был особенно доволен, что удалось избежать катастрофы, которая поставила бы под сомнение все предприятие: как стало известно много позже, лаборато-

1. L'Identification scientifique de l'homme du Linceul. Actes du Symposium scientifique international de Rome en 1993. Paris: F.-X. de Guibert, 1995; A.-A. Upinsky, L'Enigme du Linceul. Paris: Fayard, 1998.

рии чуть было не отнесли плащаницу ко времени более позднему, чем время ее появления в Лирее в 1357 году[1].

Узнав все это, я почувствовал себя по меньшей мере сбитым с толку. Как могла средневековая датировка быть воспринята общественным мнением с такой готовностью и до сегодняшнего дня не подвергаться никакой критике? В действительности аргументов против даже *слишком* много. Как это ни парадоксально, из-за их количества сомнения и кажутся менее убедительными, словно именно избыток в указаниях на ошибку превращает датировку в истину — в конце концов именно это главный аргумент, который молчаливо подразумевается (ввиду "непогрешимости" применявшегося метода и "пристрастности" его критиков) сторонниками радиоуглеродного метода, хотя вряд ли квалифицированные специалисты составляют среди них большинство.

Но один из таких специалистов, а именно Жак Эвен, стоявший рядом с Риджи во время отрезания от плащаницы пробных лоскутов, едва ли не единственный, кто мужественно пошел на амбразуру, защищая метод: в 2005 году он выступил на канале "Эроп-1" против адвоката Дени Деформа, опубликовавшего превосходную подборку материалов о плащанице[2]. Как специалист по радиоуглеродному методу, Жак Эвен доказывал правильность средневековой датировки. Но он признавал, как и большинство честных ученых, невозможность объяснить происхождение образа. Поэтому он, будучи католиком, заключил, что чудо было. Но это чудо — средневековое.

Сейчас, по прошествии многих лет, можно попытаться дать ответ на вопрос, что же произошло тогда, в 1988 году, на самом деле. Неужели все совершённые нелепости были всего лишь проявлением непрофессионализма? Оказалась ли церковь в конечном итоге одураченной или же сама срежиссировала весь этот карнавал? У меня нет ответа. Но если на плащанице действительно покоилось тело Христа и если отпечатавшийся на ней образ служит доказательством Воскресения, то следует признать, что доказательство сего становится опасным либо в свете последних достижений в генетике, либо в свете фантастических надежд, которые эти достижения будят в душе современных фанатиков, ожидающих пришествия Мессии. Может быть, и надо было дискредитировать реликвию, тем самым защитив ее?

Но одно не вызывает сомнения: кто бы ни был автором идеи средневековой датировки, те люди, которые от имени церкви провели идею в жизнь, отнюдь не получили достойной награды. Спустя всего несколько месяцев Луиджи Гонелла и Джованни Риджи были уволены, а кардинал Баллестреро отстранен от исполнения обязанностей пожизненного хранителя плащаницы.

То ли победой, то ли поражением, но история завершилась, оставляя лишь незаживающие рубцы.

Как бы то ни было, по прошествии шестнадцати лет речь зашла об определении возраста Аржантёйского хитона, в силу чего возник соблазн

1. D. Desforges. L'Affaire du Linceul de Turin. Paris: Albin Michel, 2005.
2. Там же.

разрезать и его, и некоторые несуразности, случившиеся во время работы с плащаницей, были скрупулезно повторены. Вот выдержка из критического отзыва профессора Андре Мариона, направленного епископу Понтуаза и касающегося работ по датировке хитона:

"не было выполнено условие анонимности, так как в лаборатории знали о происхождении ткани, которую им предстояло исследовать;

не было никаких указаний на то, с какого места на ткани взяты образцы;

избыточный размер образцов: в общей сложности оказалось отрезано шестьсот миллиграммов материи площадью пятнадцать квадратных сантиметров;

большое количество образцов маленького размера, но взятых в различных частях ткани, позволило бы установить гомогенность ее изотопического и химического состава;

не было приведено никаких доказательств эффективности предпринятых мер по очистке образцов от загрязнений".

Кроме того, в Турине было по меньшей мере три лаборатории, которые могли бы установить величину возможной погрешности – "доверительный интервал", как принято говорить. В случае Аржантёйского хитона мандат был выдан только одной лаборатории – города Жифсюр-Иветт, и при обстоятельствах совершенно необычных. Однако тогда уже наблюдался и значительный прогресс: у супрефекта Валь-д'Уаза хитон резал человек в перчатках.

И еще. У всякого беспристрастного исследователя тех событий сразу возникает вопрос: что еще за священный союз сложился у некоторых церковников с некоторыми учеными, едва только речь зашла о дискредитации реликвии – вещи, якобы принадлежавшей Христу.

В 2004 году в епархиальном издании "Л'Еглиз ан Валь-д'Уаз" появилась статья, подписанная Жераром Антамом. В историческом отношении точная и ясная, она рассказывала об Аржантёйском хитоне без единого упоминания о работах физика Андре Мариона и гематологов, установивших, что засохшая кровь на хитоне относится к той же самой группе АВ, что на плащанице и на сударии из Овьедо.

"Продолжайте вашу работу с ощущением внутренней свободы и глубоким уважением к научной методологии и к чувствам верующих", – призывал некогда Иоанн Павел II исследователей, объединившихся ради изучения мученических облачений Христа. Именно в этих ободряющих словах авторы публикации видели оправдания действиям префектуры. Редактор уточнял: "В том же духе были выполнены исследования Аржантёйского хитона, результаты которых теперь доведены до сведения жителей Валь-д'Уаза и христиан [sic]". А в заключение он написал так: "*Поскольку он напоминает о Христе* [подчеркнуто им самим], нешвенный святой хитон позволяет человеку ощутить свое приближение к Иисусу".

Вот так. Можно ли отсюда сделать вывод, что если бы хитон *некогда принадлежал* Христу, а не всего лишь *напоминал о нем*, то он бы удалял, а не приближал? А будь основания, связывающие хитон с Христом, ложными, то и вовсе притягивал, ибо научное доказательство часто представляется антиномичным акту веры как таковому (научное доказательство всегда представляли как несовместимое с самим фактом веры). Лишь признание *божественности* Иисуса Христа что-то значит для хрис-

тиан, это-то мы хорошо знаем. Но укрепляется ли вера каждый раз, как та или иная реликвия объявляется фальшивкой?

В Турине, как мы видели, кардинал Баллестреро поторопился первым объявить прессе, что плащаница была изготовлена в Средние века. И, не сбавляя ходу, добавил:

— Оставляя за наукой право оценивать этот результат, церковь подтверждает вновь свое уважение и преклонение перед этой священной иконой Христа.

Отношение удивительное, потому что если эта икона средневековая, то кому же поклоняться? Какому-то двойнику Христа, подвергнутому бичеванию, истерзанному, распятому — и все для того, чтобы изготовить фальшивую плащаницу? Понятно, что в таких условиях церковь старается близко не подпускать гематологов к страстным покровам и обходить стыдливым молчанием присутствие человеческих кровяных телец в ткани. "Прикройте эту кровь, чтобы я ее не видел..." — подвел итог подобному отношению генетик Жерар Люкотт.

Надо сказать, что, помимо всего прочего, если ткань трех реликвий когда-либо касалась тела Христа, то кровь группы АВ оборачивается каким-то проклятым вопросом. Ведь это единственная группа крови, по которой можно определить *и отца, и мать*.

И если верить, что Бог был воплощен посредством действий Святого духа, то к чему ж предполагать эти действия свершенными лишь наполовину и лишать его Y-хромосомы? Догма "вечной девственности" Богоматери (то есть до, во время и после родов) возникла в VII веке. И сегодня генетики не оспаривают существования Бога вообще, они оспаривают только решение, принятое людьми на Латеранском соборе в 649 году[1]. Напомним, что, прежде чем церковь пообещала отправить на костер маркионистов и докетистов, представители этих ересей утверждали, что Иисус был "человеком лишь по виду", отрицая, как сказали бы сегодня, присутствие у него какого бы то ни было генотипа. Каковы времена, таковы и казни: больше не жгут — теперь душат.

Короче говоря, все шло так, словно некий тайный собор Римской католической церкви решил в 1988 году наложить табу на тему крови Христовой. И "синдром Гарса-Вальдеса", этот страх, как бы современные вампиры не слетелись соскабливать предполагаемую кровь Христа, чтобы попытаться его клонировать, — это доведенное до логического завершения следствие проблемы, с которой столкнулся папский престол, став законным обладателем плащаницы. И тогда легче понять крик души, вырвавшийся в 1997 году, после пожара в Туринском соборе, у настоятеля одного монастыря: "Какая жалость, что эта тряпка не сгорела! Всем спорам пришел бы конец"[2].

Но коль скоро споры продолжаются, еще одно возможное объяснение недомолвкам Ватикана было предложено в нашем фильме о. Франсуа Брюном, выдающимся теологом, который с видом добродушного монаха, словно сошедшего с этикетки на коробочке камамбера, шлифует — благодаря своей искренности, интеллектуальной смелости и трезвости ума — корявые формулировки Ватикана:

1. J. Duquesne Marie. Paris: Plon, 2004.
2. F. Brune. Les Miracles et autres prodiges. Paris: Oxus, 2000.

— Думаю, одна из причин, по которым церковь оказалась немного нерасторопной в своих ответах на вопрос о плащанице — впрочем, как и на вопрос о явлениях девы Марии, — заключается в том, что она не может достичь единства — ее раздирают разные течения. С одной стороны, там имеются консерваторы — порой их позиции граничат с фундаментализмом, — и они беснуются оттого, что церковь не занимает более ясной и четкой позиции в поддержку чудес. А с другой, имеется подавляющее большинство теологов, которые уже отказались от всего этого и которые могут начать вопить, протестовать и создавать серьезные неприятности... И я думаю, что разногласие этих двух течений реально угрожает сегодня схизмой Римской католической церкви.

Есть еще одна возможная и сугубо историческая причина, по которой Ватикану не хотелось бы официально признавать подлинность плащаницы. Уточним сразу, что эта гипотеза — плод исключительно моего злобного воображения.

Итак, если это погребальное одеяние действительно принадлежало Христу, то, по всей вероятности, оно было выкрадено западными христианами при разграблении Константинополя. Точно так же спустя много лет Наполеон разграбит Египет, а англичане вывезут фризы Парфенона к себе в Британский музей. Конечно же, правительства современных Каира и Афин не имеют ничего общего с теми, что стали жертвой этих краж. Но суд счел их жалобы вполне уместными. И, по мнению тех нынешних адвокатов, с которыми я имел возможность обсудить проблему, ничто не мешает Стамбулу в судебном порядке потребовать возвращения плащаницы.

Пока подобные претензии даже возникнуть не могут, не то что дойти до суда, и взаимопониманию сторон ничто не угрожает. Я так полагаю, остаются лишь небольшие помехи на пути вхождения Турции в Европейский союз...

А теперь, когда все карты открыты и наши подозрения относительно смысла политических и религиозных маневров ясно обозначены, вернемся к трем деталям головоломки. Как же обстоят в реальности дела с точки зрения науки? Биологи показали, что на Туринской плащанице, сударuме из Овьедо и Аржантёйском хитоне кровь одной и той же группы АВ. Профессор Еврейского университета Иерусалима Авиноам Данин установил к тому же, что пыльца, обнаруженная на сударuме из Овьедо, относится к тем же самым видам, что и пыльца на Туринской плащанице, при этом одни виды типичны для окрестностей Иерусалима, а другие существовали не позднее VIII века.

Оставалось сравнить с уже исследованной пыльцу на Аржантёйском хитоне. Оставалось также проверить ДНК на всех трех реликвиях.

В 2005 году нашелся человек, решивший взяться за это ответственное дело.

Генетика Грааля

Костюм в клеточку, полосатый галстук, белоснежная шевелюра и живой блеск глаз за чуть кривовато сидящими очками, дородность любителя

пожить и тонкие плотно сжатые губы, выдающие решительность и твердость характера, — Жерар Люкотт больше походил на президента футбольного клуба, чем на крупного специалиста по ДНК. В первом телефонном разговоре он был краток и настойчив: "Вы меня не знаете. Я читал 'Евангелие от Джимми'. Я генетик. Нам надо поговорить".

Заинтригованный, я предложил ему встретиться на следующий день вечером в баре на берегу Сены; перед встречей я поискал, что есть на его имя в Интернете. Список званий и публикаций не предвещал ничего хорошего. Директор Центра по молекулярной нейрогенетике, автор многочисленных статей в международных журналах по прогрессирующей мышечной атрофии, болезни Альцгеймера и рассеянному склерозу, человек, который в 1985 году изобрел маркер Y-хромосомы, исследователь крови древних евреев... Мне оставалось только предположить, что он нашел в моем романе какую-то несусветную чушь по части генетики и ждет от меня исправления всех ошибок при ближайшем переиздании — к тому моменту едва минуло три дня, как книга поступила в продажу.

Жерар Люкотт ждал меня, сидя перед стаканом с экзотическим коктейлем, украшенным зонтиком и веточкой сельдерея. Ученый пришел заранее. Чтобы мне легче было его узнать, рядом с собой он положил экземпляр моего романа.

— Что будете пить? Мне приходится воздерживаться от спиртного из-за подагры, но вы — пожалуйста. Меня это не смутит. Семь вечера — самое подходящее время.

Он говорил глубоким насыщенным басом, размеренно, с ясной дикцией и красивыми модуляциями. Паузы и прищелкивания языком выдавали опытного преподавателя, заботящегося о том, чтобы держать в напряжении своих студентов. Он сразу взял быка за рога:

— Ваша книга меня поначалу изумила, а потом встревожила. Изумила потому, что в ней нет ошибок — ни в том, что касается генетики самой по себе, ни в том, что касается менталитета генетиков. Встревожила потому, что, помещая своих героев в обстоятельства, когда репродуктивное клонирование человека стало уже свершившимся фактом, вы ставите перед ними проблемы, о которых мы на наших советах по этике пока даже не задумывались: В том числе о моральных, эмоциональных, социальных и юридических последствиях для статуса клона. Но...

Пять секунд молчания чуть не превратили это "но" в финальную точку. Однако продолжение последовало:

— За пределами художественного повествования, в "авторских примечаниях", вы упоминаете одного американского исследователя, утверждающего, что на молекулярном уровне он уже клонировал три гена, взятых из крови Иисуса. И вот тут надо быть осторожным. Я готов вам доказать, что научная добросовестность этого субъекта не внушает доверия, однако то, о чем он говорит, в высшей степени вероятно. У меня есть все основания так считать — я и сам клонировал ДНК, взятую с Христовой реликвии.

Не давая мне времени как-то отреагировать на ошеломляющую новость, которую он только что преподнес с победным видом, он продолжил:

– Да, двадцать лет тому назад, и никто об этом не знает. Я вовсе не ставил перед собой задачи кричать об этом на каждом углу – в отличие от Гарса-Вальдеса, которому мы сейчас еще перемоем косточки.

И он вытащил сочинение знаменитого микробиолога из техасского университета, озаглавленное "ДНК Бога?"[1]. Я слушал совершенно ошарашенный. Меня потряс не его отзыв о моей книге, а раскованная манера и профессиональный язык, который использовал этот корифей, разговаривая со мной, – словно я был ему ровней, словно ученые персонажи, мною придуманные в романе, что-то передали и мне самому. Я далеко не все понимал, но кивнул головой, показывая, что принимаю его доверительность как должное и надеюсь, что в дальнейшем все непонятное прояснится. Трудно передать наслаждение, испытываемое самозванцем, выдающим себя за эксперта, когда настоящий специалист принимает его за коллегу.

– Гарса-Вальдес работал с образцами крови, переданными ему Риджи, не так ли? Тем самым Риджи, что в 1988-м проводил разрезание плащаницы для радиоизотопного анализа. Процедура завершилась к полудню, и Риджи, по слухам, еще три часа оставался наедине с плащаницей, чтобы взять пробы для своих собственных исследований. Ну да, чтобы взять с нее кровь с помощью клейкой ленты – как доктор Сандерсен из вашего романа. Эту кровь он передал Гарса-Вальдесу на анализ, а тот экстрагировал из нее ДНК и секвенировал три гена: бета-глобин, амелогенин X и амелогенин Y. Те самые, которые, как он утверждает, и были клонированы...

Он сделал паузу, сверкнул глазами и постучал перед собой кончиками пальцев.

– Проблема в том, что Гарса-Вальдес в единственной главе, посвященной своим генетическим исследованиям, совершает две ошибки, достойные первокурсника: на странице 117 он заявляет, что в амелогенине наименьший из двух фрагментов указывает на Y-хромосому, а на самом деле все в точности наоборот, и по всему тексту он путает молекулярную гибридизацию с цепной полимеризацией. Неплохо, да?

Напустив на себя ученый вид, я с ним согласился.

– Разумеется, могут сказать, что он сделал это умышленно. Дискредитировал все исследование, просто чтобы защититься.

– Защититься от чего?

– От последствий. Не забывайте, что он работал с пробами, взятыми без разрешения, а это жестоко осуждается Ватиканом, можно сказать – с незаконными пробами. Но коль скоро его работа вызывает сомнения у научного сообщества, можно позволить информации свободно циркулировать: ведь она сама же себя и опровергает.

Столь явный макиавеллизм, который он приписывал коллеге в порядке реакции на таинственную возню могущественных сил, совсем не показался бы неуместным никому, кто хоть немного знаком с историей плащаницы. Вникая в суть стратегий, которых придерживались как религиозные власти, так и корифеи науки, аранжировавшие описанный выше концерт по проведению радиоизотопной датировки, приходится

1. L. Garza-Valdès. The DNA of God? New York: Doubleday, 1999.

признать за ними либо немыслимое легкомыслие, либо чудовищную изощренность.

А по поводу Риджи я и в самом деле слышал разговоры о том, будто во время обеденного перерыва его оставили наедине с реликвией, и теперь я уверен, что он вытащил клейкую ленту и спокойно произвел взятие проб для своих собственных целей. Ватикан поначалу отрицал, что существуют какие бы то ни было анализы крови, взятой с плащаницы, потом стал оказывать давление на Риджи, заставляя его вернуть пробы. Но Риджи, со своей стороны, настаивал, что все время *действовал в полном согласии с церковными властями и под полным их контролем.* Кажется, будто Святой престол ставил перед собой цель организовать утечку информации, но дискредитировать ее источник.

Тут я решился заступиться за работы Гарса-Вальдеса:

— Вы думаете, что ученый способен скрывать смысл своего открытия за нагромождением умышленных ошибок?

— А он и не скрывал его смысла. Он сделал из него бестселлер. Представьте себе, что результаты его исследования опубликовал бы какой-нибудь солидный научный журнал. И что? На автора обрушились бы все те же нападки, но он не добыл бы ни славы, ни денег. Тогда как теперь у него есть возможность открыто торговать продуктом, который оспаривают его коллеги, истина обнажается у всех на глазах, так что ее легче оспаривать, — и официальная мораль спасена: те, кто верит в плащаницу Христа, всего лишь профаны, ослепленные верой.

Он снова выдержал паузу, во время которой официант поставил передо мной стакан и блюдечко с чипсами. Тогда он продолжил:

— Я же, напротив, работал в полном согласии с компетентными органами и поэтому двадцать лет помалкивал. Я ждал, когда настанет подходящий момент, и теперь готовлюсь опубликовать мои результаты в журнале Американской академии наук.

— О плащанице?

— И об Аржантёйском хитоне. Если сравнить результаты исследований физика Мариона и ботаника Данина, то будет ясно: там и там кровь одного и того же человека. И мне, я полагаю, известно, кто этот человек.

Он откинулся на спинку стула и принялся поправлять свой галстук, укладывая его точно по линии пупка, потом добавил со смиренным видом, плохо вяжущимся с ехидной ухмылкой:

— В генетическом смысле, по крайней мере.

Иисус — это зеленое растение

Я ненадолго отвлекусь от сюжетной линии ради небольшого лирического отступления. Хочу, чтобы мои читатели воспринимали откровения, которые сейчас последуют, с определенной отстраненностью. Я не стремлюсь нагнетать напряжение, не надо воспринимать эту главу как умышленную рекламную паузу. Вовсе нет, просто мне захотелось, прежде чем мы выслушаем Люкотта и узнаем, как же он расшифровал "ДНК Иисуса Христа", дать слово сторонникам противоположной точки зрения — тем, кто считает мученические облачения Спасителя творениями обманщиков. Начнем с самого речистого, с Анри Брока.

В своем сочинении под названием "Паранормальное", выпущенном издательством "Сёй" в 1985 году и переизданном в 2001-м в серии карманных изданий (этим-то карманным изданием я и пользовался), автор посвящает целую главу в двадцать девять страниц (всего глав двадцать) тому, что он называет *"святым сударизумом" или великими последствиями единственного акта непотизма* (кавычки Брока). Давайте вспомним буквальный смысл использованного им слова: непотизм – это "покровительство, оказывавшееся некоторыми папами некоторым племянникам и другим родственникам в церковной администрации". Анри Брок делает намек на повторный брак хозяйки плащаницы в 1357 году с дядей Климента VII и на то, что последний ради сохранения семейного мира поддержал официальное поклонение фальшивой реликвии. Именно в этом обстоятельстве, по мнению Брока, таятся начало и конец всей загадки: цепочка исторических и научных открытий, от Средних веков до наших дней, представляет собой не более чем череду лжесвидетельств и разнообразных фальсификаций, тщетно пытающихся оправдать a posteriori поведение понтифика. "Фальшивая тайна и реальное мошенничество" – таков был заголовок его статьи 1983 года в газете коммунистов Ниццы "Патриот Кот-д'Азюр", где он излагал доводы в пользу своей теории о средневековой фальсификации, созданной под покровительством папы.

Для тех, кто никогда не включает телевизор, есть, наверное, смысл пояснить, кто такой Анри Брок. Вместе с нобелевским лауреатом Жоржем Шарпаком он является автором забавы "Станьте волшебниками, станьте учеными"[1]. Профессор физики в университете Ниццы, соперник греческого скептика Пиррона, он отстаивает свое право на приверженность скептицизму – древнему философскому течению, определяющему себя как "искусство сомнения", которое можно только приветствовать, если на практике его сторонники не путают принцип сомнения с сомнительными принципами. Обратимся к доказательствам Брока.

Будучи не в состоянии, как и все прочие, объяснить происхождение негативного фотографического отпечатка на поверхности ткани, он довольствуется тем, что объявляет проблему разрешенной: *это вовсе не негативный фотографический отпечаток.* Вот его единственный аргумент: "Пятна крови обычного темного цвета на образе на погребальном плате становятся белыми при инверсии изображения". Осознанно или нет, он смешивает пятна крови (присутствующие на ткани как позитив) и отпечаток тела (только он и есть негатив). Как было подтверждено исследователями из НАСА и Оптического института Орсе, распятый истекал кровью, оставшейся на плащанице *до* того, как на ней появилась фигура, и *волокна, покрытые кровью, не потемнели при возникновении образа.* В этом и заключается загадка, которую автор предпочел обойти молчанием, так же как и замену левого на правое, явственную при осмотре изображения на плащанице.

На той же странице Брок как открывает, так и закрывает обсуждение новой темы: "Различные спекуляции по поводу анатомических деталей, якобы различимых на 'саване', были развеяны представителями

1. G. Charpak, H. Broch. Devenez sorciers, devenez savants. Paris: Odile Jacob, 2002.

самого цеха медиков". Вот, оказывается, как! На кого же он намекает? Уж точно не на своего предшественника-скептика Ива Делажа, профессора сравнительной анатомии из Сорбонны, известного агностика, признанного врага всего потустороннего и чудесного. После того как он продемонстрировал на заседании Академии наук, что раны на плащанице так точно соответствуют человеческой анатомии, что их не смог бы воспроизвести ни один художник, работающий "в негативе", и предположил, что речь, видимо, идет об изображении исторического персонажа по имени Иисус, Делаж вдруг оказался в странном положении: публикацию его статьи запретил секретарь Академии Марселен Бертло — тот самый, который тогда же запретил и всякое упоминание об атомах и молекулах, считая их такого же рода "химерами", что и плащаница.

Можно было бы догадаться, что Брок постарался как можно лучше обосновать свое заявление, ссылаясь на наиболее авторитетных экспертов. В действительности он обошелся тремя: епископом, фокусником-иллюзионистом и кинокритиком, специализирующимся на криминальном жанре. Без всякого намерения состязаться с ним, для чего я мог бы привлечь на свою сторону ярких борцов с лженаукой, я все же нашел дюжину совсем других сторонников, которые к тому же оказались лучше, чем его, и опираются на последние научные достижения. Но о них позже. Начнем с тех, кого выбрал он.

Первый — монсеньор Пьер д'Арси, епископ Труа в XVI веке, о котором я уже говорил. Брок находит его достойным восхищения, отважным человеком, с которым обошлись несправедливо. Но раз наука доказала, что образ на плащанице нельзя считать "поддельным", потому что сегодня, точно так же как и вчера, его невозможно воспроизвести, то епископа тем не менее можно упрекнуть либо в чрезмерной наивности, либо в подлоге, потому что он либо позволил мнимому фальсификатору манипулировать собой, либо придумал всю эту историю от начала до конца — возможно, из самых добрых побуждений. Вот только из каких?

Чтение мемуара не оставляет сомнений: Пьер д'Арси не был ни кретином, ни подпевалой. Он прекрасно осознавал, какими опасностями чревато противостояние тетке папы римского. А следовательно, приходится допустить, что, с одной стороны, байка о раскаявшемся фальсификаторе и, с другой, отказ понтифика организовать хоть какое-нибудь расследование были продиктованы настоятельной необходимостью, может, даже государственными интересами. Брок не видит надобности интересоваться этим. А жаль. Выступи он в защиту епископа, это придало бы убедительности его собственной позиции.

Обратимся же к принципиальному вопросу: почему Климент VII столь сурово одернул своего епископа, чем провинился перед ним — после двенадцати лет безупречной службы — правитель одного из самых могущественных диоцезов христианского мира, человек, чья репутация — завоевание ума и кристальной честности? Почему, наконец, понтифик так демонстративно предал забвению отосланные ему материалы? Гипотеза банальной опалы, за которую цепляется Брок, слишком уж проста, если не сказать — простовата.

В действительности, как мне кажется, суть дела заключалась именно в том, чтобы избежать какого бы то ни было расследования, потому

что оно могло обнаружить связи семьи де Шарни с орденом тамплиеров. А потом вдруг возникло бы и подозрение, что "идол" тамплиеров был вовсе не "мусульманским демоном", как утверждала инквизиция, а подлинной плащаницей Христа. В 1389 году на Францию оказывали сильное давление все прочие христианские страны, чтобы она признала римских понтификов, и Климент VII, будучи папой авиньонским, совсем не хотел будить призраков тамплиеров, отправленных на тот свет первым авиньонским папой Климентом V.

Когда епископ Пьер д'Арси жалуется, что не может "полностью или хотя бы в достаточной мере выразить в письме прискорбный характер случившегося скандала, описать презрение, изливающееся из-за него на церковь, и опасность, грозящую душам", что он имеет в виду? Какая угроза страшит его до такой степени, что он не отваживается назвать ее в своем мемуаре? Может, фальшивая реликвия использовалась для вытряхивания пожертвований из паломников, как это происходило в те времена сплошь и рядом? Или он заподозрил, что в семействе Шарни захотели, возродив культ "идола", восстановить образ жизни, идеалы и структуру ордена рыцарей Храма? Отметим, что в 1352 году Жофруа де Шарни основал некое подобие братства, военного и околорелигиозного, — орден Звезды — с уставами, похожими на уставы ордена тамплиеров, уничтоженного Филиппом Красивым и Климентом V. Как следовало поступить, чтобы избежать превращения плащаницы в новый символ и желанную цель в поисках Грааля, что подвергло бы опасности и корону Франции, и тиару Авиньона: полностью запретить всякое поклонение ей, объявив фальшивкой, как того хотел епископ Труа, или же, напротив, разрешить поклонение, всячески его контролируя и ограничивая рамками местной достопримечательности, как решил папа? У меня нет ответа на этот вопрос. И напрасно я рассчитывал найти подход к разгадке у Анри Брока.

Предоставив епископу нести возложенное на него святейшим отцом наказание "вечным молчанием", наш скептик из Ниццы приглашает второго свидетеля обвинения, иллюзиониста Джо Никеля. Этот и в самом деле творит туринские плащаницы одну за другой, налепляя влажную льняную ткань на барельеф. Никель не таит свое открытие, а сразу сообщает о нем Броку, который, в свою очередь, распространяет придуманный тем рецепт в СМИ: "Разгладьте ткань кисточкой так, чтобы она хорошо заполнила все полости, а потом протрите ее ватным тампоном, смоченным в выбранной краске, оксиде железа и киновари. Оставьте сушиться, и плащаница готова". Вот и все. Видевшие результат скажут, что он так же мало похож на Туринскую плащаницу, как "Пьета" Микеланджело на постер Мадонны. Но Брока это мало заботит: у рационалистов, как и у христиан, только вера и спасает — по крайней мере "спасает явления".

А вот и третий эксперт: Уолтер Маккрон, криминалист, специализирующийся на поддельных картинах и подложных исторических документах. Он прославился тем, что объявил подделкой XX века карту, изготовленную на самом деле в 1440 году. Разумеется, Брок обходит молчанием эту промашку, зато долго рассказывает, с каким великим пиететом относились ученые СТУРП к этому ловцу подделок и как ему доверили в 1978 году тридцать два отрезанных от плащаницы образца для проведения анализов.

Вердикт Маккрона: плащаницу рисовали пальцами, смоченными оксидом железа и киноварью. "Принципиальное значение имеет здесь тот факт, – писал Брок, – что пигменты *ни в каком случае* не могли бы иметь своим источником кровь или любую другую телесную субстанцию, а их присутствие доказано *однозначно*". Вот ведь черт! Он, кажется, забыл, что в крови *тоже* содержится железо, о чем ему не преминул напомнить профессор Байма-Боллоне, директор Института судебной медицины города Турина, обнаруживший вслед за Хеллером и Адлером присутствие на плащанице глобулина и альбумина человека[1]. Что же до аурипигмента, ультрамарина, азурита, древесного угля и ализарина, которые, кажется, так сильно беспокоят скептиков, то их присутствие объясняется пигментами красок, доступных в XIV веке, – это правда. Но ни в коем случае не из них состоит изображение, в котором любой специалист обнаружил бы, как и Маккрон, следы кисточки или пальцев. Да и вообще, по поводу пигментов надо уточнить, коли уж Маккрон забыл это сделать, что речь идет о нескольких десятках микроскопических фрагментов, попадающихся среди крупиц пыли, покрывающей ткань. Хорошо известно, что среди художников, изготавливавших копии плащаницы после XIV века, существовал обычай прикладывать к ней копии, как следует высушенные, – чтобы плащаница передавала им частицу своей святости. Может быть, подобное объяснение кажется наивным, но этого достаточно для появления фрагментов пигмента у Маккрона. Вдобавок ко всему, последний обнаруживает удивительную гибкость, формулируя свои заключения. Так, он в конце концов приходит к тому, что плащаница была нарисована после 1800 года ржавой водой[2]. Брок об этом не упоминает, и, на мой взгляд, зря: насколько я знаю, такая версия никем никогда не оспаривалась. Я потом еще вернусь к оглушительным перспективам, которые она открывает и о которых даже не подозревал покойный Маккрон.

Вот и все свидетели. О нет! Забыл еще троих: Марка, Матфея и Луку. Ведь Анри Брок обращается к этим трем евангелистам, чтобы противопоставить их четвертому – Иоанну, тому единственному, кто говорит о гвоздях. "Только он, – продолжает Брок, – дает нам детали, совершенно ослепившие 'экспертов' по 'святому покрову'. Например, уцелевшие после казни ноги и колотая рана в подреберье. Короче говоря, все в этом деле построено на Евангелии от Иоанна и только на нем *одном*, и все в нем берется *буквально*, и каждая упомянутая там деталь присутствует на изображении на покрывале". Просто поразительная фраза! На праздновании Сретения Брок был бы просто чемпионом по переворачиванию блинов! А мне-то казалось, что плащаница подтверждает точность написанного в Евангелиях, а не наоборот.

Но вернемся к крови. Он никак не мог обойти этот вопрос: невозможно же вечно и совершенно бездоказательно утверждать, что речь идет о краске, о ржавчине или о кетчупе. Итак, продемонстрировав в очередной раз свою недобросовестность и, что еще хуже, недостаточное зна-

1. J. H. Heller, A. D. Adler. Blood on the Shroud of Turin // Applied Optics. 1980. 15 août.
2. P. Baima Bollone. 101 questions sur le Saint Suaire (op. cit.); R. Golay, Suaire de Turin: a-t-on daté en partie un raccommodage? // Revue française de parapsychologie (Toulouse). 2002 (juillet).

комство с предметом обсуждения, Брок, не называя никого по имени, отмахнулся от исследователей, гематологов, хирургов, генетиков, обнаруживших гемоглобин, человеческий альбумин, билирубин: "Ни одна работа не доказала присутствия крови. Некоторые дополнительные анализы, проведенные для подкрепления назойливой рекламы, кажется, обнаружили следы порфирина, именно это позволило многим членам СТУРП заявить, что 'наличие человеческой крови доказано'. А я мог бы с помощью тех же самых анализов с легкостью доказать, что Иисус Христос был вовсе не человеческим существом, а зеленым растением".

Вот, пожалуйста. Хлорофилл состоит из порфирина. Значит, у Иисуса была зеленая кровь. Посмотрим, что с пыльцой: наверное, дружище Брок приготовил для нас и другие откровения того же калибра. Увы! Там просто нет пыльцы. Почему? Да потому, что Макс Фрай, начальник научной лаборатории криминальной полиции Цюриха, был уже на пенсии, когда объявил, что нашел ее. А поскольку к моменту публикации результатов в научном журнале он и вовсе умер, то у нашего чемпиона в "искусстве сомневаться" появился хороший повод трактовать это заявление как признак слабоумия, мифомании и бесчестности. Брок заключает: "Больше никто из ученых, взявших две серии образцов на клейкой ленте, не видел никакой пыльцы, якобы обнаруженной Максом Фраем".

Напомню, что наш скептик написал это в 2001 году. К тому времени уже были опубликованы работы Данина из Еврейского университета Иерусалима, в которых подтверждались основные выводы Макса Фрая и проводился сравнительный анализ пыльцы на плащанице и сударuме из Овьедо.

Еще через несколько страниц Анри Брок упрекает СТУРП в том, что там собралось сорок христиан против одного нехристианина, намекая тем самым на возможную пристрастность в ответе на вопрос о подлинности савана, в который заворачивали Сына Божьего. Было бы трудно приписать тот же грех Авиноаму Данину, поскольку он иудей, и Брок просто обходит его работы молчанием.

Я мог бы подобным же образом еще долго препарировать метод Брока, но пора уже вернуться к генетику, брошенному мною в баре и давно уже дожидающемуся окончания этой главы, чтобы продолжить свои откровения. Так что перейдем к благодарностям. После публичного выступления, которое повлекло за собой множество злобных атак легковерных клерикалов, к Анри Броку, как он сам рассказывал, обратился один священник из Ниццы со словами: "Спасибо вам за то, что вы как следует тряханули пыльную Католическую церковь". Анри Благочестивый, воодушевленный сравнением с церковным пылесосом, завершил свой текст, укрывшись, словно за портьеру, за радиоуглеродную датировку с таким видом, будто она навсегда останется неопровержимой: "И вот, начиная с той памятной даты, я каждый день жду писем с поздравлениями и извинениями, которые эти возмущенные умы, принимая во внимание их высокие нравственные и интеллектуальные идеалы, не преминут мне направить, чтобы признать совершенные ими ошибки, а главное — чтобы повиниться в нескончаемых нападках на меня, в стремлении нанести ущерб моей репутации и бросить в меня тонны камней. И я все еще жду..."

И мы тоже. За отсутствием причин для поздравлений мы отдадим должное постоянству этого художника. При таком количестве умолчаний и явной скудости аргументов требуется недюжинное мужество, чтобы все-

гда с готовностью вести лобовую атаку, однако сей метод неизменно его спасал. Конечно же, смех убивает, но стрелка он поражает реже, чем цель.

Еще одно необходимое уточнение: наш скептик из Ниццы охотно согласился продемонстрировать свой способ изготовления подделки — плащаницы а-ля Брок — перед камерой Ива Буассе. Единственное условие к "Канал-плюс" заключалось в том, чтобы его лаборатории было сделано пожертвование. Наш продюсер Филипп Альфонси не согласился на это требование — но не из соображений экономии, а по причинам сугубо морально-этическим: наиболее эффективный способ противостоять суевериям, считает он, заключается в том, чтобы не превращать свой скептицизм в товар. Поэтому в фильме Анри Брок представлен итальянским двойником Луиджи Гарласкелли, химиком из университета Павии, показавшим в нашем фильме собственный способ изготовления плащаницы при помощи барельефа — может быть, не такой убедительный, зато бесплатный.

Совпадение или контратака? В июле 2005 года, вскоре после объявления о начале съемок нашего фильма, в журнале "Сьянс э ви" появилась публикация, предваренная бурным обсуждением в СМИ весьма актуальной темы: журналу удалось собственными силами изготовить настоящую фальшивую плащаницу, "стопроцентно тождественную оригиналу". Именно так выразился 21 июня 2005 года на канале "Эроп-1" фотогеничный историк Поль-Эрик Бланрю, чьи фото украшали шестнадцатистраничную статью в журнале под заголовком "Наука, ослепленная страстью". Скандал в святом семействе или невинная летняя шутка? В Париже о публикации говорили просто: "Эксклюзив из ада".

В действительности это была безапелляционная статья, полная натяжек и умолчаний, ограничивающаяся теориями вроде изложенной выше теории Брока, чтобы втюхать читателям новую безделицу, рекомендованную к употреблению этим летом: энный вариант истории про барельеф, покрытый влажным льняным полотном и вымазанный ржавчиной. Словом, предлагался в очередной раз старый рецепт иллюзиониста Джо Никеля, отредактированный и подновленный марсельским медиком Жаком Ди Констанцо. "Результат оказался просто потрясающим и очень-очень убедительным", — восторгалась редакция, но и читатель тоже мог о нем судить, разглядывая фотографии: получалось что-то вроде детского рисунка, который, превратившись в негатив, позволял судить об исходном профиле. Вот и вся сенсация.

Лично меня в этой истории больше всего задело даже не то, что обнаружилась не присущая, вообще говоря, этому журналу пристрастность, а то, что в данном случае не было заявлено никаких научных амбиций. При каких условиях ученый, достойный этого звания, почувствовал бы порыв *по-настоящему* заняться какой-либо проблемой? Иначе говоря, не биться головой, измазанной ржавчиной, в стену, а произвести *полномасштабную* реконструкцию — в полный рост и с удовлетворительным качеством — сакраментального образа-отпечатка, якобы сделанного неизвестным фальсификатором в Средние века. Мы тщетно искали для нашего фильма хоть кого-нибудь, ученого или художника, кто, сочетая современные технологии с ингредиентами, доступными в ту историческую эпоху, смог бы воссоздать образ, видом и свойствами максимально приближенный к плащанице. Наверное, в "Сьянс э ви" шли

тем же путем, что и мы. Но несмотря на сходство действий, нам не хватило бы наглости, чтобы раздуть наши результаты до такой степени и выдавать артефакт Гарласкелли (сопоставимый с полученным Ди Констанцо) за "стопроцентную копию" плащаницы. Дух критицизма развивается вовсе не для того, чтобы считать всех, кроме себя, кретинами.

И потом, избирательность автора статьи в "Сьянс э ви" при подаче информации, возможно, и обманет профана, но насторожит любого, хоть немного знакомого с проблемой. Вот один пример из многих. "Сообщение о том, что в 1990-е годы итальянский исследователь, профессор Туринского университета Байма-Боллоне обнаружил на покрывале человеческую кровь группы АВ, не может всерьез приниматься во внимание, поскольку результаты исследования он не публиковал". Вот, значит, как? Достаточно всего лишь приобрести книгу Байма-Боллоне "101 вопрос о Туринской плащанице", французский перевод которой был выпущен издательством "Сент-Огюстен", чтобы найти в ней полный отчет о его исследованиях с комментариями для широкой публики и списком научных публикаций, посвященных этой теме.

Но редакции не захотелось сообщать читателям о том, что директор Института судебной медицины города Турина тридцать лет посвятил изучению крови на плащанице, а при необходимости и оспаривать его мнение; она предпочла просто поинтересоваться мнением одного из экспертов Национального совета дорожной безопасности. Этот эксперт по имени Клод Гот нашел, что раны человека на плащанице слишком неопределенны по форме и цвету, чтобы можно было судить об их биологической природе. Хорошо. Но когда речь заходит о ста двадцати следах кнута, форма которых точно соответствует размерам хвоста римского *флагрума*, утяжеленного свинцовым шариком, то что же нам говорят авторы из "Сьянс э ви"? "Соответствие слишком точное, чтобы быть правдоподобным".

Ну ладно. Почему бы тогда не пойти дальше и не допустить, что правая рука оказалась длиннее левой не из-за характера перенесенных пыток, а просто из-за стыдливости анонимного фальсификатора, позволившего распятому прикрыть срам правой рукой? Да-да. Именно это и утверждается в одной из подверсток, где, кстати, изобретена история о том, что папа Климент VII поддержал Пьера д'Арси, первым оспорившего подлинность плащаницы и пытавшегося запретить поклонение ей. Мы помним, что на самом деле понтифик осудил епископа "на вечное молчание", угрожая ему отлучением, — это, в общем-то, довольно странный способ признания чужой правоты.

Наконец, "Сьянс э ви" изображает профессора Мариона легковерным добрячком — при том, что он неверующий, и при том, что он пытался на протяжении многих лет найти рациональные ответы на все те вопросы, которые ставят перед разумом загадки мученических облачений Христа. И вот несчастного исследователя из Академического оптического института в Орсе обвиняют *одновременно* и в том, что он поспешил познакомить широкую публику с недостаточно проверенными открытиями, изложенными в двух популярных (фу!) книгах, и в "чрезмерной осторожности" выводов, сформулированных в научных публикациях. "Скорее всего, вера в его выводах взяла верх над научными воззрениями", — таково заключение статьи. Замените слово "вера" на "предрассудки", и вы поймете, из-за чего разгорелись споры, на кото-

рые скептики Брока сподвигли редакцию "Сьянс э ви". В августе того же года Андре Марион ответил на эти нападки в журнале "VSD", дав подробное описание современного состояния дел в научных исследованиях плащаницы и двух других аналогичных реликвий, о существовании которых "Сьянс э ви" даже забыл упомянуть.

Как же отреагировали скептики? Зубоскальством. Оно и понятно: может ли в глазах просвещенных людей специальный выпуск "VSD", рассказывающий о паранормальных явлениях, соперничать с солидным "Сьянс э ви"! Вот осовремененная мораль этой басни Лафонтена: если хотите, чтобы вас принимали всерьез, лучше излагать свои домыслы в респектабельном журнале, чем делиться достоверными знаниями в популярном еженедельнике.

Как бы то ни было, пока "просвещенные умы" развлекаются, прикладывая льняное полотно к мокрому барельефу и разглядывая получающиеся разводы, вдали от медийной сцены проводятся исследования куда менее безобидные. В конце концов я упрекаю "Сьянс э ви" только в одном: журнал выступил в роли регулировщика, говорящего гражданам "Проходите, проходите, не задерживайтесь" как раз в том самом месте, где нам стоило бы остановиться и посмотреть, а что это тут происходит. Ибо размножение "священных реликвий" может обернуться последствиями гораздо более серьезными, чем глупое хихиканье "научкорректных" и благонадежных редакторов парижских журналов.

Прежде чем вернуться к продолжающему сидеть перед своим безалкогольным коктейлем генетику, который уверен, что смог раскрыть генетическую идентичность Иисуса Христа, припомним статистические подсчеты, обойденные вниманием авторов "Сьянс э ви". В начале XX века Ив Делаж, еще больший агностик, чем Андре Марион, признавался по окончании своего исследования: едва ли есть один шанс из десяти миллиардов, что плащаница — подделка (труп человека, битого кнутом, распятого, подвергнутого пытке терновым венцом, пронзенного ударом копья...). По прошествии ста лет, принимая во внимание сделанные за это время открытия, математик Туринского университета Бруно Барберис посчитал, что таких шансов осталось не более одного на двести миллиардов. А Джулио Фанти из университета Падуи оценил эту вероятность в единицу, отнесенную к единице с сотней нулей.

Если Слово стало Плотью, то сегодня плоть трансформировалась в цифры. На этом уровне статистики и с учетом "чудесного" сохранения крови на всех трех реликвиях некоторые принялись вычислять вероятности закодированной вести и пришли к выводу, что экстраординарный прогресс молекулярной биологии означает только одно: второе пришествие Мессии должно произойти посредством клонирования.

В 2004 году выдумка романиста, которую я развивал в "Евангелии от Джимми", уже была реальностью, а мне-то было и невдомек.

Генетика Грааля (Продолжение)

И вот мы снова в баре отеля с профессором Люкоттом, уже пригубившим свой третий коктейль под зонтиком, — он объясняет, как это так

вышло, что у него в распоряжении оказалась молекула ДНК предполагаемого Мессии:

— Моя жена родом из Аржантёя. Она мне рассказывала истории про хитон, хранящийся в местной базилике, но я слушал ее вполуха. Вы знаете, я отношусь к тем, кто родился в христианской семье, но кого оттолкнуло от церкви религиозное образование. С годами мне бы и хотелось поверить, но, увы, у каждого своя жизнь, и приходилось быть довольным тем, что есть любимая работа. Но вот однажды...

Он умолк, сверкнул глазами, чтобы сделать еще один глоток. Потом недоуменно оглянулся, причмокнул и потребовал себе еще арахиса. И только после этого продолжил наконец свой рассказ:

— В один прекрасный день сестра мой жены попросила меня быть крестным ее дочери. После крестин я перемолвился парой слов с кюре. Я поинтересовался, нет ли на их реликвии следов крови. Он признался, что есть. Я ему сказал, что для меня это очень важно и что я хотел бы посмотреть на нее. Он ответил, что, мол, смотреть можно сколько угодно, только хитон — исторический памятник, поэтому необходимо разрешение Министерства культуры. На следующей неделе я записался на прием и повидался с нужным чиновником. Так что вскоре я вернулся в базилику с разрешением. Кюре открыл мне реликварий, и вот, пожалуйста: я один на один с легендарным нешвенным хитоном, и вправду покрытым кровью.

Он сделал длинный вдох и задержал дыхание, качая головой.

— Ну и?

— Ну, я ее и смыл.

— Не понял?

Он допил свой коктейль.

— Это профессиональный жаргон. Есть вещество, которое впитывает в себя протеины из крови. Я собрал всё в пробирку и отнес в лабораторию, чтобы экстрагировать оттуда ДНК. Она присутствовала там в количестве пяти миллиграммов. С помощью молекулярной гибридизации мне удалось ее амплифицировать. А спустя десять лет я улучшил и этот результат, прибегнув к методу полимеразно-цепной реакции (ПЦР) — после того как эта цепная реакция полимеризации была открыта. По счастью, я догадался клонировать исходный материал, чтобы создать банк.

Он рассказывал самым спокойным голосом и с самым непринужденным видом — так, словно хотел посмотреть, как выскочат из-за стойки случайно спрятавшиеся там шпионы. С пересохшим горлом я переспросил:

— *Что* именно вы клонировали? Не можете уточнить?

— Фрагменты ДНК. Я сделал запас, если угодно, для последующих исследований. И депонировал его в трех местах: в Институте Пастера, в одном американском банке и еще в одном месте, которое держу в секрете.

— И как же вы сохраняете ДНК?

— При четырех градусах. В лиофилизированной форме.

Я в замешательстве уставился на человека, который на протяжении двадцати лет хранит в своем холодильнике гены Иисуса. Потом спросил, кто еще об этом знает.

— Больше никто. Технические сотрудники лаборатории, которые проводили экстракцию и секвенирование, всегда действуют вслепую. Я подсунул им кровь с хитона между двумя другими работами: анализами страдающего болезнью Паркинсона и больного миопатией. Я никому не открывал своего секрета до сегодняшнего дня.

— И зачем вы мне его раскрыли? Почему мне?

Он посмотрел на меня

— Пришло время об этом сказать. Я знаю, когда нужно публиковать научные результаты, но что до остального... Вы уже коснулись подобных проблем в вашем романе, вы знаете расстановку сил. Последствия моих изысканий для общественной жизни, для человечества и для религии могут оказаться гигантскими, я не знаю, как со всем этим управиться; я окажусь под перекрестным огнем и слишком многих подвергну опасности, мне понадобятся ваши советы.

Я судорожно сглотнул. Потом скромно и доверительно спросил о том, каковы же его выводы.

— Прежде всего они подтверждают группу крови — IV (AB). Самая редкая группа — всего два процента нынешнего населения планеты. И вы знаете, что это означает. У матери Иисуса, если речь идет о нем, должна была быть группа II (A), а у отца — III (B). Или наоборот. Значит, Иосиф был его биологическим отцом, а Мария не была девственницей.

Я его остановил:

— Я читал, что со временем кровь любой группы эволюционирует к четвертой.

— Это неверно. Если кровь эволюционирует со временем, то только в сторону утраты своих характеристических свойств, позволяющих уточнять анализ, иначе говоря, в сторону нулевой группы. Ложные слухи распускались специально, чтобы люди, узнав об идентичности крови на реликвиях в Аржантёе, Турине и Овьедо, считали сей факт следствием ее возраста, а не общности источника. Поверьте, задолго до того, как решиться публиковать результаты работ, я изучил всю царящую вокруг ложь, чтобы знать, куда ставить ногу.

— А ДНК, о чем она говорит?

Он опер локоть о стол и поднял вверх сжатый кулак. Потом стал один за другим разгибать пальцы:

— Это человек. Обыкновенный человек, с хромосомами X и Y. Кавказской расы — не африканец, не азиат. Белый. Волосы не рыжие, иначе были бы специфические маркеры. И глаза не голубые. Я проверил его гаплотипы хромосомы Y по своей коллекции древних семитов: он был евреем. И, кроме того, он был переносчиком ССЛ, семейной средиземноморской лихорадки. Болезнь сегодня очень редкая, но в начале новой эры она часто встречалась в Палестине. Проявляет себя резкими скачками температуры и, если ее не лечить, почечными коликами. Лечат же ее обычно колхицином. Значит, у него еще не было никаких проявлений болезни, но передавать ее другим он мог.

Генетик разглядывал кружок апельсина на дне бокала из-под своего безалкогольного коктейля, потом в каком-то ностальгическом порыве пробормотал:

— По крайней мере в одном мы были с ним схожи, с Иисусом.

— И в чем же?

— Я тоже принимаю колхицин. Из-за подагры.

Несколько секунд я не прерывал молчания, потом подытожил:

– Значит, у него было все как у обычного человека?

– Да, все. Он был обычным человеком, которого мучили на протяжении многих часов и который умер и потом дематериализовался в своей....

Он взял свою папку и открыл ее. Укладывая только что показанные документы, он сказал, не глядя на меня:

– По крайней мере, если Андре Марион, Авиноам Данин и все прочие не ошибаются. Если действительно все три покрывала касались одного и того же человека. А это я скоро узнаю с достоверностью.

– Каким же образом?

– Я послал официальный запрос в Турин, чтобы получить образцы крови с плащаницы и сравнить ДНК. Пока жду. И буду держать вас в курсе.

Я потянулся было за счетом, но он меня опередил и схватил блюдечко.

– Я не понимаю, что вами движет все эти двадцать лет!

Он неторопливо вынул свой бумажник. Его ответ был полон степенности, которая всегда отличает людей, выбравших для себя дело с непостижимо высокой ставкой:

– Я хочу понять... увидеть в его крови генетическое послание, которое он нам оставил. Это и есть поиск Грааля. Настоящего Грааля. Надо понять. Круглый стол сегодня – это лаборатория. И поэтому нам нужны вы. Мы с Марионом – два изнемогающих рыцаря, из последних сил ищущих скрытые знаки. Рыцарь образа и рыцарь крови. А вы, если вы согласитесь, будете нашим Гавейном, рыцарем-повествователем. Но вы должны хорошо подумать, прежде чем соглашаться, – вам изрядно достанется. Чего только не делалось, чтобы задушить работы Мариона, а про мои просто никто не знал. А вы, с вашей известностью... вам ничего не простят.

Я прямо ему ответил, что мне незнаком страх, что я живу в воображаемом мире, поэтому меня ничто не может остановить, но меня невозможно использовать, мною невозможно манипулировать.

– Вы увидите, – улыбнулся он снисходительно, – только люди, которые никому не мешают, по-настоящему неуязвимы. Неужели вас не беспокоит, что на вас нападут одновременно с двух сторон: и верующие, и скептики?

– Нет. Я буду рассказывать о ваших приключениях, но я не буду пропагандистом ваших идей. И если вдруг вскроется подлог...

– Какой подлог? – встрепенулся он, и вся его подозрительность тут же вернулась.

– Если выяснится, что речь не об одном и том же человеке – предположительно Иисусе Христе, – а о разных людях, то я об этом сразу заявлю.

Он положил папку себе на колени и опустил глаза. И тут сквозь его оплывшее тело я увидел перед собой обиженного ребенка, каким он, вероятно, был пятьдесят лет назад. Корифей молекулярной медицины оказался всего лишь упрямым мальчишкой, который отказывается верить, что жизнь то и дело превращает определенность в иллюзию. Со смиренной печалью он произнес:

— Я бы так хотел в это поверить. Но я думаю, что небеса пусты, что после смерти нет ничего, что бог — просто уравнение, не имеющее корней. Во всяком случае, если мы действительно имеем дело с Иисусом Христом, в его генах нет ничего божественного. Разве что только...

Он поднял глаза, и я смог прочитать конец фразы в его молчании, в свете надежды, наполнившем его взгляд. Разве что только вера этого обычного человека, приумноженная верой тысяч учеников и очевидцев, дала ему силу "реинформировать материю" — если воспользоваться выражением теолога Клода Тремонтана[1] — и "реорганизовать дезорганизованное". Не может ли и каждый из нас победить смерть, превозмочь пределы, навязанные нам страхом?

Новый Завет говорит нам, что Бог родился во плоти, чтобы спасти грешного человека. Но о каком грехе речь? Первородный грех, как мы теперь знаем, — это ошибка перевода, совершенная Блаженным Августином. Перекладывая с греческого на латынь Послание к Римлянам святого апостола Павла, он перепутал относительные местоимения[2]. В исходном тексте говорилось о том, что из-за греха, совершенного Адамом, его потомки унаследовали смерть, а не сам грех. Не было и речи о том, чтобы ответственность за одну совершенную ошибку автоматически возложить на все последующие поколения — эта мысль противоречила бы божественной любви. Речь шла просто об осознании смерти как конечной точки, об иллюзии, что с нею всё заканчивается и после нее ничего не будет.

А что, если погребальные одеяния Христа — это его post-scriptum? Трехчастное напоминание важнейшего послания Нового Завета: любовь — это единственная энергия, которая превоз*мог*ает (transcendet) смерть — в этимологическом смысле "*мощью своей* проходит насквозь и поднимется выше". Все формы энергии преобразуются друг в друга: свет в электричество, электричество в движение, движение в тепло... Если мысль — особая форма энергии, то любовь — особо *мощное* ее выражение. Но для всякого преобразования энергии нужна машина. Так, биолог и физик Луи-Мари Венсан[3] заключил: "У меня есть подозрение, что человек — *машина*, которая служит для преобразования любви в какую-то другую форму энергии".

Эти три реликвии, уж не снабжают ли они человека его собственной "инструкцией по эксплуатации"?

Отчаянные поиски фальсификатора

Прежде чем перейти к обсуждению безумной гипотезы, к которой привели меня рассуждения Люкотта, все-таки спросим себя еще раз: а не хранит ли Люкотт в своем холодильнике ДНК какого-то средневекового мученика?

Читателя, должно быть, так же как и меня, озадачили ничтожность, неправдоподобность аргументов, приводимых от имени "разума", в пользу существования некоего безвестного фальсификатора. Мало кто

1. C. Tresmontant. L'Enseignement de Ieshoua de Nazareth. Paris: Le Seuil, 1970.
2. F. Brune. Saint-Paul le témoignage mystique. Paris: Oxus, 2003.
3. D'une vie à l'autre (entretien avec Evelyn ElsaesserValarino). Paris: Dervy, 1999.

удовольствуется легковесными доводами Маккрона, Брока и Бланрю из какого-нибудь очередного "Сьянс э ви", заставляющего вспомнить о веселых временах, когда нас радовали "Приключения Пифа", изображенные на забавных картинках. Но есть исследователи, строящие в противовес тезису о божественном чуде значительно более весомые, оригинальные, а то и бредовые теории.

Начнем с магического объяснения – оно лежит на поверхности, – за него то и дело хватается пресса. Наш фальсификатор должен быть абсолютным гением и вдобавок величайшим посвященным? Прекрасно! Значит, это Леонардо да Винчи. Его творение – не что иное, как "автопортрет в образе Христа", с характерным sfumato, своеобразной техникой размытых контуров, и выполненный к тому же при помощи фотографии, которую он изобрел вслед за геликоптером и пулеметом. Среди английских авторов, защищающих эту идею[1], и Линн Пикнетт – она сконструировала для нее и окончательное доказательство: сам Леонардо да Винчи собственной персоной ей подтвердил в зашифрованном письме, что он и есть автор плащаницы. Неприятная деталь: этот да Винчи позабыл, что явился на свет век спустя после того, как плащаница впервые выставлялась на обозрение в шампанском Лирее.

Если мы оставим этот ложный след, то на что можно рассчитывать еще? Перечислим, какие ингредиенты нужны были исследователям, чтобы воссоздать образ: битумная пыль Иудеи и желудочный сок жвачного животного в сочетании с медью; кроме того, сторонникам теории об отпечатке, появившемся на ткани в результате естественного процесса, без художественного вмешательства, требуются еще пары аммиака, содержащиеся в крови или в поту. Поговаривали даже о простыне, "испачканной больным по причине недержания во время эпидемии чумы". Более серьезные доводы приводили исследователи Фолькрингер, Пеликори и Рибей: у них образ на плащанице возникал в результате процесса, похожего на высушивание гербария, – при этом окисление целлюлозы граничит с ее разрушением. Опыты и в самом деле показали, что растения, высушиваемые между двумя льняными полотнищами, оставляют на их поверхности следы, напоминающие по цвету образ на плащанице. Но – проникающие сквозь ткань, тогда как тело мученика отпечаталось только на поверхности нитей, да и то не всех. Ни одна из подобных попыток объяснения не выдерживает сравнительного изучения, приходится искать какое-то другое.

Гипотезу из числа наиболее соблазнительных предложил нам о. Франсуа Брюн, неутомимый охотник за всяческими чудесами, истинными и ложными, энтузиаст научного исследования необъяснимых явлений. В недавней публикации[2] он рассказывает о ряде предпринятых после 1999 года попыток приписать формирование образа на плащанице феномену, о котором до сих пор никто не подумал, – сейсмической энергии.

Припомнив, что в Евангелии от Матфея упоминаются два подземных толчка значительной силы – первый в момент смерти Христа и второй, когда жены-мироносицы пришли к его могиле, – итальянские исследователи разложили в одной из пещер западного Пьемонта, зоны

1. L. Picknett. C. Prince, Turin Shroud. London: Bloomsbury Publishing, 1994.
2. F. Brune. Dieu et Satan, le combat continue (op. cit.).

слабой сейсмической активности, некие предметы на поверхности льняного полотна. Каково же было их удивление, когда вскоре после едва заметных подземных толчков, зарегистрированных сейсмографом, они обнаружили на ткани *поверхностные* отпечатки оставленных предметов в *ортогональной* проекции — таким образом были воспроизведены две из наиболее странных особенностей образа на плащанице. К тому же эксперимент всегда можно повторить — единственное условие, чтобы ткань предварительно была смочена соком алоэ, который использовали для обработки трупов, и сок этот обнаружен на Туринской плащанице. Значит, чудо небесное — не более чем эффект землетрясения? Но полной красоты эксперимента достичь не удалось: завернутые в льняную ткань предметы не исчезли, а остались на месте.

Итак, скептиков совсем не интересуют возможности "естественного" объяснения, они предпочитают упрямо держаться за гипотезу о средневековом фальсификаторе. Что ж, я подолью немного свежей воды на их мельницу.

Попробуем составить "фоторобот" этого фальсификатора. Он должен быть выдающимся художником и обладать сногсшибательными для своего времени познаниями в медицине. Он — палач или, по крайней мере, педантичный постановщик всех пыток, описанных в Евангелиях, и последующих страданий. Ему был известен метод — затем навсегда утраченный — извлекать труп из ткани так, чтобы не повредить ни один из оставленных на ней кровоподтеков. Он сумел за пять веков до Нисефора Ньепса изобрести фотографию, но скромность и отсутствие амбиций помешали ему извлечь какую бы то ни было пользу из своего открытия. Его единственная цель — убедить ученых будущих столетий в том, что Иисус чудесным образом исчез, пока был завернут в погребальный саван. Он также не пожалел времени на множество бесполезных деталей, совершенно незаметных современникам: например, подвернул большой палец, как бывает, когда распятого подвешивают на запястьях, — что стало видно только на отпечатках 1898 года. А еще он придумал способ наложить на ткань с оставленными на ней кровоподтеками трехмерное изображение, созданное в результате окисления целлюлозы на глубину меньше толщины человеческого волоса. Кроме того, он сочетал в себе качества неукротимого визионера и страстного путешественника, так как предвидел изобретение электронного микроскопа и поэтому собрал пыльцу наиболее типичных растений, произраставших от Красного моря до Греции и Турции — именно такой путь должна была бы проделать реликвия, будь она подлинной.

Короче говоря, "это был величайший ученый всех времен, ибо вот уже девяносто лет, как изрядной части современного научного сообщества не удается сделать то, что удалось ему"[1]. Таково заключение Арно-Аарона Упинского. По мнению математика и философа, проводившего в 1993 году симпозиум в Риме, одновременное появление такого количества "зашифрованных посланий", адресованных будущим поколениям, делает неизбежным вывод: "Плащаница — это фотоотпечаток какого-то реального события, а вовсе не симулякр".

1. A.-A. Upinsky. L'Enigme du Linceul (op. cit.).

Хорошо. У меня тогда есть еще одно предложение. Отпечаток, больше всего похожий на отпечаток с плащаницы и по цвету, и по характеру окрашивания нитей, датируется 1989 годом. Тот самый, который профессор ядерной физики университета Монпелье о. Жан-Батист Ринодо получил, бомбардируя протонами лоскут древнеегипетской ткани в ускорителе частиц. Я еще вернусь к этим невероятным исследованиям в следующей главе, однако вот неизбежно встающий вопрос: могло ли случиться так, что, проводя свои исследования в 1978 году, СТУРП и НАСА уже имели средства *создать* некие характерные особенности плащаницы, которые им в последующем предстояло официально открыть? Ибо если плащаница — подделка, то ее создавали не в один присест. И я могу только удивляться, почему ни один скептик не предложил гипотезу, что перед нами подделка, так сказать, *многозарядная*.

Химик Гарласкелли, сам того не желая, навел меня на эту мысль, без устали повторяя в нашем фильме, что пролитая кровь темнеет практически немедленно; а кровь, видимая сегодня на плащанице, слишком светлая, на его взгляд, слишком красная и слишком свежая, чтобы ее можно было датировать как I веком нашей эры, так и XIV. И если отвергать гипотезу чуда или чудесных же консервирующих свойств мирры и алоэ, то приходится допустить, что кровь на плащанице, изучавшаяся после 1978 года, это кровь, которая *наносилась на нее* каждый раз *перед судебно-медицинским исследованием*.

Восстановим хронологию. В XIV веке, если верить радиоуглеродному анализу, некто обзавелся куском льняной ткани, в которую завернул тело своего современника, истерзанного кнутом и терновым венцом, распятого и пронзенного копьем. Этому первому фальсификатору понадобилось замучить, очевидно, немалое число подопытных, так как существует единственная мыслимая причина, по которой он подвесил фальшивого Христа за запястья, вступив тем самым в явное противоречие с современной ему иконографической традицией — традицией, которой вполне прилежно следовали в иных случаях: при забивании гвоздей в ладони они разрывались под тяжестью тела, и несчастный страдалец падал на землю.

Можно добавить еще кое-что о профессиональной добросовестности этого фальсификатора: он, не пожалев трудов, вырезал из резины трафарет и прожег четыре отверстия, расположенные буквой L и видимые на миниатюре кодекса Праи. Эта миниатюра, изображающая погребальное облачение, вытканное "елочкой" и датируемое периодом между 1150 и 1195 годами, служила ему — в рамках данной гипотезы — источником вдохновения: еще в эпоху Константинополя существовала плащаница Христа (впрочем, возможно, тоже фальшивая), положившая начало славной череде подделок.

Ничего другого средневековому фальсификатору не требовалось: ни у одного из современных ему ученых не было способа доказать, что это подделка.

Но изобрели фотографию. Тем, кто хотел, чтобы плащаницу продолжали считать чудом, пришлось прибегнуть к помощи *второго фальсификатора*, чтобы привести *доказательство "от невозможного"*. Подменяется ткань, даже если для этого приходится распять нового двойника Иисуса и воспроизвести все отличительные черты предыдущей версии: прожженные кадилом отверстия, серебряные подтеки, образовав-

шиеся при пожаре 1532 года, когда расплавился реликварий, следы наводнения... Вытащив из тела жертвы гвозди, надо было уложить его на плащаницу, предварительно смоченную сульфатом серебра, чтобы она послужила своего рода фотографической пластинкой и чтобы тело могло оставить негативный отпечаток[1]. После этого приглашается свидетель выше всяких подозрений — Секондо Пиа, который мог бы сфотографировать "обновленную" плащаницу. А поскольку негатив негатива — это позитив, то сразу готово и первое "чудесное" свойство реликвии, которую бросят на съедение ученым и простофилям. До сих пор удавалось рассмотреть только нечеткий невыразительный образ, теперь "замена" правого на левое и черного на белое позволит совместить все раны с их отпечатками.

Правда, это совершенно инфернальная затея: ее успех и растущий интерес к ней слишком зависят от бурного развивающегося технического прогресса. С 1969 года специально для криминалиста Макса Фрая плащаницу стали посыпать пыльцой различных растений, типичных для Ближнего Востока, в том числе Gundelia tournefortii, растущей только в пустыне, и Hyoscyamus aureus, появляющегося весной на древних укреплениях Иерусалима. Затем, в качестве прелюдии к начатому в 1978 году исследованию СТУРП, была создана новая высокотехнологичная версия плащаницы, у которой, помимо всех предыдущих опций, предусматривалась бесконтактная печать (так что кровь, полученная не более тридцати часов назад, прилипала к ткани сгустками, которые не разрушались, когда тело отделяли от ткани), трехмерность образа (его обнаружит НАСА с помощью прибора VP8 — аппарата, предназначенного для изучения фотографий космических объектов), окисление целлюлозы на глубину до сорока микрон (полученное путем помещения ткани в ускоритель элементарных частиц), греческие и латинские надписи, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что речь идет и в самом деле об Иисусе Христе.

Это титаническое предприятие по "реинформации" не ограничивается одной только Италией и одной только плащаницей. В 1932 году в лаборатории изготавливают Аржантёйский хитон, чтобы снимки в инфракрасных лучах обнаружили на нем присутствие крови той же самой группы AB. Потом, в 80-е, предваряя исследования Андре Мариона в Оптическом институте Орсе, поверхность хитона приводят в соответствие с рисунком телесных повреждений, расшифрованным по плащанице. После этого специально для Жерара Люкотта в кровь добавят маркеры, характерные для представителей еврейской нации.

Ту же работу проделывают и в Испании, чтобы на сударии из Овьедо отпечаталось семьдесят пятен крови группы AB, расположенных таким образом, чтобы при наложении они совпадали с пятнами крови на лице, отпечатавшемся на плащанице, что можно обнаружить сразу по предоставлении такой технической возможности. Мораль: чем дальше движется наука по пути прогресса, тем совершеннее кажутся нам релик-

1. Этот тезис горячо защищается в английском фильме, снятом для Четвертого канала Николасом Албеном, который полагает вполне возможной эту "фотографическую манипуляцию" с целью получения на плащанице, обработанной сульфатом серебра, изображения неподвижного тела, если его освещать солнечными лучами и фокусировать изображение на плащанице с помощью линзы.

вии — все три, превращаясь во все более убедительное, единое доказательство Воскресения Христа.

Но вот какой в этом случае возникает вопрос: кто же получает выгоду от подобного мошенничества? Церковь? Какая странная тактика: неутомимо творить доказательства чуда, чтобы потом их всячески опровергать. И к тому же зачем ей везде оставлять пятна крови группы АВ с Y-хромосомой, наносящей смертельный удар по христианскому догмату о вечной девственности Богоматери?

Разве только это международный заговор неких тайных и могущественных врагов христианства, которые в своем озлоблении решили раздорить ученых фальшивым чудом, чтобы, внезапно появившись из тени, смутить всех. Но почему же в таком случае они еще не перешли к заключительной части программы? Почему не идут дальше детских рисунков на промокашке, прикладываемой к мокрому барельефу? Почему бы не обратить внимание на настоящие неувязки во всей истории вместо того, чтобы просто отрицать их, почему бы не подойти с научных позиций к результатам лабораторного исследования трех *невозможных* реликвий — каждая из которых, кажется, только подтверждает подлинность двух других?

И правда, можно подумать, что все делается с единственной целью — навеки сохранить равновесие между уверенностью и сомнениями, разумом и верой, очевидностью и тайной.

Хиросима, завернутая в тряпку

Гипотеза, изложенная в предыдущей главе, вызывает у вас недоверие? И тем не менее предположение о *многозарядной* подделке — единственная "реалистическая" гипотеза, более того — только она одна не потворствует соблазну скинуть со счетов некоторые твердо установленные факты. И эта гипотеза не кажется вам заслуживающей доверия? Тогда милости просим: знакомьтесь с немыслимым и невероятным.

Вернемся к фактам, как их описывают ученые, если только они не ослеплены, не лишились дара речи и не впали в истерику из-за нежелания принимать во внимание то, чего не могут постичь. Итак, в Туринскую плащаницу и в самом деле был завернут труп, пролежавший в ней около тридцати часов, — все проводившиеся анализы крови, равно как и отсутствие следов разложения, это подтверждают. После чего труп был из нее изъят так, что не осталось ни малейшего намека на разрыв и повреждения прилипших к ней сгустков крови. После чего на ткани возник отпечаток вроде фотографического негатива, при этом — отпечаток трехмерный и на вид такой, будто ткань в момент печати была расстелена плоско. К тому же печать осуществлялась по ортогональной проекции, поскольку контуры тела совпали со следами крови. Некоторые волокна целлюлозы побурели, окислившись на глубину в сорок микрометров. Вот так.

Сначала мы остановимся на фотографической природе отпечатка. Откуда мог взяться "негатив", если не было никакого фотоаппарата? Мы принимали во внимание две гипотезы: во-первых, первичного фальсификатора, который изобрел фотографию в Средние века, а во-вторых, фальсификатора "второй очереди", который, вдохновившись открыти-

ем Нисефора Ньепса, в XIX веке подменил плащаницу, создав на ней негативный фотоотпечаток. Если эти гипотезы отмести как неправдоподобные, то что же останется? Кусок льняной ткани сыграл роль пленки, склеп выступил в качестве камеры, кровь с потом образовали эмульсию, а труп распятого подвергся фотографированию. Но всякий фотограф нам скажет, что в темном склепе отсутствует необходимый элемент съемки — вспышка света. И тут мы приходим к тому, что заставило так заразительно смеяться скептиков, — к "вспышке во время воскресения".

Попрошу спокойствия. Постараемся придерживаться определений специалистов: мы имеем дело с "контактной негативной печатью излучающего объекта"[1]. На свете существует только один набор подобных отпечатков — они возникли при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. А именно, отпечаток той самой стальной заслонки, который остался на цементе во время взрыва, при глубине прожога, не превышающей толщину человеческого волоса. Поток высокоэнергетических фотонов увековечил на стене ее тень, так же как он увековечил на развалинах силуэты тысяч сожженных японцев. Этот феномен называется импульсным фотолизом. Но мыслимо ли поверить, что подобное случилось внутри льняного полотна?

Прежде всего, как заметил профессор Андре Марион, повторяя выкладки атомщиков из Лос-Аламоса, такой результат можно было бы получить при коротком газовом разряде на разности потенциалов в миллионы вольт. Но выделившейся энергии тогда бы хватило, чтобы уничтожить не только плащаницу, но и весь Иерусалим с окрестностями. Свет распространяется быстрее звука, он обогнал бы и ударную, и тепловую волны, поэтому нужно представить себе нечто такое, что *остановило бы* атомный взрыв внутри полотна, едва только световая вспышка обожгла его поверхность, запечатлев на ней образ. Вряд ли надо добавлять, что при нынешнем состоянии наших знаний мы не готовы воспроизвести подобный феномен.

Но зато Жан-Батист Ринодо с факультета естественных наук университета Монпелье высказал гипотезу, что подобный же эффект могли бы произвести протоны, высвободившиеся при слиянии тех ядер дейтерия, которые содержатся во всяком человеческом теле. Он и в настоящее время занят тем, что проверяет свою догадку в ускорителях частиц. Эффект поразителен: этот физик-ядерщик получил на куске льна из Древнего Египта образование пятен соломенно-желтого цвета, столь характерного и для образа на плащанице. Ничего общего с ржавыми разводами Никеля, Брока и компании, тут мы впервые видим на волокнах льна ожог глубиной в сорок микрометров! И в качестве неожиданного бонуса — датировка радиоуглеродным методом, проведенная до и после того, как египетская ткань побывала в ускорителе, дала разницу во много веков — вот и еще одно возможное объяснение средневековой датировки, полученной в 1988 году[2].

Другой физик, Эберхардт Линднер, не соглашаясь с Ринодо, полагает, что образ возник не из-за потока протонов, а под действием излучаемых телом электронов — это заодно позволяет объяснить, почему пе-

1. D. Desforges. L'Affaire du Linceul de Turin (op. cit.).
2. J.-B. Rinaudo. Nouveau mécanisme de formation de l'Image sur le Linceul de Turin, ayant pu entraîner une fausse datation médiévale // Actes du symposium de Rome (op. cit.).

редний отпечаток значительно ярче отпечатка со стороны спины: энергия электронов зависит от пройденного расстояния, и поскольку лежащее тело прижималось спиной к ткани, расстояние там оказалось меньше[1].

Однако теории этих исследователей наталкиваются на одно и то же серьезное возражение: субатомные частицы должны разлетаться во все стороны подобно тому, как во все стороны светит электрический свет. А значит, и образ, который мы видим на плащанице, должен был оказаться деформированным. А между тем — изучение волокон льна под микроскопом это подтверждает — излучение падало на плащаницу под прямым углом. Запечатленное тканью излучение могло быть только монохроматическим, когерентным и строго коллинеарным. А это — не что иное, как определение луча лазера.

Теорию Гастона Сье, специалиста по лазерным методам лечения рака[2] и организатора международного симпозиума в Ницце в 1977 году, до сих пор не удалось опровергнуть, но она снова возвращает нас к тому же вопросу — независимо от того, распалось ли тело на атомы или его разрушил лазерный луч, — как это явление могло возникнуть, что могло его вызвать? Профессор Ринодо отправляет нас к понятию виртуальных частиц и призывает надеяться, что со временем специалисты по квантовой теории смогут объяснить, из-за чего дематериализовалось тело Иисуса Христа.

Но пока это случится, приходится больше полагаться на интуицию и веру, чем на научную строгость. Одно, впрочем, совсем не обязательно исключает другое. Доктор Сье пришел к выводу, что в темноте склепа каждая клеточка тела распятого стала источником лазерного излучения высокой мощности, способного обжечь волокна льна на глубину до сорока микрометров. Он и теперь пытается определить в нанометрах[3] длину волны, в ваттах — мощность и в герцах — частоту излучения при воскресении, используя для этого мощные лазеры стоматологического факультета университета Ниццы. И он не сомневается, что все именно так и было: явление Христа перед пещерой утром на Пасху возникло также из-за лазерного излучения — это было что-то вроде голограммы. Вот почему Христос не дал прикоснуться к себе Марии Магдалине, только что поспешно покинувшей пустую пещеру и принявшей Его за садовника, и сказал: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу моему" (Иоанн. 20:17). В тот момент Он был всего лишь светом. "Он выглядел совершенно естественно, — писал Сье. — Однако был совершенно виртуален".

Спустя несколько часов Он явится своим апостолам, а еще позже — паломникам в Эммаусе и там-то наконец вернется в полностью материализованную форму, в некотором смысле перевоплотившись в себе самом. Он призывает их к физическому контакту: "Осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. <...> Есть ли у вас здесь какая пища?" (Лука. 24:39—41).

И если христиане принимают идею воскресения без возражений, а нехристиане лишь пожимают плечами либо ухмыляются, то некоторые

1. Hypothèse expliquant la formation de toutes les traces dans le Linceul de Turin // Actes du symposium de Rome (op. cit.).
2. G. Ciais. Laserthérapie dans la prévention et le traitement des mucites liées à la chimiothérapie // Bulletin du cancer. 1992 (février).
3. 1 нм = 10^{-9} м = 1000 мкм (*Прим. перев.*)

специалисты по квантовой теории видят в словах Евангелия аллегорию того, с чем им приходится работать, — иллюзии материи, пространства и времени. Они уверены, что Христос не удовольствовался бы тем, что указал дорогу любви, ведущую к Богу, он бы обязательно вдобавок, уже после смерти, расставил вехи на пути, который вел бы физиков будущих столетий к постижению начала и природы физического мира — того, что мы называем *реальностью*.

Сентябрь 2005 года. Гастон Сье после многих лет экспериментирования открыл, какой тип лазера позволил бы сделать на поверхности плащаницы греко-латинские надписи ("Ты пойдешь на смерть", "Назарянин", "Иисус"), обнаруженные Андре Марионом. Он мне показывал, что у него получилось. Вот его секрет для тех, кто, как и он, хотел бы воспроизвести эти буквы на льняном полотне — так, чтобы при этом полотно не сгорело, а буквы не были бы видны с изнанки: нужен газовый CO_2-лазер непрерывно излучающей мощностью в 1 Вт и на длине волны в 10 600 нм с оптическим волокном в 300 мкм. Но для подобной каллиграфии можно ограничиться и диодным лазером мощностью 2 Вт и длиной волны 910 нм.

Если больше не возвращаться к гипотезе о фальсификаторе с собственной лабораторией, для которой Сье методом проб и ошибок нашел и используемую методику, и оборудование, то мы вынуждены сделать совершенно немыслимое заключение. Эффект лазера возникает только в том случае, когда есть активная среда и источник энергии. Человек с плащаницы, таким образом, должен был сам себе обеспечить и то и другое на время своего распада, оставив в качестве постскриптума силуэт и несколько слов, написанных на ткани при той же манере печати, — этакий сертификат подлинности.

Но рецепта он нам не оставил. А поскольку, экспериментируя на мышах, рецепт найти не удается, можно попробовать поискать в Библии. Так, тайна Преображения — того самого момента, когда в присутствии Петра, Иакова и Иоанна лицо и одежды Христа становятся ослепительной белизны, словно излучают свет, — вроде бы разъясняется доктором Сье с обезоруживающей прямотой: "Что делал Иисус на горе Фавор? Готовился к Воскресению и просто заряжал свои батареи..."

Дополнительные технические подробности можно найти в эмоциональных работах физика Чиня Суантхуана[1], в яркой и доступной форме изложившего принципы квантовой механики и ее применение к интересующему нас случаю. Я прежде всего имею в виду главу из его книги, посвященную "фантомным фотонам-вестникам" — виртуальным частицам, которые управляют рождением и уничтожением электронов и обеспечивают сохранение переносимой информации. Этим фотонам-вестникам, чтобы существовать, материализоваться и дематериализоваться, необходима энергия. И тогда, как изящно выразился Чинь Суантхуан, "они заимствуют ее в банке Природы; чем больший им требуется кредит, тем быстрее его придется вернуть".

Оставаясь в рамках такого подхода и за рамками всяких религиозных дебатов, я задаю себе вопрос: не заключается ли роль Христа в том, что он передает в будущее какую-то очень важную информацию, восприня-

1. Trinh Xuan Thuan. Le Chaos et l'Harmonie. Folio Essais, 2000.

тую и выявленную современной наукой — наукой XXI века. Чинь Суантхуан подводит такой итог: "Мир больше не видится как набор безжизненных и изолированных частиц, на которые действуют детерминистские силы, как это представлялось Ньютону и Лапласу. Квантовая механика говорит нам, что локализованная реальность не имеет смысла и что каждая из этих частиц — это частица единого целого. Вселенная самоорганизовалась в беспредельной сети связей и взаимодействий".

Что, если Вселенная, описанная подобным образом, и есть имя Бога? Является Воскресение неизвестным квантовым эффектом, которому еще только суждено быть открытым в будущем, или нет, — но не содержат ли погребальные покровы сына плотника, беспрестанно повторявшего: "Я просто свет", — доказательство этого утверждения, хотя понять его невозможно было на протяжении двух тысячелетий?

И может быть, совсем не случайно наука начинала разбирать язык плащаницы только в конце XIX века, в тот самый момент, когда стало неуклонно увеличиваться расстояние, отделяющее христианскую церковь от чуда, от тайны, от невидимого.

Что же остается двадцать столетий спустя от Воплощения Христа, если, конечно, это Он был завернут в плащаницу? Записанные за Ним слова, один образ и немного крови. Призыв ко всеобщей любви, мятежные речи, направленные против слепого религиозного фанатизма и злоупотреблений религиозных властей, — известно, как люди с этим поступили. Нечеткий силуэт, образованный окислившейся целлюлозой на поверхности льняного полотна, воодушевил лишь горстку ученых, которых задел этот вызов современной науке и которых не пугает перспектива подвергнуться насмешкам в прессе. И в действительности именно на крови сосредоточен главный интерес.

Не здесь ли кроется причина, по которой "пути Господни" — или козни тех, кто служит Ему, — приводили к морям разливанным этой самой крови группы АВ с идентифицируемой ДНК? Кровь, которую находили не только на реликвиях Страстей, но и на изученной в лаборатории Ареццо дароносице VIII века, о которой еще пойдет речь ниже, а также на гостии, проанализированной в 1976 году генетиками Каракаса, или на кровоточащих иконах, изучаемых сейчас в Болонском университете. Кровь, настолько хорошо сохранившаяся, что она заставляет задуматься не только о таинстве причастия, но и о химере клонирования.

Некоторые уверены, что обещанное возвращение Мессии произойдет в лаборатории благодаря генетическим манипуляциям. Другие полагают, что введение ядра Христа в яйцеклетку девственницы позволит дать рождение ни много ни мало Антихристу.

Погрузимся теперь в этот мир, такой близкий, где ученые в своих лабораториях искушают дьявола, пытаясь дать новую жизнь Богу.

Это кровь моя: берите и клонируйте

В 1952 году американским ученым впервые удалось клонировать лягушку. После этого молекулярная генетика пережила относительно быстрый взлет, и уже в начале семидесятых годов некоторые исследователи предсказывали, что репродуктивное клонирование человеческого су-

щества скоро станет реальностью. В какой же момент церковь начала страшиться безумного намерения клонировать Христа?

В 1978 году члены СТУРП и специалисты из Института судебной медицины Турина установили присутствие на плащанице человеческой крови. Генетическое исследование крови было поручено лаборатории университета Генуи, которая обнаружила, кроме очень старой мужской ДНК, заметную примесь женских ДНК, значительно более новых — возможно, принадлежавших принцессам из Савойского правящего дома или же сестрам-клариссинкам, которые ранили себе пальцы иголками, штопая плащаницу после пожара в Шамбери.

В 1986 году на свет появился первый ягненок, клонированный при помощи эмбриональных клеток. С 1987 года Ян Вильмут, один из "отцов" будущей овечки Долли, начал работу над перспективой клонирования животных с помощью взрослых клеток.

Однако в Турине в 1988 году генетики, разочарованные результатами датировки плащаницы радиоуглеродными методами, вроде бы потеряли всякое желание продолжать свои исследования — по крайней мере на протяжении нескольких лет эти работы не находили никакого отражения в их публикациях. Тучи, казалось, рассеялись.

И тут появился он — человек, из-за которого небо вновь нахмурилось: Леонсио Гарса-Вальдес. Этот американский микробиолог, мексиканец по рождению, с увлечением занимался текстилем доколумбовой Америки. Столкнувшись с ошибкой, данной радиоуглеродным методом для одной из интересовавших его тканей, он скоро понял причину: бактериальное загрязнение приводит к накоплению на поверхности волокон нового углерода, смазывающего всю картину частотного распределения изотопов, так как "омолаживает" ткань.

Когда специалисты по радиоуглеродному методу объявили, что плащаница была изготовлена в Средние века, он сразу подумал, что и в этом случае могло произойти нечто подобное. Он попытался связаться с архиепископом Туринским кардиналом Сальдарини, сменившим в должности кардинала Баллестреро, передал ему сообщение о готовности выступить в качестве эксперта с опровержением. Ответа, однако, не последовало. По прошествии некоторого времени он сам явился в Турин, где его настойчивость увенчалась относительным успехом: ему предложили встретиться с Луиджи Гонеллой, научным консультантом предыдущего архиепископа.

Гонелла поначалу был настроен очень скептически, но постепенно аргументы Гарса-Вальдеса расшатали его недоверие, и он пообещал походатайствовать перед архиепископом. В конце концов и последний согласился на короткое рандеву, однако не позволил Гарса-Вальдесу приближаться к плащанице и заниматься поиском бактерий на этом "чудесном изображении Страстей Господних". В то время официальная позиция церкви заключалась в полном признании средневековой датировки: мессу отслужили, и "фальшивка" стала священной — всякое опровержение было теперь немыслимо.

Вот тогда-то Гонелла и познакомил отправленного восвояси заокеанского исследователя со своим другом профессором Риджи, который хранил у себя до поры до времени образцы ткани, взятые в 1988-м, а также клейкую ленту с оставшимися на ней следами крови. Часть этого богатства Гарса-Вальдес захватил с собой назад в Америку.

Можно задаться вопросом: а что двигало Гонеллой и Риджи? Научное любопытство по отношению к теориям Гарса-Вальдеса? Или они решили чужими руками расстроить спектакль, который им велели срежиссировать? Или почувствовали запоздалые угрызения совести? Или жаждали мести? И тот и другой, напомним, остались не у дел, после того как сыграли свою роль — по указанию высших ватиканских властей — в организации датировки с помощью радиоуглеродного метода при весьма специфических, как мы видели, обстоятельствах. По бурной реакции кардинала Сальдарини, узнавшего о "недопустимой, официально не разрешенной утечке взятых для анализа веществ", можно заключить о действенности мести двух ученых, которых возложили на церковный алтарь разума. Но это мелкое сведение личных счетов, если речь шла именно о сведении счетов, повлекло за собой далеко идущие и совершенно непредвиденные последствия.

В 1993 году на научном симпозиуме в Риме Гарса-Вальдес представил результаты своих исследований, связанных с загрязнением плащаницы микроорганизмами, которые потом подтвердил и в нашем фильме:

— Я обнаружил, что волокна льна одеты пленкой биопластика, и поэтому, если повторить датировку радиоуглеродным методом сегодня, результат получится даже еще более близкий к нашим дням: 1260—1390 годы. Почему? Потому, что образующие пленку бактерии живы, и они, используя углекислоту из окружающего воздуха, все время увеличивают ее толщину.

Но разведывательные службы Ватикана очень скоро смогли выяснить, что в своих работах он не ограничился одними только бактериями и что образцы крови, взятые Риджи, уже позволили американцу провести молекулярное клонирование распятого. Церковь мгновенно отреагировала официальным коммюнике, зачитанным хранителем плащаницы монсеньором Сальдарини:

Священный покров не подвергался никаким новым анализам с 21 апреля 1988 года, а пробы того времени никоим образом не могли оказаться в руках посторонних. И если бы такие пробы существовали, то я как хранитель напомнил бы, что Святой престол не давал никому права держать их при себе и использовать каким бы то ни было способом, и потребовал бы у всех причастных возвращения их в руки ватиканских властей.

Иначе говоря: проб не существует, но их надо вернуть. Однако причастные остались глухи к призыву. И даже сейчас Риджи продолжает настаивать, что накладывал клейкую ленту на пятна крови на плащанице с ведома и согласия Ватикана, а Гонелла в нашем фильме подтверждает, что у Риджи "были все права передавать свои пробы Гарса-Вальдесу для проведения бактериологического анализа". Так, значит, по их версии, это американец нарушил правила игры, "незаконно" применив полученные от Риджи материалы для проведения помимо бактериального также и генетического анализа.

— У меня остались неприятные воспоминания от Гарса-Вальдеса, — ворчал в наши камеры Гонелла. — Он абсолютно не скрывал своего намерения доказать, что эта плащаница принадлежала Иисусу Христу.

С бесшабашным простодушием, свойственным обстоятельным толстякам, Гарса-Вальдес уверяет всех, что в первую очередь им двигало же-

лание принести пользу церкви. В чем и заключается двусмысленность его положения. Когда он говорил папе Иоанну Павлу II во время частной аудиенции 1998 года, что ему "посчастливилось осуществить молекулярное клонирование трех генов Христа", то, по его утверждению, он делал это исключительно с целью предостеречь Святой престол против возможных "генных инженеров", чьи намерения окажутся менее благородными и кто захочет перевоплотить "Сына Божьего" в монстра Франкенштейна.

Папа выслушал его благосклонно и даже пообещал поддерживать его будущие исследования своими молитвами. Но вокруг плащаницы была немедленно воздвигнута абсолютно непроницаемая стена: отныне никакие "внешние" исследователи не будут иметь доступа к реликвии. Что же касается Гарса-Вальдеса, то будут приложены все усилия, чтобы нейтрализовать его успехи на ниве клонирования, и не раз будет сказано, что нет никаких оснований думать, будто те сегменты ДНК, с которыми он столько возился, имеют хоть какое-то отношение к плащанице.

Проблема, однако, в том, что Гарса-Вальдес выполнял свои работы вдвоем с профессором Виктором Трионом, директором отделения микробиологии университета Сан-Антонио в Техасе. И Трион обладает соскобом, совершенно официально взятым в 1978 году для проекта СТУРП (с отпечатка раны на левом запястье), на котором он идентифицировал ДНК человека. Этой молекуле очень много лет, и ее невозможно отнести к какому бы то ни было загрязнению. В последовательности азотистых оснований удалось выделить подпоследовательность в триста двадцать три пары. И точно такая же ДНК была обнаружена на "неофициальной" ДНК, взятой на клейкую ленту Риджи, — и ее подлинность оказалась, таким образом, доказанной де-факто.

И вот этот самый Гарса-Вальдес опубликовал книгу "ДНК Бога?". Он хотел таким образом оповестить публику о результатах своих работ и о заключениях, к которым пришел. Немедленно все старые друзья повернулись к нему спиной, а некоторые даже потребовали его отлучения от церкви. Как мы убедились, со временем страсти не улеглись: профессор Трион и те из членов СТУРП, что поначалу согласились выступать перед нашими камерами, внезапно отказались. Теперь они утверждали, что говорить тут не о чем, в деле о плащанице никаких новых обстоятельств не возникло. В действительности они просто узнали, что мы связались с Гарса-Вальдесом и пригласили его тоже, — им не хотелось участвовать в одном фильме с ним.

Но в США генетические исследования продолжались — у нас есть тому доказательства. Просто Гарса-Вальдеса, окончательно дискредитированного как "болтуна" в глазах и научного сообщества, и кардиналов, сменил нью-йоркский генетик Эндрю Мерривезер, и теперь исследования проводятся в его лаборатории, специализирующейся на изучении древней крови.

20 января 2004 года химик Рей Роджерс, бывший член СТУРП, передал Мерривезеру официально собранные соскобы 1978 года с кодом 3EF. Их брали с отпечатков ран на запястьях, то есть эти образцы были близки к некогда доверенным профессору Триону.

Мерривезер выделил и секвенировал мужскую ДНК, маркеры Y-хромосомы которой соответствовали модальному гаплотипу коэна, иден-

тичному обнаруженному Жераром Люкоттом на Аржантёйском хитоне. По крайней мере такую информацию можно было найти в Интернете осенью 2004 года.

Публикация этих результатов вызвала у Рея Роджерса вполне понятную ярость – ведь он узнал из прессы о результатах профинансированных им самим секретных исследований. Мерривезер немедленно начал отпираться: мол, не он организовал эту утечку. Так что в частных беседах и он, и Рей Роджерс опровергали результаты, опубликованные интернет-группой "Наука о плащанице" (Shroud Science Yahoo Group). А надо сказать, что выводы, которые представлены на этом сайте, оказались довольно сенсационными: поскольку тип крови у Иисуса соответствовал модальному гаплотипу коэна, характерному для линии священников, то он *не мог быть* сыном Иосифа, принадлежавшего к роду Вениамина. Зато Мария, как и в генеалогии, выстроенной святым Лукой, принадлежала к племени левитов, передававших от отца к сыну право культового служения. Вот вам и генетическое доказательство девственности Марии в момент родов.

На что недруги легко бы возразили, что раз так, то Иисус – как и думают правоверные евреи – не может быть Мессией, обещанным Ветхим Заветом. Ведь Мессия, согласно тексту, происходит из дома Давида, а по генеалогии, с которой начинается Евангелие от Матфея, именно через Иосифа Иисус – потомок Давида.

В ноябре 2004 года Жерар Люкотт, как специалист по маркерам Y-хромосомы, предложил свои услуги Мерривезеру, чтобы сравнить полученные результаты, однако последний ответил, что не вправе ("not at liberty", как он выразился) высказываться по этому поводу. И когда съемочная группа Ива Буассе связалась с нью-йоркским генетиком, чтобы предложить ему выступить в нашем фильме, результат был тот же. После этого и в Сети не появилось никаких новых утечек относительно его исследований.

Что же касается Рея Роджерса, заказчика Мерривезера, то мы в глубине души надеялись получить от него согласие на интервью. В прессе не прошла незамеченной статья Роджерса в "Термокимика акта", напечатанная в январе 2005-го, о новой датировке плащаницы – на сей раз по ванилину. Это химическое соединение содержится в лигнине волокон льна и со временем распадается примерно так же, как углерод-14, только медленнее. Роджерс утверждает, что то количество ванилина, которое они обнаружили в волокнах погребального покрова, указывает на возраст, никак не меньший двух тысяч лет. Но вот интересная деталь: плащаница распятого вполне могла быть изготовлена и в I веке *до Рождества Христова.*

Рей Роджерс согласился отвечать на наши вопросы, и мы договорились, что назначаем съемки на июль 2005 года. Но за три недели до назначенного срока он внезапно скончался.

После нашей первой встречи в баре парижского отеля я не терял связи с Жераром Люкоттом. Мне хотелось уговорить и его поучаствовать в нашем фильме. Сначала он ответил мне категорическим отказом, ясным и аргументированным: его открытия, касающиеся обнаруженной на Аржантёйском хитоне ДНК, слишком важны, их следовало сначала опубликовать в одном из лучших научных журналов, а уже потом "пока-

зываться с ними на телевидении". Я, естественно, понимал его позицию и относился к ней с уважением, но тем не менее всячески пытался ее поколебать, пользуясь также совершенно очевидными аргументами: открытие не существует до тех пор, пока о нем не начинают говорить в прессе, и гораздо проще реагировать на самую резкую критику, чем на попытку замалчивания. Но я так ничего и не добился: его живое и весьма отзывчивое эго оказалось совершенно глухо к песням сирен.

В конечном счете вопрос решился совершенно неожиданным образом. Дело в том, что Люкотт страшно разозлился на Филиппа Метезо. Поэтому за то, что Люкотт все-таки заговорил в камеру, обнародовав результаты, которые держал в тайне на протяжении двадцати лет, мы должны благодарить вице-мэра Аржантёя. У того была заготовлена магическая формула: в интервью с Ивом Буассе он так прокомментировал исследования, затеянные супрефектом Валь-д'Уаза:

— На Аржантёйском хитоне мы не нашли никакой крови, только пятна красителя.

Просматривая кассету, Люкотт стал пунцовым:

— Хитон весь пропитан кровью, — протестовал он потом, уже перед объективом кинокамеры, почувствовав, что под вопрос поставлено само существование его Святого Грааля. — Она там повсюду, даже за пределами самих пятен.

— Он вовсе не пропитан кровью, — возражал Метезо. — Иначе получается, что в 2004 году мы выбрали для анализа нерепрезентативный участок, где ее нет, а это не так.

Таким образом, дискуссия приобрела особую пикантность. Дело в том, что Филипп Метезо вовсе не был простачком, приглашенным специально, чтобы говорить о том, в чем ничего не смыслит. У него хорошее образование, и он работал цитологом в Институте Пастера. Трудно себе представить, чтобы в пылу затеянной префектурой операции "Приходите порезать Христов хитон у нас дома" специалист, весьма опытный в работе с кровью, отказался бы от соблазна устроить облаву на кровяные тельца, извлекаемые из "общественного достояния".

Возможны только два объяснения: либо Филипп Метезо плохо искал, либо Жерар Люкотт в 1986 году сам добавил на поверхность реликвии свежую кровь, чтобы потом в ней же и "обнаружить" пригодную для работы ДНК.

Но это последнее обвинение довольно трудно чем-то подкрепить, так как еще в 1892 году, при первом внимательном осмотре хитона под микроскопом, проведенном совместно Лабораторией прикладных медицинских исследований и Парижским химическим обществом, был составлен протокол, где сказано: "Мы обнаружили некоторое количество неповрежденных красных кровяных телец. Количество этих элементов и их форма позволяют установить присутствие пятен крови". В 1932 году во время следующего исследования открытие было подтверждено и развито за счет подробного описания трех основных пятен. Двумя годами позже вышла научная публикация, где приводилась подборка фотографий в инфракрасных лучах, ясно показывающих множество других, более мелких пятен, и где делается тот же самый вывод, к которому сегодня приходит Люкотт и который поддерживается картографированием ран с помощью компьютера Оптического института Орсе: хитон прямо-таки пропитан кровью.

Но тогда, если именно Люкотт говорит правду, почему же противная сторона настаивает на обратном, да еще с такой убежденностью? Почему анализы 2004 года не показали присутствия крови? Потому что такое присутствие было нежелательно? Можно найти и движущие мотивы подобного отношения — соображения местных властей, горевших желанием угодить духовным лидерам диоцеза и избежать шумихи, а также немного осадить КОСТА, поумерив их пыл... КОСТА — Экуменистический и научный комитет по изучению Аржантёйского хитона (Comité œcuménique et scientifique de la Tunique d'Argentenil), возглавляемый Андре Вюрмелингом, — это собрание гиперактивных энтузиастов, сражающихся за то, чтобы оградить реликвию от агрессии местных властей: обработки ее ДДТ, когда в реликварии завелась моль, перевозки на частном автомобиле без охраны и необходимых мер санитарной безопасности, самовольного разрезания...

Но больше всего мэрия хотела оградить себя даже не от религиозного рвения КОСТА, а от притязаний сторонних городу элементов. Если на реликвии нет пятен крови и если она изготовлена в VII веке н. э., как доказывают исследования 2004 года, то она теряет значительную часть своей притягательности для вероятных "вампиров клонирования". Напомним, что в 1984 году ее уже пытались украсть. Ответственность взяла на себя некая таинственная организация, возмущенная тем, что хитон показывают верующим всего лишь раз в пятьдесят лет; дело было закрыто два месяца спустя, когда хитон вернули в обмен на обещание выставлять его чаще.

По этому поводу заметим: монсеньор Гиберти, правая рука кардинала — хранителя плащаницы, рассказал нам в 2005 году, что, "как ему кажется", похитители в 1984 году совершили подмену и с тех пор в базилике Аржантёя хранится подделка. Дальнейшие события нам покажут, что, если это и подделка, она в точности соответствует оригиналу: от ничтожнейших частиц пыльцы до мельчайших деталей отпечатка, полностью совпадающего с отпечатком на Туринской плащанице. Но монсеньор Гиберти не забыл и про крайне подозрительный пожар 1997 года, едва не уничтоживший плащаницу, и он знал, что этот пожар случился всего через несколько месяцев после публикации Трудов Международного симпозиума в Риме, где был сделан вывод о подлинности плащаницы. Поэтому монсеньор Гиберти как никто иной понимал, что сомнение в подлинности реликвии гораздо лучший консервант, чем ее официальное признание. Мэрия Аржантёя также могла воспользоваться этим уроком.

А кроме того, подозрение, что хитон, хранящийся в Аржантёе, это *уже не тот хитон, который принадлежал Христу*, по воле "провидения" подкрепленное радиоуглеродной датировкой 2004 года, уберегло церковь от публикации статьи о ДНК, извлеченной Жераром Люкоттом из крови на хитоне через два года после кражи. Ошарашенная работами Гарса-Вальдеса по наследственности Христа, Римская католическая церковь теперь, кажется, старается принять все необходимые меры, чтобы защитить веру от чрезмерного научного рвения.

Но, как мы сейчас увидим, Ватикан пока еще не испил всей чаши страданий.

Начиная с осени 2004 года неугомонный Люкотт начал подумывать о том, чтобы сравнить добытую в Аржантёе ДНК с той, которую можно

получить с двух других страстных покровов, а для этого решил наладить контакт с властями Овьедо. Увеличив фотографии пятен крови, сделанные в Испанском исследовательском центре, он и в самом деле увидел красные кровяные тельца в удивительно хорошем состоянии. Но его опередила съемочная группа: стоило ему произнести три буквы — "ДНК", как испанские ученые прикинулись глухими, и его предложения о сравнительных исследованиях не получили никакой поддержки с их стороны. А ведь — напомню — в 2000 году итальянские специалисты из Туринского института судебной медицины не обнаружили никаких различий между ДНК из Овьедо и из Турина. Так и не дождавшись ответа от испанцев, Люкотт передал свой исследовательский проект в туринский Центр.

Там его ждал дружеский прием, но научное руководство Центра дало ему понять, что торопиться некуда: предложенные им новые междисциплинарные проекты воплотятся в новых исследованиях только через год или два. Здравомыслящий Люкотт не сомневался, что предпочтение в таком случае будет отдано его итальянским коллегам — например, исследовательской группе из университета Генуи, опубликовавшей в 1995 году благоразумные заключения о множественных и разлагающихся ДНК на погребальных покровах.

В туринском Центре, служившем официальным поставщиком образцов плащаницы для ученых, отобранных церковью, хорошо знали, к каким источникам обычно припадали вежливо выставленные исследователи. И поэтому Люкотта сразу предупредили, что любые результаты, полученные с использованием "незаконных" образцов Риджи, будут немедленно опротестованы, а всякая их связь с туринской реликвией — отвергнута. Однако Люкотта подгоняло время: он боялся, что его американский конкурент Мерривезер первым опубликует работу о ДНК плащаницы. И что бы об этом ни думала церковь, сравнение образцов крови, взятых в 1979 году членами СТУРП, с теми, что собрал Риджи в 1988-м, не показало никаких расхождений.

Поэтому Люкотт установил контакт с семидесятипятилетним Риджи, который продолжал руководить Фондом 3М — креатурой межнационального концерна по производству адгезивов — и к своим официальным обязанностям относился с крайней официальностью. Люкотт представился и объяснил свою позицию, изложив суть еще не опубликованных рабочих материалов. После чего они обменялись множеством писем. 10 ноября 2004 года Риджи сделал Люкотту предложение: он передаст ему настоящий изолированный сгусток крови с плащаницы, взятый из того места, где бок был пробит ударом копья, для проведения генетического анализа — чтобы сравнить эту кровь с кровью на Аржантёйском хитоне. Это тот самый образец, часть которого Риджи доверил начинающему генному инженеру Гарса-Вальдесу. Некоторые даже утверждали, будто Риджи продал ему свои образцы, — очевидная клевета, которую сам Гарса-Вальдес опроверг в нашем фильме.

Что касается обвинений в тайном "соскабливании" крови с помощью собственных клейких лент после того, как был отрезан фрагмент ткани для радиоуглеродного анализа, то Риджи яростно их отвергает в своих письмах Люкотту. Церковные власти, повторял он, никогда не оставляли его наедине с реликвией, а имеющиеся у него образцы были взяты с благословения архиепископа Турина для дальнейших научных

исследований. Кроме того, добавляет он, каждый его шаг снимался системой видеонаблюдения.

Прежде чем передать Люкотту бесценный сгусток, Риджи направил ему не одно письмо, где тщательно очертил рамки их соглашения. Он не просил денег, но хотел, чтобы его имя упоминалось в научной публикации, которую Люкотт планировал посвятить собственным сравнительным исследованиям. Он требовал, чтобы в средствах массовой информации не упоминалось об их переговорах до тех пор, пока эти исследования не завершатся, – это ограничивало участие Люкотта в фильме, но мы последовательно придерживались всех условий.

До 25 января 2005 года события развивались самым благоприятным образом, как вдруг Риджи написал Люкотту, что, хотя с технической точки зрения планируемое соглашение и для него лично, и для Фонда 3M приемлемо, в нем отсутствует существенный элемент, о котором прежде в их переписке ни разу не упоминалось, – необходимо заключение "комиссии по этике", некоего органа, существовавшего отдельно от научной комиссии, уже давшей свое заключение. Риджи подчеркивал, что комиссия по этике контролирует "моральные и религиозные аспекты исследований, в которые мы намерены внести свой интеллектуальный, а возможно, материальный вклад". Он уточнял, что одним из членов этой комиссии является "высокопоставленный католический функционер из Рима, который даст свое заключение относительно предполагаемого эффекта наших будущих исследований".

Комиссия должна была собраться 21 января, но "из-за непредвиденных осложнений" отложила свое заседание sine die[1], и после этого неделя проходила за неделей, а из Италии не было никаких новостей. Хотя Люкотт их больше уже и не ждал. Сюдя по всему, комиссия по этике, следуя более или менее прямому указанию из Ватикана, пыталась избежать появления нового Гарса-Вальдеса и нового скандала в прессе. В Риме стали чураться генетиков, и это нетрудно понять. Но зачем водить за нос Люкотта? Для чего пускать ему пыль в глаза, рассказывая об "уникальных по объему и собранных в одном месте данных, к которым до него пока еще никто не получал доступа"? Ради того, чтобы завязать доверительные отношения, просить его представить уточненную смету исследований ДНК Аржантёйского хитона, а также провести сопоставление измерявшихся параметров с параметрами, которые определялись в закрытых внутренних тестах Туринской плащаницы? Люкотт был в ярости, посчитав, что его втянули в какую-то игру.

И вдруг 22 февраля – новый акт водевиля: он мне позвонил, чтобы рассказать о том, как посетил офис Фонда 3M в окрестностях Милана, где Риджи ему передал... нет, вовсе не обещанный сгусток, а три волоконца с микропятнами крови на предметных стеклышках – по мнению генетика, своего рода утешительный приз.

10 марта 2005 года Ив Буассе пришел брать у руководителя Фонда 3M интервью для нашего фильма и спросил его об отношении к работам профессора Люкотта. Ответ Риджи нас потряс:

– Мы не знакомы. Он мне писал, мы состояли некоторое время в переписке, но лично не встречались.

1. На неопределенное время (*лат.*). (*Прим. перев.*)

Буассе настаивал:

— Разве вы не передавали ему образцы крови?

Вот ответ элегантного старца в блейзере цвета морской волны, выкладывающего свои аргументы с терпением змеи, которая вознамерилась непременно проглотить свою жертву:

— Я никому не мог давать образцы, поскольку у меня их нет. У меня нет ни тканей, ни крови.

Риджи, каким он предстает в фильме, кажется абсолютно искренним. Точно так же, как и Люкотт, когда рассказывает о своей встрече с Риджи в Милане, а также о происхождении переданных ему итальянцем волокон. Кому же верить? Не в наших силах впрыснуть этим двоим сыворотку правды, так что придется подождать, пока завершится анализ спорных образцов.

Но, оказавшись обладателем предмета, подлинность которого отрицают туринские власти и о котором человек, его передавший, заявляет, будто его вовсе не существует, Люкотт ощутил некоторую неловкость. Он решил пока не доставать переданные ему предметные стекла с тремя волоконцами со дна долгого ящика, так что мы о них не скоро теперь услышим. Его официальная позиция такова: он ждет несколько лет, пока Турин проявит добрую волю к изучению официальных кровяных соскобов с плащаницы; и хотя он не очень на это надеется, обсуждать с кем-либо эту больную тему не хочет. Словно Риджи и вправду ничего ему не давал. Или, может быть, он тайно уже провел свои сравнительные анализы вдали от наших камер. Как бы то ни было, Турин обрек его на молчание, и он подчинился.

Люкотт сосредоточит свои исследования на Аржантёйском хитоне и сделает во время съемок сенсационные признания.

Как мы помним, по инициативе супрефекта Аржантёя Жан-Пьера Мориса хитон был обрезан на пятнадцать квадратных сантиметров. Части, предназначенные для радиоуглеродного анализа, непоправимо разрушаются. Это неизбежно. Но Люкотт узнал, что остались еще и кое-какие обрезки. И тогда события начали ускоряться, а нам пришлось притормозить съемки на много недель, чтобы затем рассказать обо всем, что из этого вышло.

Жерар Люкотт направил ходатайство в Министерство культуры и встретился с чиновником, ответственным за исторические памятники, который, приняв во внимание прошлые заслуги Люкотта в деле изучения хитона, разрешил ему воспользоваться одним из этих обрезков. Тогда Люкотт отправился в Комиссариат по атомной энергии — место, охраняемое со всей возможной строгостью, куда нашим камерам вход был заказан, — дабы осуществить "самовывоз" образца, хранившегося там с момента проведения датировки. Он ликовал: наконец-то у него был кусок реликвии, а также всего лишь несколько микрограммов ДНК, взятых из разных мест на хитоне.

С бесценным обрезком в руках генетик помчался в представительство компании FEI, чтобы получить доступ к одному из самых сильных электронных микроскопов в мире. Его интересовала именно та модель, которую называют "растровым сканирующим микроскопом", потому что, работая в вакууме, такой микроскоп бережно сохраняет все, что увеличивает.

Именно так родились те самые кадры, что были показаны на "Канал-плюс". Очевидно, что заранее объявленного чуда не состоялось: кровь не превратилась в краску. На экране компьютера, соединенного с микроскопом, явственно видны красные кровяные тельца, превосходно сохранившиеся ("Их даже назовут эритроцитами дня", — прокомментирует Люкотт), как и все прочие, они словно застыли от невостребованности.

И еще более удивительная вещь: на волокнах, увеличенных в восемь тысяч раз, отчетливо видны лимфоциты, тоже не пострадавшие от времени, с ядрами, раздувшимися от заключенной внутри ДНК. Если вспомнить, что продолжительность жизни белых кровяных телец вне организма исчисляется часами, эти картины в микроскопе покажутся абсолютно ирреальными. Уже говорилось о том, что даже необычно свежее состояние крови, обнаруженной на плащанице, представляет собой серьезную проблему для специалистов, а ведь погребальный саван пропитан настоем алоэ и мирры — веществами, используемыми для бальзамирования трупов. Но тут-то мы имеем дело с обычной повседневной одеждой без какой-либо специальной обработки — со всеми испарениями, которые ее пропитали.

Итак, какой же вывод следует сделать? Что Люкотт порезался, пока возился с обрезками, и продемонстрировал нам один из своих лимфоцитов? Увы для скептиков — при дальнейшем анализе эта оптимистическая гипотеза рассыпается, хотя и оставляет, по правде говоря, некую открытую возможность для рационального объяснения. Микроскопы FEI позволяют одновременно определять попавшие в поле зрения элементы. Вы видите на экране изображение, увеличиваете, например, ту его часть, где, как вам кажется, находится эритроцит, и компьютер вам тут же вычертит таблицу наиболее часто встречающихся элементов — в нашем случае доминирующим будет железо из гемоглобина.

Возьмем теперь нечто похожее на прекрасно сохранившийся лимфоцит, инкапсулированный в какой-то треугольник. Лаборант кликнет поверх него "мышкой", и треугольник немедленно признается, из чего он сделан: хлористый натрий. Так что же, белые кровяные тельца были законсервированы в кристаллах соли из пота казненного? Для Жерара Люкотта — дело ясное, и он без обиняков объясняет в нашу камеру:

— На хитоне сохранились не только несметные количества красных кровяных телец, но и, возможно, белые кровяные тельца, содержащие ядра с молекулой ДНК внутри. Следовательно, речь может идти и о практическом, экспериментальном клонировании индивидуума, соответствующего данным клеткам.

Именно по этому поводу разгорелась у него полемика с коллегой Акселем Каном. Нам хотелось представить разные точки зрения, и поэтому мы отправились к директору Института молекулярной генетики имени Кушена, члену Национального консультативного комитета по этике, чтобы представить в нашем фильме его мнение о работах Жерара Люкотта и о проблеме клонирования человека вообще[1]. Приговор был категоричен:

— Это в высшей, в высшей степени невероятно, — словно скальпелем отрезал генетик, — чтобы кому-то удалось довести клонирование че-

1. A. Kahn, F. Papillon. Le Secret de la salamandre: la médecine en quête d'immortalité. Paris: Nil, 2005.

ловека до успешного завершения. Под "завершением" я подразумеваю рождение клонированного младенца.

Но у Люкотта было совсем другое мнение:

— Клонирование человека мне представляется вполне вероятным, а может быть, даже уже осуществленным. Любого человека. И почему бы не Иисуса Христа?

Ответ Акселя Кана сопровождался улыбкой, диссонирующей с подчеркнуто беспристрастным тоном:

— Если не сохранилось живых клеток Иисуса Христа, Христа невозможно клонировать.

Мы показали ему, в каком свежем состоянии находятся белые кровяные тельца на хитоне, но это ничуть не поколебало его позиции: ДНК двухтысячелетней давности, если речь действительно идет об этом, слишком сильно разрушается, чтобы питать хоть малейшие иллюзии насчет клонирования.

— Успехи молекулярной генетики совершенно невероятны, — парировал Жерар Люкотт. — В частности, существуют методы восстановления ДНК: имея всего лишь ее следы или ДНК в очень фрагментарном состоянии, удается получить ДНК целиком.

На это Кан откликнулся все тем же бесстрастным тоном, и лишь натянутая улыбка выдавала легкое раздражение:

— Для приумножения хлебов кое-что все-таки требуется, а именно сами хлеба. То, что не существует, нельзя и приумножить. Конечно, Христос был на это способен, но даже он приумножал хлеба, которые существовали. Амплификация фрагментов ДНК лишь воспроизводит существующее. То, чего не существует, нельзя и воспроизвести. Следовательно, если у вас есть обрывки ДНК с бесконечными дырами, то, амплифицируя, вы приумножаете дыры и получаете в конце концов бесконечность дыр. Никакого вещества не возникает.

Но у Жерара Люкотта противоположная точка зрения. Он настаивал на возможном клонировании индивидуума, кровяными тельцами которого располагал:

— С технической точки зрения, это вполне можно себе представить. Что же до моральной — тут разговор иной, и мне совсем не хотелось бы его затевать.

Вот он, корень проблемы — по крайней мере в юридическом ее аспекте. Известно, что репродуктивное клонирование человека законодательствами большинства стран приравнено к преступлению. Во Франции пропаганда такого клонирования или агитация в его пользу наказывается штрафом в размере сорока пяти тысяч евро и тюремным заключением на три года. Но дебаты относительно выполнимости клонирования пока ведутся в рамках права на свободу слова. И при этом законодатели вовсе не предвидели, что кому-то придет в голову клонировать человека, усопшего много веков назад. Какой срок давности следует установить?

— У коров, — напомнил нам Аксель Кан, — того вида, где клонирование осуществляется наиболее успешно, оно удается в одном случае из двадцати.

Несмотря на все красноречие и аргументированность доводов, мы почувствовали его беспокойство. А надо сказать, что по странному стечению обстоятельств накануне нашей встречи, оговоренной за десять дней, случилось сенсационное событие, бросающее тень на основной

аргумент тех, кто относится к клонированию человека как к химере. В этот день группа южнокорейских ученых под руководством профессора У Сок Хвана, считающаяся одной из лучших в мире, опубликовала "результаты, позволяющие легко проводить клонирование человека". Такие выражения использовал сам Аксель Кан, хотя новость в тот момент все еще находилась под запретом в парижских редакциях. Во время нашей долгой беседы, на которую он сам согласился, мы все время чувствовали, как нарастает его раздражение против генетической аквизиции, проведенной Жераром Люкоттом с помощью крови, которую он нашел на Аржантёйском хитоне. Кан просто вскипел, когда мы попросили его прокомментировать выводы, сделанные его коллегой относительно иудейского происхождения того, кто носил этот хитон, на основании маркеров Y-хромосомы.

– Тут невозможна никакая определенность! – отрезал он. – Если есть достаточное количество фрагментов ДНК, еще можно утверждать, что имеется совместимость с евреем-сефардом или же совместимость с евреем-ашкенази. Но ведь существует, к примеру, огромное число общих маркеров, с одинаковой частотой встречающихся как среди арабского населения, так и среди евреев-сефардов.

На это возражение Жерар Люкотт ответил, что его заключение опиралось на анализ специфических маркеров, таких, как гаплотип J.

– Ни для кого не секрет, – добавил тогда Аксель Кан, – что Жерар Люкотт по своим взглядам близок к новым правым. Он один из тех, кто поддерживает, например, идею существования человеческих рас и пытается найти генетическую основу разделения человечества на расы.

Не воспользовавшись своим правом на ответ, Люкотт заявит нам позже и не в камеру:

– Я мог бы вам сказать, что месье Кан – троцкист, но я предпочитаю оставаться на научной почве. Было время, когда наши лаборатории занимали смежные комнаты, и мы регулярно встречались в общем туалете.

Дабы больше не возвращаться к спорам по поводу этики и чистоты жанра, замечу, что, на мой взгляд, идеологические предпочтения исследователя не снижают ни его компетентности, ни значения, а по всей вероятности – и опасности его работ. Предположив, что некий генетик сегодня располагает и желанием, и техническими возможностями произвести клонирование Иисуса Христа – ни больше ни меньше, я был бы склонен смотреть на его левые или правые убеждения, которые его на это клонирование сподвигли, как на побочное обстоятельство, скорее маловажное на фоне всех тех следствий, каковые неизбежно в подобном проекте возникли бы. Проекте, осуществление которого меньше всего на свете привлекало Акселя Кана и заниматься которым Жерар Люкотт не выражал, насколько я знаю, никакого желания, ни в жизни, ни на экране. Он просто сказал, что это дело кажется ему вполне осуществимым. Подчеркнул и на "Канал-плюс", и на "Франс-кюльтюр"[1], что гипотеза, на которой строится сюжет "Евангелия от Джимми", вовсе не бред расстроенного авторского воображения. Заявил, что генетик сего-

1. Передача Жан-Ива Но и Мишеля Альберганти "Science Frictions" на канале "Франс-кюльтюр" от 27 ноября 2004 года.

дня вполне бы мог изготовить копию Христа — или, по меньшей мере, заставить всех поверить в то, что это ему удалось. Но, насколько я знаю, дальше слов он никогда не шел.

Поэтому мы собирались обратиться к другим людям, к тем, которые открыто заявляли о своем стремлении и своей способности клонировать людей — или, если угодно, Бога Сына. Но прежде чем мы позволим Жерару Люкотту вернуться к милым его сердцу занятиям, я хочу предупредить, что они и дальше будут тесно связаны с Аржантёйским хитоном, который, словно из рога изобилия, поставляет все новую пищу для размышлений. В тот момент, когда я пишу эти строки, Люкотт с дотошностью и энтузиазмом взялся за пыльцу, споры, частицы водорослей, волос и кожи, которые смог обнаружить на поверхности священной реликвии. Благодаря Дирекции исторических памятников он стал обладателем фрагмента мешка от пылесоса, куда эксперт по древним тканям собирал пыль во время чистки хитона в 2003 году.

В списке открытий, которые он сделал с помощью микроскопа экспертной лаборатории при компании "Бюро веритас", упомянем лишь пыльцу тех же растений, что были обнаружены ранее на Туринской плащанице и Овьедском сударии, а именно: Tamarix africana, Gundelia tournefortii, Zygophylum dumosum и, кроме того, ливанского кедра, жасмина, молочая, можжевельника, крапивы... Профессор де Болье, директор Лаборатории исторической ботаники Национального центра научных исследований в Марселе, подтвердит присутствие пыльцы этих растений на хитоне и ее идентификацию со средиземноморскими растениями — в частности, с разновидностью фисташкового дерева, не растущего нигде за исключением Израиля. Если не обвинять Жерара Люкотта в том, что он пачкал свои обрезки хитона современными кровяными тельцами и ископаемой пыльцой ближневосточных растений, то придется признать справедливость выводов Макса Фрая и Авиноама Данина.

Кроме того, Люкотт установил присутствие весьма древних спор злаковых — например пшеницы, которую он задался целью прорастить, чтобы сравнить с получающейся у египтологов, которые проращивают споры, найденные в саркофагах фараонов. А еще он обнаружил на хитоне слюду, песчинки и частицы разных минералов, указывающих на то, что хитону довелось довольно много времени провести в песках пустыни. Присутствовали там и споры плесени, которой, согласно Люкотту, удалось несколько ускорить разложение несчастного хитона.

Но даже и это еще не все. Летом 2005 года я получил возможность провести с ним несколько сюрреалистических сеансов, во время которых Люкотт демонстрировал перед камерой вшей — они жили в волосах на голове и лобке "Иисуса" — так он его теперь называл со все возрастающим амикошонством, ведь долгие часы Люкотт проводил наедине с микроскопическими останками, увеличенными в восемь тысяч раз. "Скелетики" этих милых паразитов необыкновенно стойко сопротивляются течению времени и очень хорошо различимы под микроскопом.

И это опять не все. По его словам, предполагаемый Мессия был покрыт обильной перхотью — ее в настоящее время взялись изучать в лаборатории "Л'Ореаль", полагая, что и к Иисусу Христу можно с успехом применить методы, апробированные на волосах Рамзеса II.

Прежде чем закрыть эти косметологические скобки, добавим только, что частицы перхоти не только представляют дополнительное подтверждение человеческой природы мученика — они также содержат в себе молекулы ДНК.

Мессианский парк

— Философия раэлитов — это в определенном смысле интерпретация Библии. В Библии сказано: мы сотворены. Ну да, я думаю, действительно в некотором смысле сотворены. Но только учеными, а не каким-то нематериальным богом, который шесть дней все создавал, а к седьмому утомился.

Поместье располагалось в лесах в окрестностях Монреаля и называлось УФОландией, то есть — буквально — страной НЛО. Именно здесь Раэл расположил ставку своей секты. Именно здесь Ив Буассе встречался в июне 2005 года с доктором Брижит Буаселье, которая только что в своей цветистой речи разрешила все противоречия между сциентистами и креационистами.

Корпулентная блондинка довольно неопределенной наружности, старательно молодящаяся во время своих многочисленных появлений на телеэкранах, она была главным генетиком секты и утверждала, что к настоящему моменту в мире уже существует около трех десятков человеческих существ, появившихся на свет благодаря клонированию. Все они прекрасно себя чувствуют и растут инкогнито в приемных семьях, заботящихся лишь о том, чтобы обеспечить им светлое будущее. Конец цитаты. Охраняя тайну, она не сообщила нам, ни в каких странах осуществлялась пересадка ядра, ни в каких странах рождались клонированные младенцы. Тут, в Квебеке, решаются только административные вопросы: коммуникация, связь с родителями и младенцами, биологическая совместимость и послеродовое обеспечение... Что касается собственно генетических манипуляций, ходили разговоры о Южной Корее, хотя в секте такие слухи опровергли. Кто-то намекал на Кот-д'Ивуар, кто-то на Японию, но доктор Буаселье ничего нам не прояснила, стремясь обеспечить безопасность своим клиентам и своему оборудованию. Тем не менее она подчеркивала, что всегда действует с ведома правительства страны, принимающей ребенка.

— У меня виза, у меня связи на самом высоком уровне, все это позволяет работать без проблем. Но если говорить о международной общественности, то стоит мне только признаться, что речь идет о такой-то стране, о таком-то городе, легко представить, что начнется не только давление на правительство, но найдутся фанатики, которые станут осаждать клиники, как уже осаждали те, где делают аборты... Но пока все идет хорошо. Младенцы рождаются, здоровье у них хорошее; словом, репродуктивное клонирование человека оказалось совершенно успешным.

Нам же, кроме всего прочего, хотелось знать, как единственный в мире человек, который кичится тем, что с успехом продолжает совершать серийное преступление — с точки зрения действующих законов Франции, как и законов большинства других стран, — отнесется к гипотезе о возможном клонировании Иисуса Христа.

— Я глубоко убеждена, — сказала нам Буаселье с безапелляционной искренностью специалиста, уверенного в точности своих научных результатов, — что Христос уже был клонирован.

— Вот как? И кем же?

— Вспомним Воскресение. То самое знаменитое Воскресение, о котором говорят христиане. Это клонирование — только и всего. Просто ускоренное — немного более сложный вариант, чем осуществляемый у нас.

Скромность делает людям честь. Инопланетные ученые, едва создав мир, задумали и прототип Иисуса, чтобы после его смерти сделать из него серийную модель, удовлетворяющую всем запросам потребителя будущих веков. Только церковь XXI века отказывается одобрить вброс ее на рынок.

— Он и сейчас где-то живет, — заверила доктор Буаселье, прежде чем добавить с лукавой улыбкой: — И Он еще вернется...

А пока, чрезвычайно воодушевленная существованием генетического материала, находящегося в распоряжении Жерара Люкотта, она много говорила о готовности приютить его в своей лаборатории, где можно было бы создать новый дубль нашего Мессии — а почему бы и нет? Она не возражала и против всяческих модификаций: все ядра по-своему хороши — в особенности если речь идет о клетках мертвых, но постоянно воскресающих. Кроме того, ей никогда не приходилось иметь дело с посмертным клонированием. А это по-настоящему заманчиво.

У самого Раэла пыла было поменьше. Одетый в дырявую майку, с цепью на шее, на концах которой болталась эмблема секты, он не скрывал своего недоверия по отношению к Христу. Прежде всего, настоящий Мессия — это он, Раэл. Не надо путать. Именно его выбрали элохимы — знаменитые ученые с другой планеты, за двадцать три тысячи лет до Иисуса Христа создавшие человека путем клонирования, — чтобы он спас этот мир. В то время, когда Раэл был автомобильным обозревателем в Клермон-Ферране, они прихватили его с собой, чтобы познакомить со своей технологией, философией и планами на будущее. С тех пор Раэл знает все. Даже то, чего сам не понимает. Клонировать существо, ушедшее из жизни два тысячелетия назад, в принципе не составляет для него проблемы. Он бы даже мог нам его доставить к Пасхе — если сделать заказ на Рождество. Дело в том, что девять месяцев, на его взгляд, это слишком много для ребенка. Подобные задержки бывают только у кустарей, работающих по старинке; теперь их методы не выдерживают конкуренции.

— Увеличивая скорость клеточного деления, можно достичь полного развития плода за несколько недель, за несколько часов — или даже за несколько минут, если разогнать его еще больше. Я видел такую технологию, когда был у элохимов, и видел, как это бывает. Я не знаю, как это делается, но я знаю, что так бывает.

Иначе говоря, клонировать Христа в микроволновке он бы смог? Конечно, да, но есть одно "но". Это дело не очень-то его "цепляет". В Иисусе он не видит ничего особенно выдающегося. Отходы производства. Клон, созданный инженерами-элохимами, которые раздули его могущество; он обладал уникальными возможностями, чтобы дать толчок своим человеческим гомологам, но не удержался на верном пути.

Но скажем прямо: сейчас у человечества есть Раэл. Так для чего же льнуть к другому Спасителю, к какому-то случайному Мессии? Не стоит оставлять свою добычу ради тени.

Надо отметить, что Раэл, урожденный Клод Ворильон, — человек интеллектуально развитый, что подчеркивал Алекс Кан, сопровождая слова таким жестом, словно он вворачивал лампочку. И поэтому козни церкви не заморочили ему голову: истории этих трех кусков материи, которые словно дополняют друг друга, рассказывая о Страстях Господних, и в самом деле казались ему слишком легковесными. Для человека, видевшего, как в космосе за двадцать четыре часа "сдают под ключ" готовых младенцев, дематериализация покойника, завернутого в льняной саван, — нечто невыносимо старомодное.

— Представим себе, что Туринская плащаница действительно побывала когда-то в контакте с телом Иисуса, — допустил он со снисходительностью короля. — Я в это не верю, но пусть на ней осталась кровь, пригодная для проведения клонирования, во что я тем более не верю. Пусть, мы можем такое представить, помечтать. Берем кровь и клонируем Иисуса.

Он замолчал, уткнувшись щеточкой усов в сцепленные пальцы, загорелое морщинистое лицо его светилось вдохновением.

— Ну и что? Мы клонировали только носитель, на нем нет информации. Это всего лишь маленький мальчик, вот и все. Если отдать его на воспитание в буддистскую семью, он станет буддистским монахом. Почему, собственно, нет? Я хочу сказать, что все будет зависеть от воспитания. Ни в сознании, ни в памяти он не будет иметь ничего от личности Иисуса. Ему недостает информации, которую надо было бы вложить в его голову, чтобы, проснувшись, он вдруг сказал себе: о'кей, я Иисус Христос, меня распяли.

Широкий жест придал особую значительность заключительной фразе, и медаль элохимов на длинной цепи, висящей у него на шее, закачалась маятником.

— Но если никто не придет и не просветит его, не расскажет обо всем, что с ним произошло, вы не воскресите Сына Бога. А если ему расскажут, что его нашли в выгребной яме, что его подобрали мусульмане, а воспитал, например, сам Бен Ладен, так он, пожалуй, станет террористом и будет подкладывать бомбы.

К счастью, у Раэла был свой рецепт. Он знал, как не позволить Христу влиться в ряды Аль-Каиды. Он уверил в этом Ива Буассе. И объяснил, что на протяжении многих лет они с Буаселье занимаются тем, что, с одной стороны, клонируют физическую оболочку, а с другой — создают электронное оборудование, позволяющее загрузить память клонированной личности дистантно. Все это звучит как дикая чушь. Но Аксель Кан был очень серьезен, когда описывал нам их методику. Достаточно сказать, что многие платежеспособные люди верят, будто она станет рентабельной.

Возбужденный вниманием, с которым его слушал Буассе, Раэл предложил тому провести ночь во дворце тысячи и одного клона, населенном ангелоподобными нимфетками. Буассе вежливо отказался. Как отклонил потом и приглашение провести уик-энд в Швейцарии, где Раэлу хотелось организовать ему встречу с самым почитаемым адептом раэлизма писателем Мишелем Уэльбеком. Если уж на то пошло, Буассе

предпочел бы компанию Будды или Магомета, ведь с ними, как похвалялся Раэл, иногда обедают клоны, но связаться с ними не удалось.

— Больше всего меня интересует сейчас, — заключил беседу клермон-ферранский гуру и квебекский изгнанник, — проект на очень далекое будущее. Это проект восхождения к вечной жизни благодаря клонированию.

Ему пожелали счастливой дороги, но было ясно, что принудительная реинкарнация Иисуса Христа не входит в его приоритетные планы.

И тогда мы вступили в контакт с теми, кто, в отличие от него, именно в этом видел свою главную задачу. Совсем еще недавно калифорнийская секта из Беркли, называвшая себя "В ожидании Второго Пришествия", открыто наводнила Интернет объявлениями о том, что купит кровь Христа за любую цену. Их символ веры был предельно ясен:

Нас больше не удовлетворяют уклончивые ответы вроде таких: Христос в наших сердцах или Христос повсюду. Мы хотим действий. Если существует технология, не может быть никаких оснований — ни моральных, ни юридических, ни библейских, — которые помешали бы нам ускорить возвращение Христа, не дожидаясь конца времен...[1]

Потом сайт секты был перепродан, но ведь ничто не мешает проводить сделки и не пользуясь Интернетом, как о том доносят слухи из "неофициальных источников", которые наш американский информатор завел себе в лоне ФБР. Но как их проверить? "Источники", как говорится, к делу не подошьешь. Вдобавок и сам основатель секты отказался сняться в нашем фильме. Сначала он утверждал, что вся эта история не что иное, как чей-то гигантский розыгрыш. Но потом, загнанный в угол доводами нашего информатора, признался, что рискует жизнью, откровенничая на эту тему.

Розыгрыш или нет, но говорят, что его сайт был связан с той самой сетью сатанистов, о которой Гарса-Вальдес рассказывал Иоанну Павлу II во время их встречи в 1998 году.

— Клонировать Христа невозможно, — заявил тогда американский микробиолог в Святом дворце. — Используя столь незначительное количество крови, какое имеется в распоряжении ученых, нельзя будет получить полный геном. Поэтому будет получен индивид, у которого только часть генов будет совпадать с генами Христа, — монстр, Франкенштейн, одним словом — Антихрист.

И все-таки он оказался оптимистом, употребив последнее слово в единственном числе. Сегодня генетики уже не ставят вопрос о клонировании человека с точки зрения осуществимости, проблема в другом — в доле неудачных попыток. Если ДНК, взятая с реликвий, позволит когда-нибудь получать эмбрионы, сколько из них доживет до нормальных родов? Один из двадцати, как у коров? И тогда их придется выращивать в инкубаторе на пустынном острове, в обстановке страшной секретности, для личного использования какого-нибудь сенильного миллиардера, решившего развлечь себя созданием мессианского парка? Или же какая-

1. "El Mondo" (Madrid), перепечатано в "Courrier international" от 9 января 2003 г.; Revue internationale du Linceul de Turin. n°25.

нибудь политическая сила станет манипулировать этим трансгенным Иисусом как планетарным символом, чтобы навязать всем свою власть, как я это изобразил в "Евангелии от Джимми"?

В том, что говорится в романе о праве интеллектуальной собственности на клон, к сожалению, нет ничего придуманного. Человеческое существо не может быть запатентовано, но процедура его изготовления – может. Явился ли уже в мир "Христос-2" или нет, а привилегии на его использование и свидетельство о собственности уже приготовлены. Отрывки из них можно найти в книге генетика Бертрана Жордана "Торговцы клонами"[1].

Подчеркнем еще раз: это не личность клона становится предметом регистрации, а инновационная технология, приводящая к его зачатию. Если предполагаемый Христос был изготовлен при помощи той же технологии, что и овечка Долли, то фирмы "Инфиген" и "Адвансед селл" могут оспаривать родительские права на полученный человеческий продукт – как минимум требовать размещения на нем их копирайта. Поскольку до сегодняшнего дня единственный работающий метод – это трансферт ядра, "Инфиген", запатентовав его прежде, чем "Адвансед селл" произвела Долли, а также истребовала в суде, чтобы ее права были закреплены за *всеми формами клонирования с использованием взрослых клеток*. После лавины судебных процессов, имевших важнейшее значение для юриспруденции, соперники нашли полюбовное (финансовое) решение.

Поэтому совершенно очевидно: в деле, которым мы занимаемся, победившей стороной будут не христиане, не сатанисты, не политики и даже не генетики – а, скорее всего, адвокатские конторы.

Если говорить о верхушке Римской католической церкви, то, например, кардинал Бертон очень серьезно относится к угрозам тех, кто собирается вывести нового Мессию в пробирке; и его пугает не столько вероятность успеха, сколько вымогательство, к которому они прибегают.

– Клонировать Христа, – признался он нам, – мне кажется, технически невозможно, поскольку в данном случае мы имеем дело с личностью уникальной, невоспроизводимой, воплощенным Сыном Божьим.

Этот аргумент следует скорее отнести к теологии, чем к естествознанию, но на сегодня такова официальная позиция Ватикана. И надо учесть, что Бертон еще человек учтивый. Другой прелат римской курии – возглавляющий пресс-службу по вопросам биоэтики – отверг наше прошение о встрече, страшно разгневавшись, и пригрозил отлучением от церкви любому, кто осмелится публично заговорить о клонировании Христа. А все только тем и занимаются.

Легко задаться вопросом, как отреагирует церковь, если вдруг в один прекрасный день перед ней предстанет человек, вышедший из крови Христовой. И можно не сомневаться: она захлопнет перед ним свои двери, повторив фразу святого Петра в момент, когда схватили Христа: "Я не знаю этого человека".

1. B. Jordan. Les Marchands de clones. Paris: Le Seuil, 2003.

За пределами церкви десятки ученых по всему миру располагают, если верить Гарса-Вальдесу, образцами крови с плащаницы; а есть еще и такие, у кого есть соскобы из Овьедо и Аржантёя.

— Они никогда не будут торговать кровью Христа, — уверен Гарса-Вальдес. — Они не станут торговать собой.

Но сам он смог без хлопот получить ее у Риджи — причем совершенно бесплатно, как он подчеркивал. Вдобавок нет никаких доказательств, что похитители Аржантёйского хитона не соскребли с него несколько сгустков крови, прежде чем вернули его в 1984 году[1]. И кто может поручиться, что благочестивая жена генерала Франко взамен губной помады, которую оставила на сударияме из Овьедо, когда покрывала его поцелуями, не прихватила немного красных кровяных телец Спасителя, собранных на клейкую ленту?

Сегодня, 26 сентября 2005 года, я уже заканчивал писать эту главу, когда мне позвонил Жерар Люкотт и сообщил невероятную новость: научные и религиозные власти туринского Центра только что одобрили принцип взаимного обмена исследовательскими материалами. В обмен на фрагмент хитона и генетический портрет, построенный им для мученика из Аржантёя, он получит по истечении двух суток нить из хитона со следами крови, подлинность которого официально гарантирована, и сможет произвести генетическое сравнение. Его просили незамедлительно представить свои результаты в непосредственное и исключительное распоряжение властей Турина, которые по согласованию с Ватиканом будут решать, предавать их огласке или нет.

Я не знаю, что и думать об этом спектакле. Нынешней осенью, осенью 2005 года, кардинал Полетто, ставший хранителем плащаницы, множит заявления о ее подлинности. Пробил час Откровения — или подоспело время для новой мистификации?

По моим представлениям, сегодня нет никаких оснований утверждать, что клонирование при помощи найденного на реликвиях генетического материала реально. Но спрос есть, и предложению ничто не мешает возникнуть в любой момент.

К тому же три известных страстных покрова Спасителя, возможно, не единственные источники его крови... Она, очевидно, снова начала течь.

Доказательство от Бога?

В VIII веке в деревушке Ланчано, область Абруццо, некий монах служил мессу. Но вот беда: он больше не верил, что кровь и плоть Христовы реально присутствуют в Святых дарах. И он молился, чтобы Спаситель послал ему знак. Внезапно прямо у него на глазах и на глазах у его помощ-

1. Супрефект Морис (выступивший на литературном поприще под псевдонимом Жан-Морис Деваль) сообщает в своем довольно интересном сочинении ("Une si humble et si sainte Tunique", op. cit., p. 65), что при измерениях хитона в 2003–2004 годах его размеры не совпали с зафиксированными в 1892-м. Так что либо в первый раз его измерили неправильно, либо при втором измерении не хватало кусочка 5,5 на 3 см.

ника вино, приготовленное к мессе, превратилось в кровь, а вместо гостии возник кусочек плоти.

Эта история была бы, конечно, всего лишь еще одной старой доброй легендой, похожей на множество других таких же, если бы упомянутые чудесные дары не сохранились до сегодняшнего дня — без добавления каких бы то ни было консервантов, в состоянии необъяснимой свежести.

В 1970, 1971 и 1981 годах их подвергали внимательному изучению в лаборатории госпиталя Ареццо под научным руководством Одоардо Линоли, профессора анатомии, химии и клинической микроскопии и профессора Бертелли из Сиенского университета. Результаты не оставляли сомнений: кусочек плоти представляет собой фрагмент мышечной ткани сердца, срезанный с точностью, достойной самого лучшего хирурга. Что касается крови, то она, возникнув однажды в жидкой форме, навсегда такой и осталась, сохраняя неизменными все свои химические и физические свойства, тогда как нормальная человеческая кровь, оказавшись вне тела, навсегда теряет свои биологические качества через четверть часа. Тут же они держатся уже на протяжении двенадцати веков, находясь под воздействием физических, атмосферных и биологических агентов без искусственной защиты, и любой анализ показывал такую же диаграмму, как у крови живого человека, взятой за несколько минут до проведения такого анализа. За рациональным объяснением отошлем читателя к главе "Отчаянные поиски фальсификатора": церковные власти и эксперты-медики должны, видимо, каждый раз менять кровь на новую за несколько минут до проведения очередного исследования. В противном случае у меня нет никакого другого объяснения, кроме чуда — количественно определенного, измеряемого и воспроизводимого, то есть обладающего всеми свойствами научного явления.

Кровь из Ланчано имеет ту же самую группу, что и кровь на страстных покровах, — группу IV(AB). Исследованием ДНК, полученной из нее, занимается некий доктор Ривз в США, в штате Теннесси. К настоящему моменту никакой информации оттуда не просочилось.

Были бы все основания ожидать, что ланчанское чудо уникально. Ан нет! 7 декабря 1976 года в венесуэльской Бетании гостия начала кровоточить в тот самый момент, когда кюре уже проглотил первый откушенный кусочек. Дело было в канун Дня Непорочного Зачатия, и свидетелей набралось довольно много — целая толпа. По решению местного епископа гостию отправили в лучшую медицинскую лабораторию Каракаса, чтобы проверить, нет ли здесь жульничества. Но и в этом случае результатом анализов стала констатация абсолютного нарушения законов физики. Кровь была человеческой, группы AB — но теперь к этому уже можно привыкнуть. Более странно, что она содержала "живые волокна, происхождение которых не вызывает сомнений: это миокард, эндокард, слепой нерв, левый желудочек..." Те же самые элементы имеются и во фрагменте плоти из Ланчано. Словно мы никак не можем усвоить урок, и кому-то приходится, осмелюсь на подобное сравнение, раз за разом вбивать нам в голову гвозди для большей восприимчивости.

В Бетании, как и в Ланчано, ДНК, полученная из крови, хранится в строжайшей тайне. Неужто церковь внедрила ячейку удержания информации, чтобы защищаться от генетиков? Если дело в этом, то она

оказалась исключительно неэффективной в истории с кровоточащими иконами из Альберобелло.

Область называется Апулия и расположена на юге Италии. 3 мая 2003 года о. Кириатти входил в свою комнату, чтобы взять лекарства, и застыл как вкопанный перед образом Мадонны с младенцем — маленькой иконой, висящей над его скромной молельной скамеечкой. Ее лицо было покрыто какими-то пятнами. Неужели икону разрисовал мальчишка-служка? Священник надел очки, поскольку был очень близорук. На самом деле Мадонна плакала. Ярко-красными слезами. О. Кириатти позвал соседей, и все они смогли убедиться, что нарисованные глаза источали субстанцию, очень похожую на кровь.

Это продолжалось около получаса. Святой отец снял необычное явление на видеокамеру и, когда оно закончилось, промокнул слезы Мадонны своим носовым платком, который отправил в лабораторию для анализа.

Спустя год кровоточить начал Иисус — по крайней мере тот, что был нарисован на иконе о. Кириатти, висящей в его комнате на противоположной стене и воспроизводящей лицо с Туринской плащаницы. На сей раз не было никаких слез, зато появился кровавый пот: семь дорожек сбегали со лба по щекам, терялись в бороде и стекали с нижнего края иконы. Реакция святого отца была такой же, как и в первый раз: он созвал людей, снял происходящее на видеокамеру, собрал кровь на носовой платок — и всё это в присутствии пяти десятков свидетелей и патруля карабинеров, оказавшихся там же и подтвердивших впоследствии увиденное.

Анализом крови с этой иконы занялась лаборатория Болонского университета, одна из лучших в мире, к услугам которой прибегают в самых сложных случаях полиция и секретные службы многих стран. Потом там же начали сравнивать эту кровь с кровью Марии, полученной годом раньше. И вот сюрприз: кровь оказалась одной и той же. Естественно, группы АВ. Той же самой оказалась и ДНК. Заключение, сделанное на основании проведенного анализа и обнародованное весной 2005 года, категорически утверждает, что речь идет о человеческом существе мужского пола, конфигурация генетических черт которого, "обнаруженных в Y-хромосоме, не соответствует ни одной из конфигураций из Всемирного банка данных, содержащего сведения о двадцати двух тысячах лиц мужского пола из восьмидесяти семи различных популяций. <...> Статистическая вероятность обнаружения типологии аналогичной крови на протяжении тысячелетий равна одной к двумстам миллиардам".

Вот так. Но на самом деле ничто не мешает думать, что бравый священник или сосед-шутник сумели раздобыть образец редкой крови и придумали хитроумный фокус, чтобы заставить ее сочиться сквозь икону — трюк, довольно часто используемый иллюзионистами, когда они представляют якобы кровоточащие произведения искусства. Но тут явно иной случай: иконы из Альберобелло были подвергнуты многочисленным исследованиям и анализам, совершенно исключающим какие бы то ни было подделки, фокусы или лабораторные ошибки. В 2003 и 2004 годах кровь была *свежей*, и генетики утверждают, что никто в мире не смог бы сегодня воспроизвести формулу крови с аналогичными ха-

рактеристиками, поскольку Всемирный банк данных заставляет предположить, что индивидуум, соответствующий этой ДНК, не оставил никакого потомства.

В то время, когда я пишу эти строки, исследования в Болонском университете продолжаются, предполагается сравнить кровь из Апулии с кровью из Ланчано, Бетании, Турина и Овьедо. Но кровавая действительность то и дело заставляет откладывать на завтра работы по изучению феноменов прошлого: в тот самый момент, когда Люкотт обратился к профессору Ленци, одному из сотрудников генетической лаборатории Болоньи, тот был занят исследованием крови, проступившей в форме креста на некой стене в окрестностях города, — монахиня, ставшая тому свидетельницей, собрала ее почти полтора литра.

Больше всего на свете мне не хотелось бы прослыть фидеистом, но последняя капля просто переполнила дароносицу. Мне показалось, что я составляю Книгу Гиннесса про чудеса. Можно ли найти во всем этом хоть какой-то смысл? Почему столько признанных ученых, с негодованием реагирующих на уклончивую позицию церкви, принялись нас убеждать в том, что реальность, в которой мы очутились сегодня, — это реальность телесериала "X-Files"? Явления, мною описанные, — а многие другие я просто не упомянул, поскольку они все друг на друга похожи, — со всей очевидностью представляют прежде всего *волю в ее крайнем напряжении*. Так что́ это: знаки небес, козни дьявола или крупномасштабный человеческий заговор, объединивший людей церкви с людьми науки в их последнем крестовом походе против врагов христианства?

Я собираюсь пойти еще дальше в своем иконоборчестве, ибо, если верить монсеньору, заправляющему биоэтикой в Ватикане, мне бояться больше нечего: я уже отлучен от церкви без уведомления, после того как опубликовал "Евангелие от Джимми". Преисполненный скромности и раскаяния и повесив на задний бампер своей машины табличку "just excommunicated"[1], я хочу поставить вопрос, который, должно быть, неотступно преследует и теологов, и гематологов: принимая во внимание фантасмагорические события, только что мною описанные и со всей очевидностью наводящие на одну и ту же мысль, не следует ли нам подумать о том, что обещанное возвращение Мессии уже свершается на наших глазах в виде готовых к клонированию кровяных телец?

— Когда Бог сотворил человека по своему образу и подобию, Он желал, чтобы человек в конце концов и сам стал богом, — наставляет в своих проповедях Ричард Сид, наиболее "раскрученный" в СМИ генетик из Чикаго. — Клонирование — это первый серьезный этап в деле приближения к Богу.

Не означает ли это, что Бог сам подталкивает нас к клонированию Его Сына? Еретическое и шокирующее с моральной точки зрения, такое утверждение тем не менее поддерживается многими верующими генетиками, которые пытались — и продолжают пытаться — притормозить принятие в США закона, направленного на запрещение клонирования человека. Ланчано, Бетания, Альберобелло и все прочие кровоточения из одной и той же бочки для некоторых посвященных не просто чудеса, а руководство к действию. Может, пора увидеть, думают

1. Только что отлучен от церкви (*англ.*).

они, в этих повторяющихся со все возрастающей частотой кровоточениях щедрый дар исходной материи, поставку клеточных ядер, пригодных для внедрения в разряженные яйцеклетки юных девственниц, коллекцию "прет-а-клоне"?

Но и на этом они не останавливаются. Что хотел сказать Христос, если именно от него исходят эти новые дары? Не постскриптум ли это к его евангелистическому посланию? Он говорил: "Сие есть Кровь Моя, берите ее и пейте". А теперь он добавляет: "Собирайте и клонируйте".

Некоторые в это верят. Иные возмущаются или подсмеиваются. Но есть и такие — и я один из них, — кто испытывает тревогу. Алекс Кан сформулировал условие sine qua non[1] для любого клонирования человека: наличие живых клеток. Очевидно, они есть. По крайней мере есть все необходимое, чтобы родить младенца, которого можно будет уверить, на основании его генетической идентичности, что он клон Христа. Последствия такой псевдобожественной махинации я постарался представить в своем романе, где Белый дом превращает атеиста-работягу в начинающего Мессию.

Но я припас хорошую новость под конец. Только что завершилось сопоставление ДНК Аржантёйского хитона и ДНК из крови с иконы в Альберобелло, проведенное по инициативе профессоров Люкотта и Ленци. Две ДНК, заключили они, принадлежат человеку ближневосточного — вероятно, еврейского — происхождения (гаплотип J для Аржантёя и гаплотип К — для Альберобелло). И тем не менее, как ни странно это может показаться для финала череды заверенных наукой чудес, маркеры однозначно указывают: *речь идет о двух разных людях.*

Пусть. Но что бы дал противоположный результат? Как бы мы отреагировали, если бы назавтра выяснилось, что кровь из Ланчано, Бетании и Альберобелло — это дошедшая до нас сквозь пространство и время кровь некоего мятежника, распятого в Иерусалиме при Понтии Пилате?

Что значила бы вера, если бы с этого момента сам разум обязал бы нас верить?

Воскресение. Инструкция по эксплуатации

Дойдя до этого места в написании книги, я собираюсь всеми силами подавить в себе искушение быть беспристрастным. Что для меня совсем не просто. "Когда я излагаю какую-либо истину, — говорил Марсель Эме, — во мне немедленно начинает крепнуть подозрение в справедливости противоположной истины, и она вгрызается в мой мозг, побуждая защищать ее с тем же пылом". Но взявшись за сюжет, которому я посвятил уже столько страниц и который свел меня с большим числом как христиан, так и неверующих, я полагаю, что будет небесполезно поговорить и о моей вере, а не только о фактах.

В моей вере, как можно было заметить, нет ничего ортодоксального: она вся состоит из радости жизни, критического духа, всесильной детской свободы, вспомнить о которой побудил нас Иисус Христос, и,

1. Непременное (*лат.*).

превыше всего, из чувства сопереживания, инстинктивной уверенности во всеобщем единстве сущего — кошек, деревьев, слов, Земли, — подобном известному свойству голограмм: каждый ее осколок содержит в себе ее всю. Назовем такое чувство любовью, не боясь насмешек. Что такое любовь? Чувство единства, которое от ударов только крепнет. Что меня привлекает в необъяснимых явлениях, будь они мистической природы или паранормальной, так это тот вызов, какой они бросают интеллекту. Интеллекту в этимологическом смысле слова: *inter ligo*, связываю вместе — создаю связи, осознаю взаимодействие всего, что меня окружает, видимого или невидимого. Так вот, интеллект не развивается, когда вызов бывает отклонен. Иначе говоря, не надо поддаваться стойкому искушению вгонять мир в старую сетку понятий, ее нужно менять, если понятия больше не позволяют расшифровывать мир. Или отважно поставить под вопрос само ее устройство.

Если исследовать свет с помощью приборов, улавливающих частицы, то свет предстает частицей. Но если воспользоваться оборудованием, обнаруживающим волны, свет проявит себя как волна. Однако он не может быть *и тем и другим одновременно*: это установленный закон физики, который все время нарушается. Отсюда до заключения, что вещи представляют собой то, чем они являются в зависимости от методов, применяемых для наблюдения за ними, всего один шаг, и этот шаг давно уже сделан квантовой механикой. Она идет даже еще дальше: реальность — не более чем отсвет нашего сознания. Мало того: реальность *превратится* в отсвет сознания в процессе взаимодействия, как объясняет Чинь Суантхуан[1].

Эта поразительная гипотеза только что получила лабораторное подтверждение в эксперименте доктора Рене Пеоха[2], независимого исследователя, который в недавнем прошлом получил свою докторскую степень по медицине, показав, что птенцы обладают способностью к психокинезу — а именно одной только силой воли они заставляли приближаться к себе экспериментальный робот, который считали своей матерью[3]. Новый опыт он повторил более полутора тысяч раз.

Компьютер следит за перемещениями небольшого самодвижущегося устройства: на протяжении двадцати минут оно движется случайным образом то влево, то вправо в соотношении, близком к 50 на 50. Полгода спустя наблюдатели собираются, чтобы посмотреть, какая траектория записана в памяти компьютера. Но Пеох просит их перед открытием файла сосредоточиться и попытаться заставить устройство уезжать чаще в какую-то одну сторону — влево или вправо. И тут обнаружилось, что некоторым наблюдателям это удается делать до двенадцати раз подряд. То есть результат, появляющийся на экране, зависит от случая лишь один раз на десять тысяч. Но это имело место, только если за записываемыми перемещениями робота никто не наблюдал. Если результат уже *был кому-то известен*, меняться он больше не мог. То же выполнялось и для произвольно полученной "насильственной" доли: она уже больше не отклонялась. Сознание творит реальность.

1. Trinh Xuan Thuan. Le Chaos et l'Harmonie (op. cit.).
2. R. Péoc'h. Expérience de psychokinèse // Paranormal, mythes et réalités. Actes du symposium de Paris en novembre 2000 / Sous la direction de E. Raulet et E.-J. Duits. Paris: Dervy, 2002.
3. R. Péoc'h. Mise en évidence d'un effet psychophysique sur le tychoscope par. l'homme et le poussin. Thèse de doctorat en médecine. Université de Nantes, 1986.

Однако такая способность изменять нормальное положение вещей, воздействуя мыслью на материю во времени и в пространстве, проявляется не только при осознанном усилии. Я думаю о стигматах, о людях, измученных мистицизмом, на плоти которых образуются такие же раны, как и на теле Христа, — этот факт не раз наблюдался на протяжении веков и получал медицинское подтверждение, и те несколько шутников, которые попытались подделать стигматы, нанося себе раны, были легко разоблачены: по крайней мере с помощью спрятанного в рукаве гвоздя невозможно сымитировать подобный психосоматический эффект. И если даже некоторые из страдальцев были по простоте душевной уверены в том, что это Иисус Христос проскользнул в их тело, чтобы еще раз пережить свои муки, на самом деле это их подсознание в пылу уподобления рождает на теле следы мученичества. Доказательства? Стигматы на ладонях у этих людей постоянно кровоточили, а ведь мы знаем сегодня, что гвозди могли быть вбиты только в запястья, о чем свидетельствуют следы на плащанице. Но традиция религиозной иконографии укоренилась в подсознательном, и ладони кровоточили в соответствии с нарисованным образцом.

К чему я клоню? К тому, что именуемое нами обычно "чудом" содержит в себе некую важную информацию, переданную необычным образом: реальность — это совсем не то, что мы думали прежде. Она совсем не так определенна, ограниченна, необратима, как нам хотелось бы верить. И здесь, на мой взгляд, заключено главное в учении Иисуса: его весть подразумевает отказ от догматических шор, любовь к ближнему и осознание взаимосвязи между всем, что нас окружает, первый шаг к *единству*, чтобы "войти в Царство Божие", — я имею в виду ее арамейский смысл, искаженный позднейшими переводами, но заключенный в *самой Божьей Жизни*. Если Иисус дематериализовался в своем погребальном льняном облачении, оставив на нем генетический след обычного человека, то, возможно, именно для того, чтобы и нас пригласить к совершению *метаморфозы*.

Но вопреки тому, что думают некоторые генетики, в сухих обломках кокона, покинутого бывшей гусеницей, не остается инструкции по превращению в бабочку. Кокон — это в лучшем случае заметка на память. Это объект, рождающий и уважение, и потребность исследовать его, это вызов интеллекту, но никак не резервуар с материалами, необходимыми для производства новой бабочки.

Если Иисус и приглашает нас клонировать Его, речь идет только о духовном клонировании. Заменить свое клеточное ядро тем, которое Он нам оставил, и его *перепрограммировать*. Именно об этом прежде всего думал апостол Павел, идеи которого пояснил великий теолог Клод Тремонтан, увидевший в них "генетическую перспективу" — сегодня эта мысль загремела во множестве отзвуков[1].

"Не сообразуйтесь с веком сим, — наставляет святой апостол Павел в Послании к Римлянам, — но преобразуйтесь обновлением ума вашего".

И таким образом, "ветхий человек" должен умереть внутри каждого из нас, дав рождение новому человеку. В этом видел Тремонтан *смысл*

1. C. Tresmontant. La Mystique chrétienne et l'Avenir de l'homme. Paris: Le Seuil, 1977.

Воскресения, чтобы не сказать: *инструкцию по эксплуатации.* "Ветхий человек" всегда живет в нашем сердце, это он – "первое творение". Тот, кого Павел называет "архантропом". Человека дóлжно было сотворить незаконченным, чтобы он мог дальше произрастать, совершенствоваться – совершенствовать интеллект, сердце и веру. Когда Иисус назвался Сыном Человеческим, Он тем самым определил себя в качестве прототипа, которому будет соответствовать человек после второго творения, по мере завершения запрограммированной в нем метаморфозы.

О какой же метаморфозе речь? О той самой, что превращает гусеницу в бабочку, а головастика в лягушку, – то есть фазе генетического цикла.

Когда Иисус пришел наставлять относительно нового принципа программирования, Он не владел и клочком земли, у него даже не было места, чтобы приклонить голову. Он умышленно отказался от какой бы то ни было собственности и недвусмысленно призывал не копить богатств, не наживать добра... Наконец, в отношении политических и военных властей Он проповедовал полную независимость, Он держал дистанцию – чтобы не сказать "проявлял исключительное небрежение" – по отношению к тому, чего требуют всякие тирании – как левые, так и правые. Он демонстративно пропагандировал новую норму, несовместимую со старыми принципами программирования, записанными в человеческом мозгу на протяжении всей истории существования человека, принципы, появившиеся задолго до того, как возник первый человек[1].

Эти старые принципы, возникшие еще в животном царстве, требовали, например, отвечать агрессией на агрессию. Они были когда-то по-своему полезны; но отныне они становились не только архаичными, но и опасными, и на агрессию нам теперь следовало отвечать созиданием – то есть становиться помощниками Бога, содействуя ему в приумножении и совершенствовании сущего, а не способствуя его (сущего) разрушению.

Все это, конечно же, до крайности смешило головастиков, не способных понять, как они могут стать лягушками, поскольку "на памяти головастика подобная трансформация была невиданным делом". Тремонтан пояснил свою мысль короткой притчей, в которой встречаются два головастика, один со склонностью к бергсонианству, а второй – из общества рационалистов. Второй объясняет первому, что все рассказы о превращениях – это дурной мистицизм и трехгрошовый обскурантизм:

– Мыслимое ли дело, чтобы наши жабры вдруг трансформировались в легкие, да и для чего подниматься наверх и дышать в воздухе, если мы созданы, чтобы жить в воде?

На что головастик-бергсонианец отвечает:

– Я не знаю, что именно должно с нами случиться, и, как и вы, ни разу за всю свою жизнь головастика не видел этого нового существа, в которое нам суждено воплотиться. Но я знаю, что призвание осуществить это превращение записано в моих генах и в моем биологическом подсознании.

1. C. Tresmontant. La Mystique chrétienne et l'Avenir de l'homme. Paris: Le Seuil, 1977.

Чтобы продолжить истории о земноводных, я введу в эту притчу одно из самых удивительных открытий конца XX века. Известно, что головастик способен к регенерации: если ему отрезать какую-то часть тела, она вырастет снова. Это природное свойство, регенерация, работает независимо от воли головастика. Однако, превратившись в лягушку, он теряет эту способность. Если лягушке отрежут лапу, новая уже не вырастет. Лягушке придется удовольствоваться рубцом. Не высшее ли состояние сознания, к которому пришел бывший головастик, позволяет ему убедиться в утрате и препятствует ему поверить в чудо возвращения к тому, что было? Чтобы избежать смерти, организм в лучшем случае заживляет рану — и не более того. Но в ходе исследований было доказано, что, если не давать ране заживать, прикладывая к ней поваренную соль, лягушка, оказавшись в кризисной ситуации, активизирует клеточную память и принимается регенерировать ткани, восстанавливая лапу[1].

Кажется, совершенно схожий процесс отвечает за сенсационные исцеления, которые зафиксировали медики из Лурда и которым президент университета Париж-VIII Пьер Люнель посвятил с чувством написанную книгу[2]. Под действием молитвы, внутреннего напряжения или внешнего раздражителя гипофиз и гипоталамус, обеспечивающие доставку веществ в нужное место на стадии формирования эмбриона, восстанавливают орган или функцию в первоначальном виде. Размах и успехи медицинских исследований подобных "чудес" заставляют замолкнуть тех, кто, подобно мне, испытывал по отношению к ним осторожный скептицизм в духе Эмиля Золя: писателю довелось однажды воочию наблюдать за самопроизвольным выздоровлением, засвидетельствованным врачом, двух женщин. Писатель познакомился с женщинами, когда они вместе ехали на поезде паломников в Лурд, и очень удачно использовал их в качестве прототипов для своего романа, высмеивающего южнофранцузские суеверия[3]. Золя честно признавался в кругу знакомых: "Было удивительно прослеживать, как идет скрытое течение излечения". Надо сказать, что, например, у Марии Лебраншу (превратившейся в романе в Гривотту) была заключительная фаза прогрессирующего туберкулеза, когда она полностью и окончательно выздоровела на глазах у Золя. У него в романе она умирает. Но в жизни она выжила, вышла замуж, работала продавщицей в магазине "Бон марше" и, не храня зла на автора своей фиктивной смерти, время от времени приглашала его на чашку чаю.

Возвращаясь к Иисусу Христу, хочется понять, каков же смысл того Воскресения, той метаморфозы, к которой он нас подталкивает. Стать детьми Божьими, говорит нам святой апостол Павел, быть *принятыми*. А это означает, что мы не были ими изначально, по самой своей природе, но призваны таковыми стать в результате сознательной работы, ведущей к благодати. Вот в чем принципиальное расхождение с догмой о грехопадении, потерянном рае и первородном отпадении от потустороннего мира. С этой идеи апостола начинается христианство и проис-

1. C. Ziller. Régénération et cicatrisation // Encyclopaedia Universalis.
2. P. Lunel. Les Guérisons miraculeuses. Paris: Plon, 2002.
3. E. Zola. Lourdes. Paris: Gallimard/Folio, 1995.

ходит его полный разрыв с Ветхим Заветом. Понятно, что церковь изо всех сил старалась затушевать этот аспект учения Христа. Если внимательно проследить его по Писанию, то станет ясно, что не было ни первородного греха, ни врожденной грешной природы, ни "mea culpa" – а есть только непростая работенка, которую надо выполнить, чтобы превратиться в помощников Творца, чтобы родить из себя высшее его творение, как записано в наших генах.

Но что конкретно надо сделать для совершения такой метаморфозы? Перестать бояться, перестать стыдиться веры в невозможное. Весь этот божественный гемоглобин, предлагаемый нам для лабораторного анализа, этот вызов здравому смыслу, бередящий душу, – не для того ли все это, чтобы воспрепятствовать рубцеванию? Разбудить в нас дремлющую магию, способность к регенерации себя?

Прекратятся ли чудеса, если мы услышим эту весть? Вполне возможно, впрочем, что мы, того не осознавая, уже прошли на следующий уровень. Если правы те биологи, которые утверждают, что плащаница, закупоренная в контейнере с инертным газом, находится в состоянии самоликвидации под действием цианобактерий и пурпурных бактерий, размножающихся при отсутствии кислорода, если генетики, церковники и гражданские власти суетятся вокруг реликвий, то налагая на них обет молчания, то разражаясь сенсационными заявлениями, то устраивая утечки сведений в прессу, если конкуренция, ревность и ненависть отравляют, как мы показали в нашем фильме, отношения между собственниками страстных покровов и всеми, к ним причастными, то, видимо, надо двигаться дальше и, для продолжения ожидаемой от нас эволюции, искать новый ясный символ, пока еще не испорченный.

Случайно ли в 2003 и 2004 годах Дева Мария, а также Иисус Христос на иконах Альберобелло кровоточили одной и той же кровью?

Богородица и Иисус: день и ночь

Все то время, что я посвятил страстным покровам Христа, начиная с работы над "Евангелием от Джимми" и кончая редактурой настоящего текста, включая и месяцы упорных поисков и расследований, давшие рождение фильму Ива Буассе, меня разрывали разнообразные чувства: неудержимое желание понять и нежелание быть использованным, воодушевление и сомнение. Иногда – восхищение, и очень часто – тревога.

Облачения, которые называют страстными покровами, и в особенности Туринская плащаница, возбуждают, как мне кажется, оккультные силы, порождающие вполне ясные намерения. Можно даже сказать, что "свет" Христа притягивает к его реликвиям определенное количество комаров. Возможно, это связано с самой природой реликвий, с их физиологическим содержанием. Придуманный мною клон Христа Джимми Вуд так выражал ужас по поводу своих корней:

Я рожден от негатива фотографии, я происхожу от погребального савана, предмета предельно нечистого, проклятой реликвии, которую всегда пытались скрывать, отрицая само ее существование, и которую, пожалуй, следова-

ло бы вообще уничтожить. Меня вытянули из крови жертвы, я сделан из того, что осталось от Христа, того, что не воскресло, не вознеслось к Богу.

Если посмотреть под таким углом, окажется, что негативный отпечаток Христа на Туринской плащанице *противоположен* образу Девы Марии, отпечатавшемуся на глазах у свидетелей в Мехико на хитоне индейца-ацтека Хуана Диего 12 декабря 1531 года – ровно за год до того, как Туринская плащаница едва не погибла во время пожара в Шамбери, оставившего на ней неизгладимые следы. Я рассказываю историю этой Гвадалупской мадонны[1] в "Явлении", для меня она точный *позитив* плащаницы: всё, в чем они противоположны, находится в идеальной симметрии.

Прежде всего, саван, купленный, как говорят, Иосифом Аримафейским для погребения Христа, был дорогим, особого тканья, предназначавшегося лишь для богатейших среди богатых. Тильма – хитон, который носил Хуан Диего, – одежда для бедных из волокон агавы, век которой не более двадцати лет. Но она все еще цела и находится в состоянии свежести, прямо пропорциональной разложению плащаницы.

Образ Христа, по всей вероятности, был создан во тьме гробницы в отсутствие свидетелей. Образ Марии на тильме появился средь бела дня, в присутствии десятка человек, в том числе епископа Мехико, и это событие засвидетельствовано в различных документах эпохи, как ацтекских, так и испанских, дошедших до наших дней, и их подлинность была проверена.

Подлинность плащаницы с самого начала ее истории оспаривалась. Ее, должно быть, прятали, о ее существовании забывали, потом ее случайно нашли в 525 году во время наводнения в Эдессе, снова спрятали на много веков в тщетном стремлении уберечь от краж, народного поклонения и попыток уничтожения. Ее редко и ненадолго выставляли напоказ и уже давно не вынимают из реликвария. Теперь она, видимо, навсегда укрыта от людских глаз и пребывает наедине с бактериями в наглухо запертом контейнере с инертным газом.

История тильмы исключительно проста. Она никогда не пропадала из виду, никуда не путешествовала, с 1531 года неизменно выставлялась для поклонения толпы в своем святилище в Мехико, куда ежегодно стекается двадцать миллионов человек.

Ткань плащаницы хранит кровь и серозный выпот покойника; на тильме нет жидкости человеческого происхождения. Клонировать там нечего, и среди экспертов только генетики никогда не проявляли к ней интереса.

Если рассказ, заключенный в плащанице, сводится к истории одной казни, то тильма остановила геноцид. Возмущенные поборами испанских колонистов, ацтеки были уже на грани мятежа, который испанцы утопили бы в крови. Тот факт, что Пречистая Дева избрала для своего явления индейца, предоставив ему служить как бы посредником в общении с духовенством, радикально изменил отношение церкви к ацтекам, вынудив папу Павла III издать в 1537 году буллу, в которой признавалось

1. F. Brune. La Vierge du Mexique. Paris: Le Jardin des Livres, 2003; B. Bonnet-Eymard. Notre-Dame de Guadalupe et son image devant l'histoire et la science // CRC. 1980. n° 157. Septembre.

наличие души у индейцев Мексики. Булла немедленно изменила их статус: прежде они были обреченной на заклание скотиной — отныне убийство ацтека становилось грехом.

Из-за личности Иисуса и Его положения Сына Божьего, оспариваемого иудаизмом и исламом, плащаница всегда служила поводом для религиозных разногласий. И там, где она разделяла верующих, тильма объединяла культуры. Покрывало Девы хотя внешне и похоже на те, что носили на голове молодые еврейки I века, по краю украшено узорами из ацтекских символов, переводившихся на язык, понятный каждому индейцу, как послание о любви и мирном заступничестве — то самое, которое ассоциируется у христиан с образом Девы Марии. Впрочем, если церковь и отстранилась поначалу от поклонения тильме, то именно потому, что Дева-объединительница уж слишком походила на Тонанчин — верховное божество ацтекского пантеона, с культом которой церкви было непросто бороться. Да еще вдобавок эта самая Дева требовала у епископа Мехико устами Хуана Диего, чтобы для нее построили часовню на вершине холма, некогда посвященного богине-матери индейцев.

Эти два полотнища ткани изучали специалисты всего мира. Мы уже видели, какие возникали споры по поводу происхождения плащаницы и какие препятствия до настоящего времени чинит церковь ее новым исследованиям. Подлинность тильмы никогда не ставилась наукой под сомнение, и мексиканское духовенство всегда поощряло представителей различных отраслей знаний к исследованиям — в особенности во времена монсеньора Шулембурга, прежнего настоятеля Гвадалупской базилики, который сам никогда не верил в сверхъестественную природу этого "произведения искусства". Специалисты по живописи, астрономии, офтальмологии, к которым он неустанно взывал, чтобы они обнаружили наконец следы подделки, каждый раз его разочаровывали.

Мы уже видели, что природа отпечатка на плащанице остается необъясненной. Отпечаток Девы Марии на тильме — тоже, но это не важно. Скажут, что образ написан красками, только краски эти изготовлены из пигментов, неизвестных на Земле, а сам образ отпечатан на обеих сторонах ткани, безо всякой аппретуры, естественным образом, при этом уток ткани слабый и неровный — такое сочетание большого количества странностей представляется совершенно невозможным и все-таки подтверждается при каждом исследовании.

Мало того: выяснилось, что звезды на покрывале Богоматери точно отображают расположение созвездий над Мехико в день и час ее появления перед очевидцами, что подразумевает непредставимые в XVI веке познания в астрономии и владение техникой воспроизведения звездного неба на плоскости. В самом деле, здесь мы видим своего рода прямую проекцию, при которой положения звезд отражаются слева направо, что заставляет вспомнить о плащанице, но сходство этим и ограничивается. Вдобавок небесная сфера спроецирована на плоскость ткани в соответствии с принципами анаморфоза, которые разработают только в XVIII веке.

Что до глаз Богоматери, то зрачок их при исследовании офтальмоскопом ведет себя как зрачок нормального живого глаза, а именно выглядит как объемная полость — такой эффект невозможно создать на плоскости, к тому же непрозрачной. Кроме того, в начале XX века обна-

ружили в этих глазах отражения людей, присутствовавших при явлении Богоматери, — епископа Мехико и всех прочих. Это наблюдение было не раз подтверждено с тех пор самыми выдающимися офтальмологами и специалистами по обработке фотографий из НАСА[1]. Как и в "нормальном" глазу, эта сцена отражается трижды: один раз на роговице, потом — перевернутая — на передней стенке хрусталика и в третий раз — снова как надо — на его задней стенке. Все происходит в точном соответствии с законом Пуркинье—Самсона, открытым в 1882 году. И вот последняя на данный момент неожиданность: в 1991 году группа офтальмологов во главе с доктором Хорхе Эскаланте нашла на кромке века едва заметные следы артериальной микроциркуляции.

И снова я отправляю читателя к главе "Отчаянные поиски фальсификатора". Как и в случае со страстными покровами и с кровоточащими предметами, единственная "рациональная" гипотеза заключается в заговоре жуликов-рецидивистов, с каждым новым открытием подгоняющих реликвию под изменившееся состояние науки. И снова, как уже не раз бывало, мы оказываемся перед выбором между немыслимым и невозможным. Конечно, остается и такое решение: просто обо всем этом забыть, закрыть мою книгу и вернуться к своим привычным земным делам. Политика страуса вполне достойна уважения: все зависит от того, что там у вас в песке.

Уже говорилось о том, что все испытания, выпавшие на долю плащаницы за годы ее существования — наводнения, пожары, бактериальные инфекции, — необратимо на ней сказывались. Так же и сударium из Овьедо поврежден не только поцелуями мадам Франко — на нем остался разрыв от бомбы, подложенной, чтобы его уничтожить, в 1934 году. Что же до Аржантёйского хитона, который некий монах разрезал на куски, пытаясь уберечь от революционеров, то он сильно побит молью, изъеден ДДТ, во многих местах превращен в труху спорами плесени. Тильма же в прекрасном состоянии.

Подчеркнем: хрупкая ткань из волокон агавы остается в целости и сохранности — никто не понимает почему. Изготавливались копии образа Богоматери на идентичной ткани, и они превращались в пыль спустя всего несколько лет. А оригинал, на протяжении более чем века выставлявшийся даже без защитного стекла, стойко выдерживал атаки насекомых, пыл верующих, которые то и дело касались его и целовали, и самое главное — жар от свечей, непрерывно горевших вокруг. В 1791 году при чистке серебряного оклада немного кислоты попало на ткань, в которой по логике вещей должна была немедленно образоваться дыра. Но желтоватые пятна — единственное последствие неприятного инцидента — постепенно исчезали, а специалисты с недоумением следили за этой странной текстильной регенерацией. Наконец, 14 ноября 1921 года под тильму подложили бомбу. Мощным взрывом вышибло стекла в базилике и в домах вокруг, мраморный алтарь разлетелся на куски, и даже погнулось бронзовое распятие. А что случилось с реликвией, висевшей прямо над местом взрыва? Ни оклад, ни ткань, ни сам образ не получили ни малейших повреждений.

1. J. A.Tonsmann. Los Ojos de la Virgen de Guadalupe. México: Diana Editorial, 1993; J. Brant Smith. The Image of Guadalupe, Myth or Miracle? New York: Doubleday, 1983.

Никто не удивится и новым чудесам, которые будет творить эта знаменитая индейская одежка. Плащаница же, по официальным данным, никогда чудесами не баловала. И ее в этом даже упрекали. Например, глубоко верующий доктор Паскаль в 1938 году усомнился в ее подлинности. "Как объяснить это странное бессилие? Для верующего вывод возможен только один: Туринская плащаница – апокриф. Для скептика решение еще проще: отсутствие чудес, исцелений, означает только то, что в подлинность реликвии никогда и не верили. Спасает лишь вера, а верующие в данном случае сомневались. Они относились к образу как к простому изображению Христа"[1].

Но, достопочтенный доктор! Миссия плащаницы, может быть, не в том, чтобы творить чудеса. У нее своя задача и свое послание. Этот погребальный саван – не амулет, а памятный знак или, может, заградительный буй. Такова теория математика Упинского. Он считает, что церковь служила на протяжении почти двадцати веков опорным радиомаяком, посылающим сигналы четырех Евангелий, – в чем и заключалась ее роль. Потом, начиная со второй половины XIX века, церковь, стараясь разрешить противоречия между библейским взглядом на историю и реальностями современного мира, между своими духовными основаниями и стратегическими целями, стала постепенно уходить от своего двуединого исходного принципа. И воплощение Сына Божьего и Его Воскресение тоже часто трактовались как аллегория, абстракция, как простое основание для размышлений о моральных ценностях – в общем ряду чудес Святого Писания. Удаление от исходного принципа проходило одновременно со всеобщей утратой веры, с кризисом призвания и совести, каких история христианства еще не знала.

Тогда-то и "заговорила" впервые льняная ткань – благодаря фотографиям Секондо Пиа. "Так, словно эта плащаница, потушенная в начале нашей эры, внезапно засветилась вновь, как светится маяк, установленный, чтобы проводить корабли, заблудившиеся в море. <...> Самое удивительное, что главный маяк все время медлит и не дает вовремя нужного сигнала этому новому, взявшему на себя заботу спасать корабли от погибели в бурю"[2].

Весть, выраженную поначалу в негативе на плащанице, следовало поддержать или даже дополнить вестью, выраженной в позитиве, появившейся в Новом Свете. Если образ, оставленный Христом, – это непреходящее напоминание о страдании, побеждающем смерть, то образ Марии – это неизменное свидетельство о чуде, лежащем в основе жизни.

Хуан Диего был канонизирован Иоанном Павлом II в июле 2002 года. Для будущего святого обязательны по меньшей мере два чуда, только после этого его дело начнут рассматривать. Среди сотен записанных одно относится к 3 мая 1990 года. Молодой человек на глазах у матери упал, ударившись головой об асфальт. Его отвезли в больницу, но диагноз не оставлял никаких надежд. Перелом основания черепа, разрыв позвоночного столба – это означает полный паралич и неминуемую смерть. Мать поспешила к базилике Гвадалупской Богоматери, чтобы

1. Revue métapsychique. 1938. № 1.
2. A.-A. Upinsky. L'Enigme du Linceul (op. cit.).

воззвать к Деве Марии и Хуану Диего, уже заслужившим себе славу заступников в безнадежных случаях. Через семь дней молодой человек был в полном здравии, и физическом, и умственном, и в будущем не имел никаких осложнений.

Я встречался в Мехико с профессором Эрнандесом Ильескасом, на которого была возложена обязанность сбора доказательств для передачи их в Ватикан. Он мне показал два огромных тома, переплетенных в телячью кожу и содержащих историю болезни, показания свидетелей и результаты следствия. После изучения дела комитет независимых медицинских экспертов, созданный Конгрегацией канонизации святых, пришел к единодушному заключению, что в данном случае речь идет не о чуде, а о двух чудесах, поскольку каждая из двух полученных травм была неизлечима и смертельна.

Все эти явления, приписываемые Деве Марии, Иисусу и их полпредам, по прошествии лет накапливались по нарастающей. Но подлинный поворотный пункт, как мы видели, приходится на конец XIX века. А именно в 1898 году благодаря изобретению фотографии раскрылся подлинный лик плащаницы. Еще через несколько лет увеличение негативного отпечатка Гвадалупской Богоматери позволило увидеть отразившегося в ее глазах бородача, и это стало прелюдией к будущим офтальмологическим открытиям. В то же самое время были опубликованы первые результаты анализов крови с Аржантёйского хитона. И именно к 1898 году относятся первые попытки аутопсии чуда.

У бельгийского крестьянина Пьера Деруддера нога оказалась раздробленной, и даже через восемь лет кости все никак не могли срастись. И тогда он услышал, что недалеко от его дома только что построили копию Лурдского грота. 7 апреля 1875 года он приковылял туда на костылях. Внезапно он их отбросил и на глазах у оторопевшего спутника пустился в пляс по гроту, подпрыгивая и благодаря Богородицу за ее милость. Таким образом, лурдские исцеления не имеют отношения ни к благоприятному микроклимату, ни к святой истории, ни к воде источников. Бельгийская подделка работает не хуже.

Медики, осмотревшие чудом исцелившегося крестьянина на следующий день, констатировали, что костные ткани полностью срослись, а гангренозная язва бесследно исчезла. Со следующего понедельника Пьер вернулся к обычной работе и обрабатывал землю своих хозяев до смерти, а умер в возрасте семидесяти пяти лет.

И после этого было решено сделать вскрытие, которое подтвердило, что кость долгое время находилась в раздробленном состоянии, а потом спонтанно срослась. Отлитый из меди муляж ноги Пьера Деруддера в наши дни выставляется в Медицинском бюро Лурда[1].

В заключение этого обзора квантово-механических метаморфоз, представленных нам для размышлений, небо ли им причиной, наши ли внутренние источники, у меня возникает желание привести слова символа неверия агностика Ива Делажа, вычеркнутые из заключения о Туринской плащанице такими же, как и он, членами Академии наук, по причине их неуместной честности: "Совершенно напрасно религиоз-

1. P. Lunel. Les Guérisons miraculeuses (op. cit.).

ный вопрос был примешан к проблеме, по своей природе сугубо научной; из-за этого разгорелись страсти и отступил разум. Если бы на месте Христа оказался Ахилл или какой-нибудь из фараонов, никому бы и в голову не пришло выдвигать свои возражения... Я был верен подлинно научному духу при рассмотрении этого вопроса, придерживался лишь истины и нимало не заботился о том, какой эффект она произведет на ту или иную религиозную партию. Я признаю Христа как исторический персонаж и не вижу никаких причин, по которым кто бы то ни было мог испытывать возмущение от того, что все еще существуют материальные свидетельства его земной жизни"[1].

"Клонировать Христа?" завершает триптих, начатый "Явлением" и "Евангелием от Джимми", хотя их я задумывал как самостоятельные произведения. Не думаю, что эта трехчастная авантюра, в основу которой легли поиски и расследования, синтезированные в единое целое при помощи воображения и заново сопоставленных реальных фактов, выставит меня более верующим. Она укрепила мою позицию — в этом я точно уверен. Я никогда не претендовал на роль гуру, или эталона моральных ценностей, или путеводной звезды. Я всего лишь передатчик снов, вот и все. Даже если и случается такое — без моего ведома порой, но, возможно, под моим влиянием, как это предполагается квантовой физикой, — что из этих снов вырастает реальность.

Что сказать в заключение? Я передаю слово Клоду Тремонтану: "Самое скверное — это не существование в виде гусеницы, а нежелание гусеницы превращаться в бабочку".

Как Иисус, так и Дева Мария — если это, конечно, они — с помощью материальных знаков, подаваемых нам, указывают, что мы должны взять власть над материей, которая нас замораживает и разлагает. Им недостаточно просто нарушить наши физические законы, чтобы мы их заметили, они дают нам импульс, подают знаки, похожие на намеки, чтобы мы открывали новые физические законы, учились по-новому относиться к миру и к самим себе. Они предлагают нам усовершенствовать наше собственное устройство вместо того, чтобы разрушать планету, на которой мы живем. Они напоминают нам о метаморфозе, которая запрограммирована в нас, но которую мы сами должны запустить.

Они нам предлагают план бегства, протягивают средства спасения — если мы этого хотим — от тех тенет, которые опутывают нас изнутри: страха смерти, слепого фанатизма или тупого неверия, ставки на силу отчаяния, подземного убежища эгоизма... Они приглашают нас совершить акт клонирования себя самих, чтобы продолжить и превзойти. Они подстрекают нас отключить блокирующие гены, как говорят биологи. Они нам дают ко всему этому ключи.

Дело каждого находить в своем сердце и интеллекте замочные скважины, куда эти ключи можно будет вставить.

1. Письмо профессора Ива Делажа доктору Шарлю Рише, главному редактору журнала "La Revue scientifique".

“Россия слышит, как поет Америка...”

Конференция в Дартмуте

Лев Лосев

Вступительное слово

1

В 1861 году журнал “Современник” напечатал перевод стихотворения Генри Лонгфелло “Невольник в проклятом болоте...” Эта публикация безусловно способствовала знакомству прогрессивной русской общественности с прогрессивной американской общественностью, но назвать это началом знакомства русского читателя с американской поэзией вряд ли можно. И в оригинале стихотворение, идеологически конечно правильное, так себе, и перевод на том же уровне. Если говорить честно, то до середины XIX века Америке нечего было предложить зарубежному читателю поэзии, да и своему собственному-то предлагались стихи в массе своей эпигонские. Единственным исключением был, пожалуй, Эдгар Аллан По. Его сначала “открыл” во Франции Бодлер, а уж позднее, в конце века, благодаря Бодлеру, русские символисты. Но и По в многочисленных русских переводах не давал представления об американской поэзии. Во-первых, символисты не совсем правильно его понимали — превращали в мрачного мистика, не замечая сильной иронической окраски баллад. Во-вторых, собственно “американского” в стихах По было немного. Он был сродни европейским романтикам. Дата рождения подлинно американской поэзии — 1855 год, когда вышли в свет похожие на книги пророков, на прозу Достоевского, на Гомера и Гесиода, ни на что не похожие “Листья травы” Уолта Уитмена.

Знакомство русского читателя с Уитменом, а стало быть, и с самобытной американской поэзией произошло почти полвека спустя. Практически одновременно его принялись переводить Корней Чуковский и Константин Бальмонт. Всякая национальная поэзия прирастает иностранными завоеваниями. Это, может быть, даже особенно верно для русской поэзии. Благодаря тому, что Цветаева назвала “уступчивостью речи русской”, на русский почти все хорошо переводится. Мне как-то пришло на ум сравнение с клапаном, который пропускает стих только в одну сторону: с английского на русский стихи перевести можно, а с рус-

© Лев Лосев, 2007

ского на английский почти никогда нельзя. Как немецкий стих обрусел в XVIII веке под перьями Ломоносова и Державина, как французский обогатил поэзию Пушкина, так же демократическая и мегаманиакальная образность Уитмена откликнулась в Хлебникове, Маяковском и некоторых других поэтах русского авангарда начала XX века.

Вот этому малоизученному явлению, прививке американской поэтики к древу русской поэзии, и была посвящена компактная по составу участников, но очень интересная конференция, проходившая в мае 2006-го в Дартмутском колледже, где я имею честь преподавать.

Открылась конференция докладом моего коллеги, одного из крупнейших на Западе знатоков русской поэзии, Барри Шерра. Он как раз и говорил о сравнительных достоинствах переводов Чуковского и Бальмонта из Уитмена. У одного из "старших" русских символистов — у Константина Бальмонта — не очень удачная литературная судьба. Бешеная популярность и не менее бешеная плодовитость в начале литературной карьеры сделали его заманчивой мишенью для пародистов. К тому же со вкусом у него действительно не всегда было все в порядке. Вот и в переводах из Уитмена он не мог удержаться, чтобы не завернуть что-нибудь вроде: "О, испить мистических бредов...", — там, где верный оригиналу Чуковский писал просто: "этот загадочный бред". В результате сложилась устойчивая традиция насмешливого отношения к переводам Бальмонта. Первым русским Уитменом стойко считается Уитмен Чуковского. Тем более что Чуковский и книжку написал под названием "Мой Уитмен".

В своем докладе Шерр показал, что переводы Бальмонта, несмотря на отдельные срывы вроде "мистических бредов", зачастую поэтически точнее переводов Чуковского и послужили отличными проводниками уитменского мировидения в сознание русского читателя. Надо сказать, что у Барри Шерра тут нашлось два авторитетных союзника. Предпочтение переводам Бальмонта перед переводами Чуковского отдавали Александр Блок и Иосиф Бродский, хотя и тот, и другой Бальмонта-поэта не особенно жаловали.

Конечно, все, кто хоть сколько-то знаком с американской литературой, сразу же назовут имя единственного равновеликого Уитмену и совершенно на него непохожего поэта XIX столетия — Эмили Дикинсон. Профессор Московского государственного университета Татьяна Венедиктова говорила о "путешествии Эмили Дикинсон из Америки в Россию", о том, как русские переводчики угадали за легкими конструкциями коротеньких стихотворений Дикинсон отважную экзистенциальную позицию, постоянное прозрение бездны небытия.

Доклад Татьяны Венедиктовой вызвал оживленную дискуссию. Мы пытались объяснить необыкновенную популярность Дикинсон среди российских любителей поэзии в последние годы. Кажется, нет такого переводчика в России, который не попробовал бы переводить Дикинсон и не вывесил бы плоды трудов своих во Всемирной сети. По этому поводу интересное предположение высказал участник конференции, поэт и филолог Михаил Гронас. Он заметил, что в интернетской поэзии популярность Эмили Дикинсон превзойдена только популярностью стихов, написанных в форме японских хокку, и предположил, что и в том, и в другом случае в поэтических текстах кроется некий алгоритм, что апеллирует к сознанию (или подсознанию?) поколения Интернета.

Другой известный русский поэт, участник конференции Сергей Гандлевский, сделал остроумный обзор американской поэзии на страницах журнала "Иностранная литература" с момента его основания в 1955 году до разгара перестройки в 1989-м. Свой доклад он озаглавил "Вопреки и благодаря". Дело в том, что хотя во главе журнала в советские годы обычно стояли мрачные идеологические церберы, в журнале сотрудничали интеллигентные переводчики и литературоведы, которые старались по мере возможности знакомить читателя не только с творчеством каких-то никому в Америке неведомых "поэтов-коммунистов" и "борцов за мир", но и с творчеством таких классиков американской поэзии XX века, как Роберт Фрост, Карл Сэндберг, Уоллес Стивенс, Харт Крейн. Такие публикации были возможны только в сопровождении предисловий и послесловий, объясняющих, что поэт, хотя и не коммунист, но пишет хорошие стихи, "благодаря" симпатиям к "трудовому люду" или "вопреки" собственному "буржуазному гуманизму". "Талантливым взрослым писателям говорят 'ай-ай-ай', одергивают, вправляют им мозги, будто симпатичным путаникам вроде носовского Незнайки", — так охарактеризовал эту практику Гандлевский.

О новых временах говорил литературовед Антон Нестеров. Он проследил следы глубокого освоения американской поэзии шестидесятых годов, поколения "битников", современными русскими поэтами. В качестве особенно характерного примера он приводил творчество Кирилла Медведева. "Недоуменная реакция российской критики на стихи Медведева, — говорил Нестеров, — легко объяснима: критики пытаются 'вписать' эти стихи в традиционный контекст русской поэзии, не видя того факта, что эти тексты существуют в силовом поле между поэзией русской и поэзией американской и для их интерпретации нужны какие-то иные оптики чтения".

Пожалуй, главным итогом наших дискуссий, в которых принимали участие литературоведы Джон Коппер, Джейн Миллер и Соня Кетчан, поэты-переводчики Григорий Кружков, Белла Мизрахи, Михаил Еремин, Катя Капович и некоторые другие, стало именно выявление этого активного "силового поля", установившегося в течение последних ста лет между русской и американской поэзией. Это и дало нам право назвать нашу конференцию переиначенной строкой из Уитмена: "Россия слышит, как поет Америка..."

2

Конференция была посвящена 90-летию дартмутского профессора русской литературы, одного из самых известных поэтических переводчиков в США Уолтера Арндта и закончилась чествованием юбиляра.

Свои вышедшие недавно мемуары Арндт, со свойственной ему самоиронией, назвал "Плут в гитлеровской Европе". И правда, его ранняя биография имеет черты плутовского романа. Он родился в семье силезского предпринимателя и ученого-химика. Место рождения — Константинополь (Стамбул), куда Арндт-старший был приглашен учреждать кафедру химии в университете. Детство Уолтер провел в польско-немецком Бреславле. Потом закончил Оксфорд и поступил в аспирантуру Варшавского университета. В сентябре 1939 года отказался от герман-

ского гражданства и ушел добровольцем в польскую армию, а после ее разгрома – в партизанское подполье. Будучи мастером на все руки, в подполье занимался главным образом изготовлением фальшивых немецких документов. В 1940 году с документами собственного изготовления через Германию пробрался в родной Стамбул. Там он предложил свои услуги переводчика-полиглота (все западно- и восточноевропейские языки плюс турецкий) американской разведке ОСС (предшественнице ЦРУ). После войны переехал в США, защитил докторскую диссертацию по компаративистской лингвистике, стал университетским профессором.

Способность Арндта к версификации на нескольких языках поражает. Как-то после выхода в свет его очередной книги переводов из Пушкина я, в порядке дружеского поддразнивания, бросил в его почтовый ящик эпиграмму:

> Не вытащит поэта с того света
> Однофамильцев дружный произвол.
> Как доктор Арендт вылечил поэта,
> Так доктор Арндт поэта перевел.

На следующий день я в своем почтовом ящике обнаружил безупречно точный, с сохранением размера и рифм, перевод этого четверостишия на английский. На следующий день в ящике был немецкий перевод. На следующий – польский. За ним последовал латинский, но, правда, уже без рифм и в другом размере.

Арндт перевел на английский "Фауста" Гёте, стихи Гейне, Рильке, фон Моргенштерна и великую книгу комиксов XIX века "Макс и Мориц" Вильгельма Буша (из нее переводил на русский Хармс). Выдержавший несколько изданий "Трижды Пушкин" (Pushkin Threefold) – избранное, включающее в себя представительную подборку стихотворений, "Медный всадник" и другое, – широко используется при преподавании русской литературы в Америке (книга так называется, потому что состоит из трех частей: тексты Пушкина в оригинале, в подстрочном переводе и в переводе поэтическом). И, несмотря на несколько попыток предложить лучший вариант, арндтовский перевод "Евгения Онегина" до сих пор признается непревзойденным. В свое время его довольно злобно атаковал Набоков, чей прозаический перевод и комментарий вышли почти одновременно с арндтовским. Свой отзыв Набоков озаглавил "Кулаком по фортепиано". Арндт в долгу не остался и назвал набоковский перевод "грустным ритуальным убийством [оригинала], сопровождаемым лексической некрофилией". В долго не смолкавшей полемике на стороне Арндта против своего старинного приятеля Набокова выступил влиятельнейший писатель и критик Эдмунд Уилсон.

Поднимая бокалы за здоровье юбиляра, участники конференции обещали встретиться в Дартмуте опять, чтобы поздравить его со столетием.

Татьяна Венедиктова

Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию

Не плавал ни один фрегат,
Как книга, далеко.
Какой рысак, как резвый стих,
Несет нас так легко?..[1]

Эмили Дикинсон *№ 1263*

Первые переводы из Эмили Дикинсон, опубликованные по-русски, были выполнены Михаилом Зенкевичем (1886–1973), который родился в России в тот год, месяц и даже неделю, когда она умерла в Америке, – 15 мая 1886 года. И литературной славы он удостоился тогда же, в 1910-х годах, когда она получила признание у себя на родине – посмертно и, можно сказать, во второй раз: уже не как эксцентричная поэтесса, писавшая о пчелах, цветах, одиночестве и любви (образ, сложившийся после первых публикаций в 1890-х), а как отважная преобразовательница поэзии, постфактум опознанная имажистами как своя: "Через тридцать лет после ее смерти флаг, под которым она одиноко сражалась, стал общим знаменем, символом вооруженного восстания"[2]. Далее Дикинсон предстояла канонизация в ранге первой леди американской поэзии, а акмеисту Зенкевичу – обживание литературного "подполья": писание стихов "в стол" и добровольно-вынужденные занятия переводом. Побочной, счастливой стороной этого несчастья стало открытие для русского читателя американской поэтической традиции. "Удивительный метафорист" (так характеризовал Зенкевича Пастернак), наверное, чувствовал в Дикинсон стилистически близкое начало, но особо ее не выделял, поскольку намеревался построить "связную картину целого"[3] американской поэзии за два столетия. Для включения в "целое" он отобрал всего четыре стихотворения Дикинсон, которым подарил от себя (отсутствовавшие в оригинале) точные рифмы, напевный мелодический ритм, довольно сложный синтаксис и правильную пунктуацию, но образность и тональность сохранил бережно. Такой эта дама и предстала русскому читателю впервые – в сборнике "Из американских поэтов" (1946) и его позднейшей версии "Американские поэты в переводах М. Зенкевича" (1969).

В том же 1946 году неоднократный соавтор Зенкевича, критик и переводчик Иван Кашкин (1899–1963), взялся за очерк об Эмили Дикинсон. Информационным поводом к публикации должно было стать, похоже, шестидесятилетие со дня смерти поэтессы, но по каким-то причинам (неактуальности юбилея? самой юбилярши?) работа осталась

© Татьяна Венедиктова, 2006
1. Перевод А. Гаврилова
2. Цит. по кн.: Lowell A/ Poetry and Poets. Boston 1930, p. 89
3. Американские поэты в переводах М. Зенкевича. – М.: Худож. лит., 1969. С. 3.

незавершенной. Кашкин вернулся к ней через десять лет и завершил-таки, но в печать статья пошла лишь спустя еще десятилетие, посмертно уже не только для поэтессы, но и для критика. В виде цитат в нее вошли двенадцать авторских переводов — итого к 1970-м годам по-русски имелось шестнадцать опубликованных стихотворений.

Представляя читающей публике "затворницу Амхерста", Кашкин решительно ввел ее именно в круг своих собственных современников: ее соседи в книге Р. Фрост, К. Сэндберг, Э. Паунд, Т. С. Элиот, У. К. Уильямс. Из тех поэтов, с кем она сосуществовала в историческом времени, упоминаются лишь двое: прославленный при жизни Лонгфелло, "книжный червь и псалмопевец", как ее антипод и непризнанный Уитмен как "старший брат". Младшая сестра Уитмена и "вторая душа американской поэзии" — эти обобщающие характеристики звучат весьма красноречиво. В Уитмене (соответственно, "первой душе") Кашкин любит вселенскость пафоса и громогласную откровенность; сдержанность Дикинсон, поэзия "полуподавленных чувств и безудержных импульсов, пригашенных строптивым подчинением общепринятой житейской норме"[1], ему импонируют куда меньше. Ту, кого "жизнь не позвала... на разрешение больших жизненных задач"[2], критик судит как человек своего времени (отчасти отдавая, конечно, дань и царствующей идеологии): на фоне общественных и военных катаклизмов середины XX века осознанная маргинальность позиции, выбор в пользу обочины, а не "всемирно-исторической" магистрали воспринимались как свидетельство слабости, отсюда снисходительные, извиняющие интонации, которые сквозят в разборе стихов.

Академическое советское литературоведение было настроено более сурово и, в целом добросовестно описывая американскую литературную традицию, фигуру Дикинсон не видело в упор. В первом и единственном томе "Истории американской литературы" (1947) и в одноименном двухтомнике, вышедшем в 1971 году, даже имя ее не упоминается.

Так образовался — становясь с годами все более вопиющим — зазор между статусом классика на родине и почти полной неизвестностью у нас. Он не мог, конечно, не дразнить издателей: в планах издательства "Наука" Дикинсон фигурирует начиная с 1967 года, но по разным причинам снова и снова отодвигается. Между тем возникает альтернативный проект: в рамках "Библиотеки всемирной литературы" готовится 119-й том, посвященный американской поэзии XIX века. В нем в 1976 году появляются сразу 218 стихотворений Дикинсон (из общего числа 1775) в переводе Веры Марковой; пять лет спустя они издаются отдельной книжечкой[3]. К переводам этим собратья по цеху предъявят впоследствии немало претензий, но значительность публикации от этого не снижается. Выразительна и сама фигура Веры Марковой (1907—1995): профессиональный востоковед, человек широко образованный, книжный, творческий и одинокий, она явно чувствовала в Дикинсон родственную натуру: лирические миниатюры американки получили в ее переводе легкий "восточный акцент", на манер хайку, а тематика отречения, затвора, скромного и упорного превозможения судьбы вы-

1. И. Кашкин. Для читателя-современника. Статьи и исследования. М., "Советский писатель", 1968, с. 180
2. Там же, с.184
3. Э. Дикинсон. Стихотворения. Предисловие и комментарий В. Марковой. М., 1981 г.

глядит равно́ актуально применительно к судьбе поэтессы и ее переводчицы[1].

Стоит здесь отметить, что решительно все русские переводчики Дикинсон склонны описывать общение с ее поэзией как "свойское", подчеркивать близость в обстоятельствах творчества или в траектории интеллектуального поиска (например, Татьяна Стамова: "У меня тоже был свой сад — с малиновками и шмелями — и свой лес — в Пушкино"; она же: "Моя любовь к Дикинсон как-то сопрягалась с любовью к Франциску Ассизскому: они смотрят на мир похожими глазами"[2]). Для екатеринбургской переводчицы Славы Рабинович "Эмили — любимая подруга, даже сестра"[3]. Сама семейственная фамильярность называния по имени, кстати, распространена и тоже исключительно характерна (о Лонгфелло ведь никто и не вспомнит, что он Генри? И даже Уитмена не называют Уолт). Первый опыт чтения вспоминается обычно как личная встреча, знакомство через "общих друзей". Так, Александру Величанскому (по воспоминаниям Е. Д. Горжевской) посоветовал обратиться к Дикинсон М. Н. Соколов, заранее указав на "явную схожесть" в их стихах и характерах. Подобную ситуацию описывает и Ольга Седакова: "С Эмили Дикинсон меня познакомил Владимир Сергеевич Муравьев (а с Муравьевым, в свою очередь, — Венедикт Ерофеев). Это был не то 1969-й, не то 1970 год, я еще училась на филфаке, на втором курсе, вероятно. Муравьев, большой знаток и любитель англоязычной поэзии, прочитав мои стихи, сказал, что чем-то ему это напоминает Э. Д.: 'женским — или даже девическим — пиетизмом', так он выразился. Я ничего не знала тогда об Э. Д., и он дал мне томик избранного. На меня это произвело сильное и в самом деле как будто родное впечатление".

Труду перевода во многих случаях предшествовало переписывание стихов в библиотеке — вынужденное обстоятельствами (и сами книжки, и ксероксы были недоступны), но немаловажное, надо думать, для их восприятия: по сути дела, текст собственноручно преобразовывался "обратно" — из безличности печати в интимность рукописи. Преобразование рукописи в печать во многих случаях даже и не предполагалось: перевод делали без надежды на публикацию, из чистой любви к искусству и интереса к предмету. Свидетельство О. Седаковой и в этом отношении характерно: "Переводя Э. Д., в самом начале 70-х, я не думала о публикации. Я думала, что эти тексты в той же мере 'непроходные', что и мои собственные попытки, и пробовать не стоит. Когда позже (возможно, в связи с проектом издания В. Марковой[4]) я показывала эти переводы в издательстве 'Художественная литература', они не вызвали одобрения: странный синтаксис, плохие рифмы. Мое возражение, что и в

1. Заметка "Памяти Веры Марковой" в "Литературной газете" от 15 марта 1995 г.: "То, что она увидела и поняла об этом веке еще в молодости, велело ей принять своего рода постриг, дать обет молчания... Она не желала быть — даже косвенно — соучастницей подлости, отречения от 'учителей бессмертия', унижения русской Музы, и она разрешилась от добровольного затвора лишь после того, как вернулись к читателю все, от кого он, читатель, имел несчастье отречься..."
2. Здесь и далее, где нет ссылки на публикацию, использованы тексты интервью, данных переводчиками автору статьи.
3. http://bazhov.ural.ru/Avtograf/rabin.html
4. В советских условиях наличие "официально признанных" переводов Веры Марковой создало эффект естественной монополии — альтернативные "версии" рассматривались почти автоматически как заведомо излишние.

оригинале рифмы плохие и синтаксис странный, впечатления не произвело".

В 1980-е годы к переводам Дикинсон обратился Аркадий Гаврилов (1931–1990). Это был, можно сказать, образцовый интеллигент советских времен – в своей яркой, но мало востребованной одаренности и сильный, и беспомощный. Он закончил экономический факультет МГУ, работал некоторое время в Научной библиотеке университета, а потом 25 лет тянул лямку (в качестве редактора) в профсоюзном журнале "Центросоюз ревью". Настоящая жизнь протекала в свободное от службы время, в "другой действительности"[1] – ее составляли чтение, размышления, выписки и переводы, собственное литературное творчество. Но публиковался он до обидного мало, и даже долгожданное (в 1983 году) освобождение от журнальной неволи не переменило печального положения дел: высокого класса профессионал так и не смог жить своей профессией.

Дикинсон Гаврилов открыл для себя (опять-таки "через знакомого" – С. Б. Джимбинова) осенью 1984 года и на протяжении следующих трех лет буквально жил ее поэзией. За это время он перевел более 200 стихотворений, из которых в печать – альманах "Поэзия", газету "Неделя" – попали разрозненные единицы. После блужданий по ряду издательств, он пришел в "Науку" – "буквально с улицы", по воспоминаниям ученого секретаря серии "Литературные памятники" И. Г. Птушкиной, но именно здесь его ожидала удача. Осенью того же года заявка, отрецензированная Н. Я. Дьяконовой, была одобрена редколлегией серии, и практически уже готовая книга (оставалось дописать вступительную статью и доработать комментарий) вошла в план издания 1991–1995 годов. На этом, увы, везение кончилось. 20 февраля 1990 Аркадий Гаврилов умер – внезапно, на пороге Московского дома звукозаписи, куда шел на передачу, посвященную Эмили Дикинсон.

И он, и Александр Величанский (1940–1990), работавший параллельно, с не меньшим увлечением, и также переведший около двух сотен стихотворений Дикинсон, совсем чуть-чуть не дожили до "перемены декораций" – момента, когда их одинокий труд оказался "вдруг" и наконец востребован. Вехой, обозначившей начало поворота, можно считать публикацию А. М. Зверевым подборки стихов Эмили Дикинсон в журнале "Иностранная литература" (1994, № 5): три стихотворения в девятнадцати переводах одиннадцати переводчиков – это качественная разница сравнительно с публикациями прошлых лет, всегда "одноголосыми"! Прошло еще три года – и поток "как прорвало": в 1997–2001 годах книжки стихотворений Дикинсон выходят в Москве, Петербурге, Екатеринбурге практически одновременно – в изданиях моно- и двуязычных, повторных и расширенных, немалыми тиражами. В совокупности в них представлена работа уже почти двух десятков профессиональных переводчиков. Итог этому этапу бурной и во многом спонтанной публикаторской деятельности подвел том "Литературных памятников" (М., 2007) – сам в своем роде памятник индивидуальному упорству, преемственности и кооперативности творческого усилия. Книга, задуманная и сделанная в основном Аркадием Гаврило-

1. Такое название получит сборник прозы А. Гаврилова, которому суждено выйти лишь много лет спустя: А. Гаврилов. Избранное. – М.: Неизвестная Россия, 1993.

вым в 1980-х, была двадцать лет спустя расширена, дополнена и наконец завершена во многом благодаря усилиям редактора Инны Григорьевны Птушкиной.

Какой же предстает нам Эмили Дикинсон, переодевшаяся в русское платье? Суждения об ее "русскости" среди переводчиков распространены и отражают, по большей части, наличие тематических или эмоциональных созвучий (например, суждение Анатолия Кудрявицкого: "Ощущение привычности отказа от жизненных благ, глубоко скрытого душевного страдания и бесконечного терпения – все это делает Э. Д. самой 'русской' из зарубежных поэтесс"). Ряд сравнений включает Тютчева, Анненского, Хлебникова, но особенно часто Ахматову и Цветаеву. Впрочем, и противоположная мысль – о том, что сравнения эти неадекватно представляют существо дарования Дикинсон, – высказывалась нередко[1]. По-своему замечательно то, как в ситуации "состязания" на ниве поэзии Дикинсон талантливых переводчиков-мужчин "женскость" начинает восприниматься и описывается как нечто второстепенное, даже сомнительное, едва ли не компрометирующее ее как творческую личность. "Совершенно неженское мужество сознания" акцентирует в американке А. Величанский[2], о "мужественном взгляде на жизнь" пишет А. Гаврилов. У него же читаем: "Неразвитость женского начала давала простор ее духу. Она оставалась андрогином, каким является каждый подросток..." А. Величанский в неопубликованном наброске к статье о Дикинсон вступает в полемику с феминистскими толкованиями ее творчества, язвительно отвергает идею деления искусства на "мужское" и "женское": "...у 'женского искусства'... перспективы развития примерно такие же, как у (вечная ей память) 'пролетарской культуры'"[3]. Там же он пишет об "инстинкте самосохранения", который удерживал Дикинсон-поэта от тесного соприкосновения с современностью. "Бесконтактность", отвлеченность, ничем-не-повязанность ассоциируется в предлагаемой логике с высокой нормой культуры: подлинный талант тем и замечателен, что не приемлет "частных определений" – ни социальных, ни классовых, ни гендерных.

Подобную же устремленность ввысь, способность быть внутренне свободной в ситуации внешнего плена любил и всячески подчеркивал в Дикинсон Гаврилов – любил настолько, что при всем своем бережнейшем отношении к образной ткани ее стихов готов был в иных случаях к откровенному перетолкованию "буквы" в "дух". Вот характерная дневниковая запись: "Перевел 'I stepped from Plank to Plank' (№875). Если буквально, то 'С дощечки на доску...', но по духу всего творчества Э. Д., – 'Я по ступенькам вверх...' Она всегда стремилась к небу, движение по плоскости ей было неинтересно". В рукописи рядом с этим пере-

1. "Цветаева, – полагает Гаврилов, – стремилась в ту мансарду духа, в которой Э. Д. прожила всю жизнь, не подозревая, что кому-то может быть завидна ее доля. Цветаеву притягивала к земле не преодоленная ею женская природа (ей ли, трижды рожавшей, тягаться с женщиной-ребенком!)" (А. Гаврилов. Избранное. – М.: Неизвестная Россия, 1993, с. 269). "Ее известность, – пишет А. Кудрявицкий, – следует сравнивать даже не с известностью Ахматовой или Цветаевой, а скорее с всенародной известностью Пушкина" (Цит. по кн.: Эмили Дикинсон. Лирика. – М.: Эксмо-пресс, 2001, с. 22).
2. Цит. по кн.: А. Величанский. Охота на эхо. – М.% Прогресс-Традиция, 2000, с. 338.
3. Материалы предоставлены Е. Д. Горжевской.

водом цитата из "Записных книжек" Чехова: "Ради одной лестницы этой стоит жить"[1].

Усилие российских почитателей таланта Дикинсон вытянуть ее в "надмирную вертикаль", наделить привилегией высшей свободы (ср. у С. Рабинович: "...она почти преодолела рамки земного притяжения, даже — рамки своей человеческой сущности...") характеризует бесспорно их собственную тоску, мечту и нехватку. Если в глазах немногочисленных знатоков творчества Дикинсон в 1940-е, 1960-е годы ее неисторичность и непредставительность выглядели скорее слабостью, то в России 1970-х, 1990-х, в глазах аудитории, уже несколько более широкой, но сознающей и подчеркивающей свою инаковость по отношению к культурному "мейнстриму", маргинальность — наоборот достоинство, тайный (в расчете на понимающих) знак доблести. Свою статью под названием "Сиянье боли" А. Величанский завершает строкой Мандельштама: "Нет, никогда ничей я не был современник". Автохарактеристика Мандельштама становится здесь характеристикой Дикинсон и, подразумеваемо, самого переводчика, а также, расширительно, того круга читателей, к которому он обращается.

В постсоветском контексте такой способ привлечения Дикинсон в союзники не утратил актуальности. Симптоматично небольшое эссе Алексея Комнина в "Независимой газете" от 18.08. 2005 в рубрике "Тенденции, свежая кровь, внеклассное чтение". Название "Напечататься = продаться" является фактически переложением начальной строки стихотворения № 709 "Publication is the Auction". Дикинсон оказывается интересна как "нетипичная американка", разом и принадлежавшая, и *не* принадлежавшая своему времени: "Контекст таков. Патриархальной Америке капустных огородов приходит конец. Пуританские добродетели вянут в атмосфере растущего, жадного до инвестиций (новое слово!) хозяйства... Тихие консенсусы конгрессменов сменяются политической возней и грызней народившихся партий. А ноги общественного сознания нации болтаются в пустоте — философской традиции нет, пуританское эсхатологическое визионерство безнадежно устарело, поблекли воспоминания о сплотившей народ войне за независимость, страну начинает раздирать на куски, как реку в ледоход". В этой по-своему выразительной тираде все и вполне откровенно отсылает к нынешней российской ситуации: "инвестиции", "консенсусы", "грызня", "традиции нет" и так далее — вплоть до "ног общественного сознания", которые, точно, болтаются без опоры. В подтексте, притом не глубоком, прячется мечта отечественного интеллектуала о том, чтобы сохранить причастность нерву перемен, но в то же время — и свободу от сопряженного с ними стресса.

1. Дневниковая запись 12.06.85. Ср. также 25.07.86: "В поэзии Э. Д. воздух несколько разрежен и чист, как в высокогорье, потому что это высокая поэзия. С высоты и землю далеко видно, и до неба — рукой подать". Соотнесение Дикинсон с приоритетами личного и национального (русского) культурного опыта оборачивается порой трогательными "передержками", готовностью слышать чудные созвучия тем, где их нет. Необязательные параллели, сомнительные или явно ошибочные этимологии, чисто субъективные ассоциации могут раздражать педантичного ученого, но переводчик, "ткач" культурно-соединительной ткани, естественно использует их в работе как психологическое подспорье. Среди записей А. Гаврилова, сохраненных И. Г. Птушкиной, встречается, например, такая: "Потрясающее открытие — русское слово 'Небо' в стихах Э. Д.! 'Old Man on Nebo' — 'Старик на Небе', т. е. Бог... Нужно выяснить этимологию этого слова в словаре Расмера (!). Во всяком случае, есть латинское 'nebulae' — туман, облако (отсюда в астрономии — туманность)..." Открытие в данном случае иллюзорно — переводчиком не опознана аллюзия к Второзаконию (34:1): "И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево..."

В качестве другого примера (он взят почти наугад и тем хорош) может послужить стихотворение "Мотив. Эмили Дикинсон" (1991) – сочинение психолога и педагога Зинаиды Новлянской (автора, кстати, двух поэтических книг), размещенное на сайте "Поэзия Московского университета"[1]. Здесь также развивается тема одинокого, стоического сопротивления внешнему давлению, которое ассоциируется с господствующим меркантилизмом: "Как этот мир не по мне, не по мне –// Сумками, взятками, сделками, деньгами!" В финале "я" расширяется, вбирая любого из "нас", обитателей межеумочного социального пространства, между тем, что как будто ушло, и тем, что никак не настанет, а Дикинсон предстает как ускользающая тень "другой возможности", спасительного самоустранения от суеты, самоосуществления вопреки или "в обход" ей:

Вот и живу в обалделой стране,
Воспоминая, что в ней не по мне.
Но иногда, точно сквозь сон, –
Вздох или стон?
Эмили Дикинсон...

И здесь – применительно к сегодняшней ситуации восприятия странного американского классика – перед нами открывается совершенно новая тема...

Пожалуй, никогда еще присутствие Эмили Дикинсон в русском культурном пространстве не было представлено так контрастно. На одном полюсе – всеядные медиа, где поэтесса присутствует в облике неожиданно модном и даже гламурном: не "затворница Амхерста", а, по ее собственному шутливому выражению, "прелестница Амхерста"! В ходу – на выбор – ассоциации с лесбийской раскрепощенностью или с кокетливым дамским интеллектуализмом[2]. На другом полюсе – академическая филология, занявшаяся наконец Дикинсон в привычной для себя солидно-наукообразной манере. Не сказать, чтобы урожай публикаций за последние четверть века был богат: по главе в двух монографиях, раздел в соответствующем томе новейшей академической истории литературы США[3], некоторое количество статей, предваряющих публикации стихов или рассеянных по сборникам. Общий недостаток этих работ, среди которых встречаются и интересные, – то, что каждый пишущий ощущает себя первооткрывателем. Единого поля разговора пока нет, в учебных курсах по истории зарубежной литературы – за рамками чистой американистики – "душа" (пусть "вторая"!) поэзии Соединенных Штатов никак не представлена.

Но вот, однако, что интересно: пока конструкторы моды пытаются выжать из фигуры Дикинсон хоть мелкую пользу, а литературоведы про-

1. http://www.poesis.ru/poeti-poezia/novljanskaja/verses.htm
2. Ср. "мысли Эмили Дикинсон", представленные на сайте "Шестое Чувство настоящей Женщины" (http://sixsens.info/) в числе "афоризмов, высказываний и мыслей выдающихся женщин, доказавших всему миру, что философия – вотчина не только мужчин". Надерганные из писем и весьма вольно переложенные, они почти замечательны своей тотальной обезличенностью! Ср.: "Стареешь с годами, однако не каждый день". "Любовь – это все. И это все, что мы знаем о ней". "Душа всегда должна оставаться приоткрытой и готовой воспринять опыт экстаза". "Жизнь сама по себе так удивительна, что оставляет мало места для других занятий".
3. С. Д. Павлычко. Философская поэзия американского романтизма. Эмерсон. Уитмен. Дикинсон. – Киев: Наукова думка. 1988; Т. Д. Венедиктова. Обретение голоса. – М.: МГУ, 1990; История литературы США. Т. IV, М.: ИМЛИ РАН, 2003, с. 151–193.

должают заниматься традиционным делом (описывают творчество в контексте "измов" и влияний и так далее), живое присутствие поэтессы в русской культуре преподносит нам задачу совершенно нетрадиционную.

Выше уже говорилось о том, что "нелитературность" Дикинсон всегда смущала и настораживала критиков и издателей, а переводчиками воспринималась как серьезнейший творческий вызов: "Существенно для меня было то, — признает О. Седакова, — что Эмили Дикинсон — поэт, работавший за пределами 'публичной литературной действительности', Другой Поэт... не работник словесно-социальной фабрики". Простодушную и вызывающую *неправильность, неумелость, неловкость, наивность* стиха исключительно трудно передать на другом языке: не всякий переводчик решится на ту степень риска, который для самой поэтессы обернулся пожизненной самоизоляцией в литературном поле. Творческое поражение и торжество здесь почти неразличимы, — и в этом смысле очень интересны дневниковые комментарии Аркадия Гаврилова к собственным переводам: они полны ссылок на неудачи, несовершенства, которые переводчик приписывает, разумеется, себе, но порой готов делить с поэтессой[1].

Язык поэзии Дикинсон труден — это самоочевидно; но чем именно? Дело, по-настоящему, не в причудливости стихотворной формы, не в экспериментах с рифмой или ее отсутствием, а в самом способе функционирования языка, который не оформляет только чувства и мысли, а предоставляет место — сцену — для их проявления, становления, действования. Смысл не проговаривается, а "вырабатывается", заключен не в самом слове, а в суггестивной ауре, его овевающей и сигнализирующей о собственном присутствии графическим намеком, таким, например, как неуместно употребленная заглавная буква, "приподнимающая" скромное слово до символа, или дробящее строку, подчас пословно, тире, или неожиданное обрамление кавычек, которые переводчик почти всегда отбрасывает как мнимое излишество[2]... Способ выражения Дикинсон производит парадоксальное впечатление — разом и произвольности, и необходимости. В ее рукописях к единственному существительному подчас выстраивалась целая "очередь" — до пятнадцати эпитетов-кандидатов: автор словно приглядывается, прислушивается к ним — который подойдет? Выбор нередко кажется случайным, и тем не менее ощущение безусловной точности "касания" смысла не оставляет читателя. "Punctual" — одно из ее любимых слов, замечает Татьяна Стамова о Дикинсон и обобщает уже применительно к своей работе: "этого 'punctual' (ничего общего не имеющего с буквализмом) она требует от переводчика, почти физически сопротивляясь любой фальши. Надо попасть в нее, а иначе все бесполезно".

Труднопереводимое слово замечательным образом родственно понятию "punctum", введенному Р. Бартом при исследовании фотографии: микроскопическая смысловая мета, рана, укол, порождаемые нео-

1. "Сегодня еще раз переделал... Не могу понять, в чем дело. Я считаю, что мне не удается передать строя стихотворения в целом, его аромат и тональность... Но, может, ошибка "в конструкции", т. е. у Э. Д.?" (18.10.85); "Не все удалось. Как и автору" (23.05.86); "Стихотворение не из лучших. Соответственно — и перевод" (без даты). По материалам И. Г. Птушкиной.
2. Ср.: "'Heaven' — is what I cannot reach" (239) и "Я не могу достичь небес" (перевод Гаврилова). Очевидно, что слово, выделенное кавычками (обозначенное как объект рефлексии, как бы дистанцированное иронией), и то же слово в потоке лирической речи воспринимаются качественно по-разному.

жиданной деталью. В обоих случаях речь идет о смысле, который четко локализован и в то же время никак специально не выделен, — точен, но субъективен, подвижен, различен для разных читателей и прочтений. В связи с творчеством Дикинсон оказывается продуктивнее говорить не об особенностях поэтической формы в традиционном ее понимании, а о чем-то совсем другом. Как удачно формулирует Ольга Седакова, — об "*опыте* мысли и страсти" в единстве со "способом его записи", каковым оказывается "скоропись, мало на что похожая в русской традиции". Поэтическая миниатюра дает как бы моментальный снимок переживания, открывающийся бесконечному вглядыванию, вчитыванию, вдумыванию (поэтому аналогия с фотографией очень уместна!).

Переводчик Ян Пробштейн отмечает у Дикинсон "странную для русской поэзии бытовую простоту интонаций. Она как бы рассуждает вслух, делясь мыслями с сокровенным собеседником, а чаще с идеальным собеседником — дневником. Иногда адресата нетрудно определить, но в процессе писания Э. Д. как бы перерастает и жанр послания и дневниковость, а иногда и условности жанра, то бишь самой поэзии". В процессе этого "перерастания" происходит нечто важное и странное — уход от эмоции, дисциплинированной поэтической условностью, к ее свободному производству в порядке импровизации; уход от поэзии как высокого ритуала к поэзии-как-повседневности, наивной, откровенной, по-человечески внятной, но обескураживающей литературоведа.

Актуальными здесь оказываются свойства, которые в "настоящей" поэзии и за свойства-то не считались. Например, количество. Самое замечательное в стихах Дикинсон, пишет переводчик Леонид Ситник, — то, что "их очень много", и они почти все просты и одинаковы, как камешки на берегу моря: "По отдельности они имеют мало ценности. Но все вместе производят странный эффект — что-то вроде пустого пляжа, одинокой фигуры у кромки воды. Короче, вечность. Лично мне всегда нравилось перебирать камешки на берегу. Ходовой ценности в них — никакой. Красивыми они становятся, только если смочить их в море людской сентиментальности или поместить в аквариум — в искусственный мирок с покупными золотыми рыбками. Причем ярче всех заблестит бутылочное стеклышко"[1].

Мысль, выраженная образно в последних двух фразах, перекликается (возможно, невольно) с давнишним высказыванием Уильяма Вордсворта о том, что в поэзии максимально простой и жизнеподобный образ максимально же символичен, ибо неисчерпаем для рефлексии. Предметом поэзии может быть что угодно: камешек, подобранный на пыльной дороге привычки, она обращает в самоцвет, поскольку, подобно влаге или лаку, покрывающему гальку, не искажает цвет или рисунок, а напротив, делает видимыми прожилки и оттенки, которые ускользнут от глаза поверхностного наблюдателя. Приведенное выше рассуждение В. Ситника подразумевает, кажется, еще и то, что "аквариумная вода" собственно литературной шлифовки и "морская влага" расхожего сентимента стоят друг друга — в том смысле, что в равной мере, хотя и поразному, способны обеспечить этот эффект. Рождение эстетического переживания "из ничего".

1. http://lib.ru/POEZIQ/DIKINSON/stihi.txt

Эмили Дикинсон — удивительный образец поэта, чья оригинальность бросается в глаза, но при ближайшем рассмотрении расплывается в набор банальных составляющих: что-то заимствовано из сборника псалмов, что-то из кухонного быта или из бесхитростного девического стихоплетства, которым кто не баловался, и т. д. Сама она упорно отказывалась от претензий на статус "автора", а ее миниатюры даже не претендуют на статус "произведений". Стихи, которые записывались на оборотах старых писем или обрывках ненужной бумаги, прятались потом в комод или рассылались в письмах далеким от поэзии корреспондентам, вполне могли сойти за плоды графоманства, и этой ассоциации не стеснялись. В стихотворении 1275 лирическая героиня товарищески подает руку "непризнанному Гению" — пауку-художнику, который, как и она, не может быть причислен к профессионалам: его талант удостоверяем разве что метлой, брезгливо уничтожающей эфемерные творения. В наши дни Дикинсон выступает покровительницей скромного, но многочисленного братства поэтов-любителей, средой обитания которых стала электронная "паутина".

Количество любительских переводов ее стихов в русскоязычном Интернете велико и быстро растет. Среди них преобладают "импровизации на тему", которые и переводами не назовешь, есть откровенно слабые вещи, есть великолепные удачи. Версии одного стихотворения не думают состязаться, а мирно соседствуют, не стесняясь неудач, даже откровенных провалов, щедро превознося и поддерживая друг друга. Все определяет качество письма — не в смысле "хорошее/плохое", а в смысле есть ли у него внутреннее оправдание, искренность мотива, побуждения к творчеству. В основном эта продукция представлена в Сети, но носитель может быть и бумажным (благо малотиражная публикация стала более чем доступной). В качестве примера сошлюсь на книжечку переводов Вячеслава Протасова, изданную во Владивостоке в 2004 году в количестве 300 экземпляров при поддержке Морского государственного университета им. Адмирала Г. И. Невельского, но, подчеркивается, без всякой корысти: "Средства от реализации тиража идут на новые издания". Сборнику дано авторское название "Разговор на языке души" и авторское же внутреннее устройство — "Пролог", "Монолог", "Эпилог" плюс десять "Отступлений" посередине. Достоинства переводов в данном случае не важны — важно и симптоматично то, что книжка "хочет" быть похожей на драматическое действо или длящийся, очень личный акт коммуникации ("Разговор"). В маркированные — начальную и конечную — позиции поставлены стихотворения № 288 ("I'm Nobody. Who are you?") и № 741 ("Drama's Vitallest Expression"). Тема первого стихотворения — разговор никого с никем, у всех на виду, но в благодатной анонимности (что это, как не форма и формула общения в Интернете?). Тема второго стихотворения — неслышный, невидимый драматизм повседневности, опознаваемый как специфическая художественная ценность.

Возможно, к конкретному замыслу В. Протасова это имеет лишь косвенное отношение. Но некоторую гипотезу сформулировать можно. Важнейшим свойством поэзии Дикинсон в нынешнем ее восприятии предстает способность побуждать, понуждать или искушать *любого* читателя к со-творческому переживанию. На это, кстати, косвенным образом указывал А. Величанский в стихотворении с выразительным названием "Вместо перевода":

Когда она проезжала
мимо заката солнца,
мимо детей ученых,
мимо людских могил,
то рожь сильнее рыжела,
и дети кричали отчетливей,
и слышали звук колокольца
те, кто в могилах был.

Что здесь такое "Эмили Дикинсон" — разом и сочинительница стихов, и их лирическая героиня, и окутанный легендой образ? Своего рода "проявитель" поэтической эмоции, чье присутствие делает цвет "сильнее", звук "отчетливей", слух острее. Заурядная повседневность становится экзистенциальным приключением, а читатель, независимо от степени литературной изощренности, тоже "отчасти" поэтом.

Всю жизнь упрямая американка писала "послания миру" (№ 441), смиренные и горделивые, ответа не получая, да и не ожидая. Сомневалась ли она в собственной талантливости? Мы никогда не узнаем. Обращаясь с этим вопросом к читателю (одному из тех немногих, в ком надеялась найти понимание), она обставляла его робкими околичностями: "Не очень ли Вы заняты, чтобы сказать мне, есть ли жизнь в моих стихах?.. Если бы Вы сочли, что они дышат, и у Вас нашлось бы время, чтобы сказать мне об этом, моя признательность Вам была бы мгновенной" (Т. В. Хиггинсону, 12 апреля 1862 г.). Что ответил ей Томас Вентворт Хиггинсон той весной, почти полтораста лет назад, — опять же неизвестно.

Но долгое, длящееся, разноязыкое, в том числе русское эхо, рождаемое стихами, звучит убедительно: да, конечно же *дышат*.

Барри Шерр

Языковые игры орлов: Уитмен в переводах Чуковского и Бальмонта

Перевод с английского С. Нещеретова

При всем обилии сборников Уолта Уитмена, выходивших в России в течение многих лет, полное русскоязычное издание "Листьев травы" появилось лишь в 1982 году[1]. Примерно шестая часть из более чем 380 текстов в этом томе — включая самое крупное произведение "Песня о себе" — дана в широко известных переводах Корнея Чуковского. В книге, кроме того, представлены работы более чем двух десятков литераторов. Некоторые из них, например С. Маршак и М. Зенкевич, заслужили известность именно как переводчики; немногие, в том числе М. Алигер и Б. Слуцкий, будучи поэтами, переводили стихи лишь от случая к случаю; под другими стихотворениями стоят имена менее знакомые. Странным образом из данного ряда выпал тот, кто первым представил соотечественникам обширную подборку поэзии Уитмена, — Константин Бальмонт. В предисловии к изданию 1982 года М. Мендельсон, самый авторитетный советский уитменовед, дает понять, что Бальмонта оставили в стороне неслучайно. По его мнению, переводы Бальмонта хотя и имеют определенную ценность, но скомпрометированы гиперромантической интонацией, характерной и для его собственных стихов. После революции, утверждает Мендельсон, искусственность и претенциозность такой манеры стали очевидны, и переводы Бальмонта потеряли своего читателя.

Однако настолько ли эти переводы слабее считающихся каноническими работ Чуковского или других переводчиков, чтобы быть преданными забвению? Наносит ли присутствие поэтического "я" Бальмонта непоправимый урон его переводам? М. Гаспаров, сам одаренный переводчик античных авторов, указывает на спорность переводов, в которых переводящий либо заслоняет автора, либо слишком близко следует оригиналу; вместе с тем, по его мнению, вряд ли существует единственно верный метод перевода. Основной тезис Гаспарова состоит в том, что общераспространенные воззрения на перевод, да и сами переводчики с течением времени подвержены эволюции. Так, молодой Брюсов, подобно Бальмонту и Вяч. Иванову, относительно свободно переосмысливал оригинал. И напротив, зрелый Брюсов, вслед за Блоком, тяготел к буквальности, подчас излишней. Отход от оригинала не всегда бывает пагубным; в частности, Гаспаров отмечает, что выполненные Маршаком переводы шекспировских сонетов, отчетливо разнясь с первоисточником лексикой и интонацией, все же обнаруживают литературный вкус, созвучный эпохе, в которую жил переводчик, и придававший сонетам черты современности в глазах тогдашних читателей.

© Barry Sherr, 2006
© С. Нещеретов. Перевод, 2007

1. Уолт Уитмен. Листья травы. — М.: Худож. лит., 1982. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Гаспаров подчеркивает, что ни один перевод не воссоздает оригинал во всей его полноте, а значит, любая попытка приближения к нему лишь отражает ценности своего времени и ви́дение переводчиком своих главных задач. При этом и вкусы, и представление об образцовом переводе не отличаются постоянством.

Даже учитывая подобную изменчивость, трудно уяснить причину, по которой переводам Бальмонта не находилось места в русских изданиях Уитмена на протяжении долгих десятилетий. Можно, однако, заключить, что сугубо отрицательное отношение к этим переводам установилось почти с самого начала и что решающую роль здесь сыграли резкие нападки именно со стороны Чуковского. Впервые он высказался на этот счет в обзорной статье 1906 года в журнале "Весы". Разбирая новые критические статьи русских авторов о Уитмене, Чуковский бегло, но уничижительно охарактеризовал статью Бальмонта, появившуюся в том же журнале. В текст своего исследования Бальмонт ввел более десятка стихотворений Уитмена, переведенных им целиком или, в ряде случаев, фрагментарно. Чуковский предъявил Бальмонту обвинение как в плохом владении языком оригинала ("В трех строках перевода он сделал пять грубейших ошибок...'), так и, что более существенно, в измене самому духу и бунтарской сути новаторской манеры Уитмена. Взамен уитменовской разговорной речи, грубого синтаксиса и свободной формы стиха Бальмонт, по мысли Чуковского, предлагает регулярную строфику и язык, которым написаны его собственные стихи.

Столь яростная критика, возможно, отчасти подогревалась чувством соперничества: Чуковский и сам только недавно дебютировал как переводчик Уитмена, а небольшой сборник его переводов "Поэт-анархист Уот Уитмен" увидел свет еще в 1907 году. Собрание бальмонтовских переводов из Уитмена "Побеги травы" было издано лишь в 1911 году, однако уже первые полемические уколы определили тон дальнейших печатных высказываний Чуковского. Он по-прежнему находил язык Бальмонта слащавым (лишенным уитменовской твердости) и неточным. Бальмонт-поэт виделся ему полной противоположностью Уитмену, а попытки переводить Уитмена — формой борьбы между ними, в ходе которой русский поэт стремился помешать американскому оставаться самим собой, "подправляя" его, навязывая ему собственную манеру, отягченную "бальмонтизмами".

Не один десяток лет исследователи почти единогласно превозносят работу Чуковского, одновременно порицая опыты Бальмонта. Е. Эткинд противопоставляет Чуковского и его стремление к передаче грубости, хаотичности и прозаичности стиха Уитмена Бальмонту и его попыткам упорядочить ритмы, сгладить шероховатости формы, преуменьшить гиперболы. Вероятно, наиболее полное выражение этих взглядов содержится в исследовании Лорен Лейтон, посвященном переводам в России и в Америке. Лейтон отмечает, что Бальмонт в своих переводах не только тяготел к выражению собственной эстетики, но и мало походил на Уитмена как поэта. Возникающие при этом русскоязычные варианты Лейтон именует неологизмом "Уитмонт", отмечая "неспособность переводчика позволить Уитмену говорить от своего имени". Бальмонт, делает вывод Лейтон, сглаживает раскованную образность Уитмена; он не воспроизводит ритмы и интонацию его стихов, а поэтизирует прозаичного Уитмена или попросту делает его скучным. Чуковский напротив —

не только демонстрирует увлеченность уитменовской мыслью, но и сохраняет интонацию оригинала, отыскивает уместные лексические эквиваленты и броские поэтические приемы, "передавая своему соотечественнику ощущения читателя тех же строк в подлиннике".

Впрочем, среди филологов, главным образом англоязычных, имелись и сторонники Бальмонта. Мартин Бидни рассматривает статьи поэта об Уитмене и его переводы (многие из которых изначально представляли собой иллюстрации к статьям) как части единого целого, где "Уитмен и его творчество как бы рождаются заново в иллюзорном мире". То, что Бальмонт сращивает свой стиль с уитменовским, полагает Бидни, не слабость, а достоинство. Бидни считает, что Бальмонт не столько искажает Уитмена, сколько подчеркивает некоторые особенности его текста.

Наиболее энергично выступила в защиту Бальмонта Рэйчел Полонская, выдвинув интересный тезис о том, что поэзия Уитмена не столь реалистична и зависима от обыденной речи, как утверждает Чуковский. Ей скорее свойственны "выделанность", классически-экспрессивная манера письма, нередко — утонченность лексики и очевидное несходство с языком повседневности. Поэт, обладающий этими качествами, оказывается гораздо ближе к Бальмонту, чем полагало большинство русских стихотворцев. Исследовательница склонна считать некоторые критические замечания Чуковского о переводах Бальмонта следствием избирательного и зачастую дезориентирующего цитирования как английского подлинника, так и русских соответствий. Анализируя переводы обоих поэтов, Полонская находит, что Бальмонт, стремясь к достижению иных целей, нежели Чуковский, не менее верен оригиналу. В этом контексте она рассматривает статью Блока, вышедшую в 1907 г.; Блок не читал Уитмена по-английски, но допускал, что Чуковский все-таки ближе к американскому поэту. В заключение, однако, он делает оговорку: если Уитмен Бальмонта — выдумка, то выдумка поэта, "возвышающий обман", противоположный "низким истинам" Чуковского, гораздо менее памятным душе.

Ни Чуковский, ни Бальмонт не перевели "Листья травы" полностью, их внимание в этом огромном томе привлекали вещи весьма различные. Тем не менее они зачастую обращались к одним и тем же текстам, что позволяет нам сопоставить результаты их труда.

К стихотворениям, существующим и в переводе Бальмонта, и в переводе Чуковского, относится "One Hour to Madness and Joy". Вот его начало:

One Hour to Madness and Joy

One hour to madness and joy! O furious! O confine me not!
(What is this that frees me so in storms?
What do my shouts amid lightnings and raging winds mean?)

O to drink the mystic deliria deeper than any other man!
O savage and tender achings! (I bequeath them to you my children,
I tell them to you, for reasons, O bridegroom and bride.)
O to be yielded to you whoever you are,
and you to be yielded to me in defiance of the world!

O to return to Paradise! O bashful and feminine!
O to draw you to me,
to plant on you for the first time the lips of a determin'd man.

Несколько особенностей сразу бросаются в глаза: обилие восклицательных знаков, использование частицы "О" и инфинитива в начале четырех строк, включая три последние, та же частица "О" в начале других фраз, и побудительные конструкции, кроме двух "посторонних" реплик в скобках. На протяжении всего текста Уитмен применяет параллелизм: в конце стихотворения двенадцать строк из тринадцати открываются инфинитивом. Как это свойственно Уитмену, чем более прямолинейно высказывается повествователь, тем более неопределенно указывает он на некое другое лицо, остающееся для нас абстракцией. Формальные средства впечатляют своей смелостью и сложностью; перед нами образец уитменовского свободного стиха с нерегулярным размером и без рифмовки, но его нельзя назвать прозрачным или простым. Нередкие для Уитмена вводные фразы вмещают в себя реплики "в сторону", при этом говорящий не чурается самоанализа, а тональность поэтического текста может варьироваться. В рассматриваемом стихотворении повествователь дважды перебивает восклицательную интонацию краткими отступлениями. Стих Уитмена чрезвычайно ритмичен и все же не подчинен строгой метрической схеме, ведь Уитмен положил начало американской традиции верлибра, который, как правило, избегает метра и рифмы. Его поэзии свойствен ряд неоспоримых черт: организация текста с помощью параллелизмов, тяга к совмещению синтаксических и ритмических единиц, автономность стихотворной строки. Однако в остальном исследователи до сих пор не едины во мнении относительно главенствующих принципов ритмики Уитмена. Из приведенного выше стихотворного фрагмента видно почему: в строке — от 9 до 27 слогов, тогда как число слогов между ударениями не превышает трех, а чаще равно одному или двум. Подчас прослеживается регулярный ритм: во второй строке можно увидеть пятистопный хорей, а в девятой легко угадывается строгий ямб. При этом структура стихотворения представляется почти в такой же мере зависимой от подобных случайных явлений, как и от синтаксических параллелизмов, анафор и нерегулярных аллитераций.

Чуковскому отчасти удается передать эту изменчивость оригинала:

Час безумству и счастью

Час безумству и счастью! о бешеная! дай же мне волю!
(Почему эти бури и смерчи несут мне такую свободу?
Почему я кричу среди молний и разъяренных ветров?)

О, испить этот загадочный бред глубже всякого другого мужчины!
О дикие и нежные боли! (Я завещаю их вам, мои дети,
Я предрекаю их вам, о новобрачные муж и жена!)

О, отдаться тебе, кто бы ни была ты,
а ты чтобы мне отдалась наперекор всей вселенной!

О, снова вернуться в рай! о женственная и застенчивая!
О, притянуть тебя близко к себе
и впервые прижать к тебе настойчивые губы мужчины.

Здесь в седьмой и девятой строках насчитывается по 28 слогов, в остальных — от 17 до 21. Однако далее мы не находим ничего столь же краткого, как вторая строка оригинала, да и в целом длина строк перевода не изменяется столь резко. Ритм первых трех строк излишне близок правильному анапесту, хотя далее упорядоченный размер прослеживается все меньше и меньше. Что любопытно: на фоне множества односложных и кое-где нулевых интервалов между ударениями у Уитмена Чуковский избирает интервалы более протяженные. Там, где Уитмен, по всем приметам, кладет в основу ритма своего стихотворения двусложный размер, Чуковский, видимо памятуя о том, что между ударениями в русском языке обычно больше слогов, чем в английском, склоняется к ритму на основе трехсложного размера.

В данном переводе отражено каждое слово оригинала, тем более что свободный стих несколько облегчает такую задачу. Чуковский вводит во вторую строку слово "смерчи", но в целом не поддается соблазну приукрасить подлинник. С легкостью копируя синтаксические параллелизмы, переводчик все же не вполне передает богатство и гибкость языка. Так, из четвертой строки выпадает яркая аллитерация ("drink... deliria deeper"). Попутно отметим, что мягкие звуки "у" в седьмой строке ("yielded... you... you... you... yielded") внезапно сменяются взрывным "d" ("defiance... world"). Перевод дает почувствовать многое, но особый голос Уитмена не донесен до русского читателя во всех оттенках.

Бальмонт, как ни странно, едва ли уступает Чуковскому в точности:

Один час безумья и радости

Один час безумья и радости! О исступленный! Не умеряй меня!
(Что это так освобождает меня в этих бурях?
Что означают вскрики мои среди молний и бешеных ветров?)
О, испить мистических бредов глубже, чем кто бы то ни было!
О дикие и нежные боли! (я их вам завещаю, дети мои,
Я их вам возвещаю, не без причины, о жених и невеста!)

О, отдаться тебе, кто б ты ни был,
и взять тебя мне отдающуюся вопреки всему миру!
Возвратиться в Рай! О, стыдливая, женственная!
Привлечь тебя близко к себе,
и впервые прижать к тебе губы мужчины, который решителен.

Как видим, Бальмонт жертвует восклицательным "О" в начале двух заключительных строк. Вместе с тем он сохраняет выражение "for reasons" в строке 6-й, отброшенное Чуковским, да и в том, что касается длины строк, он более аккуратен: вторая строчка заметно короче первой и третьей, восьмая почти равна уитменовской. Пожалуй, перевод Бальмонта выглядит несколько более основательным. Если перевести восьмую строку обратно на английский, у Чуковского появятся слова "to return again", тогда как у Бальмонта останется всё то же изначальное "to

return". Не пытаясь воссоздать в деталях уитменовскую фонетическую игру, Бальмонт компенсирует ее такими приемами, как отзвук "завещаю" в далее возникающем "возвещаю". Последнее, кстати, будучи более возвышенным, чем английское "tell", лексически соответствует глаголу "bequeath" в пятой строке оригинала. Как и Чуковский, Бальмонт удлиняет расстояние между ударениями, опять-таки скорее руководясь различиями между двумя языками. В целом Чуковский здесь едва ли превзошел Бальмонта.

Бальмонт, судя по всему, существенно не переделывал переводы из Уитмена с момента их создания, а вот Чуковский возвращался к своим текстам не единожды. В предисловии к книге "Поэзия грядущей демократии" он отрекается от сборника 1907 года и даже призывает тех читателей, у кого сохранился хоть один экземпляр, его уничтожить. В самом деле, редакция перевода, включенная в "Поэзию грядущей демократии", сильно отличается от вошедших в книгу "Мой Уитмен" и в "Листья травы" 1982 года. Она начинается так:

Час исступления и радости

Час исступления и радости! О безумная! Дай же мне волю!
(Что это в вихрах, в бурях так освобождает меня?
О чем, отчего я кричу среди молний и лютых ветров?)

Характерно, что эта промежуточная редакция несет на себе следы известной борьбы: повтор "what" в строках 2-й и 3-й здесь пропадает, "furious" переводится несколько сомнительным "безумная", в третью строчку вставлено "отчего". Также заметим, что во второй строке "сквозит" заимствование у Бальмонта. Эта ранняя редакция, приобщившая русского читателя 1910–1920-х годов к слову Уитмена, выглядит еще более невнятной претензией на превосходство над Бальмонтом.

Стихотворение "The Dalliance of the Eagles", опубликованное в 1880 году, состоит из 10 строк, образующих одно предложение.

The Dalliance of the Eagles

Skirting the river road (my forenoon walk, my rest,),
Skyward in air a sudden muffled sound, the dalliance of the eagles,
The rushing amorous contact high in space together,
The clinching interlocking claws, a living, fierce, gyrating wheel,
Four beating wings, two beaks, a swirling mass tight grappling,
In tumbling turning clustering loops, a straight downward falling,
Till o'er the river pois'd, the twain yet one, a moment's lull,
A motionless still balance in the air, then parting, talons loosing,
Upward again, on slow-firm pinions slanting,
their separate diverse flight,
She hers, he his, pursuing.

Как обычно, Уитмен здесь не использует enjambement[1]: каждая строка представляет собой одну или несколько законченных фраз. По-

1. Зд.: перенос (*франц.*).

сле двухстрочного вступления с броскими созвучиями начальных слов автор в четырех последующих строках развертывает ряд образов, оперируя фактически одними лишь прилагательными и существительными. Кульминация – строки 7 и 8, расставание птиц – строки 9 и 10. Заключительная строчка значительно короче остальных и вполне передает ощущение финала. Написано стихотворение преимущественно разностопным ямбом при наличии, как часто бывает в английском стихосложении, ряда двухсложных, а не односложных интервалов между ударениями (при декламации, впрочем, они иногда сокращаются до одного слога: "amorous" > "am'rous"). Все глагольные формы, кроме "pois'd", являются причастными; по сути, стихотворению недостает опорного глагола, чтобы стало ясно, когда происходит действие – в прошлом, настоящем или будущем. Эта формальная особенность оттеняет "нейтральность" повествования: поэт лишь представляет событие, никак его не комментируя. В центре внимания – действие как таковое, а не реакция рассказчика или его отношение к происходящему. Уитмен живописует неистовую случку орлов, усиливая картину за счет причастий "rushing", "gyrating", "grappling", "tumbling" и так далее. Критики не раз указывали на контраст между той яростной сценой, что предстает в стихотворении, и его заглавным словом "dalliance", означающим "беззаботный флирт" или же "легкомысленное времяпрепровождение". И хотя речь идет не о людях, а о пернатых, неприкрытая чувственность этого произведения не ускользнула от блюстителей общественной морали. Запрет на публикацию был наложен в Бостоне в 1881 году, а спустя три десятилетия московская цензура точно так же отвергла перевод Бальмонта. Д. Святополк-Мирский[1], и не он один, относил это стихотворение к жемчужинам позднего Уитмена, отмечая не только его напряженный эротизм и ощущение равенства мужского и женского начал, но и ритмическую мощь.

Прочтение Чуковского особенно привлекает решением финала, созвучным авторскому, и передачей всей синтаксической структуры подлинника:

Любовная ласка орлов

Иду над рекою по краю дороги (моя утренняя прогулка, мой отдых),
Вдруг в воздухе, в небе, сдавленный клекот орлов,
Бурная любовная схватка вверху, на просторе,
Сцепленные, сжатые когти, живое бешеное колесо,
Бьющих четыре крыла, два клюва, тугое сцепление
кружащейся массы,
Кувыркание, бросание, увертки, петли, прямое падение вниз,
Над рекою повисли, двое – одно, в оцепенении истомы,
Висят в равновесии недвижном, – и вот расстаются,
и когти ослабли,
И в небо вздымаются вкось на медленно-мощных крылах,
Он своим,
и она своим
раздельным путем.

1. Д. П. Святополк-Мирский (1890–1939) – русский литературовед, критик и публицист.

Вместо уитменовской сверхкраткой финальной строки Чуковский вводит неожиданную разбивку "лесенкой", которая по-своему эффектно завершает текст. Вместо ямбического метра переводчик главным образом прибегает к трехсложному. Там, где Уитмен вставляет лишние слоги в ямбических строках, Чуковский сжимает двухсложные интервалы (например, фраза "в небе, сдавленный клекот"). В переводе, как и в оригинале, строки имеют различную длину при шести-восьми сильных ударениях в каждой. Звучание перевода не менее гармонично и красочно; отметим созвучия "рекою... краю" в строке 1-й или "крыла, два клюва" в строке 5-й. Чуковский четко придерживается структуры строк подлинника с распадением отдельных строк на две или три части в виде малых синтаксических единиц, служащих усилению ритма.

Вместе с тем, некоторые ключевые черты оказываются утраченными. Сошлемся вновь на Рэйчел Полонскую, согласно которой Чуковский, отказываясь от деепричастия в начале стихотворения, окрашивает первую строку в более прозаичные тона и однозначно относит действие к настоящему времени. Что еще принципиальней — формы прилагательных и существительных, на которых держатся причастные обороты в первых двух третях оригинала, преображаются Чуковским в серию глаголов в предпоследних строках, отчего ведущую особенность стихотворения мы воспринимаем уже по-новому. И пусть в русском языке нет полного аналога слова "dalliance", но выражение "любовная ласка", сохраняющее контраст между изысканностью оборота и неистовством изображаемой сцены, все же кажется излишне конкретным.

На первый взгляд перевод Бальмонта, где длина строк почти всегда одинакова и еще целых три "досочинены", менее удовлетворителен, чем вариант Чуковского:

Ласка орлов

Идя вдоль реки по дороге (это утром мой отдых, прогулка),
Я в воздухе, там ближе к небу, заглушенный услышал звук;
Внезапная ласка орлов, любовная схватка в пространстве,
Сплетение вместе высоко, сомкнутые сжатые когти,
Вращение, бешенство, ярость живого вверху колеса,
Четыре могучих крыла, два клюва, сцепление массы,
Верченье, круженье комка, разрывы его и увертки,
Прямое падение вниз, покуда, застыв над рекою,
Два вместе не стали одно, в блаженном мгновеньи затишья,
Вот, в воздухе медлят они в недвижном еще равновесии,
Разлука, и втянуты когти, и вот они, медленно, снова
На крепких и верных крылах, вкось, в разном отдельном полете,
Летят, он своею дорогой, своею дорогой она.

Опорный размер здесь — амфибрахический гекзаметр, с сильной срединной цезурой и структурой строки 3 + 3. Амфибрахический метр "начинается заново" в четвертой стопе: если в слове, завершающем третью стопу, последний слог под ударением, то между третьим и четвертым иктами[1] оказывается только один безударный слог (такова шестая

1. Икт (*лат.* ictus — удар) — сильная опорная доля в стопе, независимо от того, стоит ли в ней ударный или безударный слог.

строка). В начальной строке открытие скобки акцентировано вводом лишнего слога, а следующая строка вся строится на неправильном ритме. В общем, однако, преобладает амфибрахический размер. Заключительная строка, с повтором двух слов сразу, создает ощущение завершенности, но не столь внятно, как уитменовская отрывистая концовка. У Бальмонта, как и у Чуковского, процент личных глаголов выше, чем в оригинале, особенно во второй строке, где он ввел "я" – повествователя, противного самому духу этого стихотворения. Тем не менее основная проблема – это все-таки выравнивание длины строк; хотя нерифмованный гекзаметр близок к размеру старинных эпических поэм, определенная шероховатость Уитмена при этом утрачивается.

Несмотря на все вышесказанное, в некоторых отношениях Чуковский, похоже, следует за Бальмонтом. Оба переводчика преобразуют изначальный ямб в трехсложник, и кое-что в тексте Чуковского перекликается с Бальмонтом. Да и заглавие Чуковский у него заимствует, только с добавлением прилагательного, что усиливает буквальность и ослабляет эффект восприятия. Однако в отличие от Бальмонта, нигде на протяжении всего текста он это заглавие не повторяет. Местами вариант Бальмонта как будто ближе к подлиннику: "в... мгновеньи затишья" точнее передает "a moment's lull", чем "в оцепенении истомы" у Чуковского. И даже если по некотором размышлении перевод Чуковского, сохраняющий структуру оригинала, видится более адекватным, Бальмонт во многих отношениях ему не уступает.

Свой перевод Чуковский представил и в "Поэзии грядущей демократии"; вот его начало:

Любовные игры орлов

Иду над рекою по дороге (это моя предобеденная прогулка),
Вдруг задавленный крик наверху,
Любовная ласка орлов,
Слияние стремительных тел в высоте,
Сцепленные сжатые когти,
Кружение, безумие, бешенство, вихрь живого вверху колеса...

Знаменательно, что в 1918 году Чуковский решается, совпав с Бальмонтом, удлинить стихотворение на три строки. Заглавие содержит иное прочтение исходного "dalliance", хотя позднее, взявшись за переработку перевода, Чуковский вернулся на позиции, схожие с бальмонтовскими. Как и тогда, когда он в молодости переводил "One Hour to Madness and Joy", Чуковский бросает Уитмену вызов: "безумие" в последней строке процитированного фрагмента стоит весьма далеко от значения оригинала, сохранены не все многочисленные уитменовские причастия, урезанные строки не дают представления о синтаксическом строении английского текста. Не в пример Бальмонту, Чуковскому явно потребовались, по меньшей мере, две попытки, чтобы воспроизвести по-русски смысл уитменовского текста.

В конечном счете нельзя не согласиться с Гаспаровым: при условии, что оба переводчика достаточно аккуратны в передаче оригинального текста, выбор одного из вариантов во многом обусловлен соображениями

вкуса и сегодняшней модой, а не тем, насколько дословен тот или другой перевод. Среди предъявляемых Бальмонту претензий одна кажется верной: он сверх меры упорядочил ритмику, Чуковский же передал грубоватый стих Уитмена точнее. Это несомненно многое значило для современников Чуковского и предопределило их выбор в пользу его переводов. При всем при том Бальмонт очевидно повлиял на то, как Чуковский использовал те или иные ритмические и лексические средства, и, пожалуй, более, чем Чуковский, преуспел в воссоздании некоторых особенностей словаря и стилистики американского поэта. Даже если позднейшие (но никак не ранние!) редакции переводов Чуковского убедительнее раскрывают сущность творчества Уитмена, работа Бальмонта не менее достойна внимания и заслуживает большего признания, чем выпало ей на долю в течение прошлого столетия.

Антон Нестеров

Одиссей и сирены: Американская поэзия в России второй половины XX века

Говоря о влиянии опыта иноязычной поэзии на русскую поэзию со второй половины XX века до наших дней, приходится начинать издалека.

В СССР представление большинства читателей о зарубежной поэзии формировалось по переводам. Появится ли тот или иной текст в переводе, определялось не столько его литературными достоинствами, сколько политической целесообразностью: переводились в первую очередь "прогрессивные авторы" – те, кто связан с коммунистической партией, рабочим движением. Эксперименты с формой не поощрялись: считалось, что литература должна быть "демократичной", что означало – понятной самому необразованному читателю[1]. Иногда, правда, от этого правила отступали: если автор писал "сложно", но активно заявлял о своих коммунистических симпатиях, его шансы быть изданным в СССР даже возрастали, ибо это позволяло набрать дополнительные очки в пропагандистской игре с Западом и показать "открытость" советского общества. Именно так произошло с Полем Элюаром: сложный поэт-сюрреалист, он был активистом коммунистического движения – и его стихи активно печатались в СССР.

Но, как бы то ни было, говоря о современной – то есть берущей начало в конце 50–60-х годов прошлого века – русской поэзии и тех влияниях, на которые она отзывалась, мы должны учитывать специфику ее аудитории и той социальной ситуации, в которой эта поэзия существовала.

В начале века Пастернак и Цветаева соотносили свою поэтику с Рильке; пытаясь обозначить свое отличие от современников, эти поэты для "легитимизации" своего опыта обращались к поэтическим системам, внеположным русской литературе: так для настройки музыкального инструмента нужен звук камертона.

Русские поэты конца 50 – начала 60-х годов XX века такого "внешнего" камертона были лишены изначально. Они оказались выключены из контакта с современной им западной поэзией. И "поддержки", "легитимизации" своих экспериментов они искали, через голову современников, у русских поэтов начала первой трети века. Так, Андрей Вознесенский, начинавший писать стихи в тени Пастернака, считает, что собственная поэтическая интонация сформировалась у него лишь к стихотворению "Гойя" (1959). Однако внимательный читатель услышит: все инновации этого стихотворения есть не что иное, как открытия Маяковского, сделанные еще в "Облаке в штанах" (1913) и теперь увиденные через призму Пастернака. Во многом русская поэзия конца 50 – начала

© А. Нестеров, 2006

1. Об этом "простом читателе". – В кн.: О. Седакова. Посредственность как социальная опасность. – Архангельск, 2006. В электронном виде см.: http://www.polit.ru/lectures/2004/12/20/sedakova.html или http://liberty-belarus.info/content/view/280/56/

60-х может быть прочитана как судорожное усвоение новым поколением поэтов опыта тех, чьи тексты всплывали в эту эпоху из небытия, — Цветаевой, Кузмина, Ходасевича. Собственно говоря, почти вся пытающаяся разорвать оковы сталинского канона "дозволенная", допущенная до печати поэзия тех лет — по сути, последовательный "импринтинг" поэтик Серебряного века в сознании стихотворцев нового поколения[1]. Стихотворцев, ориентированных на публичное признание — пусть порой и ценой легкой конфронтации с властью. Массовая популярность поэтов, выступавших на вечерах в Политехническом музее, свидетельствует о том, что им выпало озвучить те комплексы идей и эмоций, которые находились на грани сознания аудитории, жадно этой поэзии внимавшей: все эти идеи и чувства существовали, требовали выхода — просто их нужно было облечь в яркую форму. "Стадионная поэзия" 60-х годов — это не поэзия личных прозрений и поисков, а артикуляция определенных массовых стереотипов, существовавших у читателей и слушателей этих текстов. По сути, это социальная поэзия. (Именно эта ее черта стоит за жесткой фразой Бродского о том, что для него "Евтушенко — человек другой профессии")[2]. А социальная поэзия, отвечающая на проблемы *советского* социума, по сути своей не нуждалась в "донорстве" иноязычной культуры — более того, это "донорство" могло быть чревато утратой контакта между поэтом и его аудиторией: вливание чужой группы крови грозит летальным исходом. Детерминированная такого рода местным контекстом поэзия может даже искать легитимизации своего опыта путем соотнесения с опытом поэзий иноязычных — но это происходит не на уровне диалога поэтик, а на уровне "групповых фотографий", таких, как "Андрей Вознесенский с Алленом Гинзбергом и Лоуренсом Ферлингетти". Факт личного знакомства здесь подменяет реальное взаимодействие поэтических практик.

Интересно, что о рецепции американских поэтов в СССР в 60—70-е можно говорить в связи с Робертом Фростом и Эмили Дикинсон — но рецепции весьма своеобразной: в те годы было сделано огоромное количество переводов из них, не дошедших до печати и часто носящих любительский или ученический характер. Отчасти это объясняется обманчивой простотой их текстов — понять, "о чем" то или иное стихотворение Фроста или Дикинсон, может и человек, не очень хорошо владеющий английским, что провоцировало желание "попереводить". С другой стороны, в условиях предельно идеологизированной жизни в СССР частная интонация этих двух поэтов, отсутствие какой бы то ни было акцентированной социальности в их стихах были своего рода антидотом к советской действительности. Фрост, а особенно Дикинсон позволяли отрешиться от злобы дня сего.

И здесь, видимо, кроется объяснение того, почему всерьез не были тогда услышаны и усвоены такие поэты, как Роберт Лоуэлл[3] или Ричард Уилбер,

1. Геннадий Русаков, достаточно поздно, уже в 90-е годы, заявивший о себе в качестве поэта, причем явственно тяготеющего к классической традиции русской силлаботоники, в 80-е занимался переводом — и характерно, что опубликованная им в журнале "Иностранная литература" подборка "Из современной поэзии индейцев США" (1983, № 5) никак не претендует на то, чтобы предложить читателям какие-либо инновационные поэтики. То же самое характерно в отношении О. Чухонцева и многих других близких ему поэтов, сформировавшихся в поздние 70-е на периферии, но в рамках "дозволенной культуры".
2. Ср.: "Для Бродского Евтушенко — человек другой профессии". — С. Довлатов. Соло на IBM/ С. Довлатов. Собр. соч. в 3 т., т. 3, с. 320.
3. Заметим, что еще в советские годы вышел довольно представительный том: Р. Лоуэлл. Избранное. — М.: Прогресс, 1982.

в США принадлежавшие к первому ряду – достаточно сказать, что именно Лоуэлла У. Х. Оден воспринимал как одного из своих главных литературных оппонентов. Оба они были слишком индивидуалистичны и чувственны. А сочетание этих двух качеств вступало в конфликт с тем ощущением жизни, которое существовало в тогдашней России. Индивидуализм, заявленный в резкой форме, никак не мог быть востребован дозволенной поэзией. А чувственность не резонировала с опытом "второй культуры"[1], выбравшей существование вне печатных изданий и осознанно не пытавшейся подстраиваться под требования советской литературы: эта культура слишком остро (особенно в ее ленинградском изводе) ощущала клубящуюся вокруг метафизическую пустоту, воспринимала "реальность" как грубо размалеванный задник, за которым – пустота. Это ощущение остро присутствует у В. Кривулина, С. Стратановского и многих других, к ним близким. Какая лоуэлловская чувственность может наложиться на ощущение жизни, описанное В. Кривулиным в "Ленинградском доме как почве бездомности": "Дом. Слово, почти начисто лишенное тепла для нас, тех, кто рос в послевоенном Ленинграде. Звук этого слова более всего был похож на басовитый лай гаубицы – так бухала тяжелая резная дверь с тугой доисторически-медной пружиной, впуская в парадный подъезд клубы морозного пара с проспекта. Новенькая эмалированная табличка, варварски, с помощью ржавых болтов, раскрошившая до дыр старинную панель мореного дуба: 'Граждане! Берегите тепло, закрывайте дверь'. Всегда холодная парадная лестница – здесь прошла большая, наверное, и самая романтическая часть моего отрочества и юности. "Дом" – это прежде всего вертикаль, альпийское восхождение, переход из мира внешнего, мира "ничейного", в мир собственно "наш"; не "мой" мир лично, именно "наш". Подворотня-подъезд-лестница, пред-дверие частной жизни, сюда все и выплескивалось – квартирные скандалы изнутри, гудки автомобилей и скрежет трамвая снаружи. Одна и та же лестница пронизывала несколько миров, на нижних маршах ее – запах мочи и кислой капусты, следы стертого линолеума, зияющие лакуны в чугунном цветнике перил, лишенных начального завитка и частично, в самом низу, – деревянного поручня. Зато на верхних уровнях, куда доходило гораздо меньше народу, – прежняя роскошь почти в неприкосновенности: фрагмент витража лейпцигской работы, надраенные металлические штыри и, как новенький, резиновый лестничный ковер с меандром по краям. И запах одеколона 'Гвоздика' – единственного известного тогда средства от комаров..."?!

Впервые в послевоенные годы (то есть после процесса по обвинению в сотрудничестве с режимом Муссолини) Паунд был напечатан по-русски в 1982 г. – 6 его стихотворений (в переводах А. Сергеева, В. Топорова, Э. Шустера и А. Парина) вошли в антологию "Поэзия США" (более 80 поэтов, 832 с.), где без Паунда просто было нельзя обойтись; тогда же в академическом сборнике "Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации" бы-

1. Поясним, что "вторая культура" существовала не как "антисоветская", а как – внесоветская. Синявский сформулировал это одной фразой: "Мои разногласия с советской властью носят стилистический характер". Особенности этой "второй культуры" пытались описать Ольга Седакова (Очерки другой поэзии. Очерк первый: Виктор Кривулин // О. Седакова. Проза. – М., 2001 и пр.), Виктор Кривулин (Петербургская спиритуальная лирика вчера и сегодня. К истории неофициальной поэзии Ленинграда 60–80-х годов // История ленинградской неподцензурной литературы. 1950–1980-е годы. – СПб., 2000. С. 99–109; У истоков независимой культуры // Звезда, 1990, № 1. С. 184–188, и др.), Валерий Шубинский в целой серии статей (Наше необщее вчера // Знамя, 2003, № 9; Утопия свободы и утопия культуры // Знамя, 2004, № 7 и др.). Сошлюсь и на свою статью: А. Нестеров. Герменевтика, метафизика и "другая критика" // Новое литературное обозрение, 2003, № 61. С. 75–97.

ли опубликованы переложения Паунда из китайской поэзии в переводах А. Кистяковского и статья В. Малявина "Китайские импровизации Паунда". Потом, в 1991 г., в журнале "Иностранная литература" была напечатана более-менее репрезентативная подборка ранних стихов Паунда, поэма "Близ Перигора" и большая статья А. Зверева "Деревенский умник" о творчестве поэта ("Иностранная литература", 1991, № 2). В 1992 году в независимом издательстве "Carte Blanche" вышла отдельная книжечка Паунда – "Избранные стихотворения" (72 страницы карманного формата), в ней была опубликована и часть переводов О. Седаковой, выполненных ею намного раньше; в 1995 году в журнале "Литературное обозрение" был подготовлен большой блок материалов, посвященный Паунду, куда вошли его стихи в переводах Седаковой, прежде не публиковавшихся, статьи Паунда, предисловие к его сборнику стихотворений 1928 года, написанное Т. С. Элиотом, размышления о поэтике и биографии Паунда ("Литературное обозрение", 1995, № 6. С. 53–91). В 2001 г. выходит "Антология имажизма", составленная А. Кудрявицким – в ней около 70 страниц отдано Паунду. И, наконец, только в 2004 году был издан представительный том Паунда (Э. Паунд. Стихотворения и избранные Cantos. – СПб.: 2003. 886 с.).

При этом неофициальная поэзия, в отличие от "либеральной советской поэзии", была предельно открыта иноязычным влияниям, но в 70-е "вторая культура" ориентировалась на иных авторов – тех, кто изначально работал с высокой метафизикой: Рильке, Т.С. Элиот, немного – Паунд, отчасти – немецкие экспрессионисты. Следы этих влияний легко найти у О. Седаковой, Е. Шварц, А. Миронова...

Прямой диалог с Паундом мы находим у Седаковой в ее "Элегии, переходящей в реквием" (1982). Седакова, кроме работы над собственными стихами, много переводила – причем заведомо не рассчитывая напечатать свои переводы: "средневековые" стихи "фашиста" Эзры Паунда или мистическая лирика Поля Клоделя просто по определению не могли появиться ни в одном советском издании. Седаковой принадлежат, наверно, лучшие переводы Паунда на русский язык, выполненные еще в конце 70 – начале 80-х. Толчком к написанию "Элегии..." послужила смерть Брежнева, ознаменовавшая конец удушливой, бесславной эпохи – на смену которой шла эпоха еще более выморочная, – и это ощущение было разлито в воздухе. Стихотворение очень мрачное, проникнутое не политической, а – метафизической безнадежностью:

> Какая мышеловка. О, страна –
> какая мышеловка... Гамлет, Гамлет...
> <...>
> Здесь кажется, что притча – Эльсинор,
> а мы пришли глядеть истолкованье
> стократное. Мне с некоторых пор
> сверх меры мерзостно претерпеванье,
> сверх меры тошно. Ото всех сторон
> крадется дрянь, шурша своим ковром...[1]

Среди многочисленных аллюзий в этом стихотворении – на Данте, Шекспира и многих, многих других – есть и отсылка к Паунду, а через

1. О. Седакова. Стихи. – М., 2001. С. 254.

его голову — к Бертрану де Борну, которого перелагал Паунд. Седакова отсылает читателя к "Плачу по молодому английскому королю" ("Planh for the Young English King") — паундовской вариации на известный текст провансальского трубадура. У Паунда было:

O skilful Death and full of bitterness,
Well mayst thou boast that thou the best chevalier
That any folk e'er had, hast from us taken;
Sith nothing is that unto worth pertaineth
But had its life in the young English King,
And better were it, should God grant his pleasure
That he should live than many a living bastard
That doth but wound the good with ire and sadness...

О Смерть, умело строящая скорбь!
Теперь хвались: бывал ли лучший рыцарь
Тобой сражен? Все, чем гордится мир,
Все это мы увидели, любуясь
Делами молодого Короля.
Уж лучше бы судил Господь пожить
Ему, а не оравам негодяев,
Вводящих нас в напасти и печали[1].

Во второй части "Элегии, переходящей в реквием" Седакова дает прямое указание:

Я, как Бертран де Борн,
хочу оплакать гибель властелина,
и даже двух.
Мне провансальский дух
внушает дерзость. Или наш сосед
не стоит плача, как Плантагенет?[2]

Но плач ее совсем иного рода, чем тот, который сотрясал Бертрана де Борна:

Ты, молодость, прощай. Тебя упырь
сосал, сосал и высосал. Ты, совесть,
тебя едва ли чудо исцелит:
да, впрочем, если где-нибудь болит,
уже не здесь. Чего не уберечь,
о том не плачут...
<...> О тех, кто на судьбу
махнул — и получил свое.
О тех,
кто не махнул, но в общее болото

1. Эзра Паунд. Стихотворения и избранные кантос. — СПб.: 2003. С. 336. Впервые опубликовано в кн.: Э. Паунд. Избранные стихотворения. М., 1992. С. 27. Перевод О. Седаковой.
2. Там же. С. 252.

с опрятным отвращением входил,
из-под полы болтая анекдоты.
Тех, кто допился. <...>
Кто не дожил,
но более — того, кто пережил![1]

Отвратительное убожество брежневской эпохи на фоне времен Генриха Плантагенета становится просто непереносимо, гнев и отчаянье достигают метафизического накала. Но чтобы это расслышать — чтобы увидеть в этом обращении Седаковой к провансальской традиции не холодную иронию, а горечь, достойную Данте[2], читатель должен "вспомнить" "Плач" Паунда.

Важно помнить о том, что "Элегия, переходящая в реквием" написана в связи с политическим событием, но поэта волнуют метафизические, а не политические измерения произошедшего. В этом — отличие поэтов, принадлежащих "второй культуре", от "либеральной официальной поэзии" тех лет. Поэты "второй культуры" — Виктор Кривулин, Сергей Стратановский — порой обращались к политическим темам напрямую (у той же Седаковой "Элегия, переходящая в реквием" — едва ли не единственный случай прямого высказывания по политическому поводу), но их политические стихи носили глубоко личный характер и никогда не были артикуляцией "общих идей", разлитых в обществе: читатель сталкивался у этих поэтов с метафизическим, а не социальным жестом.

Очень много для рецепции англоязычной поэзии в России в 60–90-е сделал Андрей Сергеев. Это был человек с абсолютным поэтическим слухом, о котором Иосиф Бродский сказал: "Если для меня существовал какой-нибудь там высший или страшный суд в вопросах поэзии, то это было мнение Сергеева"[3]. Благодаря Сергееву существуют "русские" Роберт Фрост и Т. С. Элиот[4], Роберт Лоуэлл и Рэндольф Джаррелл — список этот можно множить и множить. Важно не только высочайшее качество переводов Сергеева — важен его талант выбирать безусловных авторов[5]. Того же Одена Бродский узнал через Сергеева. В интервью Соломону Волкову Бродский вспоминает: "После того, как я освободился из ссылки, я ему [Сергееву] принес какие-то свои стишки. Он мне и говорит: 'Очень похоже на Одена'. Сказано это было, по-моему, в связи со стихотворением 'Два часа в резервуаре'. Мне в ту пору стишки эти чрезвычайно нравились... Вот почему я так заинтересовался Оденом"[6]. Интерес Бродского к Одену проявился и в стихотворении "На смерть Т. С. Элиота", композиция которого строго

1. Эзра Паунд. Стихотворения и избранные кантос. — СПб.: 2003. С. 255–256.
2. Напомним, что, среди прочего, Бертран де Борн в "Комедии" томится в VIII круге Ада, рядом с Магометом, ибо и тот, и другой, по Данте, были "зачинщиками раздоров".
3. Соломон Волков. Интервью с Иосифом Бродским. — М., 1998. С. 139.
4. Укажем как одно из важнейших культурных событий 70-х выход подготовленного А. Сергеевым сборника: Т. С. Элиот. Бесплодная земля. Избранные стихотворения и поэмы. — М., 1971.
5. Одной из первых больших публикаций Сергеева была подборка двенадцати американских поэтов в № 8 журнала "Иностранная литература" за 1961 год. На тот момент многие из этих поэтов выпустили лишь несколько книжек стихов. Сейчас, 45 лет спустя, мы видим: почти все они остались в истории американской литературы — это были действительно ключевые фигуры! И если Уильям Карлос Уильямс (1883–1963), Уоллес Стивенс (1879–1955), Луиз Богеи (1897–1970) или Огден Нэш (1902–1971), присутствующие в этой подборке, были уже тогда признанными классиками, то Аллен Гинзберг казался бунтарем против устоявшейся традиции, чье будущее еще достаточно неопределенно.
6. Соломон Волков. Интервью с Иосифом Бродским. — М., 1998. С. 139.

следует оденовскому "In memoriam W. B. Yates", и в эссе памяти Одена, и в Нобелевской лекции, многие положения которой – развитие идей Одена о языке и поэзии[1].

О перекличке Бродского с американскими поэтами написано довольно много, но позволим себе добавить к этому материалу еще один сюжет. Так, русский читатель "1 сентября 1939 г." Бродского не осознает, что это стихотворение – не только своеобразная реакция на одноименную поэму Одена[2], но и отсылка к стихотворению Джона Берримена (1914–1972), написанному в 1942 году. Бродский как бы "спрессовывает" 24 строки стихотворения Берримена до 16, несколько сдвигая мотивы, но сохраняя общую образную структуру.

У Берримена в первой строфе говорится о человеке, прогуливающемся по берегу озера и рвущем неподатливый целлофан. Вокруг образа разорванного целлофана выстроено все стихотворение, именно он остается в памяти:

The first, scattering rain on the Polish cities.
That afternoon a man squat' on the shore
Tearing a square of shining cellophane.
Some easily, some in evident torment tore,
Some for a time resisted, and then burst.
All this depended on fidelity.
One was blown out and borne off by the waters,
The man was tortured by the sound of rain.

Children were sent from London in the morning
But not the sound of children reached his ear.
He found a mangled feather by the lake,
Lost in the destructive sand this year
Like feathery independence, hope. His shadow
Lay on the sand before him, under the lake
As under the ruined library our learning.
The children play in the waves until they break.

The Bear crept under the Eagle's wing and lay
Snarling; the other animals showed fear,
Europe darkened its cities. The man wept,
Considering the light which had been there,
The feathered gull against the twilight flying.
As the little waves ate away the shore
The cellophane, dismembered, blew away.
The animals ran, the Eagle soared and dropt[3].

[Дождь падал в этот день над городами Польши.
А человек глядел на озерко,
Рвал целлофан, по берегу бродя.

1. А. Нестеров. Оригинал и "эхо" чужого текста в переводе/ Opus № 1–2. Русский мемуар. Соавторство. Сборник статей. Вильнюсский университет. Научные труды 2005, № 47 (5). Литература. – Вильнюс. С. 224–236.
2. Поэзия США. – М., 1982. С. 613–615. Американская поэзия в русских переводах. – М., 1983. С. 392– 395. В обоих изданиях дан перевод А. Сергеева.
3. Американская поэзия в русских переводах. – М., 1983. С. 408.

Кусок квадратной формы где легко,
Где туго рвался, противопоставив
Сопротивление и стойкость силе.
Обрывки ветер сдул, вода несла их дальше.
А человека мучал шум дождя.

Из Лондона приехавшие дети
Шумели, но терзал и слух и мозг
Не этот шум. Он вдруг нашел в песке
Птичье перо, растоптанное вдрызг,
Как независимость, надежда. Тень
Лежала средь камней, как средь развалин
Библиотек ученость всех столетий.
Дети, резвясь, плескались в озерке.

Медведь к Орлу подкрался и, рычащий,
Готовился к прыжку; страх охватил зверей.
Европа затемнилась. Вспоминал
И плакал человек, свет прежних дней —
Белую чайку мысленно представив.
Волны лизали берег; целлофан
Мелькал в волнах, разорванный на части.
Звери тряслись, Орел взлетел и пал[1].

У Берримена оброненное птичье перо, лежащее на песке, дает толчок для образов заключительной строфы — волн, "съедающих берег" и уносящих выброшенные куски целлофана, и борьбе геральдических Медведя и Орла, ассоциирующихся с Германией (медведь изображен на гербе Берлина) и Польшей (на чьем гербе — орел).

У Бродского стихотворение выстроено на параллелизме между первым учебным днем года и первым боем войны. Почти в начале стихотворения появляется один из самых ярких его образов:

...И с гуденьем танки,
как ногтем — шоколадную фольгу,
разгладили улан.
Достань стаканы,
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.

Эта "разглаживаемая фольга" у Бродского удивительно точно соответствует "рвущемуся целлофану" у Берримена. "Инструментальность" обеих метафор заставляет задуматься о генетическом родстве этих двух стихотворений. Которое подтверждается тем, что в обоих текстах настойчиво присутствуют дети — и оброненный, ненужно-обреченный объект, у обоих поэтов выступающий атрибутом "польского": у Берримена — птичье перо, ассоциирующееся с орлом в польском гербе, у

1. Перевод В. Британишского. Впервые опубликован в "ИЛ", 1973, № 7.

Бродского – конфедератка – наиболее характерная и узнаваемая часть польской военной формы:

Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с громыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.

1967

Ключевые образы в обоих текстах схожи настолько, что это выходит за рамки случайных совпадений и может быть только осознанным диалогом.

Отметим также диалог Бродского с Робертом Фростом (опять же открытым Бродским через Сергеева) – стихотворение "На смерть Роберта Фроста" (1963) и позднее эссе "Скорбь и разум", давшее название одной из прозаических книг Бродского.

Но заметим: во всех этих случаях Бродский обращается к американским поэтам, принадлежащим к старшему, по сравнению с ним самим, поколению. Единственное исключение здесь – Марк Стрэнд (р. 1934), эссе о котором Бродский написал в 1988 г.

То есть диалог Бродского с американской поэзией в 60–70-е годы все же несколько асинхронен, чуть опрокинут в прошлое. Собственно говоря, тут важен даже не столько год рождения того или иного поэта, а выход дебютной книжки. Так, у Фроста (1874–1963) первый сборник выходит в 1913 году, у Одена (1907–1973) – в 1928 году, у Берримена (1914–1972) – в 1942-м (при том, что печататься в журналах он начал в конце 30-х). Для сравнения: у битника Аллена Гинзберга (1926–1997) первый сборник появляется в 1956 году, у Роберта Данкена (1919–1988) из "Black Mountain School" – в 1947 году, у принадлежащей к тому же движению Дениз Левертов (р. 1923) – в 1946-м, у Джона Эшбери (р. 1927), ассоциирующегося с "нью-йоркской школой", – в 1953-м, у Фрэнка О'Хары (1926–1966) – в 1952-м... То есть, Бродский 60 – начала 70-х годов, до эмиграции, ориентирован на поэтов, активно работавших в 60-е годы и при этом уже обладавших сложившейся репутацией. Примерно эту же картину мы увидим, если обратимся к "Диалогам с Иосифом Бродским" Соломона Волкова: в них раз за разом мелькают имена Одена, Роберта Лоуэлла (1917–1977; первый сборник – 1944-й), Берримена, а Сильвия Плат (1932–1963; единственный прижизненный поэтическй сборник – 1960-й) или Энн Секстон (1928–1974; первый сборник – 1960-й) упомянуты лишь однажды.

Поэзия же, которая для самих американцев составляла в те годы "нерв эпохи" – то есть поэты-битники, "Black Mountain School", "нью-йоркская школа", чуть позже – "LANGUAGE School", – на тот момент не вызвала сколь-либо серьезного отклика у русской аудитории.

Опыт битников, сильно политизированных и ориентированных на "социальное", в 70-е всерьез в России востребован не был. Но необходимо учитывать, что и возможности для какого-либо социального действия в условиях СССР были крайне ограниченны, и общество настолько не готово было мыслить в социальных категориях, что какая-либо арти-

куляция *групповых интересов* представлялась едва ли нужной — и едва ли возможной.

А вот со второй половины 80-х годов, едва в обществе началось социальное брожение, произошла определенная смена поэтических ориентиров. Именно в этот период вспыхнул и интерес к поэзии битников — как на короткое время оказалась востребована и вся контркультура 60—70-х годов в целом: читатели этой поэзии жадно смотрели "Беспечного ездока", "Blow up" и "Apocalypses now", слушали "The Doors" и Боба Дилана — все то, что в свое время прошло в СССР "по краю сознания" для предыдущего поколения... На самом деле, эпоха 60-х была при этом увидена через призму 70-х... Собственно, лучшие переводы того же Гинзберга на русский — "Сутра подсолнуха", "Супермаркет в Калифорнии" — были сделаны Андреем Сергеевым еще в 60—70-е годы, но в середине 80-х автору этой статьи доводилось видеть на стенах московских домов *граффити с цитатами из "Сутры подсолнуха"* — и по-русски, и по-английски! Для сравнения: первая книжечка (64 страницы карманного формата) стихов Лоуренса Ферлингетти выходит по-русски в 1988 году[1], а более-менее представительный том поэзии битников (15 поэтов, 784 страницы) был издан в России только в 2004-м[2]. (Не в последнюю очередь это объясняется тем фактом, что в 1968 году многие из американских поэтов подписали несколько публичных писем протеста против политики СССР. Наибольшую известность получило письмо 35 литераторов против арестов диссидентов в СССР, опубликованное в "The New York Review of Books" 14 марта 1968 года[3]. После этого на публикации "подписантов" — Аллена Гинзберга, Лоуренса Ферлингетти и других — в СССР на годы было наложено своеобразное вето. Так, например, в силу этого практически нет опубликованного по-русски Джона Эшбери[4], с именем которого связывают "нью-йоркскую школу").

Период со второй половины 80-х до середины 90-х был странным временем, когда будущее казалось распахнутым во все стороны и могло принять любую форму[5]. Характерна история, которую рассказывал критик С. Носов: "Помню, в Москве, сразу после того антиалкогольного указа, в пивбаре в Столешниковом переулке гул стоит, дым коромыслом, и вдруг один из людей, приподнимая кружку пива, небрежно говорит, что он поэт. Конечно, его просят почитать стихи, и он начинает читать что-то красивое, изысканное. А поскольку я сам был читателем журнала "Иностранная литература", я сразу сказал: "Так это ж Каммингс в переводе Британишского!" "Да, — говорит он, ничуть не расстроившись, — вот пер-

1. Лоуренс Ферлингетти. Избранное. — М., 1988.
2. Антология поэзии битников. BEAT. — М., 2004.
3. By Allen Ginsberg, Amy Swerdlow, Arthur I. Waskow, Carey McWilliams, Carl Dreher, Carl Marzani, Conor Cruise O'Brien, Daniel Watts, David Dellinger, David MacReynolds, Denise Levertov, Douglas Dowd, Dwight MacDonald, Herbert Biberman, Igal Roodenko, Jane Jacobs, Jeremy Larner, John Ashbery, Lawrence Ferlinghetti, M.S. Arnoni, Marcus G. Raskin, Michael Ferber, Michael Harrington, Mitchell Goodman, Nat Hentoff, Noam Chomsky, Norman Mailer, Paul Goodman, Robert Brustein, Robert Lowell, Robert Scheer, Russ Nixon, Susan Sontag, Warren Hinckle, William Sloane Coffin.
4. Лишь несколько стихотворений было опубликовано в 90-е гг.: в "Звезде Востока", № 5, 1992 г. в переводах Е. Олевского и подборка А. Драгомощенко, напечатанная в "Митином журнале", вып. 43, с. 16—21. В "Иностранной литературе", 2006, № 10 вышла первая *большая* русская публикация Эшбери.
5. Характерно, что в 90-е гг. опыт Эшбери и "ньюйоркцев" оказался всерьез востребован Ферганской поэтической школой (Шамшад Абдулаев, Хамдам Закиров, Евгений Олевский и др.) и рижской группой "Орбита" (Сергей Тимофеев, Артуро Пунте и др.) — но мы вынесем этот разговор за скобки данной статьи, потому что опыт обеих названных групп нуждается в отдельном и подробном описании.

вый, кто меня разоблачил!" Я так понимаю, это он специально выучил стихи американского футуриста и присвоил их себе, чтобы как-то повысить свой социальный статус перед весьма специфической аудиторией..."[1]. Собственно, своим существованием "русский э. э. каммингс" обязан прежде всего В. Британишскому, долгие годы самоотверженно переводившему этого сложнейшего и интереснейшего поэта "в стол". Сама тридцатилетняя (!) история публикации этих переводов говорит о многом: несколько стихов каммингса появляются в антологии "Современная американская поэзия" (М.: Прогресс, 1975), потом следует публикация в "Иностранной литературе", 1978, № 7, часть из этих текстов перепечатывается в антологии "Американская поэзия в русских переводах XIX–XX веков" (М.: Радуга, 1982) и упоминавшейся выше антологии "Поэзия США" (туда вошел еще один перевод А. Сергеева из э. э. каммингса). Потом — пауза на десятилетие и только в 1992 подборка э. э. каммингса появляется в международном поэтическом журнале "Воум!", выходящем в Калуге. В 1998 году несколько переводов попадают в антологию Е. Витковскоо "Строфы века–2". И только в 2004 году выходит томик э. э. каммингса — "Избранные стихотворения" (М.: Итака). В 2005 году почти все эти тексты войдут в книгу "От Уитмена до Лоуэлла. Американские поэты в переводах Владимира Британишского" (СПб.: Аграф). И только в атмосфере этого времени могли появиться тексты, подобные "Воплю" Андрея Мадисона. Мадисон и сам — типическая фигура того десятилетия. Филолог, эрудит, знаток музыки XX века и западной контркультуры — в 80-е годы он работал... смотрителем в Таллинском зоопарке. Потом какое-то время, после объявления независимости Эстонии и принятия закона о языке, сам будучи русским, учил эстонцев их языку. Еще несколько лет спустя уехал в Россию и жил в русской глубинке. Потом перебрался в Москву и стал работать политическим обозревателем (очень резким, от которого равно доставалось и консерваторам, и либералам) в сетевом "Русском журнале" (откуда в 2001 году ушел). "Рисунок жизни" — вполне в стиле битников. Его "Вопль", напечатанный в популярном в те годы контркультурном журнале "Easy Rider", был не переводом поэмы Гинзберга, а русской репликой ее первой части. Сохранив ритм и структуру оригинала, Мадисон сделал не вариацию, а совершенно самостоятельную разработку чужого материала. Стихотворение Мадисона было реквиемом по поколению *русских* хиппи. "Вопль" Мадисона начинался с отсылки к Гинзбергу *I saw the best minds of my generation...* — и дальше разворачивался совсем иначе:

Я знал лучших людей моего поколения — втоптанных в небо, откуда кольчатая рука бога добывала их по одному и швыряла обратно — сучьим потрохам и вечной вчерашней блевотине,

и они, трудя свои драные кошачьи горла, светясь кровоподтеками, облетая волосами, семенем и жизнями, облетая вокруг себя, вокруг мусорных баков со свежими, сияющими очистками,

они, срывая разномастные перья со своих крыльев, суча ногами, ссучиваясь, строя друг другу пьедесталы из кодеина, бензедрина и могильного камня,

1. Семинар на тему "Современность: поэтическая или прозаическая эпоха в истории русской литературы?" (12 апреля 2006 года), каф. русской литературы филфака СПГУ.

повсюду — в Тотьме, Малмыже, Свердловске, в Спасской Полисти и на психодроме, между ног, между Москвой и Чуйским трактом, сквозь пальцы, сквозь равнодушное улюлюканье, насквозь —

они, в латаных райфлах, в штормовках на босое тело, плюс портвейн, плюс Леннон, Моррисон и Хендрикс, плюс вечность, минус вечность, перестановка мест вычитания, суммы не дано,

они, открывшие пространство, где нет законов в законе, где дохнут от недоумения никсоны, мао, сахаровы, пол поты и манделы, где выпь не воет, где весело свистит рак плюс плюс плюс и плюс,

они, возникшие ниоткуда, никчемные, зажигая солнца по флэтам, харкая кровью из развороченных вен, омывая моря, затмевая тьму, лаская локоны гитар минус деньги—товар—деньги, минус земля—воздух—земля,

там, где они, в нигде, здесь и сейчас, не растет ничего, пустыня, нирвана, угол Невского, Цны и Чернигова, шелудивый матрац тротуара, голубая осока в витринах, вот они — Око, Ухо, Нега и Смерть. <...>

Этот текст насыщен отсылками к совсем иному, чем у Гинзберга, опыту: дешевое алкогольное пойло, наркотики, которые можно получить путем простейшей перегонки доступных в любой аптеке медицинских препаратов, скрытые цитаты: "выпь не воет" — это из повести Аксенова "Цапля", а товар—деньги—товар — знаменитая формула из "Капитала" Маркса, известная в СССР каждому школьнику, угол Невского — адрес забегаловки в Ленинграде, где собирались хиппи...

Этот текст разворачивается, втягивая в себя политику и литературу, географию и музыку, облетая — как деревья по осени, цитатами:

...здравствуй, Око, здравствуй, Ухо, здравствуй, Нега, привет, Смерть, когда их убивают, они возвращаются — пешком, автостопом, ползком; каждый раз их убивают, каждый, их убивают радикалы, консерваторы, националисты, прогрессисты, реформисты, председатели, секретари, блатари, упыри, домохозяйки и члены парламента от партии независимых русско-эстонских сионистов на большевистской платформе имени вонючих носков его величества страха... <...>

они — найтингейлы котельных, бюль-бюли сторожек, шаманы дворницких, атманы брахмана всех времен и народов, каждый молод, молод, молод, на завтрак Рембо, на обед без обеда, на ужин черная азийская смола, снега Килиманджаро, волжские лотосы, голос политического евнуха из соседского ящика, плавная флейта над глюковатой Чаахолькой, дым по воде, бес в ребро, хата в раю. <...>

...в слезах, слезая с морфы, слетая с лестницы в небо, рожденные дикими, со стертыми до костей крыльями, ночные поденки, парии, парни и герлы, кончилась ваша власть-цветасть, сон восстанавливает силы, силы больше нет[1].

"Найтингейлы котельных" — аллюзия на "Соловьиный сад" Блока и одновременно — эхо романа Саши Соколова "Школа для дураков". "Шаманы дворницких" — отсылка к формуле "поколение дворников и сторожей", которым определяли себя нонконформисты тех лет, променяв-

1. Андрей Мадисон. Вопль// Easy Rider. 1993. № 1. С. 3.

шие академические карьеры на подметание улиц, что давало примерно те же деньги, но избавляло от промывки мозгов. "Атаманы брахмана всех времен и народов" — среди прочего, пародия на "титулование" Сталина "отцом народов". "Каждый молод, молод, молод" — ироничнейшая цитата из стихотворения Вознесенского "Гринич-Вилледж", "дым по воде" — отсылка к одноименной композиции "Deep Purple", "рожденные дикими" — к "Born to be wild" группы "Stepenwoolf" (обязанной своим названием знаменитому роману Германа Гессе), а "Лестница в небо" здесь не из видения Иакова, а из песни с четвертого альбома "Led Zeppelin"...

Стихотворение это датировано 1991 годом — тогда еще представлялось возможным сочетать предельную искренность и ироничную центонность, а прямое высказывание было востребовано. Несколько лет спустя в литературе окончательно возобладал дух постмодернизма: центонность осталась, а искренность стала считаться дурным тоном, прямое высказывание казалось архаизмом, социальность же ассоциировалась с "либеральной поэзией" советской эпохи (о том, что то была квазисоциальность, уже говорилось выше), себя к этому моменту исчерпавшей[1].

Эта "отрешенность от социального" доминировала в русской поэзии вплоть до начала нового века — после чего ситуация стала стремительно меняться. Не в последнюю очередь эти изменения связаны с тем, что произошла стабилизация общества (какой ценой — иной вопрос), окончательно выкристаллизовались и замерли его структуры, вынуждая граждан (часто помимо их воли) принимать это как данность — и соотносить с ними свою жизнь, не питая иллюзий, что в ближайшее время все изменится. Когда ситуация неустойчива и предполагает множество вариантов развития, каждый может описывать ее по-своему, и различия "языков описания" затрудняют понимание между оппонентами настолько, что они готовы оставить попытки разобраться в происходящем — в результате проблема часто "уходит" из зоны обсуждения. "Социальность" в современной России в зону обсуждения, наоборот, вернулась. Подтверждение тому — успех поэзии Кирилла Медведева, чьи стихи были "замечены" в 2000 году, а уже в 2002 году его первый сборник "Все плохо" вошел в шорт-лист премии Андрея Белого[2].

Среди поэтов, оказавших на него влияние, сам Медведев называл Яна Сатуновского и Чарльза Буковски, стихи которого он переводил[3]. С Буковски все далеко не просто. Его стихи по первости кажутся ближе всего не к поэзии, а к брутальным фотоснимкам, сделанным репортером в трущобах: "нате!", но впечатление это весьма поверхностное. Большинство стихов Буковски — самые настоящие баллады. Баллада — это сюжет, рассказывание истории, причем истории — пограничной: истории мести, безоглядной любви, кровосмешения, попрания запре-

1. Заметим, что предпринятые как раз в это время серьезные и глубокие попытки Сергея Стратановского и Виктора Кривулина, принадлежавших ко "второй культуре", работать с социальным материалом не получили резонанса у *широкой* аудитории, даже несмотря на усилия таких вдумчивых критиков, как Валерий Шубинский, и внимание такого поэта, как Ольга Седакова. Не вызвал сколь-либо глубокой реакции в обществе сборник "Время "Ч". Стихи о Чечне и не только" (М., 2001), собравший под обложкой более ста поэтов из разных стран, попытавшихся занять гражданскую позицию в отношении Чеченской войны.
2. Один из ярких тому примеров — последняя книга поэта Кирилла Медведева "3 %" — см.: http://kirillmedvedev.narod.ru/3pr.html
3. Около семидесяти стихов Буковски, переведенные Медведевым, составили книгу: Чарльз Буковски. Блюющая дама. — М., 2001. См. также рецензию на эту книгу: А. Нестеров. Подлинность // Иностранная литература, 2002, № 10. С. 296–301.

та. Баллада – зона проговаривания идиосинкразии и запретности, излома, трещины в дневном существовании. Вот это и проговаривает Буковски. Для российского читателя *эти* черты поэзии Буковски остались незамечены. В том, что он делает, видели, прежде всего, жесткую поэзию свидетельства.

Примерно в этом же качестве восприняли и стихи самого Медведева. Его аудитория услышала в них артикуляцию собственного опыта – и тут же их приняла.

Ссылаясь на опыт Яна Сатуновского, как на одно из влияний, предопределивших его поэтику, Медведев прежде всего ссылается на знаменитое однострочное стихотворение: "Главное иметь нахальство знать, что это стихи"[1]. Но если стихи Сатуновского в контексте современной ему поэзии были, по сути, аннигиляцией этого контекста, абсолютным его отрицанием, то Медведев в одном из своих манифестов проговаривает (совершенно оправданно), что его тексты – "это самый настоящий поэтический мейнстрим"[2]. Сатуновский строил свое высказывание как личное. Медведев же моделирует свою поэзию как некий "голос из хора", обладающий при этом узнаваемым индивидуальным тембром.

Если мы сравним поэтику Медведева с поэтикой Аллена Гинзберга, то обнаружим настолько много общих черт (а заметим, что Медведев переводил на русский "Кадиш" Гинзберга и тем самым пропустил через себя его опыт), что это позволяет видеть в поэзии Медведева осознанную адаптацию находок Гинзберга к современной литературной ситуации в России.

Стихотворение Гинзберга часто строится как медитативный монолог по некоему случайному поводу ("Сутра подсолнуха", "Супермаркет в Калифорнии") – монолог, раскачиваемый за счет нагнетания повторов, нанизывания все новых и новых однородных рядов (первая часть "Вопля"), и все это достаточно окрашено социальным (и профетическим[3]) пафосом.

Эти черты мы обнаруживаем и в поэтике Медведева – с той разницей, что он заметно "понижает" тон Гинзберга, пользуясь осознанно ограниченным нейтральным, стертым словарем, тогда как Гинзберг подчеркнуто смешивает множество языковых пластов, от торжественно-высокого до низкого. При этом длина строки у Медведева намного короче, чем у Гинзберга.

В ряде случаев мы можем обнаружить прямой диалог Медведева с Гинзбергом, как в стихотворении "мне очень нравится когда...":

> я не могу понять, / почему я чувствую себя / таким счастливым; / самым счастливым / из них из всех:/ из всех – / вышедших замуж за богатых кавказцев; / из всех, уехавших в Соединенные Штаты, / работающих там / в газете "вашингтон пост", / иногда приезжающих в командировки / и останавливающихся в "Националь" – / из всех компьютерных гениев; / из всех ставших заместителями / главных редакторов/ или дизайнерами / очень крупных модных журналов... –

1. Ян Сатуновский. Среди бела дня. – М., 2001.
2. К. Медведев. Коммюнике/ К. Медведев. Тексты, изданные без ведома автора. – М., 2005. С. 7.
3. Одно из ключевых имен для понимания поэтики Гинзберга – Уильям Блейк: по сути, Гинзберг называет его среди главных своих учителей.

по сути, это не что иное, как инверсия первой части "Вопля" – "I saw the best minds of my generation..." – "Я видел лучшие умы моего поколения..."

В свете сказанного недоуменная реакция российской критики[1] на стихи Медведева легко объяснима: критики пытаются "вписать" эти стихи в традиционный контекст русской поэзии, не видя того факта, что эти тексты существуют в силовом поле между поэзией русской и поэзией американской, и для их интерпретации нужны какие-то иные оптики чтения.

Феномен Медведева наводит на мысль о том, что современная литературная и социальная ситуация в России достаточно изоморфна американской ситуации конца 50 – начала 60-х годов прошлого века: роль Бродского можно в чем-то уподобить роли Т. С. Элиота в американской традиции, в опыте концептуалистов увидеть параллель с У. К. Уильямсом и т. д. Параллели эти ни в коем случае не надо абсолютизировать, но они могут помочь пониманию того, что происходит в русской поэзии сейчас.

P. S.

Вот какую картину американской поэзии за 25 лет, с 1961 по 1985 годы, дают публикации в журнале "Иностранная литература" (опущены несколько совсем уж одиозных подборок "поэтов-коммунистов", чьи имена забыты ныне прочно и насегда):

подборка "12 американских поэтов", среди них Уильям Карлос Уильямс, Уоллес Стивенс, Луис Боген, Огден Нэш, Аллен Гинзберг и др. [перевод А. Сергеева; 1961, № 8];

Роберт Фрост [переводы И. Кашкина, А. Сергеева; 1963, № 2];

подборка "30 стихотворений о любви", среди авторов американцы Мэй Сартон, Одри Лорд, Джордж Лав и Карл Сэндберг [перевод А. Сергеева; 1965, № 12];

подборка "Американские поэты последнего десятилетия": Ричард Уилбер, Уильям Снодграсс, Джон Чиарди, Дениза Левертов и Аллен Гинзберг [перевод А. Сергеева; 1966, № 9];

Роберт Лоуэлл [перевод А. Сергеева; 1967, № 3];

Карл Сэндберг [перевод А. Сергеева; 1967, № 10];

Роберт Лоуэлл [перевод А. Вознесенского; 1970, № 3];

Лэнгстон Хьюз [перевод В. Британишского; 1970, № 4];

подборка "Нет – войне во Вьетнаме": Феликс Поллак, Роберт Джозеф Зигмунд и Эвелин Торн [перевод О. Кириченко; 1970, № 9];

Лоуренс Ферлингетти [переводы П. Вегина и В. Минушина; 1970, № 11];

1. Так, главный редактор журнала поэзии "Арион" Алексей Алехин, суммируя мнение своих коллег, объявил их "сводящей скулы тягомотиной" – Алексей Алехин. Суп из топора // Арион, 2004, № 1.

Т. С. Элиот [переводы А. Сергеева, М. Еремина и Д. Сильвестрова; 1970, № 12];

Уильям Джей Смит [перевод А. Вознесенского; 1971, № 1];

Уильям Карлос Уильямс [перевод В. Британишского; 1971, № 8];

Дениза Левертов [переводы А. Сергеева, П. Вегина и В. Минушина; 1972, № 10];

Джон Берримен [перевод В. Британишского; 1973, № 7];

Сильвия Плат [перевод А. Сергеева; 1974, № 1];

Луис Симпсон [перевод О. Чухонцева; 1974, № 6];

Карл Рэкози [перевод В. Британишского; 1976, № 4];

Лэнгстон Хьюз [переводы Э. Шустера и А. Ибрагимова; 1976, № 7];

Эмили Дикинсон [перевод В. Марковой; 1976, № 12];

Карл Сэндберг [перевод А. Сергеева; 1978, № 2];

Э. Э. Каммингс [перевод В. Британишского; 1978, № 7];

Карл Сэндберг [перевод А. Сергеева; 1978, № 7];

Кеннет Рексрот [перевод А. Парина; 1978, № 11];

американская стихотворная пародия [перевод А. Сергеева; 1978, № 11];

Ричард Уилбер [перевод А. Сергеева; 1979, № 10];

Роберт Лоуэлл [перевод А. Сергеева; 1980, № 2];

Роберт Пенн Уоррен [перевод А. Сергеева; 1982, № 4];

"Из современной поэзии индейцев США" [перевод Г. Русакова; 1983, № 5];

Теннесси Уильямс [перевод Е. Печерской; 1983, № 9];

Уильям Карлос Уильямс [перевод Н. Сидориной; 1984, № 2];

Роберт Блай [перевод М. Дудинцева; 1984№ 10];

Роберт Фрост [перевод А. Сергеева; 1985, № 2];

Аллен Гинзберг [перевод А. Сергеева; 1985, 10].

Составляя этот список, мы пользовались материалами доклада С. Гандлевского "Вопреки и благодаря", прочитанного на конференции "Russia hears America singing..." в Дартмуте в мае 2006-го. Интересно, что, судя по частоте публикаций, величайшим из американских поэтов был Карл Сэндберг – поэт действительно сильный, но принадлежащий ко второму ряду. Его "Иностранная литература" опубликовала за эти годы больше всех – целых 4 раза! Следом за ним идут Уильям Карлос Уильямс – 3 раза, Роберт Фрост – 2 раза, Ричард Уилбер – 2 раза, Аллен Гинзберг – 2 раза, Дениза Левертов – 2 раза. То есть более-менее представлен поздний имажизм Уильяма Карлоса Уильямса, "черная поэзия" Л. Хьюза и Р. Уилбера, которые были, каждый по-своему, целой школой в своем лице, "южане" – Р. П. Уоррен (востребованный, на самом деле, в силу "острой социальности" его романа "Вся королевская рать"), битники и "женский вариант" "Black Mountain School", представленный Левертов! Ни "нью-йоркской школы", ни "школы языка", ни "новых формалистов"...

Тони Перротет
Семя Геракла

Перевод с английского В. Голышева

Древнегреческий атлет – образец честного отношения к спорту, – возможно, и не применял анаболиков, но употреблял эфиопскую землю, поросячье молоко и кровь клеща с черной собаки.

Здесь обсуждаются: Кентуккийские скачки, Филострат, победная песнь в честь Гелиоса, кровь Гефеста, вино, в котором утоплен ворон, выжимка из листа белой горчицы, гарантированная сексуальная привлекательность, наемные волшебники, дурной глаз, кровавое мясо вепря, модные диеты, античный предшественник Джесси Вентуры[1].

Для радетелей чистоты спорта год выдался трудный. 2004 год и возвращение Олимпийских игр в Грецию, на священную землю, где они родились в 776 году до н. э., отнюдь не возвестили начала новой, более благородной эпохи. Как ни грустно, афинская феерия запомнится не столько блестящими рекордами, сколько чередой допинговых скандалов: более двух десятков спортсменов попались на допинге. Даже ностальгическая идея МОК провести соревнования по толканию ядра на древнем ристалище, где в течение двенадцати веков состязались греки, обернулась пиаровским провалом: у золотой медалистки Ирины Коржаненко пробы показали присутствие анаболиков. (Древние греки, как известно, не позволяли женщинам участвовать в Олимпийских играх и даже присутствовать на трибунах, но речь сейчас не об этом.) И дальше пошло-поехало, по крайней мере у нас, в США; допинговые скандалы разыгрывались один за другим, с монотонным постоянством – в НБА, в профессиональном велоспорте и даже на Кентуккийских скачках. Подобная нечестность, казалось бы, ничего общего не имеет с античным греческим идеалом атлетики: закаляя тело, возвышать дух. Древние скульптуры, такие как "Дискобол", воплощали нравственную чистоту атлетов-победителей, которые, по словам греческого писателя Лукиана, обладали священным даром и считались "равными богу". При всем этом у греков были свои допинговые скандалы, связанные с волшебными зельями, заклинаниями и чарами – магическими средствами повышения результатов, недоступными для контроля, поскольку отсутствовало что-либо подобное современным химическим анализам.

Согласно греческому писателю III века Филострату, автору полезного

© Tony Perrottet, 2005
© В. Голышев. Перевод, 2007

1. Джесси Вентура – профессиональный борец и киноактер, с 1999 по 2003 г. был губернатором Миннесоты. (*Прим. перев.*)

наставления для тренеров, колдовство было шире всего распространено в двух профессиональных группах: среди спортсменов и проституток. Папирусные книги заклинаний содержали магические формулы, придававшие быстроту, силу, мужество, приносившие удачу — все это было крайне важно для атлетов, которые могли заработать огромные деньги на сотнях состязаний, каждое лето проводившихся в греческом мире. Фрагменты этих магических книг сохранились до сего дня и представляют собой весьма поучительное чтение. Семь раз пропев тайное заклинание, обращенное к богу солнца Гелиосу, борец приобретал дополнительную силу и обеспечивал себе победу. Заклинание начинается на греческом языке, затем идет ряд темных египетских терминов — египетский считался языком магии, поскольку многие боги родились поблизости от Нила. "Радуйся со мною, ты, владыка восточного ветра и мира, кому хранителями служат боги... ты, каждый день восстающий из бездны, восходящий молодым и уходящий стариком, ХАРПЕНКНУФИ БРИНТАНТЕНОФРИ БРИССКИМАС... Я прошу, даруй мне жизнь, здоровье, почет... силу... победу над всеми мужчинами и женщинами. АБЛАНАТАНАЛБА..." В книге дается и более короткая песнь, действующая не хуже, при условии, что ее исполнят над дубовыми углями со священными благовониями, к которым примешаны мозги черного барана и крупно смолотые зерна некоего растения. Отличное заклинание для бегунов под названием "Чудесный победный заговор Гермеса", обращенный к этому шустрому богу, можно было написать на маленьком золотом медальоне и спрятать в сандалии, разумеется, за пределами гимнасия — атлеты в древней Греции состязались голыми. Претенденты на победу могли носить жутковатые амулеты наподобие ноги ящерицы, пойманной на кладбище, — этот придавал шагу упругость. Инструкция указывает, что следует поймать пресмыкающееся ночью, отрезать ему правую ногу ножом из заостренного тростника, после чего вернуть на прежнее место живым. Были также средства для перорального применения: волшебные зелья из сотен таинственных ингредиентов, включая травы и коренья, которые надлежало собирать при определенных фазах луны, произнося при этом магические фразы. Из четырех с половиной сотен растений, названных в сохранившихся папирусах, современные ученые смогли определить лишь немногие. (Поэтому в упомянутом заговоре и значится "зерно некоего растения" — греческое название у нас есть, но мы понятия не имеем, что́ это.) Некоторым даны зашифрованные названия: полынь, например, именовалась Кровью Гефеста, бога-кузнеца; крушина — Костью Ибиса. Некоторые из них — ромашка, дикий чеснок, укропное семя — вполне уместны и в сегодняшней аптеке или магазине экопродуктов. Но греческие ведьмы составляли свои зелья порой из тридцати шести веществ волшебного действия, включая такую неаппетитную экзотику, как эфиопская земля, кровь клеща с черной собаки, молотый песчаник, поросячье молоко, мясо пятнистого геккона и вино, в котором утоплен ворон. К сожалению, о конкретном фармацевтическом действии выжимки из листа вечерницы-горчицы (предположительно — белой горчицы), называемой Семенем Геракла, сегодня можно только гадать.

Эти колдовские снадобья не всегда употреблялись внутрь. Соком цикория натирали тело на восходе солнца, взывая к Гелиосу, — это гарантировало атлету победу, а также сексуальную привлекательность. Будучи же выпит, он помогал только от изжоги.

Но у древнегреческого атлета, желавшего получить преимущество

заранее, имелся еще более удобный способ смухлевать, а именно ослабить соперника с помощью черной магии. Судя по сохранившимся уликам, эта "негативная магия" была весьма популярна. Археологи откопали в Греции сотни заклятий, написанных на свинцовых листах и зарытых на кладбищах, откуда мертвецы должны были доставить их в подземное царство Аида. Один, найденный в Афинах, был направлен против бегуна Алкидима: "Не дай пройти ему за линию старта... а если пройдет, то пусть собьется с пути и покроет себя позором". Другое заклятье — против борца Евтихиона — чтобы сделался "глухим, немым, безумным и безвредным", как только ступит на арену. Другому силачу, Петру Македонцу, желают просто "исчезнуть в черном воздухе забвения". Чаще всего эти заклятья применялись в гонках колесниц — тут деньги были замешаны напрямую. (Греки обожали играть на бегах; известно, что древние болельщики нюхали помет лошадей, чтобы определить качество корма.) Богатые владельцы колесниц или лошадей нанимали колдунов, чтобы навести порчу на чужих животных: "Сведи их с ума, лиши мускулов, лиши ног", — написано на одном греческом свитке. На другом: "Пусть не сможет бежать, и идти, и достичь победы, и даже выйти за калитку". Иные были направлены против самих несчастных возниц: "Я связываю им руки... насылаю слепоту... да будут сброшены наземь и влекомы своими колесницами по ипподрому". Дополнительно, по пути на игры, на перекрестке дорог, античные мошенники могли принести в жертву ночной богине Гекате живую собаку с просьбой погубить соперников. В гонках колесниц аварии были обычны и нередко фатальны, так что угроза воспринималась до крайности серьезно: с целью воспрепятствовать черной магии и отвести сглаз возничий вешал на сбрую фаллические амулеты, а затем сам нанимал колдуна, чтобы написать на копытах лошадей заклинания, придающие резвость.

Все это, безусловно, тревожило организаторов соревнований. По всему Средиземноморью их проводилось регулярно более трехсот пятидесяти. Самыми престижными были Олимпийские игры в священной области Олимпия на Пелопоннесе. На церемонии открытия сотни атлетов (они соревновались голыми, натершись оливковым маслом) должны были принести торжественную клятву над кровавым мясом вепря и перед устрашающей статуей Зевса с перунами. Они клялись в том, что тренировались по олимпийским правилам и для достижения победы не будут прибегать к нечестным средствам. Это должно было служить гарантией и от колдовства, и от коррупции. Коррупционные скандалы стали непременной принадлежностью игр с IV в. до н. э., когда кулачный боец Эвбул из Фессалии подкупал соперников, чтобы они легли. За это налагались тяжелые штрафы, на штрафные деньги судьи воздвигали у входа на стадион статуи Зевса с предупреждением атлетам, что они "должны побеждать в Олимпии быстротой ног и силой тела, а не деньгами".

Похоже, в древнегреческом спорте доверять нельзя было никому. До начала игр участники тридцать дней жили в специальных казармах в городе Элиде под надзором судей — дабы они не накачались гнусными зельями, не наелись других таинственных веществ по совету своих профессиональных тренеров, бывших по совместительству первыми спортивными врачами. В ходе многолетней подготовки, чтобы выступить успешнее соперников, многие прибегали к модным диетам. Противозаконным это, строго говоря, не считалось, но граничило с колдовством. Кулачные бойцы, чтобы стать сильнее, по нескольку дней питались исключи-

тельно бараньими яичками; у борцов была популярна чисто мясная диета; пятиборцы, чьи тела должны быть гибкими и легкими, увлекались некоей речной рыбой, а один стайер, по-видимому, одержал победу благодаря диете из одних фиг. Некоторые тренеры ("учителя") позволяли своим подопечным есть мясо только таких свиней, которые вскормлены желудями и кизилом; другие полностью запрещали хлеб — первая зафиксированная в истории низкоуглеводная диета. Но, разместившись в олимпийской деревне, атлеты уже обязаны были придерживаться "традиционного питания": пресный хлеб, оливки, мягкий овечий или козий сыр, мясо в умеренных количествах и никаких специальных добавок.

Ставки в античной Греции были еще грандиознее, чем в 2004 году: победитель настолько был близок к обожествлению, насколько это возможно для смертного. Хотя официальной наградой был всего лишь оливковый венок, дело шло о колоссальных деньгах. Родные города награждали победителей громадными денежными премиями, пожизненными пенсиями, им предоставляли место в первых рядах театра, в их честь устраивали пышные парады, и до конца жизни им было обеспечено, как сказал поэт Пиндар, "сладкое, отрадное плавание". Некоторых возводили в почетный жреческий сан; иные становились политиками: один афинский атлет III в. до н. э. стал крупным государственным деятелем, предвосхитив тем самым Джесси Вентуру. В римскую эпоху победитель мог стать личным массажистом императора. Больше того, олимпийский венок был, в сущности, залогом бессмертия: имена своих чемпионов греки помнили лучше, чем мы — своих президентов, и само летоисчисление велось по Олимпиадам. В ту пору атлетов не спонсировали корпорации, но победитель мог заработать огромные деньги, выступая как профессионал на провинциальных играх, гастролируя по всей Греции, наподобие нынешних циркачей. Короче говоря, спортивные знаменитости античной эпохи были так же далеки от народа, как звезды НБА. И соблазн, как видно, был непреодолим. К атлетам, может быть, и относились как к полубогам, но были они в конце концов всего лишь людьми.

В. Хорев

Станислав Игнаций Виткевич на русском языке

Творчество Станислава Игнация Виткевича (псевдоним: Виткаций, 1885–1939) – своеобразная визитная карточка польской литературы прошлого столетия. Философ, теоретик искусства, драматург, прозаик, поэт, художник, фотограф – Виткевич выступил в 20–30-е годы, в межвоенное двадцатилетие. Но литературные произведения писателя при его жизни не имели такого успеха, какой они получили позднее, начиная с 60-х годов XX века. Виткевич пришел слишком рано, литературное сознание не было готово к восприятию его гротескного языка. Ныне же драмы Виткевича идут не только в Польше, но и на многих европейских сценах, его романы переведены на многие языки.

У русского читателя возможность познакомиться с творчеством Виткация появилась лишь в конце XX века, после краха советской системы – тогда некоторые пьесы Виткевича были поставлены на российской сцене. До того же, пока осуществлялся жесткий идеологический контроль над переводами и популяризацией зарубежных мастеров слова, мировоззренческий катастрофизм писателя (Виткевич к тому же покончил с собой 18 сентября 1939 года, после вторжения Красной армии в Восточную Польшу) и гротескная форма его произведений отпугивали советский официоз.

Тогда же, в 90-е годы XX века, началось наше знакомство и с творчеством двух других выдающихся представителей "экспериментальной" польской литературы XX века – Бруно Шульца и Витольда Гомбровича, и польский литературный XX век в глазах русского читателя стал выглядеть совершенно иначе, чем раньше.

В последние десять-пятнадцать лет Виткевич получил, наконец, настоящую известность в России, прежде всего благодаря усилиям Андрея Базилевского, лучшего русского знатока творчества Виткевича. Базилевский – автор первой (и единственной пока у нас) монографии о Виткевиче "Виткевич: повесть о вечном безвременье" (2000), неутомимый пропагандист, переводчик и издатель современной польской поэзии. В созданном им издательстве "Вахазар", которое названо по имени героя драмы Виткевича "Дюбал Вахазар, или На перевалах Абсурда", он уже второе десятилетие издает "Коллекцию польской литературы". Отдельными томами вышли произведения Циприана Камиля Норвида, Болеслава Лесьмяна, Константы Ильдефонса Галчиньского, Чеслава Милоша, Кароля Войтылы, Станислава Ежи Леца, Яна Рыбовича, Станислава Мисаковского, Станислава Лема, Славомира Мрожека. В трехтомной антологии "Польская поэзия: XX век" представлены произведения Вислава Шимборской, Збигнева Херберта, Тадеуша Ружевича, Эвы Липской, Яна Твардовского, Мирона Бялошевского, Яро-

© В. Хорев, 2007

слава Марека Рымкевича и многих других польских поэтов.

Благодаря усилиям Базилевского в 1989 году в России вышел первый сборник драм Виткевича "Сапожники". А с 1999 года он издает собрание сочинений Виткевича на русском языке. В три тома вошли все дошедшие до нас драмы (их более двадцати): "Дюбал Вахазар и другие неэвклидовы драмы" (1999), "Метафизика двуглавого теленка и прочие комедии с трупами" (2001), "Безымянное деянье и остальные сферические трагедии" (2005); изданы и три (из четырех) романа писателя: "Наркотики. Единственный выход" (2003); "Ненасытимость" (2004); "Прощание с осенью" (2006). Таким образом, у русского читателя теперь есть прекрасная возможность познакомиться с удивительно прозорливым гротескным миром выдающегося польского писателя.

Виткаций — оригинальный теоретик и практик авангардизма 20—30-х годов XX века. Авангардистов в польской литературе того времени было немало. Большинство из них поиски новой формы объединяло с левой идеологией и постулатом нового читателя. Их в целом оптимистическое воображение притягивали техника и цивилизация. Программный лозунг, сформулированный Тадеушем Пайпером, теоретиком влиятельной поэтической группы 20-х годов "Краковский авангард", гласил: "Город, масса, машина".

В отличие от певцов технической или социальной революции, Виткевичу (как и Шульцу, и Гомбровичу) было присуще совсем иное мироощущение. Его обостренное предчувствие угрозы гибели культурных ценностей, угрозы самому существованию личности исходило из потрясений XX века, таких, как пережитая кровопролитная мировая война (и ожидаемая вторая), как наступившее господство тоталитарных систем. Нарастающий мировой кризис Виткевич рассматривал как явление глобальное, затрагивающее не только общественно-политическую или эстетическую сферу, как "общецивилизационный процесс", ведущий к гибели западноевропейской цивилизации. Виткевич предвещал конец культуры, который неотвратимо наступит с уничтожением свободного индивидуального духа, вытесняемого тупым коллективизмом "нивелирующей" социальной революции. В 1919 году в работе "Новые формы в живописи" он писал: "Мы живем во времени, когда вместо уходящих в прошлое призраков наций появляется тень, угрожающая всему, что прекрасно, таинственно и единственно в своем роде, — тень угнетаемой веками серой толпы, тень страшных размеров, охватывающая все человечество"[1].

Хотя катастрофические тенденции в польской литературе можно проследить начиная с романтизма, непосредственные истоки катастрофизма 20—30-х годов — в реальных исторических событиях: Первой мировой войне и революционном перевороте в России в 1917 году. Виткевичу оба эти события не только довелось наблюдать воочию, но и непосредственно участвовать в них. Как русский подданный, в начале Первой мировой войны Виткевич приехал в Петербург, поступил добровольцем в Павловский лейб-гвардейский полк, закончил офицерскую школу, воевал на фронте в чине поручика. Батальон Павловского полка выступил на стороне революции. Два офицера, сопротивлявшихся этому, были убиты солдатами, а Виткевича избрали командиром роты. Он вспоминал о времени с февраля 1917-го до июня 1918 года: "Я наблюдал эти небывалые события совершенно близко, будучи офицером Павловского гвардейского полка, который положил им начало"[2].

1. S.. I. Witkiewicz. Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne. — Warszawa, 1959. S. 125.
2. S. I. Witkiewicz. Niemyte dusze. — Warszawa, 1975.

Четырехлетнее пребывание Виткевича в России во многом определило его мировоззренческие и творческие позиции. Вздыбленный мир революционной России: распад империи, разложение общества, борьба за власть и интриги политиков, брожение "низов", богемные нравы художественной среды – обо всем этом он постоянно размышлял потом в своих произведениях.

Несомненно родство мира Виткевича с русской культурой. Эксцентрика и гротеск его драматургии сродни поэтическим драмам Блока и Маяковского, творчеству Даниила Хармса и других обэриутов, опосредованно или непосредственно связаны с театром Всеволода Мейерхольда и Евгения Вахтангова, с "театрализацией театра", провозглашенной Александром Таировым. Виткевич общался с русскими художниками, знал манифесты авангарда. "Вполне вероятно, – пишет Базилевский, – что, помимо Кандинского, на которого он прямо ссылается, Виткевич столкнулся с творчеством Врубеля, Филонова, Малевича, Кульбина. Его литературному наследию по разным признакам есть параллели у Андреева и Грина, Белого и Хлебникова, у Замятина, Булгакова и Платонова"[1].

В сознании потомков главный вклад Виткевича в искусство – обновление театра и драматургии. Большинство драм Виткевича написано в 1920-е годы. Назовем некоторые из них: "Они", "Водяная курочка", "В маленькой усадьбе", "Мать", "Безумец и монахиня", "Ян Мачей Кароль Взбешица", "Каракатица, или Гирканическое мировоззрение". Их объединяют общие идеи, мотивы, образы, ситуации, призванные выразить распад жизни, крах этических норм, гибель культуры, дегенерацию личности и в конечном итоге – катастрофу человечества.

1. А. Базилевский. Виткевич: повесть о вечном безвременье. – М., 2000. С. 13.

В таком видении и провидении истории Виткевич был не одинок среди европейских мыслителей и художников. Но следует заметить, что на его взгляды не повлияли тогда ни О. Шпенглер с его "Закатом Европы" (с ним он познакомился уже после издания "Новых форм в живописи"), ни более поздние работы Н. Бердяева, Х. Ортеги-и-Гассета, О. Хаксли, Ф. Знанецкого и других, которые появились в те же 20–30-е годы, когда выступал и Виткевич. Это был общий процесс – общая логика пути, которым шла европейская мысль.

У всех названных мыслителей есть общий импульс к такому развитию мысли и общий знаменатель мироощущения – страх. Страх перед толпой, перед массой, растворяющей и подавляющей индивидуальность. Хотя боятся они этой толпы по-разному и по-разному интерпретируют причины и способы наступления серой массы на культуру.

У Бердяева речь идет о распространении среди примитивных общественных слоев новой религии без Бога – то есть коммунизма, который, как и фашизм, "отрицает трагический конфликт личности и общества", постулирует и осуществляет "уравнительную механику масс над творчеством свободного духа" в стране, где "пафос социального равенства всегда подавлял пафос свободы личности"[1].

Ортега-и-Гассет в "Восстании масс" (1930) с беспокойством писал о дегуманизации и "омассовлении" культуры в эпоху, когда "европейская история впервые оказывается в руках заурядного человека как такового и зависит от его решений". Причину кризиса европейской цивилизации Ортега видел в восстании масс, "множества людей без особых достоинств. <...> Масса – это средний, заурядный человек,

1. Н. Бердяев. Судьба России. – М., 1990. С. 212, 213.

это тип, характерный для нашего времени, преобладающий и господствующий в обществе"[1]. Масса, которая "во все лезет и всегда с насилием", неизбежно порождает тоталитаризм, враждебный культуре. Большевизм и фашизм, по словам Ортеги, – движения, "типичные для человека массы, управляются, как всегда, людьми посредственными, несовременными, с короткой памятью, без исторического чутья..."[2].

"Бунт масс" – лейтмотив и всего творчества Виткевича. Его диагноз этого явления, который становится одновременно предвидением и предостережением, сходен с диагнозом Ортеги-и-Гассета. Виткевич попытался выразить его не только в философских трактатах, но и в оригинальных художественных произведениях – пьесах и романах. По Виткевичу, этот бунт тотален, им нельзя овладеть, он выходит из-под контроля самих его участников, он хаотичен, и его внутренняя логика непостижима. Он – и это главное у Виткевича – несет с собой отрицание личности, он антииндивидуален и, стало быть, носит антитворческий характер, поскольку субъектом творчества может быть только индивидуальность.

С уничтожением выдающихся индивидуальностей и наступлением господства посредственностей Виткевич связывал атрофию вечных метафизических чувств. Отсюда проистекал и его взгляд на искусство. Он видел задачу искусства не в подражании жизни, а в том, чтобы пробуждать в читателе, зрителе, слушателе сильные и глубокие переживания генезиса и сущности человеческого бытия. Он утверждал, что эта функция искусства, некогда присущая ему (так же как религии и философии), утрачена в современном мире и ее обретение вновь возможно лишь с помощью Чистой Формы, такой, которая самостоятельно, независимо от содержания вызывала бы метафизические рефлексии и эстетические эмоции. Чистая Форма достигается с помощью компоновки звуковых, декоративных, психологических и иных элементов гротескной деформации мира, введением абсурдных ситуаций и сложных ассоциативных связей. Реальную перспективу утоления жажды в потребности "метафизической ненасытимости" Виткевич оценивал довольно пессимистически, но достоинство мыслящей и ответственной личности определял исключительно ее способностью ощущать "странность бытия". Прикосновение к тайне для него – наивысшая ценность, а искусство – наиболее человечная, а возможно, и единственно подлинно человеческая форма осуществления личности, противостоящей исторической (биологической) протяженности.

Театр воспринимался писателем как "храм для переживания метафизического чувства", он должен доставить зрителю такие неизведанные переживания, которые не имеют ничего общего со "скукой" традиционного театра. Во "Введении в теорию Чистой Формы в театре" (1920) Виткевич дал пример пьесы, которая могла бы быть написана в соответствии с его теорией: "Появляются три фигуры в красном и кланяются неизвестно кому. Одна из них декламирует какие-то стихи (они должны казаться чем-то совершенно необходимым именно в этот момент). Входит благообразный старичок, ведя на поводке кота. До сих пор все происходило на фоне черного занавеса. Теперь занавес раздвигается, за ним виден итальянский пейзаж. Слышна органная музыка. Старичок о чем-то говорит с остальными – о чем-то соответствующем настроению всего предыдущего. Со столика падает

1. Х. Ортега-и-Гассет. Восстание масс // Вопросы философии, 1989, № 3. С. 120; № 4. С. 119.
2. Там же. Вопросы философии, 1989, № 3. С. 152.

стакан. Все бросаются на колени и плачут. Кроткий старичок преображается в разъяренного громилу и убивает маленькую девочку, которая только что вползла из-за левой кулисы. Тут же вбегает юноша приятной наружности и благодарит его за убийство, при этом фигуры в красном поют и пляшут. Юноша рыдает над трупом девочки, говоря при этом неимоверно веселые вещи, после чего старичок опять становится кротким и добрым и смеется в уголке, произнося слова возвышенные и светлые. <...> Итак — попросту сумасшедший дом? Или точнее — мозг сумасшедшего на сцене? Может, даже и так, но мы утверждаем, что *если этим методом написать пьесу всерьез и поставить ее надлежащим образом, можно создать вещь небывалой дотоле красоты*"[1].

Согласно теории Виткевича, искусство воздействует прежде всего как форма. Всякое жизненное содержание второстепенно по отношению к метафизической цели, каковой является переживание Тайны Бытия. Вместе с общественным развитием эта способность человека ослабевает и постепенно утрачивается вовсе. С ее окончательной утратой, как он считал, и закончится эпоха господства Индивидуума, начнется триумф Массы, редуцирующей свои функции до производства и потребления. Наступит упадок культуры, люди станут "бывшими людьми".

Истинное проявление Чистой Формы возможно, по Виткевичу, лишь в музыке и живописи. В литературе и театре она неизбежно "загрязнена" жизненным материалом. Его собственные антимиметические, гротескные драмы действительно никак не укладывались в каноны теории Чистой Формы. Они обнажали противоречия и абсурдность многих вполне реальных ситуаций тогдашней польской и европейской действительности, выражали тревожное, катастрофическое ощущение окружающего мира, неприятие его, предчувствие краха, а также высмеивали устоявшиеся стереотипы мышления и чувствования.

Свои пьесы Виткевич называл "неэвклидовыми драмами", которые, не следуя никаким внешним законам, раскрывают "сферическую трагедию" бесконечной повторяемости жизненных событий и неразрешимости противоречий. Его драмы подчиняются не жизненной логике и психологии, а ассоциативному воображению автора, которое гротескным образом деформирует действительность, подчеркивая абсурдность человеческих стремлений, истории, политики, философии и науки. Гротескным является и "антинатуралистический", искусственный язык его драм с множеством варваризмов, неологизмов, научных и наукообразных терминов. Большое место в них занимает литературная пародия — обыгрываются образы и ситуации произведений Ибсена, Стриндберга, Шекспира, Словацкого, Выспяньского и других авторов.

В "теоретическом вступлении" к драме "Тумор Мозгович" (1920) Виткевич писал об одной из своих пьес, что она представляет собой "приключения банды выродившихся бывших людей на фоне механизирующейся жизни"[1]. Это определение можно отнести и ко многим другим драмам Виткевича. Примером может быть его поздняя — и лучшая — драма "Сапожники" (написана в 1927—1934 годах, опубликована в 1948 году, впервые поставлена в Польше в 1957 году, в России — в 1990 году московским театром "У Никитских ворот"). В ней в максимальном стяжении нашли отражение главные мотивы и приемы драматургии Виткевича.

1. С. И. Виткевич. Метафизика двуглавого теленка / Перевод А. Базилевского. — М., 2001. С. 296.

1. С. И. Виткевич. Безымянное деянье / Перевод В. Кулагиной-Ярцевой. — М., 2005. С. 100.

Хотя в "Сапожниках", как в никакой другой драме Виткевича, немало реалий польской общественной и культурной жизни, она имеет универсальный смысл. В ней поставлены глобальные вопросы о существовании человека в обществе, о судьбе цивилизации. "Сапожников" автор назвал "научной пьесой", поскольку в ней его волновали не столько эстетические переживания читателя и зрителя (как в некоторых других пьесах), сколько "научный" анализ и прогноз развития современного общества. По словам Ч. Милоша, "Сапожники" — это "фантастическая притча об интеллектуальном и нравственном упадке и венчающих его двух революциях — фашистской и марксистской. Излишне говорить, что в основе этого произведения — не натуралистическая техника, а метафорическая поэтика кошмара"[1].

В "Сапожниках" совершается несколько революционных переворотов. Прокурор Роберт Скурви, защищая буржуазные порядки, угнетает сапожников во главе с Саетаном Темпе. Опасаясь бунта рабочих, Скурви совершает государственный переворот и вместе с фашистской организацией, руководимой Гнэмбоном Пучимордой, устанавливает диктаторский режим. Против него восстают сапожники; победив, они с энтузиазмом отдаются ненавистному ранее труду. К победившей революции примазываются карьеристы и циники, в том числе и Гнэмбон Пучиморда. Сапожники ликвидируют ставшего анахроничным "социала" Саетана Темпе, сажают на цепь Скурви, но и сами становятся жертвой Гипер-Работяги — орудия новой бюрократической и технократической власти, выступившей с программой всеобщей уравниловки и механизации общества.

Виткевич воссоздал в "Сапожниках" механизм бунта, революционного переворота. Масса, не склонная к метафизическим переживаниям и к созданию культуры, стремится лишь к удовлетворению своих биологических потребностей. "Мне хочется красивых баб и много пива"[1], — заявляет подмастерье Саетана. Да и сам Саетан Темпе до прихода к власти мечтает о том, чтобы "ихних девок дефлорировать, девергондировать, насладиться ими, jus primae noctis над ними осуществить, на ихних перинах всласть выспаться, до блевоты их жратвой нажраться". Он же формулирует идеал общественного устройства, против которого так неистово восставал Виткевич: "О, когда же, когда индивидуум забудет о себе, став деталью совершенной общественной машины?" В этом плане нет никаких различий между ретроградом Скурви, социалом Саэтаном Темпе, сапожниками. Это, в понимании Виткевича, один и тот же тип человека-массы, тип "бывших людей".

Примечательны слова Скурви, оказавшегося на вершине власти, обращенные к Саетану: "Как министр я совершенно сознательно лгу, я вешаю не ради убеждений, а лишь для того, чтобы и дальше жрать этих дьявольски вкусных хлюстриц и каракатиц из Мексиканского залива; да, я обязан лгать и скажу тебе, что сегодня 98 % <...> нашей банды делает то же самое, отнюдь не из убеждений. <...> Сегодня люди — только вы, это каждому ясно. Но лишь потому, что вы — по ту сторону; а стоит вам перейти черту, и вы станете точно такими же, как мы". Саэтан решительно отвергает это предположение, но так оно и происходит в результате переворота.

Конец всех революций у Виткевича (и в "Сапожниках", и в других драмах) один: создание эгалитарного гомогенного общества, в котором

1. Cz. Milosz. The History of Polish Literature. London, 1969.

1. Цитаты из драмы в переводе А. Базилевского — по кн.: С. И. Виткевич. Дюбал Вахазар. — М., 1999.

скотское начало торжествует над духовным, которым управляют циничные и лицемерные диктаторы. Саэтан Темпе, возглавивший бунт и получивший власть, был затем свергнут и убит своими подмастерьями. Но толпе нужны мифы, и эти же подмастерья цинично делают из него "священную мумию", героя революции. Те же цели преследует и следующий победитель – Гипер-Работяга, называя труп Саэтана "Великим Святым последней мировой революции".

Десятилетия мировой истории, прошедшие после написания драм Виткевича, многое добавили к страху писателя перед уродливым общественно-политическим развитием современного мира, в котором к власти приходят манипулирующие толпой маньяки-диктаторы. В постоянном дополнении выводов писателя его читателями заключается, в частности, непреходящее мировое значение драм Виткевича. Надо ли говорить, сколь злободневной оказывается рефлексия над творчеством Виткевича в свете российского исторического опыта?

Весьма актуальными представляются размышления Виткевича об изменении порога эстетического восприятия (в силу "всеобщего отупения и озверения") – когда привычных средств воздействия недостаточно, а метафизические чувства могут быть вызваны только за счет использования экспрессивных возможностей абсурда – о будущем искусства, о возможной утрате человеком чувства трагического, перспективе экзистенциального угасания человека, пришествия "эры духовной стагнации". Добавим, что резкое повышение "порога ощущения", столь характерное для современной жизни как итог исторического опыта XX века, чревато катастрофической духовной деградацией общества, накоплением в нем агрессивности со всеми вытекающими отсюда глобальными последствиями.

Виткаций явился предтечей новаторской драматургии, получившей широкое распространение в западноевропейской литературе после Второй мировой войны. Драматургия Виткевича – знаменательное и значительное явление в истории польской литературы и театра. Без нее невозможно понять последующее развитие польской драмы, на которое она оказала сильное влияние, начиная с В. Гомбровича, а далее Т. Ружевича, С. Мрожека и других.

Катастрофизм присущ и всем романам Виткевича, представляющим собой, по сути, своеобразную философскую прозу, напряжение которой, по замыслу автора, должно многократно усиливать введение рассуждающих героев. В "Прощании с осенью" (1927) мотив поступков художника-декадента, ищущего выход из общего умственного угасания, хаоса и безмерной скуки в извращенной эротике и наркотиках, сопряжен с убеждением героев и автора в неизбежности гибели европейской культуры. Эти проблемы находятся в центре внутренних монологов героев и бесконечных философских дискуссий, которые они ведут между собой. Действие романа происходит в конце XX века в Польше, сотрясаемой революционными бунтами. В конце концов власть в стране захватывают "нивелисты", бывший поэт-"большевик" Саетан Темпе (позднее он появится в драме "Сапожники") становится комиссаром внутренних дел прокоммунистической республики, а главного героя романа, несостоявшегося художника Атаназия Базакбала, вознамерившегося убедить товарища Темпе в необходимости спасти личность от нивелировки, расстреливают по приказу русского инструктора.

Действие наиболее известного романа Виткевича "Ненасытимость" (1930) также происходит в Польше в конце XX века (около 1990 года). Страна, в которой в результате государственного переворота к власти приходит диктатор Коцмолухович (напоминающий Пилсудского), на-

ходится в состоянии упадка, правящая и интеллектуальная элиты погрязли в декадентстве, разнузданном эротизме и наркомании. С востока на Европу движется огромная китайская красная армия, уже покорившая Россию. Свои завоевания китайцы осуществляют с помощью наркотических таблеток Мурти-Бинга, которые превращают людей в послушных роботов. Хотя Коцмолухович подчиняется китайцам, но он выделяется своей индивидуальностью, и победители отрезают ему голову. На этом фоне разворачиваются поиски главным героем романа, юношей Генезипом Капеном, своей идентичности. Он ненасытно интересуется жизнью – проблемами религии, философии, искусства и литературы, познает разнообразные варианты любовных утех, принимает участие в захвате власти Коцмолуховичем и становится его адъютантом, но в конце концов превращается в безвольное существо, подчиненное бюрократической китайской машине.

Фантастическая фабула романа гротескно подчеркивает неисправимые, по Виткевичу, изъяны современной цивилизации, которую характеризуют цинизм правящих кругов, утрата общих моральных ценностей и критериев, тщета философской мысли, вырождение искусства, фальшь официальной религии. Такое общество бессильно в столкновении с примитивной "коллективистской" идеологией Мурти-Бинга, подкрепленной воздействием наркотиков. Восточный тоталитаризм триумфально побеждает.

"Ненасытимость" – лучший роман Виткевича – справедливо причисляется к классическим образцам современной гротескной прозы.

Вышедший по-русски и прочитанный нами с запозданием, Виткевич бросает тревожный свет на наши собственные проблемы и расширяет выразительные возможности нашего художественного языка несвойственными ему прежде формами и способами выражения. В сущности, в обогащении языка путем приращения к нему другого опыта и заключается культурная миссия перевода, противостоящая всему тому, что Виткевичу виделось угрозой цивилизации.

Исследователь, просветитель, наставник

Лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель!: Книга памяти А. М. Зверева / Ответ. редактор Н. С. Павлова; Составитель М.А. Штейнман. – М.: РГГУ, 2006. – 375 с.

Строки из стихотворения Иосифа Бродского "Памяти Геннадия Шмакова" естественно и точно легли в название книги, посвященной памяти другого филолога.

Их было трое в одном поколении – питомцев филологического факультета МГУ, блистательных специалистов в своих областях, при том что в мировой культуре, отечественной и зарубежной, они чувствовали себя как рыба в воде. Они были отмечены Божьим даром, обогатили науку, выступили истинными просветителями. Широта видения ими истории культуры была настолько невероятна, что уже и не удивляла. Их уход оставил впечатление не до конца реализованных возможностей, некоей незавершенности трудов, хотя они успели сказать то главное, что имели и хотели сказать, перевести на русский язык авторов, близких им по духу, складу мышления и творческой манере, и обогатить современников новым взглядом как на новые, так и на весьма давние явления мировой культуры. У каждого остались незаконченными какие-то конкретные проекты, но в целом их творческая и личная судьба успешно состоялась. И все же, все же...

Первым из этой великолепной тройки еще в прошлом веке ушел, не взяв шестидесятилетнего рубежа, Альберт Викторович Карельский (1936–1993), германист, исследователь, преподаватель университета. Двух других не стало уже в веке нынешнем, однако до библейских семи десятков никто не дотянул – ни литературовед, культуролог и библиотекарь Владимир Сергеевич Муравьев (1939–2001), ни филолог, культуролог Алексей Матвеевич Зверев, (1939–2003), во след которому и выпустил этот сборник РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет. Он преподавал на кафедре сравнительной истории литератур РГГУ, до того 18 лет проработав в Институте мировой литературы РАН, так что воздать его памяти было со стороны РГГУ уместно, логично и правильно. Как со стороны журнала "Иностранная литература" – откликнуться на эту книгу: Алексей Матвеевич с 2000 года был заместителем главного редактора журнала, найдя в этом еще одно практическое приложение своей феноменальной эрудиции и мастерству историко-литературных сопоставлений.

Сборник составлен из трех разделов ("США и Великобритания", "Компаративистика" и "Русское зарубежье"), призванных, как отмечено в предуведомлении, отразить грани научных интересов Алексея Матвеевича, что эти разделы успешно и делают. "Хронотоп" статей – от библейских времен до Сергея Довлатова и от поздней Римской империи до "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкиена – тоже отражает свободное движе-

ние мысли Алексея Матвеевича в культурном времени и пространстве. Статьи принадлежат его коллегам по РГГУ, в том числе аспирантам и бывшим ученикам. Достаточно сказать, что публикации подобраны со смыслом и всевозможным уважением к его памяти. Быть может, с какими-то положениями авторов Алексей Матвеевич мог бы поспорить, но это в любом случае был бы спор единомышленников-словесников.

За каждым разделом следует по небольшой (к большому сожалению) подборке воспоминаний "In Memoriam", причем некоторые написаны авторами статей. Открывает корпус книги текст лекции Алексея Матвеевича о Стендале в живой записи 1998 года, а завершает обширный, хотя вынужденно неполный список его печатных работ из 520 названий[1].

Жаль, что воспоминаний мало и они коротенькие, порой на полстраницы. Но написаны искренне, тепло, как шло от сердца, а не с оглядкой на возможных биографов. В совокупности приведенные в этих фрагментах воспоминаний черточки, частности и микроанекдоты, которым самое место в студенческом фольклоре, складываются в портрет наставника любимого и почитаемого, умного, требовательного, но не сердитого, тем более не желчного, хотя весьма склонного к иронии. Радетеля всемирной культуры слова, человека доброго по натуре и трезво мудрого по жизни.

Тут есть штрихи, указывающие на эмоциональность Алексея Матвеевича, на его увлеченность (и увлекаемость) и на качества иного, духовного плана. Преданно "болеть" за любимую футбольную команду и даже вкусно заварить чай по собственному рецепту способен и человек, не наделенный избытком души. А вот уметь разом откликнуться на просьбу о помощи, не бояться в открытую возражать идеологам постных 1970-х годов (на одной из литературно-критических посиделок он назвал Бродского гениальным поэтом русского языка, сам слышал) или заняться вызволением запертой по недосмотру в учебной аудитории кошки - это вещи другого порядка. Но они, кстати, позволяют взглянуть под другим углом и на футбольные страсти Зверева.

Еще раз скажу: жаль не того, что львиная доля книги отдана статьям — таков закон жанра, да и статьи все на месте и по делу, а жаль, что "меморий" маловато. Недостаток этот отчасти перекрывается публикацией лекции Зверева о Стендале в ее первозданном, не отредактированном виде. Ход беспроигрышный, поскольку воссоздает живой голос человека, каким слышали его не только студенты, но многие участники конференций, обсуждений или "круглых столов" (например, дискуссии в редакции "Иностранной литературы" о рабочем классе в современной зарубежной литературе). Здесь сохранено то, что похерено в крепко отредактированных для публикации стенограммах выступлений, — прихотливое движение мысли, повторы, продленность интонаций, даже словечки-"паразиты", каковые, хоть убей, пробираются в устную речь. И прежде всего — специфическая зверевская манера, манера, наглядно иллюстрирующая верность поговорки "Тише едешь — дальше будешь".

Развивая мысль, Зверев словно уходит в сторону, вставляет что-то, как говорится, "из другой оперы", возвращается, опять забирает уже в другую сторону. Вот он цитирует Марину Цветаеву

1. Из них 100 — в "ИЛ" и "Библиотеке 'Иностранной литературы'". (*Прим. ред.*)

("Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед") и говорит: со Стендалем именно так и произошло. А какое-то время спустя ссылается на формулу Пастернака, заменив в ней "живым" на "простым" ("Надо быть простым" вместо — "живым"), и поясняет: так вот, к Стендалю это нельзя приложить. Причем непонятно — то ли память его подвела, то ли он сознательно переиначил цитату. В обилии подобных перекрещиваний вдруг начинает проглядывать невероятная, однако логически выстроенная связь между, образно говоря, бузиной в огороде и киевским дядькой. Связь, понятно, возникающая в едином широко взятом контексте мировой литературы.

Наконец включенный в сборник указатель публикаций А. М. Зверева — особь статья: выстроенные в хронологической последовательности свидетельства разно- и многообразия интересов ученого и пропагандиста культуры показывают движение его мысли, вовлечение в сферу его заинтересованного внимания все новых и новых пластов. Начинал он как подавляющее большинство "молодых специалистов" — рецензиями на книги — в его случае, американских авторов. Но постепенно раздвигал географические и жанровые границы охвата, обращаясь к литературе на английском языке и к явлениям литературы других стран, включая славянские, например, болгарской, русской, польской. Зверев был тончайшим знатоком и ценителем поэзии, в частности английского романтизма и русского Серебряного века. Что до американской, то едва ли хоть одна представительная антология поэзии США на русском языке выходила с 1970-х годов без его непосредственного участия, не говоря о статьях и заметках об отдельных поэтах. Все это отражено в библиографии.

Тут нужно сказать еще об одном свойстве Алексея Зверева — стремлении разделить с читателем свою увлеченность, "заразить" его своей любовью к литературе, приобщить к личному восприятию того или иного автора или произведения. Не побоюсь назвать его великим просветителем. Он охотно брался за "подсобную", с точки зрения серьезного академического литературоведения, работу по подготовке изданий зарубежной литературы для самого широкого круга читателей, скажем, — предназначенных для серии "Школьная библиотека". Он составлял сборники, писал предисловия и послесловия, при необходимости снабжал издания историко-литературным комментарием - и делал все это с присущим ему блеском и уважением к интеллектуальным способностям читателя. Например, его предисловие к изданию на русском языке романа Павла Вежинова "Ночью на белых конях", на мой взгляд, — совершенный образец предисловия как жанра и лучшее, что написано у нас об этом классике болгарской и не только литературы XX века.

В последние годы жизни А. Зверев все больше и глубже занимался театром и часто выступал как театральный рецензент. Его взгляд начал обращаться и к кинематографу — см. его статью о Сергее Параджанове. И все отчетливее и непреложней проявляла себя его тяга к литературе отечественной. Две последние его прижизненные монографии — о ней, в эмигрантской ее ипостаси: "Набоков" (в серии "Жизнь замечательных людей") и "Повседневная жизнь русского литературного Парижа". Логика творческого движения Зверева вела по восходящей, и закономерно, что последний его труд был посвящен вершине во всех возмож-

ных смыслах этого слова. Не законченную им биографию Льва Толстого дописал его коллега и друг, петербургский филолог Владимир Туниманов (1937—2006). Книга, вышедшая в 2006 году в той же серии, что и жизнеописание В. Набокова, стала своего рода литературным послесловием к жизни ее соавторов.

Таким образом, все включенные в сборник РГГУ материалы напрямую или косвенно соотносятся с личностью А. М. Зверева, добавляя штрихи к его портрету. Портрет, естественно, далеко не полон, но отдельные линии прорисованы четко, с нажимом, абрис совпадает с натурой, а масштаб личности выверен и точен.

Книга памяти А. М. Зверева достойна его памяти.

В. Скороденко

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Шарый А. *Знак F: Фантомас в книгах и на экране.* М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 160 с. – 3000 экз.

Журналист "Радио Свобода" Андрей Шарый продолжает писать книги о культовых киногероях. Сначала был Джеймс Бонд, теперь настала очередь Фантомаса. Как получилось, что герой бульварных романов вошел в мировую историю? Наверное, потому, что создатели самого первого оригинального Фантомаса Пьер Сувестр и Марсель Аллен были очень талантливыми беллетристами и точно угадали, каким должен быть идеальный злодей.

Сейерстад О. *Книготорговец из Кабула* / Пер. с норвеж. А. Турунтаевой. – СПб.: Амфора, 2007. – 336 с. – (Записки путешественника). 5000 экз. (п)

Норвежская журналистка Осне Сейерстад прожила полгода в семье богатого кабульского книготорговца и написала документальный роман об афганском быте. Книга Сейерстад – это рассказ о том, как в разоренной войной стране влюбляются, женятся, делают бизнес, растят детей, путешествуют. Одно из главных достоинств книги – писательница не ставит оценок и не осуждает афганцев, даже когда персонажи книги делают поступки, не допустимые с точки зрения европейца. Она – просто добросовестный свидетель и хроникер.

Мюллер К. *Japanland. Год в поисках "Ва"* / Пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2007. – 288 с. – 3000 экз.

Американка Карин Мюллер тоже пишет о конфликте цивилизаций, только о более мирном. Мюллер по своей воле прожила год в японской семье, где над ней довольно долго и последовательно издевалась супруга главы этой самой семьи. Карин пыталась понравиться гордой уроженке Страны восходящего солнца, но ничего не получалось. А если посмотреть на эту ситуацию глазами японки, то все будет выглядеть иначе: бестолковая американка приперлась в чужой монастырь со своим уставом и учиться жить правильно, то есть по-японски, не желает.

Да Чен *Братья* / Пер. с англ. С. Тузовой. – М.: Мир книги, 2007. – 432 с. – 20000 экз. (п)

Длинный и по-восточному цветистый китайский роман о двух сводных братьях, пути которых разошлись. Один стал великим генералом, другой – великим диссидентом. Время действия – XX век, так что книгу можно читать как учебник современной китайской истории, хотя Да Чен сознательно поменял большинство важнейших дат, чтобы избежать конкретной привязки к реальным событиям.

Хуан Хосе Арреола *Избранное* / Пер. с исп. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2007. – 310 с. – 2000 экз.

Мексиканец Арреола делил писателей на возможных и невозможных. Борхеса, например, называл замечательным, но возможным, то есть рассудочным. А Кафку – невозможным, потому что необъяснимым. Себя Арреола по праву причислял к невозможным. "Избранное" Арреолы – это короткие рассказы-притчи, иронически-издевательские новеллы, блистательный бестиарий. Все вместе – прекрасный образец латиноамериканской литературы XX века. Впервые притчи Хуана Хосе Арреолы увидели свет в *ИЛ* [2005, № 12].

Раймонд Карвер
Raymond Carver
[1938–1988]. Американский поэт и прозаик. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии О. Генри [1983], премии журнала *Поэтри* [1985].

Автор сборников стихов *Там, где вода встречается с водою* [*Where Water Comes Together with Other Water*, 1985], *Ультрамарин* [*Ultramarin*, 1986], *Новая тропинка к водопаду* [*A New Path to the Waterfalls*, 1989] и др., книг рассказов *О чем мы говорим, когда говорим о любви* [*What We Talk About When We Talk About Love*, 1981], *Собор* [*Cathedral*, 1983; рус. перев. 1987] и др. В *ИЛ* печатались переводы его стихов из разных сборников [2005, № 7].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Откуда я взываю* [*Where I'm Calling From.* New York: Vintage Contemporaries, 1988].

Пабло Руис Пикассо
Pablo Ruiz y Picasso
[1881–1973]. Испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер, основоположник кубизма. Лауреат Международной премии Мира [1950] и Международной Ленинской премии *За укрепление мира между народами* [1962].

Автор пьес *Желание, пойманное за хвост* [*Le Désir attrapé par la queue*, 1944], *Четыре девушки* [*Les quatre petites filles*, 1952], множества поэтических текстов.
Перевод публикуемых текстов выполнен по изданию *Стихи* [*Poemes.* Paris: Le Cherche Midi, 2005].

Милан Кундера
Milan Kundera
[р. 1929]. Чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий Франции и Италии. С 1975 г. живет во Франции. Пишет на чешском и французском языках.

Автор сборника стихов *Монологи* [*Monology*, 1957], пьесы *Владельцы ключей* [*Majitelé klíčí*, 1962], романов *Вальс на прощание* [*Valcik na rozloucenou*, 1972; рус. перев. 1999] и др. В *ИЛ* были напечатаны романы *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость бытия* [1992, № 5, 6], *Бессмертие* [1994, № 10], *Неспешность* [1996, № 5], *Подлинность* [1998, № 11], эссе *Когда Панург перестанет быть смешным* [1994, № 7], рассказ *Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам* [2001, № 2], фрагменты романа *Книга смеха и забвения* [2003, № 8].
Текст публикуется по изданию *La vie est ailleurs* [Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1979].

Дидье ван Ковелер
Didier van Cauwelaert
[р. 1960]. Французский писатель, критик, сценарист, лауреат многих литературных премий, в том числе Гонкуровской [1994].

Автор романов *Двадцать лет и еще немного* [*Vingt ans et des poussieres*, 1982], *Каникулы призрака* [*Les vacances du fantôme*, 1986], *Горький апельсин* [*L'orange amère*, 1988] и др., пьес *Астроном* [*L'Astronome*, 1983], *Свадьбы на песке* [*Noces de sable*, 1995] и др. В *ИЛ* опубликованы его романы *Путь в один конец* [1996, № 3] и *Запредельная жизнь* [2000, № 2].
Текст печатается по изданию *Cloner le Christ?* [Paris: Éditions Albin Michel, 2005].

Лев Лосев
[р. 1937]. Русский поэт, литературовед, эссеист, профессор, заведующий отделением русского языка и литературы Дартмутского колледжа [США].

Автор книг *О благодетельности цензуры: эзопов язык в новой русской литературе* [1986], *Иосиф Бродский: опыт литературной биографии* [2006], десяти сборников стихов и эссе, а также ряда статей о русской литературе и комментариев к книге стихотворений Иосифа Бродского [в серии *Новая библиотека поэта*, готовится к печати].

Татьяна Дмитриевна Венедиктова
Доктор филологических наук, профессор, литера-

Автор книг *Поэзия Уолта Уитмена* [1982], *Современная поэзия США: традиция и новаторство* [1989], *Человек, который создал себя сам. Американский опыт в лицах и типах* [1993], *Обретение голоса: национальная поэтическая традиция в США* [1994], *"Разговор по-американски": дискурс*

туровед, переводчик с английского.

торга в литературной традиции США [2003] и др. В ее переводах опубликованы *Удивительный волшебник из страны Оз* Л. Ф. Баума, *Противники Просвещения* И. Берлина и др.

Барри Шерр
Barry Scherr
[р. 1945]. Профессор на отделении русского языка и литературы Дартмутского колледжа [США].

Автор книг *Русская поэзия: размер, ритм и рифма* [1986] и *Максим Горький* [1988], а также множества статей о русской поэзии и стихосложении, прозе XIX и XX веков и кино.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иностранной литературы* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Ж. Гина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор многих работ по английской поэзии рубежа XVI-XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Другая поэзия. Антология* [2006, № 4, 10; 2007, № 5, 8].

Тони Перротет
Tony Perrottet
[р. 1961]. Американский публицист австралийского происхождения, историк и теледокументалист. См. веб-сайт: www.tonyperrottet.com

Автор сборника путевых заметок *С края земли: путешествие по забытому приграничью* [*Off the Deep End: Travels in Forgotten Frontiers*, 1997], сборников эссе *Языческие каникулы: по стопам древнеримских туристов* [*Pagan Holiday: On the Trail of Ancient Roman Tourists*, 2002] и *Обнаженная Олимпиада: подлинная история греческих Игр* [*The Naked Olympics: The True Story of the Greek Games*, 2004].
Публикуемое эссе взято из американского журнала *The Believer* [август, 2005].

Виктор Александрович Хорев
[р. 1932]. Доктор филологических наук, профессор, литературовед, переводчик с польского. Удостоен польского Командорского креста со звездой Ордена Заслуги, медали *За заслуги перед польской культурой*, медали *Объединения европейской культуры* [S. E. C.], премии Министра культуры и национального наследия Республики Польша.

Автор более 300 печатных работ. В числе последних публикаций – монография *Польша и поляки глазами русских литераторов* [2005].
Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Владимир Андреевич Скороденко
[р. 1937] Критик, литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

Автор многочисленных статей к изданиям на русском языке произведений британских, ирландских, американских, австралийских писателей. Составитель ряда антологий английской поэзии и английской новеллы. Переводил М. Спарк, А. Брукнер, У. С. Моэма, М. Р. Джеймса, Э. С. Гарднера, Р. Стаута и др. В *ИЛ* опубликован его перевод романа К. Исигуро *Остаток дня* [1996, № 11] и главы из книги *Джеймс, каким мы его знали* [2005, № 10].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Григорий Михайлович Дашевский
[р. 1964]. Поэт, переводчик с английского, французского, немецкого и латинского языков, филолог. С 1993 г. преподает латинский язык в РГГУ.

Автор трех книг стихов. В его переводе выходили книги Р. Жирара, Ф. Йейтс, Д. Бонхёффера, Х. Арендт и др. Публикуется в *ИЛ* с 1989 г.

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии им. Ваксмахера [2003], Почетного диплома международного совета по детской и юношеской книге [2002].

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, книги *Проклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9].

Нина Михайловна Шульгина
Переводчик, критик, лауреат словацкой премии имени О. П. Гвездослава [1984], литературной премии *ИЛ* [1987] и премии *ИЛлюминатор* [2006], обладатель Памятной медали Союза словацких писателей [2006].

В ее переводе издавались произведения чешских и словацких писателей, в том числе В. Шикулы, Р. Слободы, П. Ярошa, Д. Митаны, Л. Фелдека, И. Климы, М. Кундеры, М. Вивега и др. В *ИЛ* в ее переводе были напечатаны романы М. Кундеры *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость бытия* [1992, № 5, 6], *Бессмертие* [1994, № 10], вышедшие позже в виде отдельных книг в издательствах Азбука и Амфора, а также романы М. Вивега *Лучшие годы — псу под хвост* [1997, № 4], *Летописцы отцовской любви* [2000, № 6], *Игра на вылет* [2007, № 1].

Дмитрий Баюк
[р. 1960]. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники, зам. главного редактора журнала *Вопросы истории естествознания и техники*.

Перевел роман К. Уилсона *Убийца* [1990], книги Н. Витковски *Сентиментальная история науки* и *Ванна Архимеда* [2007] и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Сергей Евгеньевич Нещеретов
[р. 1972]. Поэт, переводчик.

Автор сборника *Хронический имажинист* [1996]. В его переводе выходили рассказы С. Крейна, Саки, А. Азимова, стихи Д. Китса, У. Блейка, Ф. Проуз, стихотворения и эссеистика англо-американских имажистов, монографии М. Мейкина [1997] и А. Смит [1998] о жизни и творчестве М. Цветаевой и др. Участник переводных антологий *Строфы века—2* [1998], *Семь веков французской поэзии* [1999], *Антология имажизма* [2001]. Публикуется в *ИЛ* с 1995 г.

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001] и *Либерти* за перевод [2003].

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюена и др. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6—8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный бурьян* У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11], *В опасности* Р. Хьюза [2002, № 8]; повести *Большой налет* и *10б тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], *Гей, на Запад!* и *Я забыл поехать в Испанию* Дж. Гаррисона [2004, № 4], *Огонь в норе* Э. Леонарда [2007, № 1], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8], Т. Капоте [2005, № 10] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент фрески итальянского художника Фра Анжелико [1395–1455] *Осмеяние Христа* [1440–1441].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 28.09.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2282.
Тираж 7100 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

РАДИОСТАНЦИЯ
ГОВОРИТ МОСКВА
92,0 FM

[11] 2007

РОМАН ХУЛИО ТРАВЬЕСО СЕРРАНО “ДОЖДИ В ГАВАНЕ” / ПЬЕСА БРАЙЕНА ФРИЛА “ЦЕЛИТЕЛЬ” / СТИХИ ЮЛИАНА ТУВИМА В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / “ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА”: “ХРОНИКИ ВАВИЛОНСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ” Г. КРУЖКОВА / “ДРУЖБА НАРОДОВ” А. ЛИВЕРГАНТА В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №10, 1-288